

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ МИР

2000

2

2000

В 2000 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 900-Й НОМЕР ЖУРНАЛА.

**В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО.**

**В 2000 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Горизонт семьи (о некоторых константах традиционного русского сознания);

МАРИНА АДАМОВИЧ (США). Сетевая проза — новый тип литературы (аналитический обзор);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (новые главы);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);

АЛЕССАНДРО БАРИККО. 1900 (монолог; перевод с итальянского В. Николаева);

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. О сердечности и бессердечии в культуре;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);

БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

АЛЕНА ЗЛОБИНА. Заметки о раздробленности культурного общества;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Литература после конца времен (статья);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречье (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Буква «А» (повесть);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

МАРИНА ПАЛЕЙ. Long Distance, или Славянский акцент (сценарные имитации);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Ужас победы (повесть);

(См. на обороте)

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); **Искусство не принадлежит народу** (бодрые мысли о грустных материях);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. НЕДО (автогеография);

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Крохотки;

ИРИНА СУРАТ. Пушкинский юбилей как заклинание истории (опыт подведения итогов);

АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ. Америка — каждый день (из дневника писателя);

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыка о перспективах для России и мира (три композиторских портрета);

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. Людская молвь и конский топ (из записных книжек 1950 — 1990-х годов);

ИГОРЬ ШАЙТАНОВ. Русская «метафизическая поэзия» после Бродского;

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Малыш наказан (роман);

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. Город мертвых и город бессмертных (об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII — XX веков);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, ЮРИЯ БУЙДЫ, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОВОЛОЦКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА; стихи МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, ГЕНРИХА САПГИРА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРКА ФЕЙГИНА и других авторов.**

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1, стр. 144, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»
обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется
только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»;
торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2 (898)

Февраль, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Затеси. Из тетради о Николае Рубцове	7
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Из записок бумажного змея	37
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА — Последний коммунист. Повесть. Окончание	59
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Повсюду и нигде, стихи	117
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ — Подъячий Василий Курбатов. Маленькая повесть	122
МАРИНА ПАЛЕЙ — Long Distance, или Славянский акцент. Сценарные имитации. Продолжение	141

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН — Помните, у Абрамова...	152
-------------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Горизонт семьи. О некоторых константах традиционного русского сознания	170
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Анна Андреевна и Анна Аркадьевна	176
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИХАИЛ БУТОВ — Отчуждение славой	188
----------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. В поисках желтого жанра	210
Дмитрий Быков. Преображенный хаос	213
Михаил Горелик. Спасти Песахзона	217
Александр Горянин. «Мы не жалели о пройденном пути...»	220

Юрий Кублановский. — За что? Проза. Поэзия. Документы	224
Ляля Панн. — Валерий Черешня. Сдвиг	225
Алексей Машевский. — Елена Елагина. Нарушение симметрии	227
Вл. Новиков. — Ничего смешного. Юмор, сатира, пародия, афоризм	229

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Письмо в редакцию 231
ЭММА ГЕРШТЕЙН — Письмо в редакцию «Нового мира» 233

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- ПОЛКА СЕРГЕЯ КОСТЫРКО 234

БИБЛИОГРАФИЯ

- Книги (составитель Сергей Костырко) 238
Периодика (составитель Андрей Василевский) 241
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко) 249

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

- Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО — О Благотворительном фонде Георгия Сви-
ридова 255
SUMMARY 256

**В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ЖУРНАЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «НОВОГО МИРА»
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ**

ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ КУБЛАНОВСКОМУ

**ЗА ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ
«БЛУЖДАЮЩИЙ ЗУММЕР» И «СБЫЛИСЬ ВРЕМЕНА»
(«НОВЫЙ МИР», 1999, № 4, 9)**

И

ИРИНЕ БЕНЦИОНОВНЕ РОДНЯНСКОЙ

**ЗА ЦИКЛ ПОЛЕМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
В РУБРИКЕ «ПО ХОДУ ТЕКСТА»
(«НОВЫЙ МИР», 1999, № 2, 4, 6, 8, 10, 12).**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ЗАТЕСИ

Из тетради о Николае Рубцове

РУКАВИЧКИ

В России почти всегда посмертная судьба поэта удачливей прижизненной. Не был исключением и поэт Николай Рубцов. Я не стал бы очень-то уж мрачно расписывать его судьбу, во многом она творится обладателем этой именно и никакой другой жизни и еще перстом откуда-то, привычно скажем, свыше указующим. Рубцов по-своему любил свою жизнь, себя в ней любил, но как истинно русский человек несколько пренебрежительно, иногда наплевательски относился к ней.

Но не об этом сейчас речь, а о том, о чем со вздохом сказано во многих рассуждениях, опять же российского порядка, то есть о том, что унес с собою рано нас покинувший творец. В книге, наиболее подробно и с любовью изданной московским издательством «Воскресенье», повторившей название первой прижизненной книги Рубцова в Москве — «Звезда полей», этот горестный вздох облечен в вопрос: сколько же погибло вместе с поэтом строк и стихов?

Могу сказать с твердым убеждением: много, очень много. Даровитейший российский поэт Николай Рубцов не реализовал себя и наполовину, свидетелем одного погибшего стихотворения, начальных его, совершенно изумительных строк, был и я.

...Прошло почти два года, как я с семьей переехал в Вологду. До переезда мы с Марией Семеновной уже побывали там. Веселой, смешанной бригадой совершили агитпоездку на пассажирском бойком катере по рекам Вологде и Сухоне, и я, в общем-то, вологодских писателей знал в лицо, некоторых еще и с Литературных курсов, знал по литинститутскому общежитию, там и успел мимоходно познакомиться и с Рубцовым, но в поездке по рекам он с нами не был...

Когда нас встретила на вокзале довольно большая и громкая бригада писателей, Николай Михайлович стоял чуть в стороне, глаза его приветливо искрились, в левом углу рта присутствовала та его притаенная, хитроватая улыбка, с которой лежать ему доведется и в раннем, трагическом гробу.

Марья Семеновна сама подошла к нему, я следом. Он сказал жене моей коротко: «Рубцов», — отчего-то сразу же начал предлагать в подарок рукавички, связанные из овечьей шерсти. На тот час это, видимо, была самая свежая и любимая обновка Николая, и он, как дитя малое, хотел порадовать нас тем, что грело и радовало его самого.

Я начал эти заметки на третьи сутки после смерти Дмитрия Сергеевича Лихачева, с которым близок не был, но знал его и почитал. И он меня тоже знал и почитал.

Как-то на съезде депутатов в Кремле, когда по Москве полосовал зимний дождь, оголив ее полузамерзшую неприютность, мусор, харчки, равные разное вымыв изо льда, скользя, сыро кашляя и спотыкаясь, брел я в зал заседаний съезда Советов. Про себя матерно себя ругал за то, что согласился идти в депутаты и дѣхнуть в такую вот проклятую погоду в столице. Зачем? К чему мне это? И вообще зачем это все? И Кремль этот, со всунутым во двор Дворцом съездов, похожим на плохо сделанный протез, насильственно вставленный поверх пусть старых, но еще крепких зубов, и народ, непрерывно, с утра до вечера о чем-то говорящий и даже горячо спорящий в большом, стадион напоминающем зале. Без конца, без устали все талдычат: Россия, Россия, величие, величие, свершения и постановления, решения и указания, деньги и благосостояние...

Ах, как все это надоело! До тошноты...

Вдруг сзади меня прошипели колеса по мокрому льду. Остановился автобус с отобедавшими и явно намеренными вздремнуть в зале депутатами. Среди них шустро соскользнул по ступеньке Дмитрий Сергеевич Лихачев. Проходя мимо меня, поздоровался, пристально взглянул и, остановившись, переждал, когда народ просквозит в стеклянные двери дворца.

— Что так мрачны, Виктор Петрович? — спросил он. — Вижу, потеряли присутствие духа? Неужели из-за этой бесполезной говорильни? Неужели гнусная погода подавила вас? — И, взявши меня под руку, повернул обратным ходом по мокрому, посыпанному шлаком тротуару.

Минут двадцать ходили мы туда-сюда, разговаривали о том о сем душевно, как люди, давно чувствующие себя родственно. На Дмитрие Сергеевиче были точно такие же, как на руках Рубцова, рукавички из толсто пряженной шерсти, и он их предложил мне; понимая всем сердцем жертву эту дорожную, в утешение мне даримую, я едва напялил обратно на руки академика драгоценные те рукавички и, приобняв, повел его из-под мокрого неба под крышу, голосом, звенящим от слез, повторяя: «Спасибо, спасибо...»

По пути вспомнил, что было нам в дом неожиданное письмо от Дмитрия Сергеевича после смерти нашей дочери, в котором он горько и чисто выражал нам свое сочувствие, понимаю, писал он, что это такое. Вот и догадался я, что эти неуклюжие, но теплые рукавички связала ему дочь, и эту-то драгоценность он пытался отдать мне, пытался утешить хоть немножко в горе.

Ах, Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Сергеевич! Вы помогли мне понять не только книгами своими, но и тем мимоходным поступком, что истинная интеллигентность заключается еще в том, и, может быть, прежде всего в том, чтобы уметь почувствовать чужую беду как свою, чужое горе — как свое и попытаться смягчить боль участием своим, проявлением сердечности.

В России всегда был недостаток таких людей, истинных интеллигентов и патриотов. После смерти академика Лихачева этой забедовавшей стране остро будет его недоставать. Дыру в телом полотне нашей культуры залатать не скоро удастся, может, и вообще не удастся при том одичании, которым охвачен наш народ.

Тогда, на вологодском вокзале, сказали мы Николаю Рубцову растроганно: «Спасибо!» Марья Семеновна уверила его, что она сама умеет вязать, и, взяв под руку поэта, мы повели его к машине. Скоро оказались мы в квартире-хрущевке, приготовленной для нас, обмыли новоселье, сидя кто где, кто как, в основном на газетах, расстеленных на полу.

То новоселье затянулось, очень уж мне понравилась тихая, почти благодатная в ту пору Вологда, вологодские ребята, и очухался я не скоро, за письменный стол вплотную сел уже в другой квартире, правда, на этой же улице Урицкого (ныне ей вернули прежнее название — Козельская). Эту самую улицу перекрыли на период стройки, а я, спяну, не иначе, решил,

что навсегда, и попросился в тихое место, в квартиру из четырех комнат. Власти города к писателям относились с непритворной любовью, я быстро переместился на новое место, и, истосковавшись по столу, набросился на работу.

Много сделал за короткое время и далеко уже «въехал» в «Царь-рыбу», когда почувствовал полное истощение сил. Навалившуюся усталость надо было как-то снимать, сбрасывать, ликвидировать.

Я знал лишь два способа отвлечения от стола — тайга и рыбалка. Как-то собрались артельно в Союзе писателей, и я сказал, что вот треплетесь, треплетесь про рыбалку, товарищи писатели, а сдвигов нету никаких.

— Сейчас, сейчас будет тебе сдвиг! — пообещал Виктор Коротаев и начал обзванивать загородных знакомых. Откликнулись из Усть-Кубены, районного центра, лету до которого пятнадцать или двадцать минут. Лететь надо завтра утром.

Как и где тут пригодился Рубцов, я не мог потом вспомнить. Трое мы и полетели в Усть-Кубену на весело трещащем, хотя и пропаще скрипящем самолетике.

Прилетели. Пошли искать товарища, который нас горячо зазывал. Нет нигде. Редактор местной газеты вытаращил на нас глаза: «Чего ж не предупредили? Где я вам возьму лодку?»

Сунулись еще в два-три места — везде отлуп. Или заняты, или прячутся от нас местные витии, наобещавшие с три короба. Записывал наш главный артельщик, ругается, бородой трясет. Время к обеду тянется, но мы еще воды-то не видели и вблизи. Как водится в Расее в таких крайних случаях, нашлась женщина, уже не молодая, грустная, когда-то учившаяся с Коротаевым в пединституте, и сказала, чтоб мы у нее пообедали, она тем временем чего-нибудь сообразит.

Отобедав, мы еще погуляли по Усть-Кубене, побывали в книжном магазинчике, с весны затопленном. В магазинчике все еще по пояс стояла вода и плавали в ней пачками связанные или развернутые книги, нарядные подписные издания, из золотой библиотеки «Детгиза», из серии мировой литературы «Худлита» и прочая, прочая. На пороге магазина сидела пожилая тетка, сморкаясь в передник, жаловалась нам на стихийное бедствие, на власти, на всех, кто под руку подвернется, но сама ничего не делала, ни одной книги наружу не вынесла.

Наконец-то разрешились вопросы нашей экспедиции. Женщина из редакции, набегавшись до упаду, велела нам идти к реке, где нас дожидается лодка.

На берегу, возле дощаной сплавщицкой лодки, нас ждал подросток и с пристальным интересом глядел на нас.

— Поэт! — догадался Коротаев. — Начинающий поэт?

— Да, — пропищал подросток. — Вам что, мама сказала?

— Мы сами догадливые, — буркнул в бороду Коротаев и начал объяснять человеку, где в Вологде находится Союз писателей и как там получить литературную консультацию. Коля тем временем наклонился ко мне для интимного разговора, из которого следовало заключение, что ни один уважающий себя человек на рыбалку без бутылки не ездит. Я сунул ему в руку деньги, и он отпраился вверх по пыльной дороге, на ходу вынимая из кармана неизменную принадлежность холостяка — мелко вязанную сетку.

— А где наш гений? — сердито вскинулся Коротаев и, узнав, куда я его отрядил, принялся сердито выхлестывать из лодки воду. — Ну будет нам рыбалка-придуралка, коли наш поэт достанет водки! Ты ведь взрослый человек и этого парнечка знаешь...

Я велел поэту прекратить болтовню и заняться копкой червей под приярком, заваленным мусором, щепой и назьмом. Червяка тут велось

пропасть, Коротаяев оживился, отпускал шуточки, руками разгребал благодатную почву, напревшую в крапиве и лопухах.

Тут и Коля явился, неся через плечо сетку, полную весело гремящих бутылок. Он был взбудоражен удачей своей и вознамерился немедленно открывать бутылок с каким-то редкостным вином российского производства, украшенным яркой наклейкой, на которой различалась прежде всего овощ — свекла и морковь; красочное обрамление этикетки состояло из ягод калины, рябины и смородины.

Коротаяев, нахально присвоивший себе роль командора, не дал нам разгуляться. «На месте, на месте порезвитесь», — сказал.

И мы, благословясь, поплыли по реке Кубене вниз по течению. Рубцов, нетерпеливо ерзая, за каждым поворотом требовал остановиться, уверял, что добычливей места не найти.

С озера Кубенского, куда впадает река Кубена, дул крепкий ветерок. В самом устье реки и на озере делать было нечего из-за волны. Километрах в трех от городка, возле крутого подмытого мыса, загораживающего уютный и глубокий омут, я велел командору учаливаться на травяном берегу, невдали от которого прореженной стенкой темнел иссеченный ветрами с озера ельник и кое-где разбродно росший обшарпанный, кривой, хромоногий на пригорки выскочивший соснячок. Ошетиленный можжевельник там и сям оживлял прибрежную картину, и, замочаленный льдом по весне и большой водой, измученно льнул к берегу вняк.

Здесь пасли скот, трава была по первому разу выедена, лишь местами пучком росла кое-где метличка да несъедобный, краснеть начавший коневник и разный бурьян нагло топорились всюду, но меж дурниной по земле приветливо расплескалась свежая, яркая зелень. Река сплавная, и повсюду было доплетна топляка. Я начал разводить огонь, Коротаяев же метнулся к воде, схватил кривую удочку, принесенную начинающим поэтом, принялся наживлять червяка и, нажививши, плюнул на него по старому обычаю. Коля, усевшись на бревно, скусывал с бутылки металлическую пробку, травил по поводу того, что напарник неправильно начинает рыбалку. Сперва надо выпить, закусить, потом уж, благословясь...

И в это время Коротаяев через голову метнул к нашим ногам крупную сорожину (плотву) и заорал, что вечер подходит, самый клев наступает, а мы чего делаем?

— Чего делам? Чего делаем? Дело делаем.

Костер разгорелся. Я расстелил свой плащ и на нем разместил закуску, расставил кружки. Витя все метал и метал на берег рыбину за рыбиной, взбудораженно ругался на нас и категорически отказался выпить.

— Ну, как хочешь, — прокричали мы в два голоса, — была бы честь предложена! — И, громко звякнув кружками, выпили по первой.

Вино оказалось сносное, хорошим теплом прошлось по нутру, и, чтоб нутро не забыло этакую приятность, мы налили по второй, затем и по третьей.

Хорошо мы выпили, хорошо поели, сидим с Колей, обнявшись, на бревне и во всю головушку орем: «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело...»

— Ну, была у волка одна песня, и ту отняли, — буркнул Коротаяев, явившийся к костру, а мы все свое: «Го-оре горькое-е-э...»

— Там же еще слова есть, солисты!

— Какие?

— Ну, например: «Ой, беда приключилась страшная, мы такой не знали вовек, как у нас, голова бесшабашная, застрелился чужой человек».

И мы с Колей охотно подхватили: «Ка-ак у нас, голова бесшабашная...»

Коротаяев плюнул, выругался и пошел к своей удочке. А мы с Колей все пели и пели. И хорошо нам было, ох как хорошо!

Кончилось все это тем, что я проснулся по одну сторону бревна, Коля неподвижно лежал, натянув на ухо курточку, по другую. Комары, вялые от утреннего холодка, кружились над нами, и я почувствовал, что все лицо мое горит, уши распухли, глаза превратились в набухшие щелки. Повеселился ночью комар, попиrowал над пирующим народом.

В тумане маячила отчужденная фигура рыбака, то и дело махающего удилицем. Костер почти потух, и вокруг него был полный разгром. Нас ограбили вороны, все, что можно было съесть и утащить, они съели и утащили. Сыто обвиснув на ветвях елей, сонно глядели вороны на побоище, и стоило мне пошевелиться, сесть на бревно, как вся опушка огласилась торжествующими криками: «Дураки! Дураки! Ох, какие дураки!..»

— Коля! — теребнул я за куртку сотоварища по пиру. — Ты слышишь, как вороны торжествуют?

— А чё это они?

— Попировали возле нас.

— Да ну? — подскочил Коля из-за бревна. Огляделся спросонья и покрутил головой: — Вот эт-то да-а!

— Ну, рыбаки, ёна мать! Живы ли?

— Живы-ы. А где ты был?

— Где был, где был? Рыбалил.

— Ну и рыбаль дальше. Имай два тайменя, один с хер, другой помене.

— Таймени здесь не водятся. Я сорок восемь штук добыл — окуней, сорожин и ершей.

— А где они?

Витя опомнился наконец, упал на землю с небес, схватившись за голову, вскричал, заикаясь:

— Со-сорок восемь... Со-сорок восемь...

Из сорока восьми пригодных для ухи рыбин мы собрали только четыре, да из лодки принес рыбак утренний улов, и я принялся варить уху. Соль и буханку хлеба вороны унести не смогли, хотя булку и поклевали изрядно. Еще мы нашли половину пачки сливочного масла и плавленый сырок, закатившийся под бревно. Тем временем взошло солнце, обогрело, вороны маленько успокоились, но со своих мест не слетали, *плануя* сверху, чем еще возле нас поживиться, что спереть возможно. Витя остервенело выхватывал рыбин из воды, Коля подносил их к бревну и, уложив рядком, обкладывал крапивой. Потом это занятие ему надоело; разоблачившись донага, он попробовал пяткой воду и со всего маху ухнул в реку, под удочку Коротаева. Тот было звереть начал, но потом махнул рукой, мол, все равно клев кончился, и тоже нагишом нырнул к барахтающемуся Коле.

Без восторга нельзя было смотреть, как два вологодских парня, да не парни, а уж мужики, по-ребячьи балуются в воде, ныряют, показывая мне заднее место, топят друг дружку, гоняются друг за другом и орут, орут, орут восторженно, счастливо.

К костру явились они усталые, утихшие. Я сказал, чтоб они не дрыгались, никуда не отходили, и пошел к воде ополоснуться хотя бы до пояса. Увы, легкие мои уже тогда не позволяли никаких вольностей на воде и на холоде.

От вчерашнего пира остались у нас с Колей две полные бутылки. Со-считав валяющийся вокруг порожняк, Витя крутанул головой:

— Н-ну, вы даете! — И снова категорически отказался с нами выпивать. Гуляка, говорун, гармонист, бабник, он в то же время был организованным человеком. Быт свой и себя содержал опрятно; когда переставал пить, тут его не сдвинуть с места. Но уж когда Коротаев загуляет — отворяй ворота ширше: всю Вологду обегает, аж штанины отстают, где-то отдельно от кривых ног трепыхаются, со всеми встречными-поперечными обнимается, женский пол перецеловать норовит, а у самого в бороде бол-

тается от селедки скелет. Это я увидел однажды у него в бороде рыбью кость и дразнил тем шкелетом. Он поначалу возмущался, но потом рукой махнул — мели, Емеля, тем паче сочинитель, твоя неделя.

И вот этот развеселый гуляка впал в трезвость, презирует нас, в разгильдяйстве обвиняет, в бесхозяйственности. А нам с Колей снова хорошо сделалось. Сидим, на белый свет глазеем, птичек слушаем, рекой лобуемся. Тихое блаженство вокруг, редкая дружеская минута с нами и благодать в нас. Хорошо откушав, Коля лежит на спине, травинку покусывает, в небо глядит, потом поднимается и молча уходит в направлении церкви, виднеющейся на нашем, левом, берегу. Церковь эта служит, потому и бела, и приветливо смотрится.

Я лежу на траве и вижу, как Коля неторопливо удаляется, забредает в старую заросль, сгустившуюся в отдалении. Вот лишь силуэт его смутно виден, вот в метелках травы-метлички лишь лысина его заблестела, вот уж и ничего не видно. Ушел вдаль, в зеленых растениях утоп поэт. Что-то несет он в сердце своем?

Витя, большой любитель покусывать, еще порылся ложкой в котле, поплевал рыбьими костями и отвалился под бревно на мной обогретое место. Когда-то и где-то приобрел он модную шляпу, этакую а-ля тироль, в пятнах и клетках, будто бы из кожи змеи анаконды сделанную, сверху по материи вроде как соплями измазанную. Он надевал ее редко, в исключительных случаях иль во время загула. И вот прикрыл он морду этой шляпкой, одна черная шамильская борода из-под нее видна. Однажды мы так его проняли этой бородой, что он взял и сбрил ее, и перед нами предстала личность круглая, сытая до блескучести, с дыркой на подбородке. Ну вылитый буфетчик с дореволюционного вокзала, и мы махнули рукой: «Лучше уж носи бороду».

И вот эта борода чернеет под шляпой, в волосьях бороды комары одиночные роются, норвят до уха иль до круглого носа поэта добраться, крови его попить, будто цензуры советской нету кровь-то нашу творческую пить. Я наконец вынул свои удочки из чехла, сложил любимую, бамбуковую, и вершинкой удилица попробовал согнать комара с уха поэта.

— Маленькой? — раздалось из-под шляпы.

— Я комара сгоняю с твоей трезвой морды.

— Скоко я их от вас, спящих хануриков, отогнал дымокуром и веником! От вас бы одни шкелеты остались.

— Ты — младший товарищ, ты в комсомоле состоял, в партию пробрался, обязан старшим и беспартийным товарищам завсегда помогать в беде, в нужде.

— Слушай, отвяжись, а...

— Отвяжись, отвяжись, у меня родина осталась за десять тыщ верст отсюда, душа по ней изболелась, я труд про рыбу сочиняю, устал как собака, а ты валяешься на родном берегу и со мной, сиротой, пообщаться моргуешь! Где твое партийное сознание?

— Про какую еще рыбину?

— Про такую. Царь-рыба называется. Не то что твои колючки ершовые да кости сорожки, которых ты, брехун, будто сорок восемь штук изловил, тут их во всем омуте полста штук велось, остальных я счас доловлю.

— Говорю те, сорок восемь вечер изловил, вы их воронам скормили.

— Мы были при деле. Веселились с поэтом Рубцовым, вот ты куда смотрел, трезвый-то?!

— Слушай, иди рыбаць, а? Отвяжись, ради Бога.

— И пойду, и пойду, и докажу тебе, что есть тут рыбехи покрупнее твоих ершов.

Сначала я впроводку, вдоль полосы прибрежной травы вел удочку и кормил червяков мелкой сорожонке, ершам да гальянам и так раздражил таящуюся в водяной мути шустрюю травянку-шучонку, что она, не выдер-

жав хищного характеру, метнулась за волочимой на крючке сорожонкой и напрочь оторвала всю мою снаряду.

Громко и крепко ругаясь, чтоб Коротаев слышал, я поносил и щучонку, и Кубену-реку, и всю Вологодчину, куда меня занесло прихотливыми ветрами судьбы.

Витя молчал, терпел, хотя был ярым патриотом своей, в общем-то, бедной и безобидной земли. Родом он из села Ковырино, что под Вологодой, рос и шаромыжничал вместе с пригородной шпаной; бывал бит и сам кого-то за компанию бивал, хотя по натуре совсем не драчлив; зорил птичьи гнезда и местные сады; за девками приухлестывал, ухажерил, когда-то выучился играть на баяне; затем поступил в местный пединститут, успешно закончил его и вместе с другом своим, ныне тоже покойным поэтом, Леонидом Беляевым, подался учительствовать в деревню.

Его мать, Александра Петровна, милейший и добрейший человек, с двумя парнями рано брошенная ветреным мужем, который жировал где-то на Кубани, была портниха, долго жила в Череповце и силы свои надрывала, чтобы поднять сыновей. «Двух лоботрясов», как называл себя и брата будущий поэт, объясняя свой ранний уход из дома тем, чтобы хоть немного освободить мать от тяжкого семейного гнета. От природы наделенный поэтическим даром, дружеской сердечностью, крепкой памятью и деловой хваткой, ценил он трудовую копейку, умел ее добыть и сберечь. Во всяком разе, никогда по чужим углам не скитался, ел свой хлеб, и выпивка у него велась. У него был довольно прямодушный характер, ну не без вологодского лукавства, конечно, и мужицкой хитрецы. Его среди писателей знали и любили многие. Любил его и я, был к нему дружески расположен.

После моего отъезда из Вологды, уже во время перестройки, Витя проявился как деловой человек, вел издательское и книготорговое дело, помогал, чем и как мог, местной литературе, издал впервые в стране двухтомник Николая Рубцова, поднял двоих детей, но однажды, где-то за компанию, хватанул паленой водки, у него случился тяжелый сердечный приступ — и на Руси не стало еще одного очень крепкого, очень этой земле нужного мужика и силу набравшего поэта.

Ну а пока он спит у ползатухшего костерка, который серым дымком льнет к нему, отжимая пусть и редких, но надоедливых комаров.

Я привязал большой, зацепистый крючок и грузило потяжелей к оборванной леске, наживил крепкого, крупного червяка, столкнул лодку и поплыл на середину омутка, разумно решив, что сейчас, под высоким уже солнцем, вся крупная рыба стоит в глубине, в сонной прохладе. Сплывая вниз по течению, я медленно и плавно подергивал донку. Не проплыл еще и десяти метров, как в глуби сильно дернуло, и я подсек крупного язя, кое-как поднял его наверх, дал глотнуть воздуху и, опьянелого, плашмя лежащего, подвел к лодке, ухватил за склизкую башку, и через мгновение он уже валялся на дне лодки, бунтарски бья хвостом, взбрызгивая воду, гремя банкой и стучась об весла и кривую удочку, оставленную Витей.

— Чё у тебя там, рыбак-босяк? — Коротаев снял с лица шляпу и поднял голову от костерка.

— Во чего! — показал я ему килограммового язя из лодки. — Путняя рыба парой ходит, не то что ты, охламон дикий, я счас попробую изловить второго.

— Ну-ну, дай Бог нашему теляти волка съесть. — Витя зевнул, глядя в сторону церкви, сияющей крестами под солнцем. — Вот убрел наш гений, нажрется тама, так нам будет и язь, и князь. Ладно, если явится, пусть и покочевряжится, как всегда пьяной, а не явится? Найщемся тогда, мне же вечером край надо быть в Вологде.

Витя, забыл я сказать, очень выразительно и кругло окал, хотя на Вологодчине окают далеко не все, а вот букву «р» не выговаривают во многих местах Вологодчины; в районах, ближе к архангельским, местные жители сильно цокают.

Витю я всегда слушал с веселым удовольствием.

Второй язь не ловился. Солнце припекало все сильнее, настойчивей. Я причалил лодку к берегу и пошел к табору. Витя устало сидел на бревне и почесывал грудь.

— Устал вот с вами, весельчаками, не выспался.

— Молодой еще парничок, успеешь выспаться,— успокоил я его.

— Ну где вот он, зараза? Плыть уже пора. Самолет в пять с чем-то.

— Не успеем на самолет, пешком пойдём.

— Толкуй с такими компаньонами!

— А чем те худы компаньёны? Гля, вон какого черта выволок из вологодского омута — всех твоих сорок восемь штук перетянет!

— Ну, попался на язык романисту! — проворчал Витя и снова сморенно лег за бревно, накрывшись фантастической шляпой.

— Слушай, поэт Коротаев, у тебя борода поразительно кавказская! К вам в Ковырино осетинцы иль черкесы не заворачивали случайно?

— В Ковырино не было и никогда не будет никакого интернационала! — заявил из-под шляпы поэт. — Акромя того Александра Петровна старорежимного характера, и ей одного любимого мужа да двух чад-разгильдяев в дому хватило по горло, тем паче, что один разгильдяй — поэт, второй — пожизненный теоретик-литературоед, мыслитель с философским уклоном, изготовившийся сидеть на тонкой шее мамы всю жизнь.

Я крикнул и начал пить через край котелка остывший чай, глядя в сторону церкви. И как исчез, так и появился-выплыл из береговых зарослей поэт Рубцов. Но только все было наоборот: сперва возникла и заблестела под солнцем молодая, умственная лысинка, затем лицо выявилось; вот поэт бредет уже по пояс в сияющих травах, кое-где росы не обронивших, вот в чертополохах весь означился. Не видно, чтоб его водило из стороны в сторону, чтоб качался он. По лицу поэта бродил отблеск солнца и улыбка, та самая, что появляется у него в минуты блаженства в левом уголке рта.

— Здорово ночевали! — сказал поэт Рубцов, перешагивая через бревно.

Обеда нас искрящимся, каким-то детски не замутненным взором, начал рассказывать, как хорошо погулял, угодил в церковь к концу службы, пение слышал, батюшка узнал его, причастил, и они с ним долго и хорошо говорили. Народ тоже, который узнавал поэта, кланялся ему.

— И знаете, ребята, — сам себе радуясь и удивляясь, сказал Коля, — у меня стихотворение пошло, запев, четыре строчки первые уже сложились.

— Ну-ко, ну-ко, — приподнявшись на локте, произнес Коротаев.

И Коля омытым голосом, озареньем сочинителя счастливый, прочел нам воздушно-легкие, непознанной одухотворенные далью, тайной рождения веющие строки. Прочел, замахал тонкой в кисти ручонкой:

— Ладно, ладно, это еще так, еще только-только начинается, дай Бог в этом настроении побыть, может, и сложится что, может, и сбудется. Ну, давайте собираться. Поплыли, поплыли!

Мы усадили Колю средь лодки на ящик из-под консервов. Витя сел на лопашни, я за кормовое весло. На прощание я погрозил воронам, густо обсевшим опушку и терпеливо ждущим, когда мы уплывем: «В другой раз, курвы, я с ружьем приеду!»

Всю дорогу в лодке и затем в самолете Рубцов отчужденно молчал. Я полагал, что в нем «идет», слагается стихотворение силы зрелой и светлой, судя по запеву, а то что-то начал он выдавать продукцию мрачную, порой непродышливо печальную, но ведь еще молод и как поэт, и как мужик. Последнее быстро осложняет течение его жизни, все бабы возле него как-то непутевые кружатся, пьющая кодла, редакционная текучка заедает. Служит он обозревателем литературы в молодежной газете «Вологодский комсомолец» и, как всегда ко всему, что касается литературы, в первую голову поэзии, относится добросовестно, исполняет обязанности высокопрофессионально, получая в месяц четыреста тогдашних, которые здесь же, в

редакции, оставляет на кону, поскольку редакция располагается в здании горкома, бывшей семинарии, здесь имеется богатый буфет, и затруднять себя хождением в лавку не приходится.

Увы, увы, я был с похмелья. Витя — не выпавшийся, мрачный, и мы не запомнили те начальные строки, верю я, выдающегося поэтического творения Рубцова.

Я все же понадеялся на Коротаяева — он хорошо знал и помнил не только себя и Рубцова, но и многих-многих, чаще всего современных поэтов. Коля же читал и пел больше себя, изредка, как бы делая одолжение слушателям, читал и пел обожаемого им Федора Тютчева. Витя часто читал живущего в вологодской деревне Бушуихе Олега Кванина, очень складного, очень ладного, из чисто народного родника золотинкою вымытого стихотворца: «За семь кур гармошка меняна, за осьмого петуха. Эх, залатаны, заклеены, разрисованы меха...»

Не могу не рассказать о трагической, нелепой гибели этого одареннейшего человека. Он работал пастухом в колхозе, был уже в годах, когда мы в вологодской организации решили его вместе с другими дарованиями принять в Союз писателей. Накопилось кандидатуры четыре, все мы отчего-то давно не встречались, не проводили собрания и вот решили, как всегда после дружного приема в писатели новых членов, отметить это дело в ресторане. Пошарили по небогатым своим карманам, пошарились в писательском сейфе, подкинули нам подачку с богатого партийного стола — и затеялось у нас застолье, на которое насели попутчики-журналисты, друзья-товарищи и просто графоманы. Город небольшой, добросердечный, все тут почти всех знают.

Загуляла Вологда! Тосты, приветствия, речи, дружеские объятия, поцелуи. Как без этого в российской компании? Да и подразмякли творческие силы, растворились от значительных чувств, растаяли, будто кусочек рафинада в теплой воде.

В стороне, на краюшке у стола, сидит трезвый, новый герой нашего коллектива, человек из народа и сам народ, газировку из прелых лимонов пьет, а когда ему вина подносят, отмахивается. И секретарь нашего союза, отец наш и воевода, редкостной души и доброты необъятной человек, Александр Романов обороняет свой новый кадр:

— Не приставайте к человеку. Он в «завязке».

Я рано ушел из компании, и народ поредел, воевода наш и заступник Александр Романов поднабрался, потерял бдительность, и кто-то все-таки осилил Олега Кванина, напоил и, на беду, его домой отпустил.

Человек давно не пил, от станции Бушуиха до деревни ему идти полями верст пять, ослабел, упал на пахоту, и лишь через несколько дней его нашли мертвого. Российская безалаберность, беспечность — подбериай, читатель, выражения покрепче, они есть в родном языке, — где же край твой, граница твоя? Жизнь плохо оберегает талантливых людей.

В назидание себе, вологодским ребятам, всем российским гулякам, то и дело погибающим иль нороящим поскорее сплавить себя на тот свет, расскажу маленькую историю обратного порядка.

Был я в Москве, в Доме творчества Переделкино, и после спектакля, по приглашению Михаила Александровича Ульянова, угодил к нему в гости. Сам Великий артист давно уже не принимал спиртного, угощать же как истинный хлебосольный сибиряк страсть как любит. С горя и печалей я никогда не искал утешений в вине, но ради друга, в компании дружеской мог набраться и до потери контроля. Наклюкался я и у Михаила Александровича, и, видать, крепко наклюкался. Ночь поздняя, четвертый час, я в Переделкино на такси ехать собираюсь, хозяин мой говорит, что сам меня отвезет. Я ему толкую, что площадь Пушкина рядом, там стоянка такси, и я, так сказать, своим ходом... Но Михаил Александрович ни в какую. Усадил меня в обшарпанный свой «жигуленок» и помчал по пус-

тынным улицам столицы за город. За городом его милицейские патрули цепляют, хотят узнать, что он будет играть в кино в ближайшее время. Один милиционер заметил, что попутчик у него пьяный. «Но не я же пьяный! — обрезал его артист. — Это дело попутчиково»...

Михаил Александрович не только довез меня до жилого корпуса, но и сидел в машине и следил за мной до тех пор, пока я не открыл входную дверь и не помахал ему рукою.

Должно быть, много на своем творческом и житейском веку пережил и перевидел человек российских трагедий и драм, вот и не хотел, чтобы случилась еще одна.

...Назавтра, после возвращения с Кубены, появились у нас в доме товарищи мои по рыбалке, умытые, побритые, веселые; говорят, карася моего и всех коротаевских ершей сварили. Тянут меня из дому, от стола норовят отъять.

Я им сказал, что мне работать надо, и спровадил их к жене на кухню. Оттуда долго до меня доносился хохот и говор.

Улучив момент, я за рукав втянул уже изрядно подвыпившего Коротаяева в кабинет и спросил, как стихотворение у Коли, пишется ли?

— Да откуда мне знать? Он же их в уме слагает и, как потом он говорит, записывает столбиком.

— А четверостишие начальное не помнишь?

— Не помню. А ты?

— И я не помню.

— Вот, т-твою, раствую! Но не бойсь, проспится, все сделает на высшем уровне. Уж больно зачин хорош...

Жизнь закрутила меня — заканчивал, а потом редактировал «Царь-рыбу», вымотался, заболел и, когда пришел в себя, поинтересовался у Коли, как дела обстоят с тем, кубенским, стихотворением. А он мне:

— Во мне их роится тьма. — Пьяненький был, бахвалился, чего трезвый никогда себе не позволял, бывал до застенчивости трогательно скромным, когда сочинялось и работалось, нежным, податливым становился, норовил к родственной душе прилепиться, чтобы послушали его, похвалили, обогрели ответной нежностью и любовью.

Еще и еще ловил я поэта с надоедным вопросом, к Коротаяеву приставал: напомни, мол, дружку о Кубене, помоги ему творчески восстать и написать то, «наше», стихотворение. Да куда там? И этот гулять горазд, свататься, жениться начал, отъединился на какое-то время ото всех. Медовый ему месяц приспел. Допыхался.

После гибели Николая Михайловича ни в записях, ни в полупустом чемодане, ни в бумагах не нашлось слышанного нами стихотворения. Даже и те начальные четыре строчки нигде не записаны.

Ах, молодость, молодость — звезда падучая, поэтическая судьба того падучей. И сколько же с судьбы той, будто с осеннего, нарядного древа, опадает листьев, сколько их кружит и уносит без следа шалым, слепым, жалости не знающим российским ветром?..

Кто сочтет...

УРОК

Не сразу, постепенно поэзия Николая Рубцова входила в каждый местный дом, и прежде всего в дома вологодских литераторов. Для того чтоб войти ей в большой дом России, надо было поэту умереть. Обычное для нас дело.

В литературных вологодских кругах у каждого писателя появилось «свое» рубцовское стихотворение. Чтобы не внести путаницы, не буду перечислять, кто чего читал рубцовское, но я читал и читаю «Вечерние стихи», Марья Семеновна своим небогатырским голосишком пела: «Отцветет

да поспеет на болоте морошка, вот и кончилось лето, мой друг...», и у нее славно, прочувствованно получалось именно это творение. Со смерти дочери она больше не поет, а молится по утрам за здоровье тех, кто жив, за упокой своих многочисленных родичей. Она не была истовой коммунисткой, почтала верующих отца и мать, против Бога никогда не выступала, и, я уверен, Он простит ей ее невольные прегрешения и всяческие нарушения святых канонов и заветов. Право же, она заслужила это своей праведной жизнью и хотя бы тем, что за жизнь свою не произнесла ни одного хульного слова против Бога.

Николай Михайлович среди других читал иногда стихотворение, еще без названия, о вечере, о Вологде-реке. Пока еще оно «плавало», в нем не было наполненности чувством, вроде как стержень отсутствовал, однако поэт не отставал от этого произведения, оно прикипело к нему, и однажды громко, почти с восторгом, сияя своими смородиновыми глазами, он прочел законченное поэтическое создание:

Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смиренность и тоску, —
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет, —
Я уплыву за Вологду-реку!

Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,
Так много лет — не больше чем знаком.

Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

.....

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други.
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все...

Вдоль по мосткам несется листьев ворох, —
Видать в окно и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

От самого Николая, от вологодских ребят я узнаю причудливую, пороссийски дурацкую историю сложения этого не только мною любимого стихотворения, но мною в особенности.

Распределивши всех вологодских писателей, как оседлых, так и приезжих, по квартирам, в том числе и холостых, незамужних либо в силу изги-

бов жизни овдовевших, руководство города решило пристроить под крышу и самого бесприютного, по городу скитающегося поэта Рубцова. Комната с подселением досталась ему за Вологдой-рекой. Николай этому обстоятельству несказанно обрадовался: плавать, мол, буду по реке — и стихи рекой потекут. Ан судьба-злодейка и тут взяла поэта на излом, и тут ему подсунула испытание, да еще какое!

Соседом по квартире оказался инструктор обкома партии, этакий типичный выдвигенец из низов в плотные непоколебимые партийные ряды. Колю, значит, ему соквартирантом подкинули.

Расставил свои небогатые мебели и хрустали партдеятель, похвальные грамоты приколотил, коврик, хотя и не персидский, повесил, за шесть двадцать в магазине «Уют» купил, не поскупился. Уютненко так все получилось, и для полноты радости квартирновладелец, недавний обитатель отдаленного района, решил познакомиться с тем, кого ему дали в придачу: слышал, что поэта, правда, пока ничего у него не читал и вообще на какую-то там поэзию у него не хватает времени, да и стишки он со школы запоминал туго; честно сказать, ни одного так и не запомнил до конца.

Поправил галстучек заречный новожитель и прямо в жилетке, по-свойски, по-домашнему отправился к поэту в гости. Тот пьяненький лежит на совершенно изувеченной раскладушке, в углу к стене прислонена старая икона, две-три связки книг, на полу стакан, явно «уведенный» из автомата с газировкой, недопитая бутылка вина. Большая бутылка с криво прицепленной наклейкой, и название на ней внушительное — «Мицное».

Более всего квартирновладельца поразил даже не поэт, но раскладушка, прогнутая почти до полу совсем невнушительным телом. Половина, если не больше, пружинок из раскладушки была вырвана с мясом и болталась по бокам, при шевелении издавая скорбящий звон. Почтенному гостю и в голову не могло прийти, сколь грандиозную работу выдержала эта раскладушка, нещадно эксплуатируемая как самим ее обладателем, так и сладострастниками-гостями, по темпераменту с которыми, хотя они и из северных народов происходят, сравниться могут разве что африканцы.

Гость робко представился поэту, тот плеснул в стакан какой-то горючей смеси и, сказав: «Ваше здоровье!» — хлопнул содержимое, не предложив, однако, гостю выпить.

В этих делах Коля был бит и натаскан, знал, кого надо угощать в расчете на ответное угощение. От этого хмыря в галстучке и в жилетке с пуговками хрен чего дождешься, этот явно не попутчик, и не контактировать им в дальнейшей жизни.

— Как же вы так? — несмело начал свою проповедь гость; ведь на то он и партдеятель, пусть и маленький, чтоб вразумлять людей, учить их правильно жить.

— Чего как?

— Да вот не прибрались, не устроились — и уже новоселье справляете, — смягчил гость упрек.

— А твое какое дело? Я не новоселье справляю, не пьянствую, я думаю.

— О чем же?

— А вот думаю, как воссоединить учение Ленина и Христа, а ты, мудака, мне мешаешь...

Не сразу партдеятель пришел в себя после тирады поэта, заикаться начал:

— Ды-да ка-ак вы можете? Я честный партийный работник, я...

— Запомни, рыло: честных партийных работников не бывает. Бывают только честные партийные дармоеды. И уходи отсюда на...

Разумеется, после такого диалога никакого милого соседства получить не могло. Партийный ярьжка накатал на Рубцова жалобы во все инстанции, и в Союз писателей тоже, с крутыми обвинениями соквартиран-

та в оскорблении партии, несоблюдении квартирного режима, словесной развязности, доходящей до нецензурных выражений.

Послание это в Союзе писателей было зачитано вслух, при скоплении народа нашим воеводой Романовым, и осмеяно, и обмыто. Однако ж воевода наш сам был партиец, его поволокли в самое красивое помещение города, где раньше размещалось Дворянское собрание, ныне обком, сделали соответствующее внушение.

Вернувшись из высокой партийной конторы с испорченным настроением, начальник писателей глянул строго на братию свою, хлопнул какой-то книжкой о стол и послал подвернувшееся под руку молодое дарование в магазин за вином, сказав отрешенно: «Без пол-литра тут не разобраться».

Народ был удален из творческого помещения, поэт-бунтарь и отец наш, слуга творческого народа, остались наедине — для конфиденциальной беседы.

О чем они беседовали, ни тот, ни другой нам не доложились.

Рубцов все реже и реже стал навещаться в свою келью за рекой, снова превратился в бесприютного бродяжку, ночевал у друзей, у знакомых бабенок, бывал, реденько правда, в доме у начинающей поэтессы Нелли Старичковой, работавшей медсестрой в местной больнице. К ней он относился с уважением, может быть, со скрытой нежностью. Здесь его не корили, не бранили, чаем поили, маленько подкармливали, если поэт был голоден, но бывать часто у Нелли, живущей с мамой, он стеснялся. Загнанность, скованность, стеснительность от вольной или невольной обязанности перед людьми — болезнь или пожизненная ушибленность каждого детдомовца, коли он не совсем бревно и не до конца одичал в этой разнообразной, нелегкой жизни.

Недосыпал поэт, недоедал, обносился, чувствовал себя неполноценным, от этого становился ершистей, вредней, гордыня ж стихотворца непомерна, как кто-то верно заметил.

Была у Рубцова любимая обитель для приюта — ресторан «Поплавок» на дебаркадере. Приют этот достоин некоторого внимания и пристального изображения.

Стоял дебаркадер на реке Вологде, ниже так называемой Золотухи, про Золотуху тут пелось: «Город Вологда — не город. Золотуха — не река», далее там непристойность идет — ныне неприличий на Руси столько, что я попушусь самой значительной частью напева, тем более, что Золотуха и в самом деле не река. Вал это, канава, вырытая во времена Ивана Грозного при строительстве здешнего уютного кремля и Софийского собора. В Золотуху вологжане сваливали все, что можно и невозможно. И все это добро выплывало в Вологду-реку. Двухэтажный дебаркадер стоял почти на окраине, в конце города, сама же река малопроточная, глубокая, в ней зимней порою без всякого затона и притона отстаивался местный флот, и его не мяло ледоходом, потому как никакого ледоходу тут и не происходило, лед просто истаивал, рассывался, исчезал, флот оказывался на плаву и дебаркадер на месте.

От берега к дебаркадеру из прогибающихся плах был сооружен широкий помост, поверх которого наброшены трапы, на корме дебаркадера кокетливо красовался деревянный нужник с четко означенными буквами: «М» и «Ж», который никогда не пустовал, потому как поблизости никаких сооружений общественной надобности не водилось.

С дебаркадера, в особенности с кормового сооружения, с головокружительной высоты любили нырять ребяташки. Разгребая перед собой нечистоты, вынесенные Золотухой, натуральное дерьмо, плавающее вокруг дебаркадера, плыли вдаль будущие граждане Страны Советов.

По набережной набиты широкие щиты с запрещением купаться. В газете «Красный север» почти еженедельно печатались устрашающие статьи

о вредности здешних вод. Но ничто не могло удержать мятежный вологодский люд от желания освежиться в водах родной реки.

Вот здесь-то, на втором этаже дебаркадера, располагалась забегаловка, называемая рестораном; и занавески на окнах тут были, несколько гераней с густо насованными в горшки окурками, горячее тут подавали и горчительное, это самое «кадуйское вино».

Большой мистификатор был Рубцов, по-современному говоря — травила. В его сочинении «кадуйское вино» звучит как бургундское иль, на худой конец, — кахетинское. А вино это варили в районном селе Кадуй еще с дореволюционных времен из калины, рябины и других растущих вокруг ягод. Настаивали вино в больших деревянных чанах, которые после революции мылись или нет — никто не знал. Во всяком разе, когда однажды, за неимением ничего другого, я проглотил полстакана этого зелья, оно остановилось у меня под грудью и никак не проваливалось ниже. Брюхо мое, почечуй мой и весь мир противились, не воспринимали такой диковинной настойки.

Но главной достопримечательностью «Поплавка» была все же его хозяйка и распорядительница Нинка. Блекленькое, с детства заморенное существо с простоквашно-кислыми глазками, излучавшими злое превосходство и неприязнь ко всем обретающимся вокруг нее людям и животным, она была упряма и настойчива в своем ответственном деле.

Из еды в «Поплавке» чаще всего подавались рассольник, напоминающий забортную жидкость реки Вологды, лепешку, называемую антрекотом, с горошком или щепоткой желтой капусты, сверху, в виде плевка, чем-то облитой, и мутно-розовый кисель с не промешанным в нем крахмалом, вглуби напоминающим обрывки глистов. Случалось, на закуску подавали две шпротины, кусочек селедки с зеленым лучком или на какой-то хирургической машинке тонко-тонко нарезанный сырок. Три кусочка, широко разбросанных по тарелке. Считать Нинка умела, но по экономическому соответствию далее трех счет в уме у нее не шел. Она таскала за собой старые, грязно обלאпанные счета, на которых косточки по проволочным поперечинам проталкивались большим усилием. И тем не менее Нинка, лютая воровка, изображала честность, считала каждому клиенту по отдельности, чего и сколько он съел и выпил. Протасив косточки по проволоке, она отворачивалась к окну и отчужденно роняла: «Руп семисят». А дебаркадер-то на реке стоит, по нему флот туда-сюда движется, народ все более поспешливый в «Поплавки» заходил: геологи, сплавщики, разные артельщики и просто колхозники иль северные зимогоры. Грамотеи геологи иль гидрологи, геофизики — разный грамотный народ — говорят Нинке:

— Нас десятеро, вот и возьми сразу семнадцать рублей да и отпусти нас с Богом.

— Н-нет, я точный шшот люблю, штабы без претензий, штабы не говорили, што обшшытала, — и мурыжила клиентов, мучила до психоза, получая от этого натуральное наслаждение.

Вот сюда-то, в это заведение, и любил захаживать поэт Николай Михайлович Рубцов. Сидит себе за столиком, подремывает иль стихи слагает. Дебаркадер покачивает на волнах, сотворенных мимо пробегающими катерами. А когда и пароход плицами зашлепает, машиной запыхтит. Пароход еще старых времен и назван в унисон работе Рубцова именем «Шевченко».

Превратившись сызнова в бродяжку из-за того, что квартиродержатель за речкой не терял надежды перевоспитать соквартиранта в духе учений великого мыслителя Маркса и приблизить к идеям коммунизма, Коля все чаще и чаще уплывал за Вологду-реку, ютился в ресторане «Поплавок». Переезжал он через реку на сооружении, напоминающем деревянное корыто, покрытое тесом, посреди которого торчала тонкая палочка, и на ней горела тусклая лампочка.

Я жил недалеко от пристани, и всякий раз, когда доводилось провожать Колю за реку, на этом углу, смиренном суденышке, и огонек постепенно тускнел, гаснул во мраке, исчезал в надмирном пространстве, мне хотелось отчего-то заплакать. Поэзия — дитя несказанное, рождаемое в муках, в озарении мало кому ведомом, из чувств настолько необъяснимых, что смешно делается, когда люди на школьных уроках иль в длиннющих статьях и монографиях доступно, как им кажется, объясняют Пушкина, разбирают Лермонтова, постигают Державина, заодно и поэтов далеких времен — Данте, Петрарку, Байрона, Шелли, Петефи иль Бёрнса.

Сам поэт объяснить не может, что тут к чему и откуда возникло, приметя тайну свою растолковывать, нагородит с три короба, сочинит что-то упрощенное, народу понятное, и чего ж тут учителку, даже многоначитанную, винить. У нее профессия такая: выявлять, доносить, разбирать...

И вот в один не очень погожий вечер, не сойдясь в идеях с соседом, переругавшись с ним в пух и прах, усталый, не выспавшийся поэт Рубцов, переплыв через Вологду-реку — отнюдь не на катере, а на допотопном сооружении, — прилепился в «Поплавке» за угловым столиком, покрытым пятнистой тряпкой, именуемой скатертью, заказал себе винца, антрекот, а поскольку ножа тут не выдавали, поковырял, поковырял вилкой антрекот этот самый, да и засунул его в рот целиком, долго жевал и достиг той спелости, что он проскочил через горло в неприхотливое брюхо и осел там теплым комочком. Чтобы смягчить ободранное антрекотом горло, Коля налил еще в стакашек и сопроводил закуску винцом, после чего облокотился на руку, да и задремал умиротворенно.

Приходил в «Поплавок» и уходил народ в плащах и телогрейках, в длинных сапогах и ботинках, с котомками и без котомок. Поэт все это движение замечал и отмечал своим тонким слухом, но потом вовсе погрузился в глубокую дрему, может, и в сон.

Нинку скребло по сердцу, ох как скребло! Не может она видеть и терпеть, чтоб во вверенном ей заведении спали за столом. Тут что, заезжий дом колхозника иль гостиница какая-нибудь? Бегала, фыркала, головой трясла Нинка, стул нарочно на пол уронила — не реагирует клиент. И тогда она кошкой подскочила к нему и со словами: «Спать сюда пришел?» — дернула его за рукав, за ту руку, на которую он щекой опирался. От редкого приятного сна на ладонь поэта высочилась сладкая, детская слюна, от неожиданности и расслабленности Коля тюкнулся носом в стол и мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку, да попал ей поддых — унижать много униженного бывшего подзаборника — занятие опрометчивое, по себе знаю.

Похватав ртом воздуху, Нинка огласила «Поплавок» визгом:

— О-оой, убили! О-оой, милиция!

Милиционеры чаще всего парю дежурили на пристани, но на тот момент их, слава Богу, на месте не оказалось, народ все больше геологического вида, в плащах, и здешний люд, знающий Рубцова, начал заступаться за поэта, кое-как успокоил Нинку. «Не убил же он тебя», — говорили добрые люди, кто-то добавил: «А надо бы». Увели поклонники поэта за свой стол, угостили, попросили почитать стихи и сами почитали, дойдя аж до Пушкина и Вийона. Ну, может, и читали Пушкина, а Вийона и не читали. Дивное звучное имя загадочного поэта помнил и вставил в стих Рубцов для экзотики и чтоб знали в столицах, что мы, провинциалы, тоже кой-чего читали и читаем.

Словом, все завершилось мирно и хорошо, только Нинка перестала после этого вечера пускать ненавистного клиента в «Поплавок».

Нынче уж нет на месте ни пристани, ни дебаркадера, ни «Поплавка», и где, кого сейчас обсчитывает Нинка, кому и где хамит, знать мне не дано.

Бог с ней, с бабой этой. Дело не в ней, дело в том, что буквально через несколько дней Коля задорно читал нам замечательное, не побоюсь

сказать, звездное стихотворение, в котором он преподал урок всем поэтам, читателям будущих времен, урок доброты, милосердия, сердечного, может, и святого освящения.

Поэзия не должна и не может быть злой, утверждает этим стихотворением поэт Рубцов.

Поглядите, каким грустным и ясным взором увидено здесь все, каким элегическим настроением, говоря старинным прекрасным слогом, овеяна каждая строка и все стихотворение в целом. И все в строку, все раздумчиво-складно, все звучит, льнет к сердцу и слуху. Простим поэту, что вместо злобной бабы Нинки трогательную Катю вставил, это имя хорошо тут рифмуется со словом «катер», возможно, он и любил это теплое имя, ну, восславил *бурдамагу*, назвав ее вином, да еще и кадуйским, ну, охваченный поэтическим восторгом, высветил тоску, бесприютность свою, корыто облагородил, и Вологду-реку восславил, и еще, и еще присочинил высокое, пронзив в очередной раз сердце русское, усталое и затверделое любовью к своей «тихой Родине».

Учитесь, соотечественники, у поэта Рубцова не проклинать жизнь, а облагораживать ее уже за то, что она вам подарена свыше и живете вы на прекрасной русской земле, среди хорошо Богом задуманных людей.

Я это говорю к тому, что в последние годы осатанение, охватившее Россию, проникло и в светлое окно поэзии. Ослепленные злостью люди пишут нескладные, лишенные чувства и нежности, облаивающие все и всех стихи.

И еще одна очень важная, отличительная особенность поэзии Рубцова. Когда он про себя писал «душа моя чиста» — это было истинной правдой, и белый лист его творений остался чистым. Как и всякий подзаборник-детдомовец, человек, послуживший на флоте, повкальывавший на советском производстве, побродивший по земле, пообретавшийся в общагах и разного рода «творческих кругах», он конечно же основательно знал блатнятину, арестантский и воровской сленг, но никогда и нигде вы в его стихах не найдете и отзвука словесного поганства, этой коросты, ныне покрывшей русский язык и оголтелое наше общество — и в первую голову разнузданную эстраду.

Блатнятиной пробавляются небритый, нарочито-неряшливый певец Шуфутинский, кумир молодежи Маша Распутина, одно время она наладила показывать публике свой кобылий зад, отдал дань блатнятине Розенбаум и почти все эстрадные дивы; популярные ансамбли, голоса на иностранный манер, волокут на публику всяческий тюремный срам, жеребятину или привлекают слушателя обезьяньими ужимками, раздеваясь на глазах многотысячного, восторженно вопящего зала, неприкрыто занимают онанизмом.

Недавно наше раздолбанное, само себя с мокрою солью пожирающее телевидение показывало по первой программе явно тюремную банду, соответственно разодетую и подогретую во главе с паханом, композитором, поэтом и певцом Гариком Сукачевым. Уж он дал так дал! Развязный, распоясанный, обвешанный дешевым золотишком, с золотым крестом на засаленной шее, с расстегнутыми обшлагами конечно же красной рубахи, стриженный конскими иль тюремными ножницами, когда не стригут, а ключьями выдергивают волосья на голове, с усами, выбритыми в ниточку на портово-кабацкий фасон иль под дореволюционного приказчика, чего он только не выделял перед соответствующей его искусству публикой: и курил, и плевался, только что не поблевал на сцену!

А ведь всей этой блатной оголтелости не форточку, не окно открыл, но стену проломил и впустил в наш дом погань не кто иной, как Владимир Семенович Высоцкий. Он, он, дорогуша, он, кумир современников, хрипел им о недостатках, о провалах нашей жизни и морали. Теперь, ког-

да публика насытилась напевом Высоцкого и сделалось возможно прочесть его всего, приумолкли восторженные вопли о страдальце-гении. Не был он никаким страдальцем, забубенной головушкой он был и забулдыгой, пьяницей и наркоманом, но при этом умел прекрасно играть на сцене и в кино, виртуозно владел гитарой и сгубил себя и свой талант сам.

А пахан Сукачев дубасит кулаком по гитаре, кривляется, ощерив нечищенный хищный рот, изрыгает какое-то на давней помойке собранное плесневелое барахло. Мы тоже пели этикие шедевры в детстве и юности, вышибая слезу у слабых сердцем девчонок и старух. Тогдашний альбомный шлягер: «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны...» — вспоминается ныне с улыбкой, но вот же с рыданием, с хрипатым блатным вывертом, всерьез выдает залежалый товар здоровенный дядя, и в школах, в вузах учившиеся, выросшие в стране с древней певческой и великой вокальной культурой сидят люди в зале и платочком вытирают сентиментальные слезы и сладкие сопли.

И все это поганство, повторяю, развело наше телевидение. Говорят, в штате его обретаются десятки тысяч человек, но взгляните на периферийные российские телепрограммы (они очень отличаются от столичных, как и вся наша периферийная жизнь) — там сплошные сериалы, повторы прошлогодних передач, азартные игры, да круглые сутки в окошке шаманят лохматые так называемые поэты, композиторы и певцы, которые только вчера с горшка сошли или из колонии для матерых головорезов вылезли.

Раньше хоть престарелые вожди часто умиралы, и в траурные дни звучала камерная музыка. Так во время похорон Клина Ворошилова я познакомился с Великим искусством Великого дирижера Герберта фон Караяна, а ныне вот жди, когда ГКЧП случится и покажут «Лебединое озеро» или чего-нибудь где-нибудь взорвут, а следовало бы подорвать хоть с одного угла Останкино, чтоб перетряхнуло там все до основания и шайку бездельников, всю эту трепливую шуштуру сменили достойные, работающие люди.

В журнале «Континент» я однажды прочитал дерзкую и умную статью талантливой поэтессы Марины Кудимовой, в которой она доказательно объясняла вредное влияние поэзии Высоцкого на нынешнее время, на молодежь и всякую востроухую, моде подверженную публику. Кудимова попутно подсоединила к Высоцкому и Есенина: они, мол, они двое возбудили и обслужили блатной сброд. Нет, у Есенина блатнятина, растленность в души вселяющая, занимает очень мало места, в основном он чистый, нежный поэт, как родничок, выбившийся из желтого песочка в основном бору. Благотворное влияние его на русскую поэзию есть и пребудет вечно. А хриплый голос, выразивший хрипкое, нездоровое время, уже не звучит повсеместно, и время его уйдет, как только будут ликвидированы недостатки нашей современной жизни.

Время поющего фелъетона и базарного рева, как свидетельствует жизнь, всегда было недолговечно. вспомните хотя бы бродячих певцов-вагантов — уж как были острозыбки и бойки ребята, но сделались лишь достоянием истории.

Был у меня случай на Высших литературных курсах, это еще в шестидесятых годах. Узнавши, что я не отказываюсь читать рукописи младших коллег, студенты ко мне, как к таборному дядьке, валом повалили с прозой, со стихами и даже драмами.

Однажды пришел славенький, светловолосый, на Есенина похожий парень, застенчиво попросил посмотреть тетрадочку со своими стихами.

Стихи были еще наивные, незрелые, с явно выраженной подражательностью кумиру и почти земляку его Сергею Есенину. Но была в стихах искра Божья, веяло от них молодостью, добрым миром, и славно уже звучала «тема женщины», для поэта всевечная, обязательная, что вступительный экзамен. И я приободрил молодого поэта, сказал ему добрые слова, удивив

его тем, что угадал — он влюблен, и заверил, что так оно и должно быть, поэту надо почаще влюбляться.

Через полгода примерно светлоголовый мой поэт явился в мою комнату мрачнее тучи и сердито сунул на мой стол в трубку свернутые стихи.

Божечки мои! Что произошло с человеком! Его возлюбленная встретила другого парня и, видимо, уяснив, что от поэта скоро не получишь ни молока, ни шерсти, вышла замуж за строителя с той же стройки, где работала маляром-штукатуром.

И чего мой поэт только не наговорил своей бывшей возлюбленной, какими словами он ее не клеймил, каких только кар для нее не придумал, даже нафталином осыпал и мешанкой обозвал, как героический Павка Корчагин девушку Тоню, в юности спасающую его, имевшую с ним пылкий роман.

— Ну-ка сядь на стул и послушай стих, который давно, давно сочинен, — сказал я поэту и начал читать завет и молитву великого поэта:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

...Когда дело дошло до заключительной строки «как дай вам Бог любимой быть другим», молодой поэт уж так низко опустил голову, так побелел, что и смотреть на него сделалось жалко.

— Боже, Боже, как мы одичали! — наконец прошептал он и тихо удалился от меня, в дверях лишь обернувшись: — Выкиньте все это барахло в мусорную корзину.

Он не стал большим поэтом, но выпустил несколько книжек лирических стихов, долго работал в столичном издательстве редактором и, верю я, не настраивал редактируемых им поэтов на зло.

В заключение для улады души повторю безраздельно любимого мной поэта Рубцова, строки из самого любимого мной стихотворения:

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

Поэты уходят от нас, как правило, несправедливо рано, на Руси часто трагично, но слово, сердце, озаренность жизнью, радость общения с людьми и природой, неиссякаемая доброта остаются с нами. Надо только почаще внимать поэтическому слову, впитывать его каждодневно, и тогда непременно мы станем лучше, чище, достойней и благородней.

НОВОСЕЛЬЕ

Прав, конечно, был Николай Михайлович Рубцов, когда говорил, что не бывает честных коммунистов, бывают только честные коммунистические дармоеды. Вон отродье это человеческое, доведя страну нашу до ручки, засело по углам, поджавши хвост, как бродячие псы, но, обнаружив, что с ними не поступают так же, как они поступали с теми, кто смел против них поднять хотя бы голос, воспряли и все сделали, чтобы сорвать перестройку в стране, снова заморочили наш всепопослушный народишко и благодаря этому, сколотив большинство в Госдуме, устроили там бардак, сорвали принятие всех важных и необходимых стране законов, прежде всего закона о земле, дружно проголосовали за материальные привилегии

себе, любимым, куражатся, кочевряжатся, устраивают драки на заседаниях, выставляют подлые свои морды напоказ, снова демонстрируя человеконенавистничество, безумность свою и куцемысле.

Однако ж бывали исключения и в этих горластых, самоуверенных и сытых рядах, сомкнутым строем идущих к коммунизму. Благодаря этим исключениям, пусть с большими расходами, можно сказать, варварским потреблением человеческих, природных и прочих ресурсов, все же чего-то воздвигали, тут же воздвигнутое починяли, латали; со скрипом, с авариями, с колоссальными потерями, разоряя деревню, построили советскую индустрию в городах. Тяжелую в основном индустрию, военную, стало быть, чтобы все в мире боялись чудовищного государства под звериным названием Эсэсэсэр.

Вот к таким редким исключениям принадлежал секретарь Вологодского обкома, ныне уже покойный, Анатолий Семенович Дрыгин. Мужик крупный, с тяжелым скуластым лицом и не менее тяжелым кулаком. В войну он командовал стрелковым полком, и полк его, будучи задействован в первой наступательной операции Красной Армии еще в 1941 году, освободил от фашистов древний русский город Елец. Был он конечно же не лишен спеси, самодурства, по крутости характера мог и ушибить больно того, кто становился ему поперек пути или кто наплевательски относился к порученному ответственному делу. Однако ж внимателен был к трудовому человеку, благоволил к интеллигенции, любил и берег одаренных людей. К примеру, всем писателям, нуждавшимся в жилье, по его распоряжению были выделены квартиры, хотя возможности Вологды, допустим, в сравнении с Пермью, из которой я переехал, были куда как невелики. В Вологду потянулись творческие люди со всех концов России, и здесь не сразу, но создалась самая крепкая и дружная российская писательская организация.

Где-то и как-то Анатолий Семенович находил время читать наши книжки, знал всех здешних писателей не только поименно. По его подсказке второй секретарь обкома, ведающий идеологией, раз в квартал встречался с писателями, и мы не на кухнях, не по закоулкам высказывали все, что на сердце накипело. Условие было одно — не приходиться на встречу в пьяном виде. Нарушил было это условие Рубцов, так воевода наш Романов и бюро писательской организации дали ему такого перцу, что в дальнейшем, идя на randevу с властью, он надевал чистую рубаху, и заметно было по пиджаку, что пытался его где-то погладить.

Любил Анатолий Семенович лично поприсутствовать в дружных гулянках творческих сил. У нас они бывали по случаю проведения отчетно-выборного собрания, нам даже помещение для этого дела подходящее выделяли и деньжонками подсобляли. И тогда уж мы весь товар лицом показывали, читали много стихов, пели песни, пускались в пляс. Витя Коротаев, заводила наш, колесил кривыми ногами, дробь давал и такие ковыринские коленца выделывал, что на зависть были бы самому ансамблю Моисеева. За ним бабенки наши с визгом пускались, не раз и моя Марья, не удержав порыву страсти, ныряла в веселый водоворот.

Однажды Анатолий Семенович попросил Рубцова, что сидел напротив него за столом, почитать стихи. Коля долго, много и хорошо читал. Был он в тот вечер в ударе, мало пил; послушав его, Дрыгин, опершись на руку, сочувственно и горько сказал:

— Все у тебя кресты, могилы, старики да старухи, а ведь ты еще молод. Что же там, в душе-то твоей, делается? Какая печаль-тоска тебя съедает? — И, помолчав за притихшим столом, спросил по-отечески ласково: — Может, я смогу тебе чем-то помочь? Слышал, с квартирой вот у тебя плохо...

Тут уж все мы разом заговорили, сообщили, что Коля подселен к партийному чиновнику, за рекой. Дрыгин усмехнулся:

— Не могли ничего лучше придумать, олухи! Будет тебе квартира, Рубцов, будет, в первом же доме, который на днях сдают, там тебя и поселят.

И поселили поэта Николая Рубцова на улице Александра Яшина, в светленькой, обалконенной однокомнатной квартире, куда новопоселенец привез мягкий диван, круглый стол и два стула. Мебель эту отыскиали в редакции молодежной газеты, новый же диван Коля как-то сподобился купить, да еще та знаменитая раскладушка привезена была им из-за реки, привезены так и не развязанные стопки книг, золотистая икона, кто говорил, от матери оставшаяся, кто говорил, подаренная художником, иль музеем, иль реставратором Федышиным.

Наш дом был неподалеку от улицы Яшина, в доме, где поселился Рубцов, размещалось почтовое отделение, и Марья Семеновна, почти ежедневно бывавшая на нем, говорила, что видела Колю, опять выпившего, опять взвинченно-веселого, беззаботно всем хвастающегося квартирой своей, забулдыг туда собирающего.

Захаживал он частенько и к нам. Однажды забрел с утра, глазенки сверкают что лампочки на новогодней елке, улыбка, в левом углу рта затаенная, так и рвется наружу, говорит громко, словно обмолотить всех норовит.

— Ты чего, Коля?

— А я деньги получил из Москвы — за книгу «Зеленые цветы».

— Много?

— Ой много!

— А ну покажи!

Коля полез за пазуху в карман всепогодного пальто, куда входил полностью, по горлышко, огнетушитель с дешевым вином, и вынул целую пачку денег. Сказав «ого-оо!», я взял эту пачку и сунул себе в карман. Коля растерялся, захохотывал, мол, понимает мои шутки и достойно расценивает их. Я покричал Марье Семеновне на кухню, чтоб она мне дала рюкзак побольше, сумку домашнюю, и объявил, что сейчас мы пойдем с Николаем Михайловичем покупать ему имущество для квартиры.

Помирать буду, но не забуду я этот день. Коля, как малое дитя, радостно, порой восторженно смеялся, перебирал ногами, потирал руки и все удивлялся, как много всего современному человеку надобно для нормальной жизни.

Начали мы покупки с двух комплектов постельного белья.

— А два-то зачем? — недоумевал Коля.

— Одну пару в стирку сдашь, на другой спать будешь.

— А-а.

Толкую ему и ворчу, что он, пролетарий советский, всю дорогу по общагам да по кораблям ошивался, кто-то его обстирывал, постель ему проворил, кормил, но теперь надо это все делать самому, иметь свое прибежище, заботиться о себе.

Первую партию товара — матрац, подушку, белье, скатерку на стол — затащили мы на пятый этаж и отправились в посудный магазин. На пути нам встречались знакомые Коли, манили за собой, но он проникся ответственностью момента и сурово отшивал корешей, многозначительно грозил пальцем, орал даже:

— Мы имущество с Петровичем приобретаем, и ушейся, не ставай на нашем пути.

В посудном магазине снова смех с провизгом:

— Петрович! Виктор Петрович! А кастрюли-то две зачем?

— Коля, ну ты и правда совсем без ума. В одной кастрюле суп варить будешь, в другой кашу.

— Я не люблю кашу. Она мне на флоте надоела.

— Вари картошку, вермишель, макароны.

— Картошку я очень даже обожаю, особенно в мундирах. Горяченькую вынешь, облупишь и — э-э! А вилок-то и ложек зачем столько?

— Ну четыре пары всего и половника два, вот еще сковородку купим, да кружек штуки три, стаканы-то ведь по пьянке побьете.

— Побьем, побьем. Не-э, я теперь никого к себе не пущу и имущество не позволю гробить.

— Вот видишь, и ты за ум собираешься взяться. Может, женишься со временем, найдется дура вроде моей Марьи.

— Нет, Марья Семеновна не дура. Уже вон сколько у вас имущества и вся квартира в порядке.

— Надеюсь, и у тебя со временем будет в доме порядок.

— Будет, вот клянусь тебе, вот бля буду...

— Ну-ну, посмотрим.

К вечеру Коля изнемог от восторга и полноты чувств; особую радость и умиление вызывала у него прекрасная штора вишневого цвета с радужной каймою, сделанная из вологодского холста. Он даже притих и попросил, чтобы самому нести сумку со шторой, прижимал ту сумку к груди и нет-нет да залазил в сумку рукою, пальцами щупал красивую вещь. Хотелось мне купить ковровую дорожку в тон шторе, но найти не смогли и купили домотканый половичок болотного цвета. На этом половичке впоследствии и задавила поэта роковая женщина.

В не очень-то удачливый день мы угодили за покупками, многого, что нужно в дом, не могли найти в магазинах. Нужно было одеяло, хотя бы байковое, но нигде нет одеял. Я позвонил Марье Семеновне, обсказал, как у нас идут дела, она порадовалась этим известиям и сказала, что найдет временный выход из положения, сошьет вместе два детских одеяльца, потом уж как-нибудь и настоящее одеяло Коля приобретет.

Последнее, что я решил купить и чем окончательно доконал поэта, — картину на стену.

— Ну это уж ты, Петрович, разошелся, это уж ты зря.

Но я не сдавался, был упорен, однако и тут нам не везло, не было ничего подходящего в магазине, тогда я решил купить бумажную репродукцию с картины Саврасова «Грачи прилетели». Стоила она вместе с рамой тринадцать рублей.

— Это же, это же, — соображал поэт, — это же три, даже четыре бутылки вина!

— На лопате говна! — обрезал я его. — На вот, купи бутылку водки — не бормотухи твоей любимой, а водки, обмоем с тобой обновы. Да хоть хлеба и селедки купи, рукавом я закусывать не умею.

— Избаловала тебя Марья Семеновна, ох избаловала! — покачал головой Коля, заворачивая в гастроном.

Дома мы наскоро прибили к стене «Грачей», повесили икону и пошли на кухню. Закусывали с тарелок, вилками цепляя куски селедки, чай пили из нового чайника, который, вскипев, засвистел, чем привел поэта в совершенный восторг. Денег еще оставалось порядочно, я наказывал Коле купить полку для книг, решетку для посуды, в ванную сиденье, мочалку, мыло, зубную щетку и пасту, совок, ведро для мусора, метлу, стиральный порошок. Он со мною утомленно соглашался, был послушливо смирен, радовался обустройству своему, говорил, что вот все прибудет, расставит, работать начнет.

На том мы и расстались.

Я улетел по делам в Москву и, когда вернулся, спросил у Вити Коротая насчет Коли.

— Гу-улет наш гений, — с огорчением сообщил Витя. — Все еще новоселье справляет. Нашел каких-то таких умельцев штору прибить, они ее прибьют так, что она ночь повисит, утром падает, они снова ее прицепят на место и обмывают такую победу.

Я пошел на улицу Яшина, поднялся на пятый этаж. Квартира, еще недавно свежая, сверкавшая белизной, была уже как бы подморена, полна

табачного дыма, в ней тяжело пахло, окна не сверкали, и на полу под окном валялась прикрепленная к деревянной гардине штора, скомканная и униженная в красоте своей.

Вокруг стола сидела разношерстная компания на стульях, на диване, на полу. Были тут уже законченные алкаши из журналистов, выгнанные из дому женами, два мастера по подвеске штор и прочего благоустройства, Феликс Федосеев, корреспондент Всесоюзного радио по Вологодской области, всем друг-товарищ и собутыльник, о чем-то разглагольствовал, еще какие-то типы. Один валялся на полу, лицом к стене, и спал безмятежно. Я заглянул на кухню: посуда, вся уже подкопченная газом, обсохла, повсюду разбросаны вилки и ложки. Осколки разбитых тарелок и банки свалены в раковину, стекла хрустят под ногами. В ванную я уже и не захотел заглядывать.

Компания при моем появлении азартно загалдела: «Петрович! Вот молодец, что пришел! Петрович, рюмаху с нами». Я огрел их кривым своим глазом, и гуляки умолкли. И пока я осматривался, изучал обстановку, гуляки настороженно следили за мной. Я молча повернулся и пошел из так быстро загаженного, сделавшегося неприятным жилья.

Следом за мной сорвался хозяин. На межэтажной площадке я обернулся. Коля стоял, опершись на брус лестницы, и, видел я, хотел меня окликнуть, да не смел.

— Что смотришь? — спросил я. — Все в мальчика играешь? Все придуриваешься? Ты же знаешь, что я артист похлеще тебя и мне все эти фокусы давно известны. Ты чего же это так варварски обращаешься со всем, что тебе Бог дал и дает? Ты чего дарованное-то Господом под ноги бросаешь, грязной обувью топчешь? Удаль свою хочешь доказать, забубенность? Так ты уже их с лихвой доказал...

Встретив меня вскоре в городе, Феликс Федосеев, скаля железные зубы, сообщил:

— Чего ты там такое Рубцову наговорил? Вернулся он, да как топнет в ярости на нас ногой: «А ну, бляди, прибивайте шторы, мойте посуду, пол и умейтесь к такой-то матери... Из-за вас, ханыг, погибает мой талант!»

Какое-то время Рубцова нигде не было видно и слышно. Как выяснилось потом, он плотно сидел за столом, плодотворно работал. Но все время над этой рано облысевшей головушкой вертелись какие-то злые ветры недоразумения, грехи вольные и невольные преследовали ее.

Снова появилась, теперь уже в новой квартире, его присуха, его маета и любовь грешная, погубительница Людмила Дербина. Женщина крупная, задастая, грудастая, конопатая, из тех, что волновали и влекли с виду тщедушного, но пылко го поэта, она ненасытной своей плотью, не зная усталости, тешила возлюбленного, наслаждаясь свободой в новой квартире, ничего там не моя, не убирая. И самое худое — попивала вместе с ним. Разика два парочка эта поэтическая появлялась у нас. Рыжая, крашенная, напористая подруга Николая, при которой он держался шумно, порой развязно, не поглянувшись Марье Семеновне, да и мне тоже. Жена моя попросила Рубцова не приходите к нам больше с пьяной женщиной, да и самому, если есть желание нас навещать, быть потрезвее.

О-о, беда, затем произошедшая, надвинулась не сразу. У нее было давнее начало и долгое продолжение, которое должно было всех нас насторожить и обеспокоить.

Семья наша сошлась и сдружилась с Николаем Михайловичем Рубцовым еще тогда, когда мы жили на первой квартире, о которой я потом долго тосковал и отчего-то по сю пору часто вижу ее во сне. У нас там были прекрасные соседи по площадке, престарелые муж с женой, но рядом, за стеною, жила молодая девка, работавшая проводницей вагона, она где-то раздобыла пленку с первыми, совсем хриплыми записями песен Высоцкого, часто собирала громкие компании и, распахнув окно, давала

возможность насладиться пением нового вокального дива всей улице. Никакие увещевания и угрозы милиции на восторженную вологодскую меломанку не действовали. Она матом обкладывала всех, кто не внимал ее миру, не дорос до понимания великого дарования.

Усталый, разбитый искусством, гремевшим всю ночь за тонкой стеной хрущевки, вышел я дохнуть воздухом, попутно купить молока и горячих пышек, которые продавались с голубой тележки на углу. Гляжу, сюда же, к тележке, плетется откуда-то Николай Рубцов. Бледный, с выступившими под носом и на лбу каплями пота, с непородисто заросшим лицом, со вставленными в темные ободья глазами. Вот-вот упадет. Я подхватил его под руку. «Ты что, заболел?» — спрашиваю. Он только слабо махнул рукой. С трудом уговорил его пойти к нам, помог подняться по лестнице. Марья Семеновна напоила гостя горячим молоком и сердечными каплями, уложила на диван, и он там проспал день, затем ночь, так тихо, не шевелясь, спал, что я подходил посмотреть — живой ли?

Прошло три дня, Николай начал приходить в себя после, как оказалось, провального запоя. Помылся, побрился, лежит, книжку почитывает, но тут примчался на машине нас все годы опекавший работник отдела культуры обкома и, как мы ни убеждали оставить человека в покое, умчал его к себе.

Я уже сообщал в начале этих страниц, что Рубцов не очень-то жаловал всякого рода чинов, тем более дистиллированную обстановку в доме и шибко интеллигентное обращение друг с другом, стало быть, и с ним тоже, вот и смотался быстренько куда-то.

Вскоре и появилась она. Николай Михайлович не любил показывать народу дам своего сердца и распространяться насчет интимных и прочих всяких дел тоже не любил. А эту, Людмилу-то Дербину, с которой свел его Литинститут, привел в Союз писателей, представил как поэта, таскал ее всюду за собой по мастерским художников, по домам, редакциям и квартирам.

Он даже помог организовать обсуждение сборника стихов Дербиной в Союзе писателей с целью рекомендовать его для издания в архангельском издательстве и сам выступил рецензентом.

При этом был, как всегда, когда дело касалось поэзии, строг, взыскателен и даже беспощаден. Стихи Дербина слагала уже крепкие, звучные, но были они неженственны, по-медвежьи косолапили и отдавали жестокостью.

У меня под руками ее очень сильный третий сборник — «Крушина». В раннем стихотворении «Люблю волков» есть такие строчки:

Люблю волков за их клыки во рту,
За то, что их никто уже не любит,
За то, что их так безрассудно губят,
Природы попирая правоту.

И заключение:

Вся грузная, бояться буду драки,
Я все ж оскалю острые клыки,
Когда за мной погонятся собаки.
Мои волчата! Вам несдобровать.
Но разве сдобровать дворовым сукам?!
Я глотки их успею перервать,
Пока меня по голове — обухом...
Когда ж с башкой, раздробленной в огне,
Лежать я буду, сотворя бесчинство,
Ну кто поймет, что вот сейчас во мне
Погублены любовь и материнство.

Или веще-зловещее предощущение в другом стихотворении:

Убийственно в яростном стрессе
Слепое движение рук...

Целый ряд подобных стихов был в той рукописи, и Рубцов категорически выступал против них, утверждал, что женщине не подобает писать стихи такого рода.

По жалости натуры склонный благоволять женщинам, я что-то возразил рецензенту. Но он, обычно благожелательно относившийся к тому, что я глаголю, на сей раз был непреклонен и суров.

Сборник, в общем-то, был одобрен. С замечаниями возвращен автору на доработку.

Но, увы, увидеть свет предстояло ему не скоро...

Я, да и не только я, все мы, вологодские писатели, как-то надолго выпустили из виду гулевую парочку поэтов, и лишь стороной долетали слухи о том, что они уж и драться начали. У Дербиной была девочка, собиравшаяся в школу. Женщина нашла себе работу, устроилась библиотекарем на торфяном участке. Здесь же, в полугнилом бараке, при библиотеке, была и комнатуха для жилья.

Лишившаяся дома и мужа по причине любви, Дербина устроилась на участке, что располагался верстах в пяти от Вологды, и облегченно вздохнула.

Но неугомонный кавалер достал ее и на торфе.

Ну, достал и достал, что тут поделаешь, коли такая привязанность у человека и обожание непомерное, всепоглощающее. И обожал бы иль сидел бы в барачной библиотеке, книжки читал, стихи записывал, так нет ведь, его скребла творческая жила по сердцу, не давала сидеть в укромном уголке, страсть нравоучения влекла к народу. В дырявых носках выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, доказывал, что лучше Тютчева никто стихов не писал и не напишет, декламировал, с пафосом, с выкриком, поэзию обожаемого им поэта.

Кончилось тем, что Дербина выставила своего обожателя вон, умоляла не приезжать больше, так как из-за него она может лишиться последнего скудного куска хлеба и пусть дырявой, но крыши над головой. Не внял поэт мольбам любимой дамы, иной раз пешком тащился по грязным болотным дорогам и торфяным рытвинам на манящие огни торфяного поселка. Возлюбленная его навесила на дверь крючок и однажды не пустила кавалера в свой дом. Он ее умолял, матом крыл, ничто не действовало, тогда он пошел под окно барака, двойные рамы которого, пыльные и перекошенные, не выставлялись со дня сотворения этого социалистического жилища, от досады сунул кулаком в окошко и вскрыл стеклами вены на руке.

Квартира моя располагалась как-то очень уж ловко — пристань рядом, парикмахерская рядом, Дом-музей Петра Великого, здесь же почта, магазин, скоро выяснится, и морг, и больница по соседству.

Иду я по набережной, навстречу мне едва живой тащится знакомый врач. Поздоровался я с ним и спрашиваю, чего он такой усталый-то? А он в ответ:

— Всю ночь вашего Рубцова, поэта, спасал, вены в кучу собирал, умудрился, дурак, поувечиться на торфоучастке, куда «скорая» пройти не может, тащили его, волокли до дороги-то, крови много потерял...

Днем меня не пустили к Рубцову, сказали, дня через два-три оклемается поэт, тогда и свидитесь. Я на денек слетал по вызову в Москву, на рынке купил свежайших пупыристых огурчиков, и, когда Коля явился на мой зов, мы сели на скамейку над рекой, я сунул ему три огурчика в здоровую руку со словами:

— На, попитайся витамином, может, поумнееешь.

— А я уже и так умный, — беспечно ответил поэт. — Стихи пишу, несколько штук уже написал. Хочешь, почитаю?

И он прочитал мне «Феропонтово», «Достоевский», «В минуту музыки печальной», «Философские стихи» — целое поэтическое откровение. Читал без юродства, без противного выпендрежа, юношески звенящим голосом.

— Ох, Коля, Коля! — сказал я со вздохом. — Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить?

— Теперь, поди-ко, долго, — задумчиво молвил он и оживился: — Огурчиками я мужиков угощу. Знаешь, какие мировые мужики со мной в палате лежат.

— Давай поправляйся скорее, на рыбалку поедем.

— На Низьму?

— Хочешь, так на Низьму.

Было дело в первое лето по приезде в Вологду, всей семьей подались мы на пристань с целью поехать на рыбалку, но куда именно, еще не знаем. Я прочел на расписании названия пристаней, и мне понравилось слово «Низьма». И только купили мы билеты, как дочь говорит:

— А вон дядя Коля из «Поплавка» выплывает.

Был Коля «на развязях»: судя по осунувшемуся лицу, потухшему взору, мокрой сигаре во рту, давно уж он не спал ладом, не ел. Я предложил Рубцову поехать с нами на речку Низьму. Ему, видать, было уж все равно, куда идти, куда ехать или плыть. Всю дорогу на верхней палубе катера, обдуваемый теплым ветерком, наш попутчик проспал и на речку Низьму прибыл уже взбодрившийся.

На пристани Низьмы, что оказалась небольшой, весело стоящей на крутом берегу дереvушкой, на длинной скамье сидели нарядные бабы и старушонки, голосисто вели: «Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви». У одной из этих баб мы за десятку взяли лодку напрокат и погребли вверх по течению. Речка была смиренная, сплошь по плесам и подбережьям заросшая водяной дурью, кое-где освеченная желтыми лампадами кувшинок и шибко засоренная лесом от весеннего сплава.

Отплыв километра на два от пристани, мы перевалили на другую сторону речки и отоборились на травянистом мыске, полого всунувшемся в реку. На нем было много плавника и хлама. Быстро развели огонь, и я принялся добывать рыбу на уху, дочь и Коля таскали хворост и коряжины на ночной костер. С ходу, с лету я не добыл уху, хотя рыба плескалась в речке густо. Шел тучею и падал на воду поденок, рыба нажралась и на моего червяка не хотела смотреть, на спиннинг я выдернул всего двух щурят в карандаш длиною.

Ужинали домашней снедью. Вина с собой мы не взяли, было лишь две или три бутылки пива. Коля молча выпил кружку пива и молча же, отчужденно чего-то поел. Он был расстроен тем, что дочь моя воструха уязвила его мужское достоинство. Заметив, что он тащит к огню веточки да палочки, заявила, что у него и силы-то никакой нету. Через большое время, уже в сумерках, поэт вскинулся:

— А-а, я все понял! Ты, Ира, когда шупала мою руку и говорила, мускул-то у меня нету, так это ты вату на пиджаке нащупала. Ты, видать, не знаешь, что в мужской пиджак на плечи подкладывают вату.

Я незаметно показал дочери кулак, и она согласилась насчет ваты, Коля оживился, начал смеяться, с охотой попил чаю с пряниками и даже покритиковал низьменских старух за то, что забыли они народные песни и орут черт-те какую киношную дребедень. Вечеру в речке начали пиратничать банды окуня. Были они тут опытные и хитрые, загоняли стайки малявок меж бревен, чаще всего туда, где бревна сходились клином, и выедали их. Пользуясь моментом, я подсовывал им мелкую блесну и скоро надергал на завтрашнюю уху рыбешки.

До наступления холодной ночи нас крепко чистил комар, да и чайку крепкого напильсь, но в поздний уже час, когда смолкли певуны за рекой, а на речке запели кулики, парами летая над водой с берега на берег, мы с Колей легли на плащ и укрылись пледом по одну сторону огонька, мать с дочерью по другую.

Я пробудился рано, надеясь на утренний клев. Коля сладко спал, подложив ладошку под щеку. Подживив огонек, я пошел вверх по реке со спиннингом и возвратился к табору, когда довольно уже высоко стояло солнце. Коли на стане не было, куда пошел — не сказал. Вольный человек, не привык давать отчет кому-либо в своих действиях, поступках и желаниях.

Возвратился Коля сияющий, неся в пригоршнях первые летние грибы, и начал хвастаться, как он лучше всех детдомовских ребят искал грибы, и сейчас вот раз — и нашел! Прямо у дороги. Никто не нашел, а он вот нашел и еще найдет.

Вернулись мы домой отдохнувшие, ближе познакомясь с вологодской природой и тихой речкой Низьмой. Коля, свежий, бодрый, сказал, что будет работать и мы еще как-нибудь соберемся в поход.

— На Низьму, Виктор Петрович, на Низьму. Сейчас там знаешь сколько грибов! — аж подпрыгивал на прибольничной скамейке Рубцов.

Я твердо обещал Коле поехать с ним на Низьму, но когда в конце недели пришел в больницу, его там уже не было. Пьяницы, кореша, литературные прихлебатели уманили, увели слабого человека из больницы. Лишь через несколько дней увидел я его среди гомонящей артельки, окружившей огромного роста и веса дядю. Был дядя лохмат, небрит, телогрейка на нем была надета прямо на голое тело, и по телу тому вилась, реяла, чертом прыгала, томительными, любовными изречениями исходила татуированная живопись. Коля грозил этому громиле рукой, обмотанной грязным, уже размахрившимся бинтом, кричал, что ему все *рокосовцы* в Вологде знакомы. Я спросил, в чем дело, мужик, с презрением глядевший на гомонящую вокруг мелкоту, покривил налимью губу:

— Да вот вишоныш этот, — кивнул он на Рубцова, — попросил спичек прикурить и давай те спички чиркать и бросать, чиркать и бросать... Он чё, от роду ударенный иль недавно заболел?

Коля взвился было, но я отобрал у него коробок со спичками, вернул его владельцу, попросил извинения у человека, который плюнул под ноги и пошел дальше. Коля ко мне с претензиями: не лезь, куда тебя не просят, мы бы этому хмырю таких п... навесили, что он бы месяц, может, и полгода красными соплями сморкался...

Хорошо, что громила был чем-то озабочен и куда-то устремлен, иначе он зашиб бы поэта и его окружение одним махом. Да что об этом толковать в пьяный кураж впавшему человеку.

Я ушел от драчливой компании и какое-то время нигде не встречал Николая. Он через общих знакомых заказал, чтоб я зашел к нему домой; повиниться захотел, решил я.

Дома были оба и трезвые. Коля сообщил мне, что они решили с Людмилой расписаться, хватит гулять-куролесить и всякой хреновиной заниматься, пора за ум браться.

— Пора. Конечно, пора. Когда сочтаетесь-то?

Они назвали число. Выходило через две недели после крещенских морозов.

В квартире по-прежнему царило запустение, изоженная, грязная посуда была свалена в ванную вместе с тарой от вина и пива. Там же кисли намыленные тряпки, шторы-задергушки на кухонном окне сорваны с веревочки, столы в пятнах от гасимых о них окурков и словно изглоданы по краям. Об эти края сбивались железные пробки с пивных и прочих бутылок. Постель на диване была нечиста, из неплотно прикрытого шкафа вывалилось белье, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи.

Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька иль мамка нужна вроде моей Марьи, да что поделывать, не у всякого жена Марья, а кому Бог даст. Коле Бог давал совсем ему не подходящих спутниц, в последнее время все чаще лахудр.

Ее, мою Марью, и считали Колиной женой во всей округе — так часто они сходились на почте, в хлебном магазине, в очереди в кулинарии или за молоком.

Ей, моей Марье, и суждено было первой узнать о трагедии, случившейся в квартире поэта Рубцова.

Умиравшая года три назад от энцефалита, пережившая множество страшных болезней, последствия которых не сломали ее, человека крепкой уральской рабочей породы, она с утра до вечера копошилась по дому, работала да печатала мои не куриной, а коршуньей лапой писанные рукописи.

С вечера она жаловалась на головную боль, на ногу, пораженную костным туберкулезом, и я настоял, чтобы утром она шла в больницу. И вот явилась, слышу — плачет, носищем своим выдающимся шмыгает! Ну, думаю, ей велено ложиться в больницу, а она, как всегда, не хочет туда — некогда ей, дети, муж, стирать надо, варить, рукопись не допечатана. Сейчас я пойду и дам ей выволочку. Решительно направился я в прихожую, там, опершись на косяк, Марья моя в три ручья заливается.

— Она убила его! — говорит.

— Кто? Кого убил? Когда? Зачем? — Спросонья ничего понять не могу.

— Она, эта женщина, убила Колю Рубцова... — Марья Семеновна упорно не называла Дербину по имени.

Я понял, что она вместо больницы подалась на почту — сдавать бандероли и письма, там ей сообщили о том, что ночью Рубцова убила его сожительница.

Так оно и было, только вместо слова «убила» стало обозначаться — «задушила».

Я взял из рук Марьи сумку с почтой и ни с того ни с сего принялся ее ругать за то, что она вместо больницы шляется черт знает где. Но скоро опомнился и позвонил Александру Романову, руководителю нашему. Он с испугу и от неожиданности лишился речи, скоро перезвонил мне, не веря в случившееся.

— Звони, Саша, в Москву, а я обзвоню наших ребят.

Скоро к нам пришли Саша Романов и Витя Коротаев, что делать, спрашивают. Я не знал, что делать. Дербина сама ушла в милицию в пять часов утра. Перед этим вымыла руки и пошла сдаваться. Убиенного увезли в морг, и я несмело предложил ребятам сходить туда, зачем — не ведал.

Морг-подвал был вкопан в берег реки Вологды, под яр навалена, насыпана была куча всякого мусора и спецпринадлежностей, проросших чернобыльником, сыплющим семя по грязному снегу. Ломаные носилки, гипсы, тряпье, черные бинты и даже криво сношенный протез рифленной подошвой торчал из гнилого сугроба. А в приделе морга, на деревянной скамейке, лежал черный труп, вознесший беспальные руки в небеса, и от него, несмотря на зиму, источался тяжелый запах. Ребята оробели: говорят — ты, мол, Виктор Петрович, старше нас, на фронте был, всего навиделся.

Да, навиделся. Никому не пожелаю того видеть, что зрил за жизнь свою. И началось мои памятные виденья в шестилетнем возрасте с такого же вот черного трупа моей мамы-утопленницы. Мне запретили на нее смотреть, но мальчишеское любопытство непобедимо, я глянул на утопленницу через забор и долго потом вскакивал ночами, орал. Бабушка отпаивала меня святой водой.

Я прошел в морг. Внутри он был не так ужасен, как снаружи. Мрамором отделанный зальчик был негусто заполнен носилками или топчанами с наброшенными на них простынями, под которыми угадывались тела упокоенных. Меня встретила пожилая пьяненькая тетка с бельмом на глазу — такие, на мой взгляд, особы и должны здесь хозяйничать. Тетка открыла было рот, но я сунул ей пятерку, и она запричитала:

— Вы к Коленьке, к Рубцову? Вот он, вот он, ангелочек наш, соловешко вологодский. — Приоткрыла простыню на крайнем топчане. Я попросил прибавить свету. Самое удивительное было в том, что Коля лежал

успокоенный, без гримасы на лице и без языка, который непременно вываливается у удавленников. Едва я не вскрикнул, заметив вместо гримасы привычную, хитроватую иль даже довольнехонькую улыбку в левом углу рта, словно бы Коля говорил ему: «Ну, оставайтесь, живите. А я отмаялся».

Горло Коли было исхвачано — выступили уже синие следы от ногтей, тонкая шея поэта истерзана, даже под подбородком ссадины, одно ухо надорвано. Любительница волков, озверевши, крепко потешилась над мужиком. Не знаю, правда или нет, будто соседи слышали иль в милиции убийца призналась, что Николай на мгновение вырвался из ее лап и успел сказать: «Люда, я же тебя люблю». Не помогло. Какая-то сатанинская сила, непонятная самой женщине, овладела ею, и она не смогла опомниться, остановить себя.

Да, он пришел пьяный, да, снова куражился над нею допоздна, бросал в нее горящие спички — чуть не полный коробок горелых спичек обнаружился на полу, — да, оскорблял ее и поносил. Ну встань, уйди, навсегда уйди или хотя бы на ночь. Нет, необъяснимая, тягостная сила накапливалась в ней не первый день, не один месяц. За столом напротив человек бросает в нее горящие спички, а она даже не отворачивалась, не чувствовала ожогов. Грозовая туча заполняла ее сердце и поднималась все выше и выше, темня рассудок.

...Но был безумец... Мною увлеченный,
Он видел бездну, знал, что погублю,
И все ж шагнул светло и обреченно
С последним словом: «Я тебя люблю!»

Пройдут годы после смерти поэта. Убийца отсидит в тюрьме, вернется на родину, в райцентр, и издаст в райгородишке Вельск сборник стихов под названием «Крушина». Книжку, заполненную сильными, трагически звучащими стихами, уникальнейшим материалом. Случалось, и прежде от насильственной смерти погибали поэты, бывало, женщины их отравляли, кололи, стреляли, но чтобы руками, живыми руками женщина удушила мужчину, поэта поэт (а «Крушина» — убедительное свидетельство тому, что Людмила Дербина — поэт даровитый), оттого все выглядит еще трагичней. В бремени своем носящая непомерно тяжкий груз, душу, в пепел сгораемую на медленном огне, тоску, раскаяние, любовь неугасимую, презрение людское, ненависть и много-много еще такого, чего никому не дано пережить и осознать.

Главное и самое болезненное, о чем свидетельствуют стихи Людмилы Дербиной, — она любила, любит и не перестает любить так чудовищно погубленного ею человека. Вот эту-то тайну как понять? Как объяснить? Каяться? Но вся книга и есть раскаяние, самобичевание, непроходящая боль и мука, вечная мука. Было бы, наверное, легче наложить на себя руки и отрешиться разом ото всего. Но Бог велит этой женщине до дна испить чашу страдания, до конца отмучиться за тот тягчайший грех, который она сотворила, до могилы пронести крест, который она сама на себя взвалила.

Человеческие сплетения судеб, что вы есть-то? Кто же, когда прочтет, разгадает, объяснит? О Господи! Прости всех нас за грехи наши тяжкие и не забудь про ту всеми на земле гонимую женщину, наедине живущую в глухой, болотистой Вологодчине, ставшую уже бабушкой, не оставляй ее вовсе без призора. Ты милосерд. Ты все и всех понимаешь. Нам же, с нашим незрелым разумом, этой неслыханной трагедии людской не понять, не объяснить, даже не отмолить. Мы — никудышные судьи, все судим не по закону Всевышнего, а по Кодексу РСФСР, сотворенному еще безбожниками коммунистами. Нам не дано над злобой своей подняться.

Поэт поэта если не поймет, то хотя бы почувствует ближе, чем кто-либо другой. Вот что написал красноярский поэт Владлен Белкин, прочитав сборник стихов «Крушина»:

Не просто посетила смерть
 Одну из вологодских улиц...
 Там две вселенные столкнулись —
 И гулко содрогнулась твердь!

А дальше тьма. А дальше — дно.
 Ни утешенья. Ни прощенья.
 Но стало житие одно
 Двух скорбных жизней продолженьем...

Я в бездну глаз ее смотрю —
 И то горю, то леденю,
 Склоняя низко перед нею
 Седую голову свою.

Я сейчас не в силах описать подробно многое из того, что знаю о поэте Рубцове, в частности, все следующие после его гибели дни и события. Хоронить поэта Рубцова не в чем было. По пятерке, по десятке собирали писатели, журналисты, художники. Хорошо, что я перед теми страшными днями получил из «Роман-газеты» гонорар. Он пригодился.

Хоронили Рубцова в крещенские морозы. И все вспоминали очень часто его вещее предсказание: «Я умру в крещенские морозы». Власти вроде бы не замечали трагедии, случившейся в Вологде, однако стукачей на панихиду в Дом художников наслали. Но у гроба поэта все говорили всё, не обращая внимания на то, что соглядатаи и стукачи толклись вокруг. Многие ребята просто плакали, склонив головы над гробом. Народу на кладбище собралось изрядно. Похороны и поминки проходили будто в полусне.

Задолго до гибели Рубцова подобные похороны достоверно описал пермский поэт Алексей Решетов:

Девчата с железным венком.
 Фотограф с притворной тоскою,
 На скорую руку завком
 Хоронит газетчика Колю.

Ни матери нет, ни отца,
 Ни музыки нет, ни молитвы.
 Типичная гибель бойца
 На поле решающей битвы.

Печальной кучкой друзья
 Собрались в столовой на рынке.
 Дешевая водка, кутя —
 Не первые в жизни поминки.

Нас ангелы плохо хранят,
 А сколько кровавых ристалищ...
 Все чаще под утро звонят,
 Что умер хороший товарищ.

На похороны поэта из Москвы приехал тихий и больной человек, тоже поэт — Борис Примеров. Да парень из города Горького, фамилию которого я запомнил, кажется Сизов. С ними Рубцов учился в Литинституте. Друзья, объявившиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставляющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг.

Самой горькой и одинокой была на похоронах жена Николая Рубцова, мать его дочери, Гета Менщикова, приехавшая из деревни Николы. Она тихо плакала, сидючи в стороне, и так же незаметно возвратилась домой вдовой.

На поминках мужики перепились, и я тоже, вели себя неподобающе, и я тоже, ревели, шумели, пытались высказываться, рвать на себе рубахи и от стыда, не иначе, сразу после похорон слиняли, разбежались по своим углам, разъехались по деревням и долго-долго не сходились вместе.

С тех пор и началась отчужденность, затем и разобщение в нашей славной, братски объединенной организации. Воевода наш, руководитель организации, страстотерпец и друг наш Александр Романов, ныне тоже уже покойный, взмолился, просясь в отставку. Начали часто меняться секретари, но уж ни одного не оказалось Романову соответствующим, никто не мог прочно занять за многие годы им обогрето место.

Тогда-то вот, от тоски-печали и несносной сырой погоды, появилась у меня мысль вернуться на Родину. Меня давно уж туда тянуло, приглашали, звали родственники и власти, пусть не громко, но явно давали веху. Наибольшее старание, множество хлопот с переездом проявил Борис Васильевич Гуськов, тогдашний заведующий отделом культуры крайкома. Спасибо ему за это. И низкий поклон вологжанам за то, что на десять лет приютили они меня с семьей, сердечно обогрели, дали возможность плодотворно работать, наградили дружбой, иногда делились последним куском хлеба.

Я старался отвечать им тем же.

Пройдут годы. Посмертная слава поэта Рубцова будет на Руси повсеместная, пусть и не очень громкая. Найдется у вологодского поэта много друзей, биографов и поклонников. Они начнут превращать Николая Рубцова в херувима, возносить его до небес, издадут роскошно книги поэта. Не мечталось Рубцову такое отношение к себе при жизни. Все чаще и чаще станут называть Николая Рубцова великим, иногда и гениальным поэтом. Да, в таких стихах, как: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Видение на холме», «Добрый Филя», «Шумит Катунь», «Прощальное», «Вечерние стихи», «В гостях», «Философские стихи» и в последнем, в чемодане найденном, откровении века: «Село стоит на правом берегу» — он почти восходит до гениальности. Но все же лучшие стихи поэта говорят об огромных, не реализованных возможностях. Он уже пробовал себя в прозе, он приближался к Богу, реденько и потаенно ходил в церковь, застенчиво молился.

Душа его жаждала просветления, жизнь — успокоения. Но она, жизнь, повторюсь, плохо доглядывает талантливых людей. И Господь, наградив человека дарованием, как бы мучает, испытует его этим. И чем больше оно, дарование, тем большие муки и метания человека.

Есть у известного современного скульптора изваянная фигура Сергия Радонежского, установленная на зеленом холме среди зеленой поляны возле Сергиева Посада. В середине фигуры святого не зародышем, но смиренным ангелочком таится маленький, чистый мальчик.

Эту идею шибко ныне плодovitый и патриотичный скульптор скомуниздил у древних ваятелей, перенес со старых православных икон. И Бог с ним, всяк живет и творит как может.

Вот и в поэте Николае Рубцове помещался этот светлый, непорочный ангелочек, оберегал его от многих пороков, удерживал от совсем уж поганных и безрассудных поступков, но не всегда справлялся со своей задачей. Однажды ангелочек-хранитель упорхнул куда-то, может, в голубые небеса подался — почистить крылышки от скверны нашей жизни, от экологической грязи, и тот архаровец, детдомовский удалец, взял верх над метущейся, ранимой душой поэта, подтолкнул его к гибельной черте, на краю которой он бывал уже не раз.

Свершилась еще одна трагедия в русской литературе, убыла и обеднела жизнь на Руси, умолкнул, так и не набравший своей высоты, пронзительно русский национальный певец.

«Постойте! Поплачем!» — говорил древний арабский поэт много веков назад. Давайте последуем его призыву.

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН

*

ИЗ ЗАПИСОК БУМАЖНОГО ЗМЕЯ

Из доступных человеку разновидностей счастья первые три — любовь, творчество и путешествия.

Собирая свои записки, я провел в путешествиях и разъездах чистого времени примерно восемь лет (в эту публикацию вместился из них, по моим прикидкам, год с хвостиком).

Тут они сгущены вроде того, как на Апшероне сгущают гранатовый сок, — временами до плотности стихов. Но и в остальном это вряд ли проза.

Мне б хотелось, чтобы читающий совершил свое путешествие вслед за мной. И если даже не отведал туземных блюд, то почувал их щекоцущий ноздри запах.

14 ноября 1999.

Архангельские листки

1

Порт Экономия... Фактория... Архангельск...
(я лепечу)
архангел пароходов...

Бесцветная зрячая ночь,
похожая на день незрячий.

Парадный проспект от вокзала до набережной прогулок,
где в саду у почтамта
ископаемый танк,
прародитель английский всех монстров:
уролина мертвая
стала добычей детей.

2

В стороне от нарядных трамваев
поленницы дров
за старьем деревянных домов,
отопление печное,
и дощатые палубы мостовых
звучат под ногами, как бубен громадный,
сохранивший
ритм изначальный шагов
рыбаков, корабелов, матросов.

3

Место,
где, не закончив творенья,
плохо разобраны воды и тверди.

Рыжий саксофонист,
от башлей уплыв ресторанных
в острова,
песню тощую выдувает в охотку.
И черно-пестрой мелодией через кусты
к нему с островков, пораскиданных в дельте,
выходят коровы,
в чьих утробах проснулся забытый пастуший рожок.

4

Желтый день, каких тут не бывает,

вытекший вдруг из разбитого лета,
выгнал жителей
на самую бесконечную набережную в мире,

где пароходы, яхты
и золотой старательский песок пляжа,
который женщины отряхивают с розовых ступней,
выходя на нагретые камни.

Корабельные надстройки яхт-клуба.
В резном доме заводчика устроилась библиотека.
Каменные зевы лабазов и складов, торговавших прежде по морю
до самой Европы.
Репродукторы репетируют флотские марши.

Женщины в блузках.
Катят коляски,
поглядывая на морячков, вернувшихся из загранки.
Одиночки, семьи, подростки.
Какие-то немцы.

«Прогуляемся до партархива?..»
«Вечером джаз у морячков».
«Два лесовоза стали вчера под погрузку».
«Модные шмотки. В порту их всегда можно достать».
«Лучше на танцы».

Плечи девушек тронуты солнцем,
кроме полосок бретелек.
Мальчишки купаются.
Духовые флотские марши.

5

По ночам
с середины реки доносятся стоны землечерпалки:
так могли бы кричать
портальные краны, совокупляясь.
Там углубляют фарватер.

6

Ветер переменялся.

7

На Соловках моросит,
подмокший народ, возвращаясь от Переговорного камня,
забредает в часовню,
где с печью для обжига глины обосновался
неофит ленинградский в юной бородке,
обладатель патента.
Он лепит свои безделушки, их обжигает,
проповедует тихо
и в храме торгует.

В келье,
крашенной кое-как под общежитье,
ходит в коротких подтяжках
председатель архипелага.
Закипает картошка на плитке.
Он развивает мечту,
как заберет под стекло творенье усердных монахов,
а пока
о прокладке канализации и водопровода.

За стеной, в келье номер 12,
практикантки из ПТУ в расстегнутых блузках
на коленях у взрослых друзей.
Где-то водки достали,
малолетки.
Неприятности будут у мэра.

8

Отход в 17.30.

Пароход,
приседая кормой в мрачном море,
перевозит латышских туристов.

Бар-салон наполняет
прибалтийский чудесный акцент,
округлый, как легкий янтарь.
Глубокие кресла в сигаретном дымке.

Мальчишка-бармен,
накрахмаленный и элегантный, как птица,
беспрерывно готовит благоухающий кофе,
весь секрет которого в контрабандных зернах,
а также
мешает тошнотворные коктейли без алкоголя,
гордясь ими страшно,
ибо автор рецепта.
Латыши их в соломинки тянут,
наблюдая,
как море всплывает и тонет за бесконечным окном:
они любят растрепанной, волокнистой
линией горизонта,
в которой запутались чайки.

Снова смена погоды.
 Новенькое солнце
 скатилось с берега, оставив чернеть шеи кранов Солóмбалы.
 Набережная ушла в золотое море,
 и рыболовы, используя отлив, воруют его на блесну.
 В жирном золоте бликов
 пара крошечных черных буксиров тянет плот,
 точно крышку сдвигает с реки.
 Яхта чертит желтое небо острым крылом.
 Паруса и веревки.
 На тот берег пыхтит,
 расталкивая розовый сироп, паровой катерок
 с самоварной трубой,
 быть может, еще со времен Макарова-пароходчика
 везет пассажиров.

Sic transit...

Архангельск.
 Июль 1987.

Мотогонки в Пирите

Я и не предполагал, сколь спортолюбив скуповатый на эмоции Таллин.

В день мотогонок, еще с утра, в машинах, автобусах и на мотоциклах, он схлынул в Пириту едва ли не весь, целиком.

И мне, пробудившемуся поздно, оставалось лишь бродить одиноко по обнаженному каменистому городскому дну. Где меня подобрал случившийся на счастье рейсовый ковчег, окутанный голубоватой гарью.

Автобус не дошел до места, уткнувшись головой в канат, перетянутый поперек шоссе по случаю гонок. Дальше я побрел пешком.

Заезды кончались. Оставалось с дюжину кругов, три последних экипажа.

У ножевого финишного зигзага, острого, как бычий рог, толпилась кучка поздних зрителей.

С ревом проносились мотоциклеты.

Трепали, дымились и надрывались их могучие движки. Трепетали переполненные бензином и страхом сердца. Гонщики распластывались на своих машинах и перекатывались в люльки, стремясь уравновесить прыжки и броски быка собственными телами.

У острого конца рога грудились под деревьями бумажные мешки с песком, призванные на лишнюю секунду задержать души вылетевших из седла гонщиков в их телах.

Гонки можно было не только смотреть, но и слушать.

За отгородившими шоссе деревянными щитами, по ту сторону пальбы и треска, вдоль него, не видя проносящихся с воем никелированных снарядов, шли и шли под деревьями толпы с пиритского пляжа и на пиритский пляж.

Шли девушки, кто в купальниках, кто в легких платьях, сквозь которые их вобравшие зной тела излучали такой жар, что у встречных вспыхивали щеки.

Шли мужчины с гроздьями висящих в пальцах темных пивных бутлок.

Надрывались, стреляли дымом и заходились в предсмертной тоске моторы, летели навстречу мешкам с песком невидимые мотоциклы за дощатой стеной.

Шли, шли и шли по песчаной дорожке ноги в сандалиях, босоножках, кедах и пляжных шлепанцах.

Под перекинутыми через лодочную заводь мостками пьяная старуха с нарочитой бережностью полоскала собранные по берегу порожные бутылки.

С залива тянулись яхты, шарами раздувая разноцветные паруса.

Шашлычники палили свои мангалы.

К ним тянулись терпеливые очереди купальщиков с развернутыми на время ожидания гармошками газет.

Издаലെка, проскакывая через стволы сосновой рошицы, как металлические шарикн через шпеньки игрального автомата, слабо доносились хлопкн и рокот раскаленных мотоциклетов. Наверное, завершался последний круг.

Море лежало. Тысячи загорелых женских ног топтали тончайший песок.

Тысячи женских рук взлетали к волосам — задул ветер. И волосы улетали от женских лиц и не могли улететь, как листва с деревьев.

10 августа 1975.

Бегство на океан

Фрагменты путешествия

*

Лето в Москве хотело еще продолжаться,
но истощилось уже.

И август болел золотухой.

С чемоданом и сумкой, тянувшей плечо,
я очутился в кочующей стае, облепившей аэропорт.

Беженцы с теплого юга

с разноцветной курортной поклажей,

с детьми, уже покрытыми пылью сверху загара,

и с фруктами нежными в дырчатых клетках, где им суждено задохнуться,

в кресла вселились,

пили из термосов чай на полу,

дни коротали в очередях за газетой и вареными курами «Аэрофлота»,

а по ночам жгли костры

в роше соседней, обступившей железнодорожную ветку.

И не могли улететь.

Взрослые были бессильны.

Дети ныли.

Аэропорт захлебнулся багажом, пассажирами, почтой.

И я,

захлопнувший дверь за собой всего лишь в каком-нибудь часе езды,

сразу тут обездомел,

затерялся и слился с толпой,

как это бывает на вокзалах, в больницах и очередях

с любимым,

и в жабры вобрал уже транспортный скудный уют.

Но где-то
за загородкой невзрачной,
в неведомой книге, испещренной пометками и растрепанной
от перелистываний,
был заложен ничтожный листок,
продиктованный кем-то, слегка превратившим фамилию, по телефону.
На рассвете
чудесный листок
помог мне пройти через зал,
где спали, жили в очередях и водой поили детей,
выйти на воздух,
вдохнуть керосиновый ветер летного поля
и взойти
по колеблющимся ступеням
в большой самолет,
улетавший далеко на восток.

*

У нанайцев коричневые косые скулы.

Лица помягче, чем у живущих южнее монголов, и похожи на обкатанные водой морщинистые валуны.

Их всего тысяч десять.

Рыбаков, охотников и людей обыкновенных профессий, разнесенных течением вниз по реке, до Сахалина.

Человек по сто, по триста в селении.

Больше всего — в «национальном» районе, отведенном на правом, холмистом берегу Амура.

С центром в Троицком.

Удивительно быть гостем нанайской столицы.

Булыжная главная площадь.

Дощатые посеребренные от времени настилы тротуаров на прочих улицах, опоясавших холм.

Так, что издали кажется: весь он в строительных лесах, только рабочие много лет уже как разбежались.

Пристань в виде плавучего дома с галерейками на деревянных колоннах.

Точь-в-точь ресторан-поплавок на московской Канаве.

Чуть не всякий год у нанайцев сидят научные сотрудники из обеих столиц с целью сблужить их самобытность.

Теперь вся она разложена по стеклянным шкафам в краеведческом музее.

За исключением рыбы из реки, подаваемой на овальных блюдах в ресторанах больших городов.

Малахаев из лисьего меха, отправляемых на пушные аукционы.

И леса, сплаваемого вниз по Амуру до Маго, куда приходят за ним японские баржи.

Для них даже составили грамоту.

На беду, нанайцы не желают учить детей по написанным в ленинградских и московских институтах учебникам, а переводят их в «русские» классы.

Русских в поселке — две трети, и говорят все по-русски.

Как и радио, книги, газеты.

А после школы все одно ехать учиться в Хабаровск, Москву, Ленинград.

И тут ничего не поделать.

Разве всех их загнать в заповедник.

С первым никелированным рыболовным крючком, подаренным туземцу, приходит Великий Соблазн.

А языки и уклады маленьких народов уходят.

Все равно у детей красивые раскосые лица.

И мотоциклы у мальчиков.

А у девочек — взрослые тайны.

И музыка из транзисторов у тех и других.

И накатывающая жизнь берет свое среди электропроводов на столбах, телевизоров, трелевочных тракторов, клуба с написанной от руки киноафишей, расписаний авиарейсов, задачек по химии и рыбоконсервного цеха на берегу.

*

Осталась рыбалка, ради которой нанайцы рождаются на свет.

Лов кеты запрещен, и только местным народностям позволено брать из реки: по пятьдесят кило на душу.

Цифра эта непонятна нанайцу.

И они ловят, собачась с рыбнадзором, сколько река направляет в их сети.

Прячут улов, ночами перетаскивают из лодок, продают.

И будут ловить, пока не кончится рыба в реке и нанайцы на берегу.

Ради нас рыбнадзор разрешил половить лишний раз.

Наши знакомцы возликовали, но не подали вида.

Только посерьезнели вдруг, позвали каких-то людей и принялись совещаться на пустыре возле рыбоконсервного цеха, посылая куда-то гонцов, что-то чертя пальцем на песке и поглядывая на нас, оставленных в сторонке.

А наутро в брезентовых робах, с сетями и тяжелыми гоночными моторами на плечах, с мешками, в которых угадывалось заветное булькающее стекло, побрели к берегу.

Теперь тут не было ни завгара, ни директора мастерских по пошиву тапочек с национальным узором, ни школьного учителя, ни шофера — но только нанайцы-рыбаки, перенявшие свое ремесло и охоту к нему с пахнущим рыбьим жиром молоком матери.

Миновав завистливые взгляды односельчан и пролегший между домами и речной жизнью пустырь, маленькая молчаливая толпа вышла к лежащим на песке лодкам — плоским и длинным, с приподнятыми квадратными носами, с которых забрасывают и правят сеть.

Точно такую я видел накануне на деревенской улице, в процессе рождения.

Она лежала в стружках на катках, и старик поливал черной смолой ее перевернутую новенькую спину. Лодка напоминала вытянутого из воды морского зверя.

А еще днем раньше я разглядывал ту же сценку изготовления лодки в музее — запечатленную на рисунке какого-то давнего путешественника.

Лодки ничуть не изменились.

Но моторы превратили их в быстроходнейшие из судов. И мы, отвалив от причала, опустили в воду винты и понеслись, оставляя легкие буруны, как на гонках, вверх по бескрайней реке.

Придя на место, лодки рассыпались и исполнили медленный танец.

Маневры были рассчитаны и просты, как движения рук, когда бреется взрослый мужчина.

Нанайцы умели ловить рыбу.

Сеть слушалась их в водной толще, где в нее заходит кета, и вбирала добычу.

Через недолгое время лодки заполнились кетой, молодыми осетрами, и даже попался калуженок в человеческий рост.

Улов покрыли сетями с празднично игравшими на солнце блестками рыбьей чешуи и новогодней зеленью запутавшихся в ячейках водорослей. Пора было приставать.

Для стоянки выбрали один из бесчисленных затопляемых паводком островков, делящих реку на рукава.

Он был низок и весь зарос черными вывихнутыми стволами с узкими серебряными листочками.

Лодки ткнулись в плотный серый песок, усеянный выбеленными солнцем корягами. Из-за этих растительных руин, похожих на костяки вымерших животных, остров казался еще пустыней под крашенным в голубое небом.

Нанайцы прыгнули в воду и сразу до половины вытащили лодки на берег.

Белый огонь заплясал по выломанным из коряг сучьям.

Над ним повис закопченный котелок.

Прямо на мокрой лопасти весла принялись толстыми ножами готовить «талу́» — закуску из мелко нарубленной сырой осетрины с крошеным луком, перцем, солью и уксусом. С ней хорошо льется в горло водка из просторных алюминиевых кружек.

Подъехал на катере рыбнадзор.

После препирательств заставил выпустить полуживого калужонка.

Нанайцы обиделись и ушли от костра, потом вернулись.

Рыбнадзор присел к котелку, взял миску с ухой, отказался от водки и рассказал в утешенье:

«Прежде рыбы было полно. В узких притоках, куда кета нерестить заходит, не ловили, а вычерпывали. Ведрами или мешками. Я в книжке читал: в девятьсот десятом году тут летом было не продохнуть, так несло с берегов. Икру по огородам запахивали. А куда ее? Без соли не приготовишь. Ну, рыбу вялили. Нынче не стало совсем. Да и где ей нерестить, когда воду плотинами заперли. Калуга та же: рыбина в тонну, черной икры ведра два, царская рыба. Теперь под запретом, ни-ни. Ну, подрастет помаленьку. Тот, нынешний, вовсе молодой. В нем еще и вкусу нет, так, трава. Вот лет пятнадцать не то двадцать назад тут шах иранский — или сын его, принц? позабыл — путешествовал. Захотел порыбачить. Дали ему катер, лаковый весь, с коврами. Команда, охрана. Ну, повезло. Не рыба — зверюга. Метров, может быть, шесть. Стали его загонять. Да куда там. Ударил хвостом, чуть катер не перевернул. Шах наш за борт. Четверо охранников в воду за ним, вынули. А калуга ушел. Раньше нанайцы с таких вот лодочек острой били. Ничего, добывали».

*

Владивосток.

Текущие с сопок булыжные волны улиц, по которым, как с американских горок, катится мимо универсальных, продуктовых и военторговых магазинов разноглазая толпа.

Базальтовые гроты входов в учреждения, где чудятся генеральские фигуры швейцаров в галунах, отраженные в глубине зеркальных стекол.

Бывшие банки, торговые дома и правления пароходных обществ, хранящие память о временах, когда тут зарождалась и собиралась богатеть вторая Россия.

Деревянные настилы пляжей под боком многоэтажных гостиниц.

Голубой Амурский залив со сотысячедолларовыми яхтами, положенными на его гладь, как музыкальные инструменты на крышку рояля.

Желто-оранжевый закат над заливом с обгорающим архипелагом синеватых облачков, как бы сгустившихся над островками и повторяющих в небе их расположение.

Голуби, копошащиеся на железном подоконнике и клюющие выложенных туда мною на просушку морских звезд.

Приплывшее по воде изобилие Золотого Рога.

Австралийское зерно, незрелые вьетнамские ананасы в веревочных корзинах, груды синих японских газовых труб.

Разношенные океаном белые сухогрузы, желтые буксиры, нескладные лесовозные баржи.

Серые военные корабли, увитые до верхушек мачт черными плетями проводов и антенн.

Выползшие на берег подлодки в потеках ржавчины.

Целая суверенная страна с акваторией и побережьем.

С кастой торговых капитанов, значительно обсуждающих заработки в Венесуэле и достоинства сингапурских портных.

С пограничником, стерегущим борт готового уйти судна.

Со сверкающими айсбергами пакгаузов из рифленого алюминия и упрятынными в их глубинах флотскими лавчонками, торгующими модным заморским барахлом, транзисторами, сигаретами и презервативами.

В голубеньком небе барахтается похожий на жаворонка истребитель-бомбардировщик с изменяющимся крылом.

Светло-зеленый железнодорожный вокзал, провинциальный, как все вокзалы.

Конец великого Транссибирского пути с отдыхающими от торопливого локомотива вагонами, тронувшимися от московских перронов, проскочившими мимо старых и новых городов, напуганных деревень, через всю страну и замершими здесь, у кромки моря.

Деловые молодые чиновники с короткими стрижками.

Начальники в обшитых дубом кабинетах с тучными кожаными креслами, помнящими зады капитанов Добровольного флота, и с портретами парходов в рамках.

Фланирующие морячки из загранки с девицами, подпорченными их щедростью.

Портовые рабочие из условно освобожденных, живущие в переделанном под общежитие древнем трансатлантическом пароходе с округлой, как бы дамской, кормой и строгим смокингом палубной надстройки.

Он похож на переселившегося в больничную палату старого щеголя, к которому с причала, поддерживая в нем жизнь, тянутся уродливые закутаные в асбест трубы водопровода и парового отопления.

После работы обитатели одряхлевшего левиафана, за неимением иных развлечений, высыпают потолкаться на площадь перед морвокзалом, куда днем приходят к монументу возложить цветы шушлые припараженные женихи с невестами, просвечивающими в белых воздушных платьях своими крепкими коренастыми телами.

Редкий заезжий люд с Большой земли тут привлекает к себе внимание, оберегается и передается с рук на руки.

Вроде долговязой танцевальной пары из Ленинграда, дающей показательные выступления по клубам и домам культуры, меняющей шесть костюмов в вечер, а после концерта снисходящей к застолю в узком кругу почитателей, где в сотый раз живописует свой успех на каком-то конкурсе в Швеции и щебечет старые анекдоты и столичные сплетни.

Тем временем в сбегавшем по сопке приморском парке зажглись светляки огней и грянула с танцверанды музыка флотского оркестра.

По заляпанным пятнами фонарей аллеям военные моряки в белых робах прогуливают подруг.

Рыхлая масса гуляющих легко прорезается идущими встреч затынутыми в ремни патрулями.

У нижнего конца парка, возле вытасненной на берег и обращенной в музей героической подлодки, обосновались играющие в мужчин молоко-сосы мотоциклисты в черных кожаных куртках. Не один час они толкуются на пяточке, покуривая, сплевывая на асфальт и гремя подвешенными на руль транзисторами, и вдруг разом срываются с места, всей толпой, и уносятся куда-то мимо дежурящих поодаль милицейских машин на своих ревущих «хондах», с длинноволосыми совсем юными приятельницами, как с ангелами за спиной.

С подсвеченных неоновыми вывесками и светофорами пустеющих центральных улиц расходятся, садятся в автомобили и разъезжаются со своими женщинами штатские и военные из ресторанов, в распахнутые окна которых толчками выносит вместе с духотой обрывки последней музыки и звон собираемой посуды.

А в портовой стороне кренящаяся друг к другу одинокая парочка взбирается по мощеной улице, соединяемая тяжким чемоданом. Дома его распакует на полу и будут разбирать привезенные из заграники тряпки, а после бросят все раскиданным по столу и стульям и прильнут, шепча, влекомые зовом плоти. Это уже в тот час, когда начнет проступать в пред-рассветном киселе амфитеатр поднявшихся над бухтой кварталов, с проснувшимися чайками, парящими вверху, и перекличкой незасыпающих пароходов внизу, на розовеющей воде Рога.

Большой, головокружительный город.

*

Кайма на трубе.

Горластые серые птицы
репродукторов на белоснежных надстройках и мачтах
утешают звуками маршей.

С высокого борта в толпу на тверди причала
серпантин, серпантин, серпантин.

Пароходные проводы.

Зычный голос гудка.

Рейс обычный на Сахалин, Курилы, Камчатку.

Возвращаются с материка отпускники.

Корейцы-рабочие.

Лотерейный везунчик с выигранным автомобилем,
одуревший от счастья.

Юная лейтенантская жена в слезах.

Женщина-подросток

всхлипывает, рот заслоняет букетом,
лепечет свою беду:

мужа перевели к китайской границе.

Там два дома всего и солдаты.

Завтра ему уезжать.

А ей обратно на Шикотан, с вещами ждать вызова много недель.

Всего пять месяцев, как ее он на остров привез и они поженились.

Вон и сам лейтенант на причале.

Худощавый парнишка с ночной синевой под глазами.

Чтобы видеть его,
она забиралась все выше по железным ступенькам
и замерла
у какой-то подъемной стрелы.
Больше не сдерживая рыданий.
Только рот заслоняя растрепанным желтым букетом.

Теплоход отходил.
И рвались разноцветные ленты.
Ей на вид еще нет двадцати.

Бронзовые волосы, завитые вчера в парикмахерской, раскрутились.
Опадающий букет.
Мокрое лицо повернуто в сторону отодвигающихся причалов.

Часа через два
я увидел ее снова, в компании чернявых парней, возле шлюпки.
Они пили вино и смеялись.
И букета не было в ее руках.

*

Путешествие в море прескучная вещь.
Карта, расстеленная на столе и прижатая раковинами по углам,
обещает иное,
когда водишь пальцем по голубой воде,
заходя на желто-коричневые острова.
А тут белое крашеное железо.
Пустая вода.
Лотерейный автомобиль в пересохшем бассейне, и на палубе ни души.
Только в баре тепло.

Мне попалась хорошая книга.
Я валялся в каюте
и читал хронику странствий морских, полную удивительных описаний.
После вышел на воздух, закутавшись в куртку.
Судно шло,
подрагивая под ногами, и во тьме
не зажглось ни звезды.
Только молочная дорога растекалась за кормой.
Да справа дрожали архипелаги огней.
Штурман сказал: «Пролив Лаперуза», — и дал мне бинокль.
Я увидел гирлянды лампочек, как в праздник на московских мостах,
над мокрыми палубами шхун
и каких-то людей, ворочавших сети.
Японцы ловили кальмаров.

*

Южно-Сахалинск почти в пальмах — что-то такое, слабо предвещающее экзотику, есть в его облике.

Завтра четырехмоторный самолет унесет меня домой, на запад. Он уже прилетел и стоит на здешнем бетоне.

А пока машина везла меня поперек узкого острова на восток, в сторону океана.

Это было похоже на гонку. Небо провисло потемневшими, обтрепанными тучами, наползавшими из-за хребта, и мы убегали от них — мимо одиноких желтых деревьев и грустных полей, уставленных мешками с картофелем.

И ускользнули наконец, точно выехали из-под намокшего парусинового навеса.

Под светлым небом заблестел впереди подернутый желтоватыми струйками пара коричневый океан.

Тут был край земли.

Все города, деревни, вокзалы остались за спиной.

По ту сторону широкой полосы отлива, усеянной хлопьями пены, мертвыми медузами и крабами, бесились во много рядов буруны.

А еще дальше, за невидимой цепочкой последних островов, лежали неоткрытые материки и земли.

Бросив шофера с машиной и все прошлое, я побрел вдоль океана, подбирая раковины и кусочки янтаря.

Вода прибывала, заливая цепочку следов за спиной и оставляя лишь ненаписанную сторону жизни.

Так оно и было.

Но за громадным, будто всплывшим из морского песка валуном мне открылась брошенная рыбацья стоянка.

С обгоревшим в костре бревном, обрывками каната, ржавой бочкой из-под солянки. С вкопанным в берег тяжелым простым столом.

И на его широченной, поседевшей от долгой службы доске, замусоренной клочками красноватой рыбьей шкурки, глубокими и крупными буквами вырезано было рыбацким ножом женское имя. То самое, от которого я убежал через всю страну.

Домоделово -- Хабаровск — Троицкое — Владивосток —
Корсаков — Южно-Сахалинск — берег Охотского моря.
Август — сентябрь 1979.

Прибытие

О, самолеты, исполняющие желания:
возвращенье сюда я замыслил у океана. И вот
заволновался, когда вышла из облаков сшитая из разноцветных кусочков
земля,
маленькая и древняя, как молитвенный коврик.

Край пророчествующих камней,
где осень похожа на тощее лето, а зима на осень,
где дружат кетмень и халат,
а лоза кажется неживой, но плодоносит.
Где за горами бьется неверный зверь — Кафирниган.

Тут яркие платья светятся в бетонных рошицах будущих виноградников,
и у женщин нежные взгляды и тяжеловатые ноги,
мужчины же со свирепыми бородами и добрыми тигриными глазами
восседают,
а в городских кафе мальчишки танцуют с мальчишками, распространяя запах
пота.

Ты видишь: вечно бежит гончар по деревянному кругу,
а лепешки обжигают в печи, как глину,
и одинокий молеельщик застыл у входа в мечеть, оставив калоши
со свастикой на подметках и задумавшись о жизни,
соединившей заветы пророка с первыми МТС.

И свадьба с бубнами и танцами, кружась, перемещается по улице,
будто катится торжественная арба.

Ко мне приходит мой приятель,
прыщавый молодой таджик с блюдом плова, завернутым в радужный
платок,
и развлекает веселым косноязычным разговором.

По примыкающим к гостинице правительственным кущам
в темноте пробирается человек со спортивной винтовкой.
У него вид наемного убийцы.
С каждым выстрелом тяжелые черные тряпки шлепаются на землю
с крыш и галереек:
дважды в год он бьет кошек,
могущих непристойным ором обеспокоить съехавшихся на пленум гостей.

Ночью поедаю дыню, курю и читаю сказки «1001 ночи», полные наивных
непристойностей.

Осень 1979.

Батумские наброски

*

горная речка
вся в мелких круглых камешках наводила на мысль
что где-то там наверху
раскричавшаяся хозяйка
высыпала в сердцах поток разноцветной фасоли
из необъятного мешка

*

по дорожкам
приморского парка в страусиных пальмах
брюхатые мужчины
с золотыми сверкающими гайками на волосатых пальцах
прогуливают своих юных
купленных в универмаге жен

1986 (?).

Летнее время

В бессонную солнечную ночь заполярные города выглядят вымершими:
будто кончилась жизнь на Земле.

Но в деревнях не спят.

Там я видел, как в два часа ночи кололи дрова и мальчик помогал
отцу.

А с лодок ловили семгу на перегороженной туманом беззвучной реке.

Кольский полуостров.

1980-е.

Четверо в купе

случайные попутчики

поговорили о станционных часах
показывающих по всей стране одно и то же время

о собачьих выставках
 о портсигарах
 о том что лето никудышное: погода так и не установилась

об аллергии

о способах солить рыбу «как это делают рыбаки»
 о маленьких городках
 и про то какие там бывают гостиницы и рестораны
 о клубнике
 о морской воде
 о толстых и худых женщинах

мимо ползли тесные одинаковые рощи с промельками деревень

потом поезд въехал в степи
 вдруг разбежавшиеся по обе стороны до самого горизонта
 и каждый стал молча глядеть в окно
 думая о своем

Москва — Херсон.
 Сентябрь 1998.

Чуйский тракт

Заросли облепили в ржавчине ягод.

Лунное каракулевое небо.

Перед крыльцом краеведческого музея подковой выстроились серые стуканы, похожие на каменных ходоков, явившихся к председателю сельсовета.

Среди них знаменитое изваяние старика с флягой на животе, занесенное в реестр мировых реликвий.

Грудь его крупно пересекла свежевещарапанная гвоздем трехбуквенная надпись.

Под сводами Бийского мясокомбината плывут, подвешенные на цепной конвейер, пустые внутри бараньи туши, напоминая грунтованные суриком автомобильные крылья в покрасочном цеху.

У начала конвейера, где живых баранов цепляют на крюки, ловкий парень в кожаном фартуке смахивает им головы мимолетным движением узкого длинного ножа.

По норме ему положено обезглавить за смену две с половиной тысячи штук, но он хороший работник и догоняет до трех, да еще успевает похаживать вдоль бетонного поддона, пошваркивая ножом о брусок, болтающийся на ремешке у пояса.

Вдавленный в сиденье рыжеватый шофер в вытертой летной куртке то и дело опускает руку в сердцевину подсолнуха, лежащую возле рычагов, и езда по горному тракту небезопасна.

В своей долинной части Алтай похож на любую русскую равнину, только как бы перемноженную на саму себя, — так широки, вольны, приманчивы здешние поля, покатые холмы со слоющейся синевой лесов, изумрудные речные поймы.

Горная степь — это нескончаемый пустырь в мотках пожелтой травы.

Слегка наклонная каменистая плоскость так мало питает глаз, что скоро теряешь перспективу, и замыкающие ее за сотню километров хребты кажутся поднятой за ближайшим поворотом дороги декорацией.

Серо-желтая безучастная степь точно всасывает тебя. Зов ее чувствуют на себе шоферы — и давят, давят педаль газа, только б скорее проскочить

эту мучительную пустоту, наспех хлебнув бензина на заправочной станции в Кош-Агаче.

«Кош-Агач» переводят: «Последнее дерево» — оно и правда единственное на всю долину, кривое и пыльное, корячится на краю поселка.

Предпоследнее спилили ночью и растащили на дрова еще в войну.

Здесь дома зарыты в землю, и вместо крыш прямо на потолочные доски наваливают для тепла солому и кизяк, так что и сами они на вид неотличимы от припасенного на зимнюю топку кизяка, тут же сваленного высокими кучами.

Улицы голы и сплошь усеяны растасканным собаками мусором и обрывками бумаги, в которой лениво роется ветер.

Зато вечерами все окна наливаются, как аквариумы, голубой водой громадных, больше окон, телевизорных экранов.

Днем через долину прогоняют вниз, к далекому мясокомбинату, гурты.

Косматые монгольские сарлыки бредут, угрюмо похрюкивая, поводя широкими рогами и волоча свисающую до земли шерсть.

На них высокомерно поглядывают неторопливо пасущиеся в стороне верблюды в толстых меховых шароварах.

Они предвкушают окончательное наступление пустыни.

Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Кош-Агач.
Август — сентябрь 1977.

Снег в Лейпциге

Германия похожа на хорошенько прибранную Россию.
Вот и миргородская лужа.
Только тут через нее переброшен красный горбатый мостик.
Для удобства прохожих.

Дождь. Зоопарк. И мимоза цветет.

Лейпциг зализывает свои многолетние раны.
Цоколи домов обезображены аэрозольными граффити неприкаянных
молокососов.
Но разрыты на всех площадях котлованы под будущие автостоянки.
И за вымытыми витринами кондитерских уже тихо едят разноцветное
мороженое.
И на столиках под зонтами не кончается пиво.

Я отвык путешествовать.
А гостиница так чиста и бесшумна.
Точно выложенный изнутри атласом гроб.
И каждый вечер на подушку конфетку кладут постояльцам.

Магазины. Супермаркеты. Лавки.
Масса превосходных вещей.
Костюмы и платья, плетеная мебель, часы, безделушки, фарфор.
Витрины и правда отмыты до зеркального блеска.
Так, что, глядя в них, видишь себя и всю улицу.
И кажется, люди спешат, и едут автомобили, и плывут облака там,
внутри, в магазине, только деньги плати.

Каждое утро я здороваюсь с господином Гёте у городской водокачки.
Кроме памятников в городе этом знакомых нет у меня.

Опера. Университетские велосипеды. У немок веселые стриженные
затылки.

Собеседник случайный.

Поглощает безбрежное блюдо вареных овощей: цветная капуста,
кольраби, морковь, картофелина, лук-порей.

С ломтем нежной свинины.

Моску, это... ах да, Россия.

Жаль, что кончается рано.

В парижских кафе только еще заказали первые рюмки пастиса, наверно.

А тут в восемь вечера на улицах ни души.

Среднеевропейское время носят коротко здесь, по-немецки.

В гостиничном холле бородатый очкарик-рерихолоб из Петербурга,
в стоптанных туфлях.

Неофитов созвал на вечерю.

Что-то вешает, воздевая руки и глаза к пористому потолку,
поглощающему его откровения.

Слушатели, обутые в добротную немецкую обувь, согласно кивают.

На площади пусто.

Что-то с погодой в Европе.

Вот и в Лейпциге снег.

Недоуменно ложится в кругах фонарей на разноцветные клумбы.

Заставляя запоздавших прохожих прятаться в мокрых зонтах.

Только желтый чудесный трамвайчик приветливо катит, совершенно
пустой, как игрушка.

Но мне на нем некуда ехать.

Снег.

Чугунная парочка, Фауст и Мефистофель, укрылась под сводом пассажа.

Бронзовый Гёте все любит водочкачкой, где когда-то лилась
из каменной рыбьей пасти вода.

Мокнет Бах, прислушиваясь к молчащему в темной кирхе органу.

И у Лейбница подрастает горка снега на позеленевших страницах
развернутой книги.

Лейпциг.

Март 1997.

Вечный город

Вылупившись в окрестных долинах, как из хрупкого яйца, из голубой
утренней дымки, на древний город навалился день из раскаленной глины.

Криво карабкается вверх по холмам розовая путаница старых ура-тю-
бинских улиц.

Они тесны и подобно коридорам больших коммунальных квартир от-
кровенно населены бытом. Сюда выходят в шлепанцах. Завернутые в плат-
ки соседки выскакивают из голубых дверей попросить или дать взаймы
стакан гороха и судачат, застряв на пороге. На свадьбу всю улицу завешива-
ют коврами от ворот до ворот и расставляют бесконечный стол, за кото-
рым она пирует. А мостовую подметают домашним веником. Тут живут.

Великая коммуналка Востока, где посередке журчит по каменному же-
лобу сток, а к пышущим жаром глиняным стенам лепится пестрая тузем-
ная мелкота под присмотром девочек постарше.

Двенадцатилетние невесты в узорчатых штанишках чинно сидят на
корточках, похожие на больших ярких птиц с грязными босыми ступнями.
Они заняты бесконечной болтовней.

Смуглые подростки азартно играют в орехи.

И точно как в коридоры моего детства, случайным движением воздуха заносит из-за стен и дувалов кухонные запахи — плова, кипящего масла и каких-то пряностей.

Мне смешна гордыня Афин и Рима, уберегших одни развалины. Тут, в потерявшем свою историю Ура-Тюбе, вижу я живую вечную жизнь.

Тут про любой дом возможно сказать, что ему и 30, и 300, и 1300 лет. Потому что на протяжении веков быт неуклонно возрождался здесь на тех же самых местах и в тех же самых формах. И древнее неотделимо перемешалось с новым.

Невесть как протиснувшийся сюда ярко-зеленый «Москвич» спрятался от окаменевшего в зените солнца под той самой разлегшейся на решетке лозой, где еще вчера отдыхал утомленный дальней ходжентской дорогой ослик, ненавидящий дни большого базара в ханской столице.

А в свежеструганый каркас нового дома, сложенного этим летом из хранящих форму ладоней глиняных комков, вставлена темная четырехсот-летняя балка, вытесанная еще прапрапрапрадедом нынешнего строителя для далекого предтечи теперешнего дома из вечной, не знающей старости арчи...

Резкий свет обнажает изумительную простоту быта, неотличимую от бедности. Но она так подходит климату и месту, что и не ведает, что она — бедность. А потому легко соседствует с роскошью.

Я видел взрослых и детей, мирно ужинавших лепешками с чаем под драгоценными узорными сталактитами потолка в жилище некоего прежнего богача — шедевре, занесенном в мировые каталоги. На роспись его, по преданию, ушли белки миллиона яиц, скупленных во всех 364 кишлаках округи. Это все равно как застать обедающую семью в одном из парадных залов Эрмитажа. Тем не менее они знали истинную цену своему жилью и вовсе не были смущены посещением: «Заходите, попейте чаю...»

Устойчивость жизни, порядок которой заведен века, века назад.

В квартальной чайхане которое тысячелетие заседают старики на широких деревянных помостах, застланных пестрыми одеялами.

Вернувшись из контор и фабрик и облачившись в халаты, приходят сюда и молодые круглоплечие хозяева окрестных домов.

Прихлебывая чай, они неспешно передвигают фигуры по разошедшей от времени шахматной доске с почти стершимися шашечками, так что конь, приподнятый над полем битвы задумчивой толстопалой рукой, едва не наобум выбирает себе дорогу. В дальнем углу мелет не слышимый никем приглушенный телевизор.

Птица в клетке тенькает, как часы.

Подхваченная течением времени галерейка чайханы выходит на затененный чинарами квадратный водоем — «хаус». Его удачно отрыли на роднике, и он заполнен голубоватой горной водой, в которой лениво шевелит плавниками выросшая до невероятных размеров аквариумная рыбка в черном бархатном платье и распускают оранжевые вуали две красные, поменьше, подруги ее. Над ними, на фоне устилающей дно дрожащей гальки, медленно кружат предназначенные к съедению бесполоый зеленоватый арбуз и круглая дынька, похожие на планету с желтым спутником.

Чайхана с хаусом — гордость квартала.

Их сооружали всем миром. Бойкий золотозубый юнец, служивший в армии под Рязанью и взявший роль гида, пояснил, что молодежь хотела устроить и дискотеку в пустыющей рядом развалине. Но некому ходить, местных девушек не пускают из дома.

Они приставлены к бесконечным младшим братьям, сестрам и племянникам и со временем будут выданы замуж по договоренности между родителями, помимо всяких дискотек.

Другое дело в «новом» городе, где живет много русских, татарок. Те ходят и в кино, и на танцы в клуб.

Новый город расплзается четырехэтажными коробками вниз, вдоль бетонного речного русла.

У него автобусы, канализация, столовые.

В горпарковских куцах скучает за ржавой железной сеткой павлин и красуется среди выметенных дорожек русская Венера с обломком весла.

Но когда вечерний мрак густеет и все погружается в теплую просверленную цикадами ночь, над бетонными кварталами, усеянными квадратными глазами, вновь господствует распростертый на темных, с редкими звездочками огней, холмах непобедимый старый город. Он верен себе и рано ложится. Там еще кое-кто сохранил привычку стелить на плоских крышах и засыпать, глядя в древнее, поворачивающееся на оси, испещренное письменами небо.

Ура-Тюбе.

31 августа 1987.

Атомная поэма

Острроверхие желтые особнячки в душистых соснах. Для академиков — с верандами.

Лабораторные корпуса в театральных колоннах.

Пустынная набережная с беседками и балюстрадой заботливо обустроена для мудрых бесед во время прогулок.

Запятанный в волжских лесах вместе со своим ускорителем город-игрушка, выстроенный руками заключенных и военнопленных. Заветное творение человека в пенсне. Ученый рай под присмотром охранников.

Лысоватые мужчины катят по чистым дорожкам на велосипедах.

Нотный мусор сыплется из высоких окон музыкальной школы подобно пожелтелой листве.

Только несметное воронье с того берега помнит, где стояли бараки.

Да черная «эмка» бывшего оперуполномоченного, давно перешедшая в другие руки, но еще на ходу.

Дубна.

1990.

Воспоминание о восточном гостеприимстве

Для приезжающих в сатрапию гонцов и порученцев средней руки местный властитель выстроил особую гостиницу. Сияющую изнутри мрамором, медными светильниками и лицами чинных администраторов.

Секрет ее сооружения был секретом архитектурным.

Снаружи здание гляделось в европейском современном стиле, но внутри перетекало в старинный особняк, который и позволил выдать по сметам постройку за реконструкцию.

Благодаря такому симбиозу здешний обитатель внезапно из узкого и строгого, похожего на корабельный, коридора с рядами латунных ручек попадал в лепной дворянский зал с полукруглыми окнами, а затем обратно в американизированный бар на нижней палубе...

Привилегированные люди Орды имели сюда специальные пропуска и навещались вечерами — изредка, не злоупотребляя.

В основном же чудесный этот бар с громадной, в целый квартал, обитой кожей стойкой пустовал. Как и вся гостиница.

Алма-Ата.

1986.

Райцентр Чингизханск

Привезший меня громадных размеров казах уведомил, что приходится прямым потомком Чингизхана.

По случаю сельского праздника в чахлом скверике собралось человек десять на деревянных скамейках.

Золотозубая народная певица с маленькими злыми глазами тянула песню, бесконечную, как дорога в степи.

Вдоль главной улицы шеренгой инвалидов на деревяшках выстроились газетные щиты.

Вбок от шоссе, в зеленой раковине аллеи, мелькнули, отразив кусочек голубого неба, прозрачные двери партийного особнячка — вроде входа в Зазеркалье.

Пыльная девочка, спрошенная о дороге, замахала руками сразу во все стороны.

Дымные изгороди, домишки в линиялой побелке, пустыри.

Тайный ночной намаз в доме местного кагэбэшника, оказавшегося моему провозжатою младшей родней.

Выпив, хозяин дома хватается за домбру: «Слава Аллаху, я теперь майор!»

Стокилограммовый опухший казах кивает в такт струнам тяжелой головой с опущенными веками, как пьяный Будда.

На полу под окном борется со сном сынишка хозяина в большой папахе.

Подперев рукой голову, он слушает взрослых, вряд ли понимая русскую речь, и шевелит грязными пальцами маленьких босых ног.

Казахстан.

Лето 1990.

Тбилисский фуникулер

Я посетил тебя вновь — в час заката.

Археология развалин незаметно переходила в жилье.

Повсюду появились роскошные вина, зато исчез сыр.

Тщедушный человечек в сморщенном пиджаке оказывался могущественным теневином.

Всякий встречный с третьего слова принимался говорить о долларах.

В квартирах чуть потускнела позолота.

Все вздорожало, включая похороны: теперь перевозка покойника обходилась три рубля за километр.

Аэрофлотовская кассирша в своем бюро вела беседу разом с тремя посетителями, что-то мурлыкала в телефон, рылась в розовой куче десятирублевков, пробовала и швыряла шариковые ручки и вдруг запела низким приятным голосом.

Ближе к вечеру толпа на главном проспекте стала гуще и беззаботней.

Женщина в драгоценных шелковых лохмотьях вышла из автомобиля и направилась к стеклянному входу в ресторан.

За высоким мраморным столиком забегаловки в одиночестве беседовали двое молодых людей, угощаясь инжиром с блюда.

Повсюду шуршали деньги.

Фуникулер возносил к уже зажегшимся наверху огонькам и спускал нагулявшихся вниз, к повседневным заботам.

В окне проплывающего мимо лепного дома застыла декольтированная старуха с малиновым овалом помады на пудреном меловом лице и неестественно черными волосами.

Она казалась большой фарфоровой куклой в витрине.

И не понять было, сожалеет ли она об уходящем времени.

Август 1988.

Турецкие каникулы. Голубая лужа

Средиземноморье.

Овечий сыр, оливки и зелень на завтрак.

Ленивое солнце.

Развалины византийской виллы с уцелевшими сводами глядящих в пустынное море окон и спящими по серой кладке вечными ящерками.

Их выпуклые глаза любовались легионерами Антония.

Теплое материнское чрево человечества.

Вид с моря.

Приветливые мысы, тут и там запятнанные отбеленными солнцем оливами.

Укромные малоазийские бухты, дававшие приют еще ходившим вдоль здешних берегов финикийским галерам.

Неравномерные цепочки апельсиновых деревьев с фиолетовыми кляксами теней вокруг стволов.

Отлогие овечьи холмы.

Синяя вода, еще и теперь изобилующая рыбой.

Только тут, по берегам этой благословенной лужи, и могла зародиться цивилизация, столь соразмерная человеку.

На гвозде в рубке гремит приемник.

Голый до пояса турок-капитан в такт музыке приплясывает у штурвала, и его порыжелые на солнце косички подпрыгивают на горячей коричневой спине.

Город Солнца

Мы наняли яхту и отправились в Фазелис, основанный беженцами из Трои еще в VII веке до Христа.

Он занимал приподнятый к оконечности мыс, некогда увенчанный храмом.

Развалины бань, амфитеатра, жилья с остатками покрывавших полы бело-голубых мозаик. Место для публичных собраний. Акведук. Рухнувшие в воду плиты стен, загораживавших военную гавань с моря: теперь раздолье для ныряльщиков. В соседней бухте — торговый порт с останками не то сторожевой башни, не то колоннады для парадных встреч, не то портика для совершения оптовых коммерческих сделок.

Экономно, уютно и умно устроенный мир приморского древнегреческого городка.

На другой день нас перевезли километров за полтора вдоль берега, в новопостроенный норвежский отель. С подковой ступенчатых корпусов вокруг громадного, неправильной формы голубого пятна бассейна. С черепичными навесами многоместного ресторана, баров и магазинчиков. С окутанными кондиционированной прохладой холлами.

Если его раскопают веков через десять — пятнадцать, разберутся ли в предназначении курортного мирка, солнечного филиала холодной Скандинавии, связанного с метрополией пуповиной челночных авиарейсов?

Не удивлюсь, если будущий археолог примет руины за воплощение социалистической мечты — за Город Солнца с мудро выверенной планировкой жилищ, с культом телесного здоровья и красоты, с местами для общих трапез, собраний, водных и музыкальных развлечений...

Не переносим ли на античные руины и мы, трактуя их назначение и обустройство, свои представления о разумном и прекрасном? Время, может стать, сплошь и рядом обманывает, сберегая выдающиеся частности и перемалывая в пыль непрочную и невзрачную повседневность.

Иной вопрос, так ли уж оно при этом слепо, если отбирает достойное, творя свой миф и оставляя человеку идеал — хотя бы в прошлом.

Камешки на берегу как разноцветные рыбки.

Прибой и ветерок заглушают музыку с проходящих мимо прогулочных катеров, так что до берега доносится только слабое ритмическое звяканье ударных.

По вечерам во всех окрестных ресторанах показывают турецкий народный танец живота.

Женщина в голубых шортах все торгуется в лавке, то уходя от заломившего за сережки цену продавца, то вновь возвращаясь к вожаденной витринке, не в силах сорваться с мысленно уже вдетого в ухо маленького золотого крючка.

Кемер — Анталья — Аланья.
Август 1994.

Серая ворона

Памяти Арво Метса.

— Сыктыв-карр! Сыктыв-кар-рр!
А еще чуть подальше:
— Печор-р-ра!

Теперь я знаю, откуда прилетают к нам на зиму эти невзрачные серые птицы.

Они прилетают из окруженного болотами и рассованными по лесам лагерями вечноссыльного города, упирающегося Коммунистическим проспектом в низенький вокзал с единственной круглой башенкой под непомерным острым шпилем — как воспоминание о безнадежно далекой Петропавловской игле.

Туда добираться черт знает сколько времени.

Давно миновал запавший в душу вокзал в Ярославле, выстроенный в том приподнятом южном стиле, с аркадами и гроздьями молочных фонарей, что так любили в сталинские времена и что всего более подходит для торжественных встреч под оркестр.

Поезд, спотыкаясь, взбирался на мосты, переваливал через речки, обгонял мутноглазые короткие электрички.

Окрестности все мельчали, теряя краски.

А дорога все длилась.

К счастью, я путешествовал не один.

Попутчик мой был эстонец в самом лучшем смысле слова: интеллигентный, тихий и болезненный.

По утрам он негромко беседовал сам с собой, шуршал бумажным паке-том и грыз припасенные из дому сухари.

Ссылный город походил на заброшенную новостройку сразу и 30-х, и 50-х, и 70-х годов.

Правда, и тут уже попадались на глаза вывески вроде «Парикмахерские услуги для собак».

В ресторане «Центральный» крепкие молодые люди всякий вечер заказывали «Мурку».

В витринах краеведческого музея лежали деревянные рыболовные крючки и обломки деревянного бога.

Над ними парило на ниточке хищное чучело птицы с воблой в когтях, изображающей пойманную рыбу.

Местная культура усердно замешивалась на этнографии, и в какой-то момент мне тоже захотелось стать классиком коми литературы.

Но меня не устраивал здешний быт.

Помимо того и этого света есть, вероятно, области, не проходящие ни по тому, ни по другому ведомству, о которых Творец просто позабыл и оставил, как нерадивый школьник, обширные белые проплешины на заштрихованной контурной карте.

И потому при их посещении всего более запоминается дорога — туда и, если повезет, обратно.

...В соседних купе веселились изъеденные гормонами долговязые юные баскетболистки, ехавшие повидать свет на соревнования в Нижнекамск не то в Нижнекамск.

Я вышел покурить на площадку.

«Вельск. Стоянка 10 минут», — объявили по громкой связи.

Во мраке желтели огоньки. Какие-то полукруглые металлические лабазы проступали в лохмотьях метели.

— Ну, это вряд ли центр мироздания, — пробормотал я обычную пошлую присказку.

— Что вы! — отозвался у меня из-за спины молчавший до того в дыму курильщик. — Это у них и есть райцентр.

Сыктывкар.

Октябрь — ноябрь 1995.



ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА

*

ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ

Повесть

Глава восемнадцатая

ОНО УЖЕ ПРИШЛО

1

Илья ушел из отцовского дома в ту же ночь, правда недалеко — в кинотеатр «Октябрь», найдя себе пристанище на чердаке с изнаночной стороны экрана. Он лежал на резиновом матрасе, который притащил киномеханик Наиль, под шерстяным пледом, который дала мама, смотрел в большое полукруглое окно на звезды, слушал воркование невидимых голубей и глуховатую фонограмму любимого фильма отца и был, кажется, счастлив.

У Владимира Ивановича в ту ночь тоже было неплохое настроение. Он сидел, по обыкновению, в последнем ряду, лузгал семечки и неотрывно смотрел на экран, находя там не только душевное отдохновение, но и подтверждение собственным мыслям. И когда судья-индус сказал: «Сын честного человека всегда честен, а сын вора — обязательно вор», — Печенкин согласился, проговорив:

— Это точно.

Галину Васильевну не очень испугала ссора между мужем и сыном, она хорошо знала Печенкина, знала, что должно пройти время, чтобы он остыл и повинился. Ни на какую работу Илюшу она, конечно, не отпустила бы, но запретить ему учиться не могла, а он как раз высказал желание учиться — в обычной придонской школе. К тому же Галина Васильевна прекрасно понимала, что сыну скоро надоест это бессмысленное, бесплодное занятие, и согласилась, поставив одно лишь условие: в отсутствие теплохранителей провозжать его в школу будет она сама. Илья засмеялся и поцеловал мать в лоб.

2

Илья шагал по Придонску широко и деловито. Галина Васильевна двигалась рядом, настороженно поглядывая по сторонам, прижимая к груди, как щит, черную жесткую сумку.

— Ты знаешь, Илюшенька, сегодня утром ко мне подошел папа и пригласил нас с тобой... в кино, — сообщила она радостно.

— Ненавижу кино, — сказал Илья в ответ.

— Почему? — удивилась Галина Васильевна.

— Потому, что оно врет.

Галина Васильевна улыбнулась:

— Ну, малыш, кто же в наше время говорит правду? И дело вовсе не в кино... Папа хочет помириться, а на что-то другое у него фантазии не хватает. Я даже знаю, как все это будет выглядеть. Перед началом сеанса он пожмет твою руку и скажет... какую-нибудь глупость... И ты снова вернешься в свой дом, в свою комнату...

— На чердаке я чувствую себя прекрасно! — сообщил Илья.

— Ты не хочешь мириться с папой?

Илья не ответил.

— Ну хорошо, объясни мне, чего ты от него добиваешься? — спросила Галина Васильевна, остановившись. Илья тоже остановился.

— Я хочу, чтобы он отдал людям то, что у них отнял, — ответил он спокойно и твердо.

— Каким людям? — не поняла Галина Васильевна.

— Этим. — Илья указал взглядом на прохожих — мать и сын находились в центре города, на людной улице Ленина.

— Но они... не просят, — проговорила Галина Васильевна, растерянно озираясь.

— Пока не просят... А когда придет время, не попросят — потребуют... Но будет поздно.

Илья озабоченно посмотрел на свои часы, и Галина Васильевна автоматически — на свои.

— И когда, ты считаешь, придет это время? — тихо спросила она.

— Оно уже пришло, — ответил Илья спокойно, почти равнодушно.

Галина Васильевна еще раз внимательно посмотрела на проходящих мимо людей.

— Я согласен помириться с папой, — неожиданно сказал Илья. — Но ты должна за это выполнить одну мою просьбу.

— Какую?

— Седой должен быть уволен.

— Седой? — не поняла Галина Васильевна.

— Нилыч.

— Нилыч? За что?

— Я знаю -- за что.

— Но он... практически член нашей семьи. Он спас папу от неминуемой гибели. — Галина Васильевна недоумевала.

— Значит, тогда я не член вашей семьи, — сказал как отрезал Илья.

На противоположной стороне улицы появилась Анджела Дэвис. Илья демонстративно посмотрел на часы. Сделав виноватое лицо, девушка побежала к ним, не обращая внимания на машины. Галина Васильевна переводила удивленный, встревоженный взгляд с сына на мулатку и с мулатки на сына.

— Это... твоя девушка? — растерянно спросила она.

— Она мой товарищ, — строго ответил Илья.

— По партии?

— Да.

Это немного успокоило Галину Васильевну.

— Она будет называть меня Сергеем, не удивляйся, — предупредил Илья.

Мать понимающе кивнула.

— Привет, айда в «Макдональдс», первый урок все равно отменили, — с ходу протараторила Анджела Дэвис.

— Моя мама, — представил Илья.

Галина Васильевна изобразила на лице улыбку:

— Галина Васильевна, можно просто тетя Галя.

— Антонина, можно просто Тоня, — представилась мулатка. — А он на вас ни капельки не похож. На отца, наверно?

— Ты прочитала? — перебил ее Илья.

— Дочитываю, — отмахнулась Анджела Дэвис и обратилась к его матери: — А вы любите ходить в «Макдональдс»?

Галина Васильевна вновь улыбнулась:

— Разве можно это любить?

— Если деньги есть — можно, — объяснила мулатка. — Я вчера бабке говорю: «Дай денег». А она мне: «Иди в проститутки». А я ей: «Иди сама». А она мне кастрюлей по башке — ба-бах! Шишара — потрогайте. — Анджела Дэвис наклонила голову.

Но Галина Васильевна не стала этого делать, лишь спросила:

— Вы живете с бабушкой?

— Живем, — кивнула девушка, сама трогая свою шишку. — Застрелится — буду одна жить.

Галина Васильевна улыбнулась:

— А мама? Папа...

— Мама в Эстонии. У нее там муж и ребенок. Беленький такой. А батя в Африке. По пальмам лазает... — Анджела Дэвис вдруг задумалась, что-то вспоминая, хлопнула себя по макушке, взвывла от боли, потому что попала по шишке, и закричала: — Мне же еще математику надо списать!

Глава девятнадцатая

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАНО НАКАЗАНИЕМ

1

Когда прозвенел звонок на урок и сын ушел в класс, Галина Васильевна уселась на стул у стены в пустом гулком холле, достала из сумки неоконченное вязанье, посадила на нос очки, но, не начав работу, услышала приближающийся дробный стук каблучков по кафелю пола. Из-за угла вышла спешащая на урок Геля с классным журналом под мышкой. Она была в красивых дорогих туфлях и великолепном деловом костюме, хорошо причесанная и со вкусом накрашенная. Тот, кто знал ее раньше, теперь мог и не узнать — жизнь в «царском селе» Гелю преобразила. Она была так хороша, что, рожденная красавицей, Галина Васильевна ей сейчас проигрывала.

Геля замедлила шаг, задумчиво и удивленно глядя на сидящую у стены женщину, и скрылась за дверью класса.

Наклонив голову и глядя из-под очков, Галина Васильевна проводила ее взглядом задумчивым и удивленным.

2

— Ну что, хулиганы, прогульщики, лодыри, двоечники? — весело и привычно поздоровалась Геля с классом, бросила на стол журнал и заметила сидящего рядом с Анджелой Дэвис Илью. Вскинув брови, спросила: — У нас новенький?

Илья поднялся и представился:

— Сергей Нечаев.

Геля взяла в руки журнал, но Илья предупредил ее вопрос:

— Мы приехали только вчера, я еще не успел оформить документы.

— Приехали — и сразу в школу? Похвально. А откуда, если не секрет? — Геля говорила дружелюбно и чуточку иронично, это была ее всегдашняя манера общения с учениками.

— Из Чечни, — просто ответил Илья.

В Гелином лице появилось что-то скорбное, даже трагическое.

— Садитесь, Сережа, — сказала она тихо.

Во время их разговора Анджела Дэвис тянула вверх руку. Геля улыбнулась:

— Да?

Анджела Дэвис поднялась и ткнула пальцем в значок на своей груди.

— Ну и как вас теперь называть? — с иронией в голосе спросила учительница.

— Анджела Дэвис. — Мулатке явно нравилось ее новое имя.

Геля удивилась:

— Откуда ты знаешь про Анджелу Дэвис?

Девушка кокетливо потупилась:

— Один человек сказал.

В классе засмеялись.

— Ты что-то хотела спросить? Анджела Дэвис...

— Я вчера читала Бальзака, — стала рассказывать девушка, но учительница ее поправила:

— Во-первых, не Бальзака́, а Бальза́ка, а во-вторых, что я слышу? Ты стала читать книги? Ну, наверное, волк в лесу сдох!

— Волк жив, — успокоила Анджела Дэвис. — Это я на листке календаря прочитала. Меня бабка дома закрыла, телевизор сломался, у магнитофона батарейки потекли, спать не хотелось, я оторвала листок и...

— Прочитала?

— Прочитала.

— Весь листок целиком?

— Нет, только первое предложение.

Класс засмеялся вместе с учительницей.

— И что же это было за предложение?

Анджела Дэвис задумалась, вспоминая, и выпалила:

— «В основе всякого большого состояния лежит преступление». Это правда или нет?

Геля улыбнулась, обвела взглядом класс и спросила:

— А вы как думаете?

Илья тут же поднял руку.

— Сергей... А фамилия? Извините, я забыла.

— Нечаев.

— Сергей Нечаев. Да, Сережа...

— «В основе всякого большого состояния лежит преступление» — эта мысль давно уже стала банальной. Но она имеет небанальное разрешение. В каждом отдельном случае такое преступление детерминировано наказанием. — Илья говорил спокойно и уверенно.

— У, какие мы слова знаем! — удивился сидящий на соседней парте здоровый балбес. — Так ты русский или чеченец?

— Чеченец, — бросил в его сторону Илья.

— Тогда молчу. — Балбес поднял вверх руки.

— Прекратите! — строго вмешалась учительница. — Какая разница: кто чеченец, а кто русский? Разумеется, преступление детерминировано, то есть чревато наказанием. Это гениально доказал Достоевский в своем романе «Преступление и наказание», который мы недавно прошли.

Илья поморщился:

— Достоевский как раз ничего не доказал. Раскольников хотел отнять награбленное, и если бы Достоевский изобразил его не истериком и психопатом, каким был сам, а нормальным, хладнокровным человеком, то и старуху бы убивать не пришлось...

— Нормально наехал бы, — поддержал кто-то из мальчишек.

В классе засмеялись. Геля смотрела на новичка с интересом.

— Достоевский еще и сестру старухи приплел... А потом гениального следователя выдумал, какого просто быть не может. Следователь — это тот

же милиционер, а где вы видели гениального милиционера? И все это — с единственной целью: загнать бедного, больного студента в угол... Достоевский сначала придумал ответ, а потом подгонял под него задачу.

— Меня вообще тошнит от этого Достоевского, — поддержала Илью школьница, судя по виду — отличница.

— Но стойте, Сергей, — с улыбкой заговорила Геля. — Вы же сами себе противоречите! О какой детерминированности преступления наказанием можно в таком случае говорить?

— Об общественной.

— Например?

— Например, 1917 год. Великая Октябрьская революция.

Геля кивнула:

— Поняла. Вы считаете, что революция в России была неизбежна? Что ж...

— Она была детерминирована тысячами тех самых больших состояний, в основе которых лежало преступление. Количество перешло в качество. Тысячи отдельных преступлений родили одно большое наказание.

А класс между тем разделился надвое, но не на тех, кто был за учительницу и кто за новичка, а на тех, кто наблюдал за диспутом и кто следил за Гелей. Это были в основном девочки. Они плялились на Гелин живот и возбужденно перешептывались.

Но Геля так увлеклась дискуссией с новым учеником, что ничего не замечала.

— То есть вы хотите сказать... — Она наморщила лоб, пытаясь понять ход мыслей новичка.

— Я хочу сказать, что новая революция в России неизбежна.

Учительница громко засмеялась:

— Какая революция, Сережа? Время революций давно прошло. Пройдите по улице: люди гуляют, влюбляются, ходят в театры...

Илья снисходительно улыбнулся:

— Когда революционные солдаты и матросы брали Зимний, в опере пел Шаляпин.

— К черту революцию! — воскликнула Геля шутливо, но несколько все же нервно. — Революция — это кровь, это безвинные жертвы...

— Жертвы революции не бывают безвинны... Это общее наказание за отдельные преступления.

— Ну хорошо, а дети? — Геля, похоже, теряла терпение. — В чем, например, виноваты дети?

— Дети отвечают за своих отцов.

— И за матерей! — выкрикнула Анджела Дэвис, и все снова засмеялись. Все, кроме учительницы.

— Хорошо же вас учили в вашей Чечне, — задумчиво проговорила Геля и направилась к двери.

— Это — самообразование, — с интонацией превосходства ответил Илья.

Геля открыла дверь и выглянула в холл. Женщины с вязаньем в руках там уже не было. Она вернулась к столу и внимательно посмотрела на новичка. Глаза его откровенно издевательски смеялись.

— Вы еще о детской слезинке скажите, — негромко предложил он.

— Скажу! — нервно отозвалась Геля. — Достоевский не только великий русский писатель, но и пророк! Он предсказал сто миллионов жертв в России, и его пророчество сбылось!

Илья засмеялся и снисходительно посмотрел на учительницу:

— Достоевский — великий симулянт. Он даже эпилепсию выдумал, чтобы быть похожим на пророка. Известно же, что эпилепсия — болезнь наследственная, а в их роду ею никто не болел, ни до, ни после. Его сто миллионов — просто ровная цифра, взятая с потолка, истерика. Но есть

статистика. За последние несколько лет продолжительность жизни в нашей стране упала на десять лет, что эквивалентно одновременному расстрелу восьмидесяти миллионов граждан. Плюс пятнадцать миллионов наркоманов, которые стали наркоманами в эти же годы. Они будут «расстреляны» завтра. Может быть, эти сто миллионов имел в виду ваш пророк? А что касается детской слезинки, то советую вам не забывать о четырех миллионах беспризорных детей...

Илья сел и продолжал, улыбаясь, смотреть на учительницу.

— Я не понимаю... — растерянно проговорила она.

Илья развел руками:

— В России неизбежна новая революция.

Класс зашумел. Он весь был на стороне Ильи.

— Ура! Революция!

— Будем Зимний брать!

— Не Зимний, а Кремль! Ур-ра!

— Но вы практически не жили при советской власти, а я жила. — Геля попыталась призвать учеников к благоразумию, но они не слышали.

— Вы пожилы, дайте нам пожить!

— За-мол-чи-те!!! — закричала Геля и трижды сильно и громко стукнула ладонью по столу.

Стало тихо. Школьники смотрели на учительницу с удивлением. Кажется, такой они ее еще не видели. И вдруг девочка с ангельским лицом и ясными детскими глазами поднялась и спросила высоким, чистым голосом:

— Ангелина Георгиевна, вы залетели?

Геля не поняла. Школьники же поняли все.

— Беременная, беременная, беременная... — бормотали они, уставясь на живот учительницы, и засмеялись, заржали — открыто и издевательски.

— Дегенераты! Кретины! Уроды! — истерично закричала Геля и выбежала из класса.

После того случая Геля больше не появлялась в школе, жила безвыездно в своем «царском селе». Странно, но школьники не особо об этом жалели и почти не вспоминали свою любимую учительницу.

Глава двадцатая

КАК ПАВКА ПОПУ МАХРЫ В ТЕСТО НАСЫПАЛ

Явочное место они устроили за городом, в заброшенном пионерском лагере, выходящем на берег Дона. Ветер, не стихающий даже на закате, покачивал ржавый, без флага флагшток.

Анджела Дэвис лежала на животе на дощатом квадратном возвышении, болтала в воздухе ногами и читала «Как закалялась сталь». Она была в купальнике и делала вид, что загорает.

Ким вышагивал внизу по периметру квадрата — то по часовой, то против часовой стрелки, бормоча и шлепая себя по голове какой-то брошюрой.

Илья находился чуть поодаль. Привязав к кусту акации бечевкой теннисный мяч, он ударял по нему рукой и при приближении мяча к лицу уклонялся, как от удара, то влево, то вправо, стараясь не закрывать при этом глаза и даже не моргать.

Солнце росло, собираясь на ночлег где-то за Доном. Внезапно в той стороне гулко ухнул взрыв, Илья вздрогнул от неожиданности и прозевал мяч, который ударил его в лоб.

— Черт, — досадливо проговорил Илья и услышал смех.

Смеялся Ким, смотрел на него и смеялся, впрочем, совсем не зло. Анджела Дэвис оторвалась от книги и глядела удивленно из-за плеча.

— Испугался? — спросил Ким. — Это браконьеры рыбу глушат. Я в прошлом году тоже браконьерил. Мамке два года зарплату не платили, все, что могли, продали, одни макароны ели. А сестренка их не ест, она же балериной быть мечтает. Ну, я пошел браконьерить. Сами рыбу ели и продавали еще. А сестренка знаешь как стала танцевать... Рыба полезная!

— Где взрывчатку брал? — продолжая хмуриться, спросил Илья.

— Ха, взрывчатку! Да у нас на базаре атомную бомбу можно купить! — хвастливо ответил Ким и прибавил уже серьезно: — Только дорого.

Атомная бомба Илью не интересовала.

— Ты выучил? — спросил он строго.

Ким подумал и решительно кивнул.

— Отвечай, — предложил Илья.

— Это... — глухо заговорил кореец, раскачиваясь и закрыв глаза. — Первый удар: в январе 1944 года...

— Громче! — раздраженно потребовал Илья.

— Первый удар. В январе 1944 года под Ленинградом! — отрапортовал Ким громко, но продолжил вновь глухо и еле слышно: — Второй удар — освобождение Правобережной Украины. Третий удар... Это... Ну... Как его... — Ким замялся и замолчал.

— Третий сталинский удар. Апрель — май сорок четвертого года. Освобождение Крыма. 4-й Украинский фронт. Генерал армии Толбухин, — отчеканил Илья и взглянул нетерпеливо на Кима: — Четвертый?

— Четвертый... — повторил соратник.

Возникла напряженная тишина, и в этот момент засмеялась Анджела Дэвис, вначале тихо, а потом захохотала. Она даже перевернулась на спину и стала взбрыкивать ногами — так ей было смешно. Глядя на девушку, Ким прыснул в ладонь и виновато покосился на Илью. Тот сначала нахмурился, но не выдержал и улыбнулся.

Анджела Дэвис села, свесив ноги, и объяснила:

— Смешно... Как Павка попу махры в тесто насыпал...

Ким хихикнул, а Илья — тот, кажется, не поверил своим ушам.

— Как Павка попу махры в тесто насыпал? Да это же... на второй странице... — возмущенно говорил Илья, подходя к девушке. — Ты... ты же говорила — дочитываешь...

Он выхватил из ее рук красный томик.

— Дочитывала! Я первую страницу дочитывала! — высоким скандальным голосом возразила Анджела Дэвис и обиженно отвернулась.

— Че-ерт... Черт бы вас побрал, — растерянно бормотал Илья, переводя взгляд с мулатки на корейца. — Ты не можешь выучить десять сталинских ударов... А ты... Ты не можешь прочитать «Как закалялась сталь». Да вы никогда не станете коммунистами! — закричал он.

Соратники виновато понурились. Илья поднял том Николая Островского над головой и воскликнул:

— Это же великая книга, понимаете?!

Ким сделал вид, что понимает.

— Не понимаю, — искренне и нахально призналась Анджела Дэвис. — Чего в ней такого великого?

— Все! Понимаешь, все! — закричал Илья. — Каждая страница, каждая строчка, каждое слово! Вот ты смеешься: Павка попу махры в тесто насыпал, да?

— Да.

— А в какое тесто?

Анджела Дэвис пожала плечами.

— В пасхальное! А ты знаешь, вы знаете, что такое — пасхальное тесто?

Анджела Дэвис не знала. Ким знал.

— Это когда на Пасху куличи пекут. Мамка всегда на Пасху куличи пекает. И тесто делает сладкое такое, — волнуясь, ответил он.

— А что значит это тесто, знаете? — победно продолжал Илья. — Тело Христово — вот что! Бога, значит! Павка в Бога махры насыпал! Почему поп так и возмутился, почему Павку из школы выгнали... А теперь подумайте, почему именно с этого начинается «Как закалялась сталь»? Да потому, что коммунист в первую голову от Бога должен отказаться! Это — первое. Это — главное. А потом уже остальное.

— Что остальное? — упрямо спросила Анджела Дэвис.

— Например, любовь. От нее он тоже отказался ради революции! Вспомни Тоню Туманову... Тьфу, черт, ты ведь дальше не читала! Кстати, верите ли вы в Бога?

Анджела Дэвис хмыкнула, поежилась и, одеваясь, стала рассказывать:

— Мне бабка один раз сказала: «Если ты в церковь пойдешь, я тебе голову оторву». Я тогда сразу собралась и пошла, а навстречу мне Ирка Мухина. «Куда идешь?» Я говорю: «В церковь». Она говорит: «Не ходи. Я пошла перед экзаменами, думала, поможет, а меня поп к себе домой позвал видик посмотреть». Ну я — поворот на сто восемьдесят градусов...

— А ты? — обратился Илья к Киму.

Тот замялся и смущенно признался:

— Мамка с сестренкой ходят в церковь.

— А ты? — настаивал Илья.

— Я что, дурак? — обиделся Ким.

— Значит, в Бога вы не верите, — подытожил Илья и сделал неожиданный вывод: — Это плохо. Было бы лучше, если бы вы верили, а потом... Как Павка — он сначала Закон Божий учил, а потом попу махры в тесто насыпал и стал коммунистом... Бог... В Библии написано: «Все волосы на вашей голове сочтены». Когда я это прочитал, я пошел и остригся наголо! Он считает волосы, ха! А что он там делал, когда людей — миллион за миллионом, миллион за миллионом — загоняли в газовые камеры? Волосы считал? Чтобы ими можно было набить побольше кожаных подушек? — Илья говорил это очень волнуясь, он даже побледнел от волнения. Соратники смотрели на него удивленно и немного испуганно. Илья заметил это и улыбнулся: — Наш бог — Революция. Она приходит наказывать и карать. Когда мы победим, своим первым декретом мы запретим это слово.

— Какое? — не понял Ким.

— Бог.

— Тогда его будут писать на заборах, — высказалась Анджела Дэвис.

Илья весело, залиvisto засмеялся:

— Ура! Его станут писать на заборах! Как ругательство! Это будет наша полная победа! Слово из трех букв, а смысл не меняется! Все очень просто — Бога нет! Бога не-ет! — взглядывая на небо, закричал он.

— Бога нет! — весело поддержала его Анджела Дэвис.

— Бога нет! — согласился Ким.

— Бога нет! Бога нет! Бога нет! — орала она, задрала головы и грозя небу кулаками, а Анджела Дэвис пыталась даже залезть по-обезьяньи на флагшток.

— Бо-га нет!! — скандировали они хором.

— Нет-нет-нет... — разносилось далеко над бывшим пионерским лагерем и над рекой, и никто им не прекословил, ничто не пыталось оспорить это утверждение.

Молодых людей это так развеселило, что они с трудом успокоились, а успокоившись, сели свесив ноги и стали смотреть на солнце. Оно передумало садиться за Дон и погружалось прямо в реку, окрашивая воду в красное.

Глава двадцать первая

В ПРИДОНСКЕ БУДЕТ БУМ!

Отец широко улыбнулся, протянул руку и предложил:

— Ну, мир, труд, май?..

Сын помедлил, но протянул в ответ свою ладонь.

— Давно бы так, — удовлетворенно прокомментировала процесс примирения мать.

Дело происходило в зрительном зале кинотеатра «Октябрь» — перед началом сеанса. Примирившись, семейство Печенкиных уселось в последнем ряду: удовлетворенный Владимир Иванович — посредине, умиротворенная Галина Васильевна — справа и слева — никак не выражающий своих чувств Илья. Свет в зале погас, зазвучала индийская музыка — фильм назывался «Бродяга». Печенкин нетерпеливо потер ладони, заерзал в фанерном кресле, завертел головой.

— Ты еще не видел? — обратился он к сыну.

— Я слышал, — ответил Илья мрачновато и, подумав, прибавил: — Раз сто...

Печенкин поднял указательный палец и проговорил важно и назидательно:

— Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

— Иногда наш папа говорит дельные вещи, — иронично прокомментировала Галина Васильевна.

Сюжет развивался стремительно, Илья, кажется, увлекся. Владимир Иванович покосился на него и осторожно опустил свою ладонь на колено жене.

Галина Васильевна терпеливо вздохнула и чуть погодя обратилась к мужу с той замечательной интонацией одновременной мягкости и твердости, с какой по мере необходимости все жены обращаются к своим мужьям, удивительным образом превращая невозможное в неизбежное:

— Володя...

Печенкин хорошо знал эту интонацию и, нахмурившись, спешно остановил жену:

— Опять? Я сказал тебе — Нилыча в обиду не дам!

Фонограмма стерлась, Найл брал громкостью, и можно было разговаривать почти в полный голос.

— Нилыч... — продолжил Печенкин, и в этот момент входная дверь приоткрылась и вместе с полосой желтого света в темноту зала протиснулся Седой.

— О, Нилыч! — ненатурально обрадовался Печенкин. — Иди к нам!

Седой помедлил, привыкая к темноте, и, сильно, чуть не в пояс, склонившись, направился к Печенкиным.

— Ты билет купил? — шуточно спросил его Владимир Иванович.

— У меня сезонка, — в тон ответил Седой и сел рядом с Ильей.

— Здравствуйте, Илья Владимирович, — прошептал он громким шепотом, но Илья не ответил.

— Володя... — вновь заговорила тем же самым тоном Галина Васильевна, что было для Печенкина неожиданностью. Он зыркнул в сторону Седого, ткнулся взглядом в глаза жены и сообщил очень важное и очень радостное известие:

— Мизери приезжает!

— Кто? Что? — не поняла Галина Васильевна.

— Мизери к нам в Придонск приезжает! — повторил Печенкин громко и отчетливо.

— Мизери? — задумалась Галина Васильевна.

— Мизери! — азартно повторил Владимир Иванович. — В Придонске будет бум! Где он появляется, там — бум! Или крах... Он, между прочим, Индонезию кинул. Это все знают, просто никто не говорит.

— А к нам зачем? — вяло поинтересовалась Галина Васильевна.

— Зачем — зачем? Уху хлебать! — раздраженно бросил Печенкин.

— В самом деле? — поверила Галина Васильевна.

От досады Владимир Иванович хлопнул одной ладонью по колену себя, а другой, тоже по колену, жену.

— Джозеф Мизери? — удивилась Галина Васильевна. Она, конечно, знала, слышала об этом знаменитом американском миллиардере, финансисте и филантропе, но, озабоченная своими планами, вспомнила не сразу.

— Джозеф Мизери? — повторил Печенкин, передразнивая жену. — Вспомнила наконец... Ты как мои архаровцы: давай, говорят, в Тихой заводи его примем, ухой накормим с дымком... Француза на хрен чуть не уморили...

Галина Васильевна страдальчески поморщилась:

— Володя, не ругайся...

— Я не ругаюсь, — продолжал горячиться Печенкин.

— Где? — неожиданно спросила Галина Васильевна.

— Что — где? — не понял Владимир Иванович.

— Где вы его будете принимать?

— В «Парижских тайнах».

— Ты его уже открыл?

Печенкин внимательно посмотрел на жену:

— Галь, ты чего? Уже год, как я его открыл!

Галина Васильевна виновато улыбнулась:

— Извини, я спутала с «Арабскими ночами».

«Парижские тайны» и «Арабские ночи» были лучшими ресторанами Придонска, и оба они принадлежали, разумеется, Печенкину.

— Ха! — засмеялся Владимир Иванович. — Мизери я буду принимать в «Арабских ночах»... Ну ты, Галь, даешь!

Галина Васильевна вздохнула и вновь заговорила с той же самой интонацией, не оставляющей мужу никаких надежд:

— Володя...

— Смотри, смотри! — перебил ее Печенкин, указывая пальцем на экран. — Но ты не склеишь зеркало чести своей жены, глупец!

— Но ты не склеишь зеркало чести своей жены, глупец, — повторил за Печенкиным индус с экрана.

Владимир Иванович удовлетворенно засмеялся.

Это восклицание и смех Печенкина остановили не только Галину Васильевну, но и Седого. Неловко вывернувшись, почти съехав со своего сиденья, он обращался к Илье — монотонно и виновато:

— Раньше, конечно, честности больше было. Партбилет, как говорится, обязывал. Ты не представляешь, как им дорожили, партбилетом... У нас в управлении у одного собака съела партбилет, так он сперва собаку, а потом себя... А сейчас... Партбилетов нет — и честности нет...

Тут Седому пришлось замолчать, потому что в этот момент Владимир Иванович высказался насчет зеркала чести своей жены, а индус на экране, как попка, за ним повторил. Печенкин весело и озорно подмигнул Седому, повернулся к жене и, приложив ладони к ее уху, азартно что-то зашептал.

Седой протяжно вздохнул, покосился на Илью и продолжил свой монолог:

— Конечно, раньше мы не знали, что такое эти доллары. Я их и в руках-то не держал. Я, конечно, теперь богаче, чем тогда был... Да что оно — это богатство? Уверенность была зато! Уверенность в завтрашнем дне — это дороже всяких денег.

Илья оторвался от экрана и, впервые взглянув на Седого, спросил:

— А как же понос?

— Понос — что понос? Таблетки для этого дела есть. — Седой был искренен и серьезен.

Печенкин опустил руки и смотрел вопросительно на жену. Галина Васильевна тоже смотрела на него вопросительно — она ничего не поняла из того, что он нашептал ей на ухо.

— Мизери тоже в «Трех сомах» учился! — уже несколько не заботясь о том, слышит Илья или нет, во весь голос повторил конфиденциальную информацию Владимир Иванович. Галина Васильевна смотрела по-прежнему вопросительно — до нее сегодня плохо доходило.

Илья, возможно, и не слышал отца, потому что слушал Седого. Тот подумал и привел еще один довод, может быть, последний, в пользу прежней жизни.

— Раньше космонавты были как космонавты. Гагарин! Титов! Терешкова! А сейчас... Болтаются там, как эти...

Следующие несколько минут все четверо молча смотрели на экран, то ли увлекшись фильмом, то ли отдыхая от частных бесед.

Галина Васильевна вздохнула в третий раз и сказала с той самой интонацией то, что хотела, что должна была сказать:

— Володя, ты должен оформить наследство.

Стало вдруг тихо, очень тихо, — потому что в фильме пропал звук.

— Звук, сапожники! — крикнул Печенкин зычно и радостно и объяснил жене: — В этом месте всегда так.

Звук снова появился.

— Володя... — напомнила Галина Васильевна.

— Я умирать не собираюсь, — бросил в ее сторону Печенкин.

— Никто не собирается.

— Никто и не умирает.

— Все умирают.

Печенкин молчал. Галина Васильевна терпеливо ждала. Но вместо ответа он вытащил из кармана горсть семечек, стал грызть их и сплевывать шелуху на пол.

— У тебя один сын и больше уже не будет.

Это был убедительный довод.

— Москва — третий Рим и четвертому не бывать? — это был достойный ответ. Владимир Иванович самодовольно засмеялся.

— Скажи прямо, сынок, почему ты меня так ненавидишь? — Седой смотрел на Илью и ждал ответа.

— Потому что вы — предатель, — ответил Илья.

— Потихе, пожалуйста, товарищи! Кино мешаете смотреть, — явно играя, оборвал их Печенкин и вперился взглядом в экран, не желая ничего другого ни видеть, ни слышать, ни знать.

Глава двадцать вторая

В ГРОБУ Я ВИДЕЛ ВАШЕГО СТАЛИНА

Придонская городская свалка, одна из самых больших на юге России, была свалкой известной, ее даже в программе «Время» показывали. Мутным сумеречным утром прибыл туда Илья со своей командой. Недовольно урча, грязно-желтая мыльница «Запорожца» первой модели ползла по бугристому, шершавому, дымящемуся пространству. За рулем сидел Ким. Он купил «Запорожец» на базаре за сто долларов, которые дал ему для этого Илья.

Илья сидел рядом и щурясь внимательно озирал жутковатые окрестности. Анджела Дэвис устроилась сзади, держа между колен ненавистное, полное корейской моркови ведро.

— Здесь, — скомандовал Илья, будто всю жизнь ездил по свалкам на «Запорожца» первой модели и выбирал места для остановок.

Ким резко нажал на тормоз, Анджела Дэвис ткнулась вперед, еле-еле удержала ведро и в сердцах матюкнулась.

— Не ругайся, — потребовал Илья, оставаясь спокойным, выбрался из машины и расправил плечи — серьезный, значительный, даже немного важный. — Агитировать надо молодых и нищих, — поучал он товарищей, вышагивая вокруг машины и щурясь то ли от дыма, то ли для зоркости взгляда. — Старики скоро умрут, у нас нет времени с ними возиться. А богатых не надо и агитировать, их можно купить или испугать. Все богатые — жадные и трусливые, и чем богаче, тем жадней и трусливей. Они боятся обеднеть, как старики боятся смерти. Панически! Дети не боятся смерти. Бедные не боятся обеднеть. Они будут с нами в новом обществе коммунистов.

Проговорив это, Илья вскочил сначала на капот, а потом на крышу «Запорожца». Ким зажмурился, но протестовать не смел. Автомобильная жесть гнулась и погромыхивала. Анджела Дэвис стояла рядом с Кимом и с интересом смотрела на своего вождя. Илья подался вперед, выбросил вверх сжатую в кулаке руку и закричал во все горло:

— Да здравствует коммунизм!!!

Кореец и мулатка поежились и переглянулись.

Не обращая на них внимания, Илья продолжил агитацию свалки:

— Да здравствует марксизм-ленинизм, вечно живое учение трудящихся! Да здравствует товарищ Ленин — вождь всех обездоленных!

От смущения Ким втянул голову в плечи, и щелочки глаз сделались такими узкими, что сквозь них вряд ли уже что было видно. У Анджелы Дэвис глаза, наоборот, расширились и рот приоткрылся. Она глянула на корейца и, подпрыгнув, закричала:

— Да здравствует товарищ Ким Ир Сен!

— Это я? — удивленно спросил Ким.

— Ты, а кто же! — весело отозвалась она.

— Да здравствует Анджела Дэвис! — ответно закричал Ким.

Илья глянул сверху недовольно, но продолжил свою агитацию:

— Да здравствует революционная солидарность! Да здравствует отец всех народов товарищ Сталин!

И вдруг все трое услышали за своей спиной хриплый ворчливый голос:

— В гробу я видел вашего Сталина!

Агитаторы вздрогнули и, мгновенно замолкнув, оглянулись. В нескольких шагах от них стояло непотребного вида человеческое существо с опухшей побитой мордой и маленькими наглыми глазками.

Илья сделал над собой усилие и приветливо улыбнулся.

— В гробу я видел вашего Сталина, — упрямо повторил незнакомец.

Глядя на него оторопело, агитаторы не заметили, как оказались в окружении таких же крайне грязных, дурно пахнущих людей, которые своим густым запахом забивали даже общий аромат свалки. Непонятно было, откуда они появились — словно материализовались из дымящихся куч, сложились из ветоши и грязи. В сгущающейся, тревожащей душу тишине погромыхивало автомобильное железо — Илья переминался с ноги на ногу на крыше «Запорожца».

— Вы в порядке шефской помощи или как? — живо поинтересовалась огромная бомжиха в зимнем пальто с каракулевым воротником и с обернутыми в целлофан слоновьими ногами.

— А может, они менты? — высказал догадку один явно с уголовным прошлым.

— Менты такими не бывают, — не согласился его сосед и ткнул грязным пальцем в сторону Кима и Анджелы Дэвис.

— Это американцы из Армии спасения, они к нам приезжали в прошлом году, — тоном учительницы проговорила пучеглазая худая женщина.

— Американцы на «Запорожцах» не ездют. У них «форды», — высказался дед с костылем.

— А еда, еда вон в ведре, сейчас раздавать будут.

— Это не еда, это закуска, — весело высказался бомж из второго ряда, и все засмеялись.

— В гробу я видел вашего Сталина, — упрямо повторил появившийся первым, неожиданно напомнив Илье цель его приезда на свалку.

— Товарищи! — заговорил Илья. — Мы, новые коммунисты, пришли к вам, чтобы поставить все на свои места. Что это значит? Это значит, что те, кто вас ограбил, должны оказаться здесь и в вашем положении, а вы переселитесь в их дома, набитые едой и одеждой!

Бомжи внимательно слушали.

— Это будет, я вам обещаю, но сейчас я хочу задать вам такой вопрос, — продолжал Илья, и голос его набирал силу и значительность. — Я хочу спросить вас: верите ли вы в коммунизм?..

— В гробу я видел... — забубнил первый среди равных, но не успел договорить, потому что стоявшая рядом женщина-слон ткнула его локтем. Видевший Сталина в гробу ойкнул и стал чесать бок.

— Верите ли вы в коммунизм? — очень серьезно повторил Илья свой вопрос.

Боясь ошибиться, бомжи с ответом медлили.

— Верим, — негромко и робко высказался наконец кто-то, и тогда его горячо со всех сторон поддержали:

— Верим, как не верить!

— Я, например, раньше не верил, а теперь верю!

— Верим и будем верить!

— Мы во все верим!

Другого, похоже, Илья и не ждал.

— Коммунизм — это не чья-то выдумка, не чье-то досужее желание, — продолжил он. — Коммунизм — это идея, молодая идея, ей всего каких-то сто пятьдесят лет. Говорят — идеи носятся в воздухе. Идея коммунизма витает над этим местом. Вам принадлежит будущее точно так же, как вам принадлежало прошлое. Я хочу вас спросить: кем были вы в своей прошлой жизни? — Илья указал пальцем на слоноподобную женщину: — Кем были вы?

Женщина тяжело переступила с ноги на ногу и, хмурясь, ответила:

— Продавцом я была. Завмагом в «Культтоварах».

— Вы были работником советской торговли, — прокомментировал ответ Илья и указал на другого бомжа.

— В армии прапорщиком, — ответил тот.

— Вы защищали Родину! Кем были вы?

— В школе работал.

— Вы учили детей! Кем были вы?

— На котельной...

— Вы давали людям тепло! Кем были вы?

— Шахтером.

— Вы добывали для страны уголь! Кем были вы?

— Космонавтом.

— Вы покоряли космос! — с пафосом воскликнул Илья и запнулся, почувствовав неладное. Из второго ряда смотрел вызывающе и ехидно невысокий сухощавый бомж с ежиком жестких седых волос, именно он называл корейскую морковь закуской.

Илья растерялся.

— Алконавтом он был, а не космонавтом, алкашом был, алкашом и останется! — пришел на помощь кто-то, и бомжи засмеялись. Смеялись они хрипло, неумело, как малые и больные дети. Назвавшийся космонавтом не обиделся, продолжая смотреть на Илью насмешливо и ехидно.

Бомжи отсмеялись, но Илья все молчал.

— Ты скажи нам еще про коммунизм, сынок, скажи, — ласково подбодрил дед с костылем, но видевший в гробу Сталина вновь заявил о себе.

— Видел!!! — возмущенно завопил он. — Я тогда в армии служил в Москве, в оцеплении стоял, когда его хоронили. Гроб у него был как у всех, а сверху крышка прозрачная, как у самолета — фонарь! Фонарь был у Сталина! Плексигласовый! Вот я его там и видел! Видел! Видел! Видел! — Бомж опрокинулся на спину и стал колотить по земле руками и ногами, биться головой в отчаянии оттого, что ему никто не верит.

Глава двадцать третья

БУМ В ПРИДОНСКЕ

Владимир Иванович постучал пальцем по включенному микрофону, и все заулыбались. Печенкин был во фраке и с бабочкой, и все мужчины в зале были во фраках и с бабочками: наши и иностранцы, и наши от иностранцев почти не отличались. Выделялись двое: Илья и мистер Мизери — они стояли отдельно от всех и непринужденно болтали. Илья был в той же одежде, в какой он приехал из Швейцарии: в красной курточке с золотым гербом на нагрудном карманчике, узких коротких брючках и клоунских ботинках.

— Шутка, — объяснил свое действие Печенкин, и наши засмеялись, а иностранцы заулыбались.

Илья и мистер Мизери весело переглянулись и замолчали. Богатый заморский гость окинул любопытным взглядом величественное «Парижских тайн» и, склонив голову, уставился на Печенкина-старшего из-под поблескивающих круглых очков в золотой оправе. Вообще он был очень смешной, этот мистер Мизери: невысокий, широкий в поясе, круглолицый и розовощекий, с длинными поредевшими золотыми волосами, образующими над головой своеобразный нимб. Единственный из мужчин, он был не во фраке, а в зеленом твидовом пиджаке, неопределенного цвета мятых брюках и мягких мокасинах. Да и бабочку — большую, красную в белую горошину, он, похоже, привез в кармане пиджака и надел перед выходом из машины.

— Дамы и господа! — заговорил Печенкин, улыбаясь одними глазами.

На английский переводил московский переводчик, их, московских, за мистером Мизери вообще много увязалось.

— Когда мы решали, что показывать и что не показывать нашему гостю, я сказал: «Давайте ничего скрывать не будем, покажем все, как есть...» — И Печенкин обвел взглядом интерьер ресторана, где присутствовали только два цвета: белый и золотой.

Первым, как ни странно, оценил шутку мистер Мизери — он засмеялся раньше русскоговорящих.

Владимир Иванович продолжал:

— Когда у нас в Придонске первые американцы появились, мы на них смотрели как на марсиан. Любили. Надеялись, что денег дадут. Очень их нам тогда не хватало. Оказалось, не марсиане, все у них как у людей. Денег, правда, не дали, зато подарили замечательную фенечку, я ее потом говорил, когда ко мне приходили денег просить: «Можно дать человеку одну рыбку, можно давать ему по рыбке в день, и он не умрет с голоду. А можно научить его ловить рыбу, и он станет жить как человек». Правда,

не могу сказать, что американцы научили нас рыбу ловить. Мы же тут на Дону живем, рыбаки все с детства. Ловили, ловим и будем ловить. — Владимир Иванович выдержал паузу и, улыбаясь одними глазами, закончил: — А вот денег по-прежнему не хватает!

Все засмеялись и зааплодировали. Мистер Мизери смеялся звонким залихватистым смехом, золотой нимб над его головой мелко дрожал. Досмеиваясь на ходу, мистер Мизери подошел к микрофону.

— Хочу подарить вам еще одну фенечку, — заговорил он, причем последнее слово произнес по-русски, что вызвало в душах слушателей тихий восторг. — Когда меня спрашивают, как я стал богатым, я всегда рассказываю одну историю. Я рос без отца, с мамой. Мы жили очень бедно. Когда я пошел в школу, мама не могла мне даже дать денег на обед в школьной столовой. Она дала мне яблоко. Одно яблоко. Но я не стал его есть, а продал соседу по парте за пять центов. На следующий день я продал еще одно яблоко, и мой капитал составил уже десять центов. На третий день я снова продал яблоко... — Мистер Мизери сделал паузу, лукаво поглядывая из-под очков. — Наверное, я бы и сейчас продавал яблоки и считал центы, если бы в один прекрасный день не умер мой богатый дядя и я не получил наследство.

Все засмеялись — еще более охотно и громко, чем после выступления Печенкина. Сам Владимир Иванович смеялся раскатисто, заглушая всех остальных. Мистер Мизери поднял свой розовый детский пальчик, и смех прекратился — все замерли, улыбаясь и внимая.

— За свою жизнь я не поймал ни одной самой маленькой рыбки, мистер Печенкин прав — дело не в рыбе. Главное, чтобы у вас были хорошие наследники. — С этими словами миллиардер приобнял Илью. — У вас великолепный сын, мистер Печенкин! Дюжина таких русских мальчиков вернет вашей стране ее былое величие. Оказывается, мы с вашим сыном учились в одном колледже, в знаменитом «Труа сомэ». Он даже уверяет, что видел непечатное слово, которое я нацарапал гвоздем на кирпичной стене много лет назад, когда меня собирались исключить из колледжа за низкую успеваемость и ужасное поведение.

Илья придвинулся к микрофону и добавил:

— Это слово там теперь в золотой рамке.

В «Парижских тайнах» так никогда не смеялись. Мистер Мизери позвизгивал от восторга.

— Молоток, Илюха! — благодарно проорал Печенкин и подмигнул сыну.

Смеялись все, одна Галина Васильевна не участвовала в общем веселье и выглядела беспокойной. Ее тревожил запах. Галина Васильевна раздувала ноздри, принюхиваясь, вертела головой, пытаясь определить, откуда, от кого это так ужасно пахнет, проще говоря, воняет... Рядом волновалась Дашенька Канищева в белом платье с открытой спиной.

— Тебе не кажется, чем-то пахнет? — обратилась к ней Галина Васильевна.

— Кажется, — испуганно пискнула в ответ Дашенька Канищева.

— *My russian nephew!* — воскликнул мистер Мизери, похлопывая Илью по плечу.

— Мой русский племянник! — переводчик перевел это с таким восторгом во взгляде и голосе, будто именно его назвал своим племянником американский миллиардер.

Владимир Иванович услышал то, что, видимо, даже не ожидал услышать, но, как ни странно, прореагировал на это сдержанно, после своего гомерического хохота он стал вдруг спокоен и деловит. Печенкин расправил плечи, собираясь пригласить всех к столу, который давно манил взоры гостей, особенно иностранцев, но вновь заговорил Илья. Заговорил не на русском и не на английском языке, а на немецком, причем это был особенный, диалектный, цюрихский немецкий, на котором общались между собой в «Труа сомэ».

Присутствующие улыбались, но несколько растерянно, потому что никто ничего не понимал. Только мистер Мизери блаженствовал, наслаждаясь языком, какого давно не слышал.

А между тем Илья говорил следующее:

— Мой дорогой американский дядюшка! Узнав, что ты приезжаешь, я стал думать, какой подарок тебе сделать. Это оказалось непростым делом. Что значит что-либо материальное для человека, у ног которого лежат целые страны и народы? И я решил подарить тебе песенку! Ее споют мои друзья, которых я специально для этого сюда пригласил.

С этими словами Илья выудил из кармана брюк маленький блестящий ключик, поднял его над головой, показывая всем, подошел к небольшой и неприметной двери в стене, вставил ключик в замочную скважину и открыл дверь. И чуть погодя оттуда, из узкого полутемного пространства, стали вываливаться бомжи с Придонской свалки. Они разнервничались и вспотели и входили в ярко освещенный великолепный зал шурясь, позевывая и почесываясь обреченно, но, в общем, легко.

Иностранцы удивились, москвичи растерялись, придонцы же сразу почувствовали, что это дело нехорошо пахнет. Пахло дурно, плохо пахло, попросту — воняло, как, впрочем, и должны вонять бомжи.

Гости попятились, но особенно далеко уйти они не могли — сзади стояли столы и подпирали охранники, которые просто остолбенели.

Одному мистеру Мизери было хоть бы хны, как будто у него отсутствовало обоняние. Миллиардер смотрел на бомжей, как дети смотрят на фокусника в чалме из крашеной марли и с накладной ватной бородой, — восторженно и непосредственно.

Бомжи меж тем старательно выстроились в два ряда, и вперед выступил щуплый испитой мужичок с большими пронзительно голубыми глазами.

— Песня называется: «Ни дна ни покрывки!» — высоким резковатым голосом объявил он. — Музыка моя, слова народные. В сопровождении оркестра.

Стоящих за его спиной оркестрантов было трое: худая пучеглазая женщина с губной гармошкой, бородатый дед, сменивший костыль на балалайку, и слоноподобная, державшая в опухших руках инструмент еще более экзотический — похожие на детские погремушки маракасы. Впрочем, подбор музыкальных инструментов удивления не вызывал — очевидно, что drugs на свалке просто не удалось найти.

Все это время Галина Васильевна находилась рядом с мужем. Одной рукой она держала его за руку, другой гладила и успокаивающе шептала:

— Володя... Володя... Володя...

Пучеглазая приложила губную гармошку ко рту и заиграла — неожиданно хорошо. Однако наслаждаться звучанием этого редкого в наше время инструмента было непросто: когда исполнительница выдувала мелодию, у нее еще больше выпучивались глаза и чуть не вылезали из орбит, а когда втягивала воздух в себя, щеки вваливались так, что казалось, они слипаются во рту, — слушать было приятно, а смотреть страшно.

Дед играл на балалайке не очень хорошо, зато артистично.

Маракасы пока молчали.

Голубоглазый виновато улыбнулся, тряхнул упавшей на лоб слипшейся кудрей и запел:

Мы когда-то вместе были,
Вместе ели, вместе пили,
Вместе жили — не тужили,
А теперь — ты мне зверь!
И тебе я тоже зверь!
Не откроешь ты мне дверь!
Я б открыл, да нету двери,
Вот какое дело, звери!

У певца не было слуха, но был голос — высокий, пронзительный. Он завораживал и обезволивал, рождал на спине у слушающих здоровенные мурашки и заставлял их там бегать.

Мистер Мизери был в восторге, он даже притоптывал в такт своей короткой толстой ножкой.

Слоноподобная взмахнула руками, в которых сжимала маракасы, резко громыхнул горох внутри ярких целлулоидных шаров — это означало, что сейчас будет припев. И бомжи грянули дружно хором со все еще нерастратенным энтузиазмом бывших советских людей:

У меня в кармане денег —
 Две пивные крышки!
 Ну а вам, господа,
 Ни дна ни покрышки!
 Ну а вам, господа,
 Ни дна ни покрышки!

Вне всякого сомнения, данному выступлению предшествовала не одна репетиция. После припева возникла законная пауза — музыкантам и певцам требовалось перевести дух, но, видно, второй куплет песни «Ни дна ни покрышки» гостям «Парижских тайн» так и не суждено было услышать — Владимир Иванович все-таки отстыковался от жены и в то мгновение всеобщей тишины выкрикнул, глядя на Илью, редкое и страшное слово. Можно наверняка сказать, что слово это здесь никто не знал. Точнее, его знали, но не слышали. Вряд ли его знал и даже слышал сам Владимир Иванович, оно, это слово, поднялось внезапно на поверхность души — как болотный пузырь из пучины, и Печенкин выплюнул его, глядя в смеющиеся глаза сына:

— Высерок!

Однако Илья продолжал смеяться глазами, и тогда, в один прыжок оказавшись рядом и широко размахиваясь на лету, Владимир Иванович ударил. Точнее, это был не удар, а оплеуха — щедрая, от всей души, царская печенкинская оплеуха — БУМ!

Но странное дело, в самый момент удара Илья куда-то исчез, а бедный мистер Мизери остался стоять, и голова его вдруг так сильно дернулась, будто решила оторваться от шеи, но, слава богу, не оторвалась, лишь очки мистера Мизери полетели, кувыркаясь в воздухе, и, описав дугу над головами потрясенных гостей, блеснув напоследок, как золотая рыбка, исчезли в большой хрустальной крюшоннице.

— What? What? What? — забормотал мистер Мизери, выставив перед собой растопыренные ладошки, щупая ими воздух и часто моргая.

— Вот, вот, вот! — выступил из хора бомжей пухломордый. — Вот я им и говорю: в гробу я видел вашего Сталина! — Видимо, найдя наконец того, кто ему поверит, бомж прошаркал к столу, сунул по локоть руку в розовый крюшон, выудил оттуда очки и протянул их мистеру Мизери.

И в этот самый момент случилось то, чего вовсе не могло быть в подобной ситуации: раздался смех — мелкий и ехидный. Смеялся тот седой, ежистый бомж, назвавшийся на свалке космонавтом. Печенкин-старший грозно глянул на него и заорал возмущенно и обиженно:

— Чего ржешь, Желудь?!

Глава двадцать четвертая

ВСЮДУ, ГДЕ МОЖНО ЖИТЬ, МОЖНО ЖИТЬ ХОРОШО

Удивительные дела того злосчастливого дня продолжились в рабочем кабинете Печенкина. Картина была забавной до странности: за столом Печенкина, в кресле Печенкина сидел, развалился, тот самый ехидный бомж,

сам же Печенкин стоял напротив него посреди кабинета, сцепив за спиной руки и низко опустив голову — бедняга все еще пребывал в психологическом ступоре.

Бомж же, напротив, кейфовал. Он лениво брал стоящие на соседнем столике фотографии в дорогих рамках и бесцельно их разглядывал. На фотографиях был запечатлен Печенкин вкуче с разными знаменитостями: с Аллой Пугачевой, Саддамом Хуссейном, Майклом Джексонном, с Ельциным — в Кремле в момент вручения приза «Рыцарь российского бизнеса». Сам приз — массивный позолоченный двуглавый орел на малахитовой подставке — стоял на столе Владимира Ивановича.

— А это кто еще? — Бомж задал вопрос сам себе и сам же на него ответил — лениво и равнодушно: — А-а, папа...

То был Папа Римский. Согбенно и немощно Иоанн Павел II жал Печенкину руку, так что складывалось впечатление, будто он к этой руке прикладывается.

Владимир Иванович поднял голову и горестно пожаловался:

— Так и живу...

— «Всюду, где можно жить, можно жить хорошо» — Марк Аврелий, — успокаивающе процитировал бомж.

В дверь робко поскреблись, и в кабинет протиснулся Седой.

— Дармоеды! — заорал Печенкин не оборачиваясь, но определенно видя того, кто вошел, как будто от психического напряжения и нервных переживаний у него вдруг открылось затылочное зрение. — Секьюрити хреновы! Ты куда, Нилыч, смотрел?

— За помещение ФСБ отвечало. Они этот чертов чулан проглядели, — глухо объяснил Седой, стараясь не смотреть на сидящего в кресле шефа бомжа.

— А когда я ему, бедняге, вмазал? Мог ты меня за руку схватить?

— Не мог, Иваныч. Не имел права. Вот если б он на тебя замахнулся, тогда б...

— Ну а когда они выползли, вонючки эти, когда запели? «Ни дна ни покрышки»... Тьфу!

— Нам уже не до песни было, Иваныч, форс-мажор пошел. Фээсбэшники американцев на мушке держали, мы — фээсбэшников, а американцы — и тех и других. Не до песни было.

Седой тяжело вздохнул и переступил с ноги на ногу. Вины за собой он не видел, и Печенкин, получалось, ее не находил — он даже развел бессильно руками, но вдруг вспомнил и, повернувшись к Седому, закричал:

— А ты знаешь, что сегодня второй рулек у «мерса» моего отломали? Второй! — И вновь пожаловался бомжу: — Ты понимаешь, рульки у «мерсов» отламывают. Ну знаешь, кругленький такой на носу...

Бомж знающе кивнул.

— Кому это нужно? — горестно воскликнул Владимир Иванович.

Седой попуцовел и попятился к двери, что принесло очередную неприятность — он столкнулся с входящей в кабинет секретаршей Мариной, которая несла в поднятой руке серебряный подносик. На подносике стояла хрустальная рюмка с коньяком и хрустальное же блюдце с ломтиками лимона. Поднос загремел, как банный таз, рюмка разбилась, а блюдце упало донцем вверх.

Бомж вытянул шею и сглотнул слюну.

Ароматно и резко запахло хорошим армянским коньяком.

Отягощенный думами, Печенкин громко, но без сожаления вздохнул. Марина исчезла, а ее место занял Прибыловский. Печенкин повернул голову и посмотрел на него с тоскливой надеждой.

— Посадили — улетел — улыбался, — доложил секретарь-референт, стараясь не смотреть в сторону сидящего в кресле бомжа, хотя почему-то тынуло.

Печенкин нерешительно улыбнулся.

— Правда, головой немного дергал, — прибавил Прибыловский.

Владимир Иванович вновь помрачнел.

— Ничего не сказал? — тихо спросил он.

— Сказал! — обрадованно откликнулся секретарь-референт. — «Dostoevsky was right».

Бомж в кресле Печенкина ехидно засмеялся.

— Что? — не понял Прибыловского Печенкин.

— «Dostoevsky was right»... Ах, черт! «Достоевский был прав». Он сказал: «Достоевский был прав».

— В каком смысле? — все равно не понимал Печенкин.

Прибыловский пожал плечами.

— Русская литература пустила Россию под откос! Погодите, она еще и Америку под откос пустит! — воскликнул бомж, поднимаясь в кресле и вновь садясь.

Печенкин и Прибыловский посмотрели на бомжа и переглянулись.

— На углу Ленина и Профсоюзной есть фотоателье, знаете? Так вот, там в витрине... — доверительно, вполголоса стал докладывать шефу секретарь-референт, но бомж помешал.

— Россия — проблема филологическая! — вещал он громко и насмешливо. — Нация, имеющая в алфавите букву «ы», права на существование не имеет. Каждый год население нашей Родины сокращается на один миллион человек. Простейший расчет показывает... Чтобы спастись, нам надо уже сейчас пустить в Россию китайцев, миллионов сто — сто пятьдесят. Да, мы станем узкоглазыми, но зато будем трудолюбивыми. И, конечно, без Достоевского, тут уж одно из двух. Интересные мысли там в голову приходят... Литературы много. Маркс, Ленин... Перечитываю на досуге. Залежи литературы! Там и про тебя нашел! Перевела мне одна переводчица — забавно. — С этими словами бомж покопался в бездонном кармане засаленного пиджака и вытащил оттуда мятый и замусоленный, повалившийся на свалке журнал «Экспресс». Прибыловский стремительно побледнел, рванулся к двери и — столкнулся с Мариной, которая несла на подносе еще одну рюмку коньяка и лимон на блюдечке. Ужасная картина повторилась. Бомж вскочил, но слов, чтоб выразить свое отчаяние, не нашел.

— Что ты ему по рюмке носишь? — возмутился Печенкин. — Что ему эта рюмка? Ты сразу всю бутылку тащи!

— Я сейчас уберу, — пробормотала бедная Марина.

— Да не надо убирать, — махнул рукой Печенкин.

— И лимона не надо, — крикнул бомж в спину уходящей секретарши, поднялся, подошел к Печенкину и, заглядывая ему в глаза, дружески, но очень серьезно спросил: — А ты?

— Не пью, — тихо ответил Владимир Иванович.

— Давно?

— Давно.

— Почему?

— Работать это дело мешает.

— А ты не работай! — неожиданно весело предложил бомж.

Дверь кабинета стала отворяться, и бомж кинулся к ней, зная уже о нерасторопности секретарши. Но это была не Марина — это была Галина Васильевна.

Бомж растерянно отступил на шаг, и под его грязным кирзовым башмаком хрустнуло хрустальное блюдо. Галина Васильевна коротко и презрительно улыбнулась и, обойдя его, как что-то нечистое, по окружности, посмотрела на своего мужа. Печенкин стоял к ней спиной, глядя на себя в высокое зеркало на стене.

— «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе венец из двенадцати звезд», — запоздало заблажил бомж.

Галина Васильевна остановилась за спиной мужа и своим невыносимо высоким голосом тихо и решительно потребовала:

— Володя, ты должен извиниться.

Печенкин молчал и не двигался, тупо и внимательно глядя на себя в зеркале.

— «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения!» — вновь подал голос бомж, но его не услышали.

— Володя, — напомнила о себе Галина Васильевна.

— Что «Володя»? — спросил Печенкин.

Он общался с женой через зеркало, почти как Персей с Медузой Горгоной.

— Ты оскорбил меня и нашего сына. Наш сын...

— Илюшка? — Бомж догадался, о ком идет речь. — Илюшка — гений! Мы еще о нем услышим. Ты знаешь, какую он мне мысль подарил? Как шубу с царского плеча. «Интонация побеждает смысл!» Ты понимаешь? Интонация побеждает смысл. Нет, черт побери, он гений!

— Володя, — сказала Галина Васильевна в последний раз.

— Москва — третий Рим, и четвертому не бывать? — заинтересованно спросил Печенкин.

Галина Васильевна не выдержала и побежала к двери... Поднос, хрустальная рюмка и большая резного хрусталя бутылка армянского коньяка взлетели вверх.

— Да что же это за день такой, господи?! — закричала в сердцах Марина и, уткнувшись в ладони, заплакала.

Печенкин почему-то засмеялся. Бомж рванулся к зависшей в воздухе бутылке и поймал ее.

— Русские пословицы — сплошь эмпирика, — поделился он мыслью, пытаясь одновременно вытащить пробку. — Дурак вправду Богу молился и лоб расшиб, в барском пруду водилась рыба, и пришлось потрудиться за право ее ловить. Один иностранец, чтобы понять таинственную русскую душу, прочитал два тома наших пословиц и поговорок и возмутился: в одном томе утверждают, в другом отрицают. Тут: «Что потопаешь, то и полопаешь», а там: «От работы лошади дохнут». Тоже, кстати, эмпирика: прошел один десяток верст до соседней деревни, и его там накормили, а у другого лошадь сдохла. Правда, не потому, что работала, а потому, что не кормили, но в этом стыдно было признаться. «Что же это за народ?» — возмутился иностранец. «Великий», — отвечает. Да не великий он, просто абстрактное мышление у него отсутствует. Народ-эмпирик... Чтобы узнать, что огонь жжется, ему надо руку туда сунуть...

Так как в одной его руке была бутылка, а в другой рюмка, бомжу все не удавалось вытащить пробку, тогда он замолк, вытащил ее зубами и, налив рюмку до краев, торопливо выпил. Печенкин медленно повернулся.

— Будешь? — спросил бомж.

— Нет, — определенно ответил Печенкин и, улыбнувшись, стал рассказывать: — А мне в прошлом году приз в Москве вручали — «Рыцарь российского бизнеса» — в Кремле... Ну я им сказал: Москва не третий Рим, а совсем даже наоборот. До тех пор в стране ничего путного не будет, пока Москва — столица...

Бомж выпил вторую и принялся наливать третью.

— Москва бьет с носка, — поддержал он. — Если бы этой пословицы не было, я бы ее придумал. Я там в прошлом году кантовался. Ты не поверишь, я как увидел, чуть со смеху не умер. Вот здесь, значит, храм Христа Спасителя, а вот там, аккуратно напротив, — царь Петр Алексеевич. Стою — хохочу. Мент подходит: «Чего ржешь, бомж?» Я говорю: «Да как же, господин милиционер, вы у любого попа спросите, кто для него Петр I? Он скажет — антихрист! И их прямо друг против дружки постави-

ли. Смешней не придумаешь. Здесь Христос — и здесь антихрист!» Хоть бы дубинкой ударил, гад, а то ногой с носка — два ребра сломал...

Бомж выплеснул в себя коньяк, облизнулся, отбросил мелкую и неудобную рюмку и, держа бутылку обеими руками, приложился к горлышку.

Печенкин ласково смотрел на друга, все больше его узнавая.

— Погоди, Желудь, так ты что, правда, что ли, бомж? — спросил он, радостно недоумевая.

Желудь старательно закупорил бутылку, крепко прижал ее к груди и, загадочно улыбнувшись, упал.

Глава двадцать пятая

ТРИ СЕСТРЫ, КАК У ЧЕХОВА

Дверь оказалась открытой. Галина Васильевна вошла в Гелин дом, как столичный сноб входит в маленький провинциальный музей — легко и иронично. На этот раз она была чудо как хороша. Правда, глаза были грустные, но грусть всегда шла Галине Васильевне. С букетом сиреневых ирисов в полуопущенной руке она осмотрела веранду, прихожую и кухню и остановилась посреди гостиной, вслушиваясь в доносящийся со второго этажа женский голос:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

Голос был нежный и уютный. Галина Васильевна улыбнулась глазами и краешками губ и стала подниматься вверх. Деревянная лестница легко поскрипывала под ее стопами.

— Кто здесь? — удивленно спросила Геля.

— Не пугайтесь, не пугайтесь, вам нельзя пугаться, — предупредительно подала голос Галина Васильевна, поднимаясь по ступеням лестницы — словно вырастая из-под земли. — Я — Галина Васильевна, мы с вами знакомы, так сказать, заочно и даже виделись однажды в школе. Вы торопились на урок, а я была в коридоре и вязала, помните?

Геля сидела в кресле и смотрела снизу вверх испуганно и беззащитно. Беременность не украсила Гелю, наоборот: нос ее стал толстым, губы размазались и все лицо покрывали желтоватые пигментные пятна.

— Ой, а это вам! — Галина Васильевна вспомнила о цветах и протянула букет хозяйке дома. — Я долго думала, какие цветы вы любите, и решила — эти. Я не ошиблась?

Геля медленно поднялась. Она была в толстом халате, подвязанном, из-за выступающего живота, под грудью, и в полосатых шерстяных чулках.

— Я не ошиблась? — повторила свой вопрос Галина Васильевна.

Геля нерешительно кивнула.

— Значит, я не ошиблась! — обрадовалась гостя.

Геля взяла букет и прикрыла им свой беременный живот.

Галина Васильевна увидела оставленную в кресле большую детскую книгу «Сказки Пушкина» и продолжила за Гелю голосом нежным и уютным:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

Галина Васильевна радостно засмеялась:

— Пушкин — как это прекрасно! У меня, когда я донашивала Илюшу, в институте были госэкзамены. Беременным вроде поблажку давали, но

ведь преподаватели тоже были разные... Историю КПСС принимала злобная старая дева — никаких поблажек. А я, знаете, запоминаю только, когда вслух читаю, память у меня так устроена. И вот зубрила съезды эти, вот зубрила! — Галина Васильевна смущенно засмеялась.

— Сдали? — спросила Геля.

— Сдала, конечно... Вот зубрила, вот зубрила... А Илюша там слушал... Они же там все слышат! Вы читали книгу Джона Смита «Внутриутробная жизнь человека»? Если нет, советую прочесть. А вы знаете, что к нам в Придонск в первый роддом привезли такой аппарат, что... Ну, в общем, малыша можно увидеть по телевизору. Прямо у себя дома, представляете? Как далеко зашел прогресс! Пятый месяц?

— Шестой, — ответила Геля. Волнение прошло, она уже смотрела на незваную гостью внимательно и спокойно.

— Шестой, — задумчиво повторила Галина Васильевна.

Геля усмехнулась и спросила вдруг, глядя прямо в глаза:

— Зачем вы пришли?

Галина Васильевна засмеялась и развела руками:

— Ну как же, Ангелина Георгиевна! У Илюши братик будет или сестричка, а вы говорите — зачем? Можно я присяду? — И, не дожидаясь разрешения, опустилась в кресло напротив. — Я ведь с самого начала про вас знаю, хотя мне никто не говорил. Даже день назвать могу! А знаете, как я это поняла? У нас с Володией вдруг все наладилось с сексом. То почти уже не было, а то... Стараться стал, чтобы не заподозрила... — Галина Васильевна засмеялась и поправила прическу. — Так что я вам в некотором смысле даже благодарна... И я вас прекрасно понимаю, сама была любовницей, правда, только один раз...

Геля тоже села в кресло и неожиданно жестко сказала:

— Я не считаю себя ничьей любовницей.

Галина Васильевна махнула рукой:

— Э-э, Ангелина Георгиевна, если бы мы были теми, кем себя считаем... Тогда бы все были бы принцами и принцессами и жили бы при коммунизме... — Она вздохнула, оглядывая спальню, и поинтересовалась: — У вас шторы фирмы «Этуаль»?

Геля равнодушно пожала плечами.

— В чем, в чем, а в скупости Владимира Ивановича обвинить нельзя, — закончила свою мысль Галина Васильевна.

— Я ни о чем его не просила, — раздраженно проговорила Геля.

Галина Васильевна понимающе улыбнулась, поднялась и, прохаживаясь по комнате, заговорила:

— Вы все делаете правильно, Ангелина Георгиевна. У Печенкина просить нельзя — не даст. А если ничего не просить — даст все. Он же ребенок, мальчишка: кино, семечки, рука на колене... Как женщина женщину вы меня понимаете. Я после Илюши все абортыв делала втайне от Володи. Он еще детей хотел, а я не хотела. Я ведь хорошо знаю, что это такое — много детей. Нас в семье трое было, три сестры, как у Чехова, я — самая старшая. Сначала меня одну родители любили, потом Валя родилась, на нее переключились, а уж когда Катя, я вообще изгойкой стала. Но тут и Валюха уже меня поняла. Дело до того дошло, что мы Катюху хотели убить, не помню уже, почему не убили... Я просто не могла себе представить, что буду кого-то после Илюши любить! Вот и делала абортыв. А одного передержала, некогда было все, так его на шестом месяце вычистили — вот как я Илюшу любила... Я ради него на все пойду.

— Уходите! — каменяя лицом, потребовала Геля. — Слышите — уходите!

Галина Васильевна не услышала, посмотрела на часы, покачала головой и воскликнула:

— Ой, мне пора! Мне моих мужиков кормить надо! Было очень приятно с вами познакомиться. Да не провожайте вы меня! Спускаться, потом опять подниматься — в вашем-то положении...

Однако Геля проводила незваную гостью до самой двери, не находя в себе сил для вежливой улыбки, все больше каменея лицом.

Входная дверь была приоткрыта. Галина Васильевна посмотрела на Гелю, потом на дверь, потом снова на Гелю, улыбнулась и негромко пропела:

Не запира-айте ва-шу дверь,
Пусть будет две-ерь откры-ыта.

Оставшись наконец одна, Геля торопливо закрыла-таки дверь на все запоры, обессиленно привалилась к ней спиной, обхватила живот руками, и лицо ее исказилось в приступе страха.

Глава двадцать шестая

А КТО ГОВОРIT, ЧТО АКТУАЛЕН?

1

— Стой! — неожиданно заорал Печенкин.

Водитель резко нажал на тормоз, «мерс» встал, и сзади, заюзив, в него чуть не въехал «субурбан». Пока выскакивали ошалелые охранники, Владимир Иванович уже стоял на тротуаре — широко расставив ноги и сцепив за спиной руки, — смотрел в витрину фотоателье. Даже припоздавший Прибыловский с блокнотом и ручкой на изготовку не сразу понял, в чем дело, хотя именно он сообщил Печенкину об этом фотоателье. Но Прибыловский забыл, а Печенкин, когда проезжал мимо, вспомнил...

За большим стеклом витрины висели фотографии — так сказать, отчет о проделанной работе и одновременно реклама, и центральным, самым большим и привлекающим внимание, был групповой портрет трех молодых людей. Портрет удивлял, озадачивал и даже немного пугал. Илья, какой-то узкоглазый и негритянка. Стоя плечом к плечу, они были устремлены вперед и вверх, и в глазах их светилась тайна великого знания. Именно это и пугало, хотя Владимир Иванович вряд ли испытывал страх.

— А эти двое кто? — спросил он секретаря-референта.

— Нилыч сказал, что завтра это будет известно, — ответил Прибыловский.

— А где Нилыч?

— Повез вашего друга к вам домой.

— Да, я помню. — Печенкин мотнул головой и стал прохаживаться взад-вперед вдоль витрины, ведя с собой неслышимый, но видимый диалог: он то пожимал плечами, то разводил руками, то прятал их в карманах и все вглядывался в фотопортрет — удивленно, растерянно, смущенно. Владимир Иванович не понимал. И, видимо, из-за этого своего непонимания он подхватил вдруг с земли половинку кирпича и, размахнувшись, изо всей силы запустил в витрину.

Стекло оглушительно зазвенело.

2

Галина Васильевна сильно вздрогнула, от неожиданности чуть не выронив из рук свое вязанье, когда снаружи кто-то постучал в балконное стекло.

То был Илья! Он нарочно прижался к стеклу так, что нос расплющился, и улыбался — радостно и возбужденно.

Галина Васильевна кинулась к двери и торопливо открыла ее.

— Илюшенька! Боже, как я испугалась! Но как ты сюда...

— А я... — Илья показал на растущую рядом с балконом сосну.

— Но ты же мог упасть! — воскликнула Галина Васильевна и прижала сына к себе.

— Я не мог упасть, — ответил Илья, высвобождаясь из объятий. — А где дядя Юра?

— Ушел, — ответила Галина Васильевна, стягивая с сына курточку.

— Жалко, — расстроился Илья. — Он интересный собеседник.

— Да. Он интересный собеседник, — согласилась Галина Васильевна и прибавила: — Но он ушел, и, я думаю, навсегда. Ты появился очень кстати. Я как раз закончила безрукавку. Тебя никто не видел?

Илья помотал головой.

— Это хорошо. Некоторое время вам с папой лучше не встречаться.

— Я ухожу в подполье, — сообщил Илья.

— Там не сыро? — спросила Галина Васильевна, натягивая на сына свежесвязанную безрукавку.

— Колется, — поморщился Илья.

— Зато тепло. — Она подвела своего ребенка к зеркалу. Безрукавка была белая, а на груди была изображена красным цветом революционная голова Че Гевары. Илья расправил плечи.

— Нравится? Нравится, Илюша? — допытывалась мать.

Илья не отвечал, продолжая смотреть на себя в зеркало.

— А знаешь, кому пришла в голову эта идея? Догадайся! Дашенька Канищева... Она и рисунок нашла. — Галина Васильевна повернула сына к себе, крепко прижала ладони к его щекам и заговорила горячо, глядя в глаза почти в упор: — Даша любит тебя, Илюшенька! Любит так, как сегодня уже не любят! Всем сердцем, всей душой!

— Я коммунист, мама, — сказал Илья и попытался высвободиться, но ему это не удалось — мать сжимала его щеки так крепко, что глаза у Ильи сделались круглыми и смешными, а губы сложились в бантик.

— А разве коммунисты, разве настоящие коммунисты не любили? У Маркса была его Женни, у Ленина — Надежда Константиновна и Инесса Арманд. Коммунисты, Илюшенька, тоже люди! — Галина Васильевна вдруг задохнулась от переполнявших ее чувств и стала осыпать лицо Ильи — глаза, лоб, нос — громкими, крепкими поцелуями...

3

Печенкин сидел один в темном кинозале, смотрел «Бродягу», лузгал семечки, выплевывал шелуху на пол, но лучше ему, похоже, не становилось, та счастливая отключка и не думала приходить. Внезапно что-то затрещало, пленка косо оборвалась, и экран стал белым. В зале зажегся свет. Владимир Иванович посидел неподвижно, повертел головой, прислушиваясь к тишине, обернулся, взглянул на окошечко киномеханика, вновь посмотрел на белый экран, после чего сунул в рот два сложенных колечком пальца и пронзительно, по-разбойничьи засвистел. Экран, однако, оставался белым и немым. Тогда Владимир Иванович затоптал по гулкому деревянному полу и завопил по-дурному:

— Сапожники! Кино давай!

Но там, наверху, все не слышали, и тогда Владимир Иванович поднялся и затоптал громче и заревел, вскидывая попеременно сжатые в кулаки руки, натурально заревел, как медведь.

И свет в зале погас, а на экране вновь возникло изображение. Печенкин облегченно выдохнул, сел в фанерное кресло, вытер вспотевший лоб и почувствовал, что отпустило... Но, всмотревшись в экран, вновь поднялся. Там была не Индия — не солнце, пальмы и песни, а грязь, холод и кровь, там была Россия. Урбанский рвал на себе гимнастерку и требовал, чтобы

стреляли в грудь. Это был не «Бродяга» — это был «Коммунист». Печенкин сразу все понял.

— Коммунист!! — яростно заорал он и побежал из зала.

4

В проекторской — как Мамай прошел. Видимо, Наиль искал нужную ему пленку: множество их, размотанных и перекрученных, лежали всюду большими змеиными клубками. Сам Наиль, пьяный как зюзя, сидел на яуфе, играл на гармошке и пел:

Талы, талы, талы бегелеп тора,
Талы, талы, талы бегелеп тора,
Тагын бер куресе килеп —
Узек эзелем тора¹.

Владимир Иванович растерянно улыбнулся и крикнул:

— Наиль!

Тот перестал играть и петь и внимательно посмотрел снизу на Печенкина, пока еще его не узнавая.

— Ты ж не пьешь, Наиль! — улыбаясь, удивленно проговорил Печенкин.

Наиль, кажется, наконец его узнал, но не смутился и не испугался, а, выпятив грудь, проговорил важно:

— Кто барин? Татарин барин.

И вновь заиграл и радостно запел ту же песню, которую, видимо, наконец вспомнил:

Талы, талы, талы бегелеп тора...

Печенкин обвел проекторскую взглядом и увидел на столике в углу пустую хрустальную бутылку из-под армянского коньяка. Стрекотал проектор, крутились бобины, ползла пленка.

За спиной Владимира Ивановича беззвучно материализовался Седой.

— Ни хрена себе, — сказал он и присвистнул.

Переступая через клубки пленки, как через сугробы, Владимир Иванович подошел к квадратному окошечку в стене и посмотрел на экран.

— Теряем людей! Хороших людей теряем! — слегка картавя, с горечью в голосе проговорил Ленин.

Печенкин повернул голову и внимательно посмотрел на Седого. Тот смущенно засмеялся и махнул рукой.

— А шепутной ваш друг, ой шепутной! Он, когда я его сюда вез, проснулся и все одно и то же: «Бог сегодня не актуален! Бог сегодня не актуален!» Я говорю: «А кто говорит, что актуален?» — Седой снова засмеялся.

— А ты чего же, отпустил его, что ли? — спросил Печенкин, глядя не на Седого, а на играющего и поющего Наиля.

— Да никуда я его не отпускал! — возмутился Седой. — Я его в комнате охраны закрыл — он заснул сразу. Потом иду — мне навстречу Галина Васильевна. «Где он?» Я говорю: «Там-то и там-то»... — «Мне надо с ним поговорить, дай ключ». Ну, я дал ключ... Она взяла ключ... И все. — Седой развел руками.

Печенкин улыбнулся, подходя к Седому, понимающе кивнул, положил ему на загривок свою пятерню, припечатался лбом ко лбу и заговорил:

¹ Тальник, тальник, тальник гнется на ветру,
Тальник, тальник, тальник гнется на ветру,
Еще раз тебя б увидеть —
Сердце разрывается (*татарск.*).

— Ушел так ушел. Это горе — не беда, Нилыч, это горе — не беда. Рулек у «мерса» отломали, вот беда так беда. Третий. Третий, Нилыч, рулек...

Седой дернулся, пытаясь освободиться, но Печенкин не дал ему это сделать.

— Да как же, Иваныч, я только проверял, на месте он, — зашептал Седой, пунцовая. — На месте он. Торчит. Только сейчас проверял. — Седой снова попытался освободиться, отчего его щеки приобрели уже си-нюшный оттенок, а глаза болезненно увлажнились. — Не отломали, Иваныч, — прохрипел он, теряя последнюю надежду.

— Не отломали — значит, отломают, — спокойно и жестко подвел Печенкин итог беседы и сильно, больно, гулко стукнул своим лбом лоб Седого.

Глава двадцать седьмая

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА СЕМЬИ ПЕЧЕНКИНЫХ

1

Они стояли друг против друга, как враг напротив врага, — муж и жена.

Галина Васильевна скрестила на груди руки, чуть откинувшись назад и выставив вперед ногу, — она смотрела на мужа иронично, с нескрываемым чувством превосходства, смотрела сверху вниз, хотя вообще-то Владимир Иванович был выше ее ростом. Но сейчас он был ниже, меньше и на глазах уменьшался в размерах. Пружина сжималась, Печенкин наливался яростью, под самую завязку наливался, теперь у него был выбор: либо в конце концов и очень скоро взорваться и разлететься к черту на тысячу клочков, либо на ту же тысячу клочков разорвать свою законную жену. Явно он выбрал второе. Галина Васильевна видела и понимала это. Она была готова к такому исходу, и готовность быть разорванной на тысячу клочков собственным мужем возвышала ее, делала значительнее, больше.

— Ты... отпустила... Юрку? — неожиданно высоко, пискливо спросил Владимир Иванович.

— Я его не отпускала, — сразу же ответила Галина Васильевна спокойно и убедительно.

— Я повторяю: ты отпустила Юрку? — На этот раз Печенкин не оплошал, это был его всегдашний голос.

— Я повторяю: я его не отпускала, — ответила Галина Васильевна еще более убедительно.

— Но он бы... сам бы... не ушел, — несколько растерянно проговорил Печенкин. — Он же мертвый был!

— Нет, он быстро ожил, — не согласилась Галина Васильевна.

— Значит — отпустила?!

— Я его не отпускала. Я его выгнала, — опять же спокойно и с легкой улыбкой на устах ответила Галина Васильевна.

Печенкин не поверил своим ушам. Он отступил на шаг и долгим внимательным взглядом посмотрел на жену.

— Как? — выдавил он наконец.

— Как? — повторила Галина Васильевна. — Очень просто. Я сказала: «Исчезни из нашей семьи навсегда». — Она смотрела на мужа просто и открыто.

— «Исчезни из нашей семьи навсегда»? — повторил удивленный Печенкин.

— Исчезни из нашей семьи навсегда, — подтвердила Галина Васильевна.

Печенкин протянул напряженные растопыренные пальцы руки к шее жены, но, переборов себя, отступил еще на шаг, рывком спрятал за спиной руки, сцепил их там и, чтобы успокоить себя, как заключенный на

прогулке, стал ходить по кругу, центром которого была Галина Васильевна.

— Ты понимаешь, Галк, какое дело, — глядя себе под ноги, забормотал Печенкин на ходу. — Понимаешь, Галк... Ты женщина, но ты должна меня понять. Есть у мужиков такое понятие — дружба, мужская дружба. Пусть это тебя не обижает, но друг для мужчины — дороже жены, дороже всех... Да нет, тут нельзя сравнивать, друг — это друг! Так вот... У меня был друг. Желудков Юрка. Желудь. Он за меня в огонь и в воду, и так же я за него. Потом он пропал. Я остался без друга. А потом он появился. Друг...

— Не друг он тебе, а недруг, — со вздохом усталости оборвала Галина Васильевна монолог мужа.

Печенкин остановился и спросил недоверчиво:

— Не друг?

— Недруг.

— Не друг?

— Недруг.

Печенкин засмеялся:

— А, ты хочешь сказать, что я «новый русский», а он бомж? Ты что, была, в какой мы стране живем? Завтра я, может, буду бомж, а он «новый русский». Разве не так? — И Владимир Иванович вновь заходил по кругу.

— Не так, — не согласилась Галина Васильевна. — У тебя нет друга, у тебя есть сын.

Тут Печенкин споткнулся, остановился и спросил:

— Кто?

— Сын.

— Какой сын? — Владимиру Ивановичу стало смешно, и он засмеялся.

— Илюша...

— Как-как, говоришь, его зовут? — Печенкин даже приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

— Его зовут Илья, Илья Владимирович Печенкин, — громко и отчетливо произнесла Галина Васильевна и прибавила: — И ты должен как можно скорей оформить на него наследство.

Печенкин понимающе кивнул, и вновь заходил кругами, и вновь забормотал:

— По телевизору показывали... Один наш мальчонка во Франции... Папку-мамку из карабина замочил и еще пятерых родственников... Круглый сирота, единственный наследник... Дали два года, скоро выходит... Деньги его... Да хоть бы так — ладно... А этот же мои деньги в деньги партии обратит... Он же коммунист!

Галина Васильевна вздохнула:

— Ну как ты не понимаешь, Володя, мальчик просто не хочет расставаться с детством! Вспомни, как ты играл в казаки-разбойники и как не хотел уходить, когда мама звала домой? Продлить Илюше детство — это наш родительский долг!

В ответ на это печенкинский указательный палец стал раскачиваться как маятник перед носом Галины Васильевны, и Владимир Иванович проговаривал в такт, раздельно:

— Я. Ему. Ничего. Не должен.

— Я прошу... тебя в последний раз, — грустно сказала Галина Васильевна.

— В последний? — обрадовался Печенкин. — Это хорошо, что в последний. А чегой-то ты заторопилась? А? Мышьяк, может, мне в чай подсыпашь? Изжога что-то меня в последнее время замучила... Сама-то свое наследство оформила?

И он вдруг ухватил пятерней жену за горло и стал медленно сжимать его. Галина Васильевна не пыталась вырваться.

— Извинись, — сдавленно потребовала она.

Владимир Иванович отдернул руку и потерянно взглянул на жену.

Галина Васильевна глотнула воздух и сообщила:

— Я давно все оформила, Володя. Все останется Илюше, а тебе одни твои рога.

— Рога? — переспросил Печенкин, пытаясь понять, что значит это слово.

— Рога, Володя, рога, — успокаивающе проговорила жена.

— Какие рога? — все еще не понимал Печенкин.

— Которые ты благополучно носишь на своей голове. — Галина Васильевна сочувственно улыбнулась.

Печенкин смотрел как дурак, потом помахал над своей головой ладонью, как будто отгоняя назойливую муху, и снова стал смотреть как дурак.

Галина Васильевна тихо засмеялась, прикрывая ладонью рот, присела на стоящий рядом стул и, подняв увлажнившиеся от смеха глаза, принялась объяснять:

— Говорят, жена узнает последней... А муж, оказывается, вообще не узнает! Пока жена ему не скажет... Володя, Володя... Ты искал своего друга с милицией и экстрасенсами, а надо было меня спросить. Ведь вы в тот день не мало выпили, а немало... Ты заснул на диване в комнате, а в спальне в это время были мы с Юрой... Как сейчас говорят — занимались любовью... Он ведь любил меня все эти годы, любил, а ты этого не замечал. Между прочим, он оказался хорошим любовником, обычно пьяницы этим качеством не отличаются. А когда все наконец кончилось, он очень испугался и спросил: «Что же мне теперь делать?» И я ему сказала: «Исчезни из нашей семьи».

Галина Васильевна была так взволнована этим тяжелым воспоминанием, так в него погружена, что не заметила, как муж исчез. Впрочем, это уже не имело значения, она все равно продолжала говорить:

— Только он не виноват, Володя, я сама затащила его в нашу постель, как мне это было ни противно... Я пожертвовала своей женской честью ради твоего будущего и будущего Илюши. Русская женщина жертвенна по своей природе, об этом столько сказано, столько написано...

Галина Васильевна говорила. Ей было что сказать.

2

Ночная свалка сизо дымилась и багряно рдела изнутри. Розовый «роллс-ройс», изящный и церемонный, остановился посреди этого неприемлемого для жизни, но, несомненно, обитаемого пространства, остановился в том самом месте, где однажды останавливался Илья и агитировал с крыши «Запорожца». Печенкин выскочил из «роллс-ройса», решительно забрался на капот, а с него на крышу и, озирая все четыре стороны света, потрясая кулачищем, громогласно заорал:

— Желудь! Выходи! Выходи, сволочь, я тебе морду набью!

Глава двадцать восьмая

КОММУНИСТ — ЧЕЛОВЕК ОБРЕЧЕННЫЙ

1

Как они шли... Красиво, гордо, бесстрашно... Даже толпившиеся у входа в дискотеку драчливые рэпперы в широких штанах расступились, освобождая дорогу. Они шли в ногу, плечом к плечу, они молчали, они смотрели вперед. Это была какая-то новая, неведомая, загадочная сила, их даже не решались окликнуть, а только смотрели вслед.

Глубокой ночью на улице Ленина былолюдно: сюда подтягивалась выпавшаяся днем придонская молодежь — потусоваться, потанцевать, побалдеть.

Пройдя почти всю улицу Ленина, друзья свернули на полутемную и пустынную улицу Володарского, с нее вышли на Заводскую, где не было ни души, и скоро оказались на Заводской площади.

Слева возвышался освещенный прожекторами памятник Ленину, справа робко светился изнутри хрустальный храм. Здесь случилась маленькая заминка — Ким и Анджела Дэвис направились было к памятнику, а Илья пошел к часовне.

— А почему здесь, а не там? — застенчиво поинтересовался Ким.

— Так надо, — бросил на ходу Илья.

Оглядев скептическим взглядом часовню сверху донизу, Анджела Дэвис спросила:

— Знаете, как ее в народе прозвали? Рюмка! Печенкин рюмку себе сварганил. — Она засмеялась, и Ким тоже, но Илья заставил их замолчать.

— Тихо! Вы сюда не смеяться пришли...

Внутри часовни красиво горели разноцветные лампадки, слабо высвечивая темные иконные лики. Озабоченно глядя на носки своих кроссовок, Илья заговорил — глухо и предельно серьезно:

— Хотел заставить вас выучить, но это бесполезно... Поэтому я буду говорить, а вы повторяйте. Параграф первый. Коммунист — человек обреченный.

— Параграф первый...

— Вам параграфы называть не нужно. Коммунист — человек обреченный.

— Коммунист — человек обреченный, — нестройным хором повторили Ким и Анджела Дэвис.

— У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени...

Анджела Дэвис повторила это с чувством и даже прокомментировала:

— Я так и знала...

Илья ее остановил:

— Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единой целью — революцией. — Голос Ильи делался громче и значительней.

— ...революцией! — громче и значительней повторили соратники.

— Параграф второй.

— А сколько всего параграфов? — поинтересовалась Анджела Дэвис.

— Двадцать шесть.

Девушка почесала макушку. Ким смущенно засмеялся и обратился к Илье:

— И ты все двадцать шесть помнишь?

— Конечно, — невозмутимо ответил Илья. — Повторяйте: ...он в глубине своего существа...

— Он в глубине своего существа...

— Не на словах только, а на деле...

— Не на словах только, а на деле...

— Разорвал всякую связь со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, общественными условностями, нравственностью этого мира.

— ...нравственностью этого мира.

— Товарищ Сергей, а что такое нравственность? — спросил Ким, робея.

Илья усмехнулся:

— Как сказал Ленин, нравственность — это то, что служит разрушению эксплуататорского общества и объединению всех создающих обще-

ство коммунистов. От себя добавлю — новое общество коммунистов. Понятно?

Но, кажется, корейцу не очень было понятно.

— Нравственность — это разрушение. Теперь понятно?

Ким кивнул.

Илья на мгновение задумался, восстанавливая в памяти текст клятвы.

На окраину площади выполз милицейский «уазик» и остановился.

— ...нравственностью этого мира, — еще раз повторил Илья, не отрывая взгляда от милиции. «Уазик» дернулся и уполз в темноту. — Коммунист для него — враг беспощадный, — торопливо заговорил Илья, — и если только он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб верней его разрушить.

— Коммунист для него — враг беспощадный, и если только он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб верней его разрушить, — торопливо повторили кореец и мулатка.

— Все! — неожиданно оборвал клятву Илья и глянул туда, куда уехал милицейский патруль.

— Ты же говорил — двадцать шесть параграфов, — хитровато шурясь, напомнил Ким.

— Хватит с вас и двух, — недовольно бросил Илья.

— Хватит и двух, — охотно согласилась Анджела Дэвис. Она зябла — было ветрено и прохладно.

Илья улыбнулся:

— С этой минуты вы члены НОК — Нового общества коммунистов. Поздравляю.

— А расписываться нигде не надо? — сделавшись очень серьезным, спросил Ким.

— Сейчас распишетесь, — успокоил Илья соратников и извлек из бокового кармана толовую шашку с крысиным хвостом бикфордова шнура.

— Ух ты! — удивился Ким. — Где взял?

— Атомную бомбу предложили, но дорого, — пошутил Илья. В другой его руке возникла зажигалка.

Задорно улыбаясь, Илья поглядывал то на соратников, то на хрустальный храм.

— Ну что, насыпем махры в пасхальное тесто? — весело предложил он.

И Ким и Анджела Дэвис сразу поняли, что хочет сделать их вождь, но, судя по выражению их лиц, не верили в то, что это будет сделано.

Илья шелкнул зажигалкой, но ветер мгновенно погасил пламя. Илья засмеялся.

— Но вы же говорили: Бога нет. Вы кричали: Бога нет, да? — спросил он, продолжая шелкать зажигалкой.

— Да, нет, — кивнула Анджела Дэвис.

— Нет, да, — закивал Ким.

Илья вновь засмеялся:

— Бойтесь? Когда Павка насыпал попу махры, он верил еще, что Бог есть, и все равно насыпал. А вы говорите: Бога нет — и бойтесь!

— Что мы, Бога, что ли, боимся? — возмутилась Анджела Дэвис.

— Нас посадят, — объяснил ситуацию Ким.

— Не посадят, — успокоил Илья. — А если посадят, это даже лучше — нам нужны новые мученики.

— Да ты знаешь, сколько на эту стекляшку денег потратили?! — все больше заводилась Анджела Дэвис.

— Сколько? — посмеиваясь, спросил Илья.

— Сколько — сколько? Много!

— А знаешь, чьи это деньги? Это деньги твоей бабушки. Это деньги твоей мамы. Это ваши деньги! Печенкин украл деньги у народа и на эти

деньги решил прославить себя. Она ваша, и вы можете делать с ней все, что захотите.

Щелкала и щелкала зажигалка, пламя вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло.

— А я не хочу! — крикнула Анджела Дэвис. — Пусть стоит!

— А Ленин? — насмешливо крикнул Илья.

— И Ленин пусть стоит!

Ким кивнул, соглашаясь с девушкой. Перестав щелкать зажигалкой, Илья заговорил тихо и спокойно:

— Вы еще не понимаете, что им двоим здесь не устоять. Если они сегодня построили здесь эту часовню, завтра захотят снести памятник. Бога нет. Его никто никогда не видел. А Ленин есть. Я видел Ленина.

Илья сердито и нетерпеливо глянул по сторонам, щелкнул зажигалкой, и тут словно чудо случилось — ветер совершенно стих, пламя даже не колебалось, и Илья поднес к нему конец бикфордова шнура. Он громко зашипел и заискрился.

Анджела Дэвис пронзительно завизжала, не сводя глаз с бегущего белого огня.

— Бегите! — закричал Илья, швырнул взрывчатку за решетку ворот, на кафед, под образа, и побежал прочь.

— Мама! — прошептала Анджела Дэвис и рванула в другую сторону.

Ким растерянно посмотрел на шашку, подергал решетку ворот и тоже побежал.

Как они бежали! Долго и стремительно, на одном дыхании. Усталость наступила вдруг, ударила поддых, свалила. Падая, Анджела Дэвис привалилась к какому-то забору, сползла на землю и несколько секунд не дышала, вслушиваясь в ночную тишину. Взрыва не было.

Анджела Дэвис всхлипнула и задышала — часто и громко, часто и громко... Но и оглушенная собственным дыханием, она услышала, что рядом, по другую сторону забора, кто-то тоже задышал — часто и громко... Он то ли разрылся ее дыханием, то ли дразнился... Анджела Дэвис зажала ладонью рот и прислушалась. За забором было тихо. Тогда она стала медленно подниматься, чтобы заглянуть туда, и обнаружила вдруг вырастающую напротив удивленную и испуганную физиономию Кима.

Дыхание прорвалось одновременно, и, глядя друг на дружку, они разом задышали — часто и громко, часто и громко и все чаще и громче... Странно, но это было почти то самое любовное дыхание...

2

Уже рассветало, уже солнце поднялось над Доном, а они все танцевали, превратив площадку для подъема флага в площадку танцевальную. Свой старый, обклеенный вырезанными из журнала фигурками Брюса Ли магнитофон Ким прикрутил проволокой к флагштоку. Пел Джо Дассен. Юноша и девушка были напряжены и держались на приличном друг от друга расстоянии. Анджела Дэвис без умолку болтала:

— А у меня бабка замуж собралась. С Коромысловым ихним. Захожу в комнату, а они стоят, обнимаются... Я ей говорю потом: «Ба, я вам на свадьбу презерватив подарю». А она — палкой меня по башке! Шишара — во!

Девушка наклонила свою курчавую голову и замерла в ожидании. И Ким вдруг прикоснулся к ее голове губами.

Анджела Дэвис подняла удивленные глаза.

— Хочешь, я скажу тебе десятый сталинский удар? — предложил Ким.

— Хочу, — торопливо кивнула Анджела Дэвис.

— Это... в октябре 1944 года — удары войск и Северного флота на Севере и в Заполярье. — Ким даже сам слегка растерялся: то никак не мог запомнить, а то вспомнил сразу...

— А я знаю, кто не дал хрустальный храм взорвать, — решительно объявила Анджела Дэвис.

— Кто?

— Товарищи новые коммунисты!

Они услышали голос Ильи и, хотя знали, что он появится здесь, в своем подполье, вздрогнули разом от неожиданности. Илья стоял внизу и смотрел на соратников вызывающе насмешливо.

— Танцуй! — приказала Анджела Дэвис, и они продолжили танец.

Насмешливость во взгляде Ильи сменилась озадаченностью.

— Пошли купаться, — предложил он, но танцующие старательно делали вид, что его не слышат.

— Поцелуй меня, — приказала шепотом Анджела Дэвис.

Ким сообразил, что это не по-настоящему, вытянул губы трубочкой, зажмурился и подался вперед, но дотянуться до лица девушки духу все равно не хватило. Он открыл глаза и наткнулся на сердитый взгляд Анджелы Дэвис.

Илья хмыкнул.

— У вас что, от страха крыша поехала? — спросил он, скидывая рубашку.

— Бум! Джи! Кия! — недовольно пробормотал Ким.

Анджела Дэвис забыла про партнера по танцу, повернулась к Илье и закричала:

— А знаешь, кто не дал хрустальный храм взорвать?

— Ну и кто же? — Илья стоял подбоченясь и смотрел очень насмешливо.

— Бог! — выпалила Анджела Дэвис.

Илья залиvisto засмеялся:

— Я так и знал...

— Чего ржешь?! — оскорбленно завопила Анджела Дэвис.

Илья посерьезнел:

— В таком случае я — Бог. Это был муляж. Муляж, понимаете? Я и не собирался его взрывать. Коммунисты — не варвары. Но предупредить мы были должны. Я написал там — «НОК». А для вас это была проверка. Вы ее не выдержали, поэтому я объявляю вам выговор. Строгий выговор. А теперь пошли купаться, — закончил он и стал расстегивать джинсы.

— Печенкин! — выкрикнула вдруг Анджела Дэвис.

Похоже, Илья не ожидал это услышать.

— Илья Печенкин!! — продолжила свою атаку мулатка. — Думаешь, не знаю? Да я это давно поняла! Печенкин ты, вот ты кто!

Родовая фамилия Ильи звучала в устах девушки как ругательство.

— Пошел к черту, Печенкин!

— Послушайте, товарищи... — робко и безуспешно пытался урезонить ее Илья.

Анджела Дэвис не унималась:

— Пошел к черту!

— Я исключаю вас из НОКа! — крикнул Илья.

— Пошел к черту со своим НОКом, — ответила на это Анджела Дэвис.

— Вы — не коммунисты!

— Пошел к черту со своими коммунистами!

Анджела Дэвис схватила Кима за руку и повлекла за собой к стоящему вдалеке горбатому «Запорожцу».

Поддерживая штаны, Илья растерянно смотрел им вслед. «Запорожец» на удивление быстро завелся и скоро исчез.

— Параграф шесть, — задумчиво заговорил Илья. — Суровый для себя коммунист должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви и благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единой холодной страстью революционного дела...

Джинсы свалились на землю, он скovyрнул с ног кроссовки, стянул трусы и, оставшись голым, пошел к воде, продолжая на ходу:

— Для него существует только одно утешение, одно удовлетворение — успех революции. Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение.

Илья вошел в обжигающе холодную воду, нырнул и поплыл, крича:

— Стремясь хладнокровно и неустанно к этой цели... он должен быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить... своими руками все, что мешает ее достижению!..

Глава двадцать девятая

У ЭТИХ БОГАТЫХ НЕ ПОЙМЕШЬ

1

Как таинственное восточное божество, покойное и невозмутимое в собственной значимости, полупрозрачный, пронизанный кровеносными сосудами внутриутробный человек не раскрывал глаз и делал какие-то знаки то одной рукой, то другой: то ли звал, то ли отталкивал.

— Володька! — восхищенно прошептал Печенкин и с силой сжал Гелино колено. Геля не поморщилась, а улыбнулась. Они сидели рядышком на маленьком низком диванчике и смотрели в экран телевизора.

— А знаешь, что профессор сказал? Что он давно не видел такого здорового ребенка. — Геля, кажется, поглупела в своем счастье материнства.

— Ну, ясное дело, — согласился Печенкин.

— А сейчас самое главное, смотри, сейчас он пальчик в рот положит... Смотри! — И божество на экране действительно сунуло палец в розовый беззубый рот.

— Вот — видишь? Видишь? — счастливо вопрошала она, заглядывая в глаза своему любимому мужчине, отцу своего ребенка.

Печенкин зажмурился от счастья.

Видеоизображение кончилось — запись внутриутробной жизни длилась совсем недолго.

Владимир Иванович улегся на диван — подобрав под себя ноги и положив голову на колени Геле.

Она ласково смотрела на него и нежно гладила по волосам.

— Еще разик крутани, — шепотом попросил Печенкин.

— Тебе надо домой, — тихо напомнила Геля.

За окнами стояла темень. На часах было четыре.

— Ну еще ра-азик, — повторил он свою просьбу.

— Тебе надо домо-ой, — вновь напомнила она.

Печенкин резко сел, пригладил ладонью волосы и, глядя в темный экран, проговорил спокойно и убежденно:

— А я дома. Я — дома! И ты моя жена. А Володька — мой сын.

Геля нажала на кнопку пульта, и на экране вновь появился внутриутробный человек.

— Володька... Воло-одька... — обхватив руками голову, счастливо запел Печенкин. — Мы с тобой... Все не так будет, все по-другому — правильно! Обижать никого не буду, обманывать никого не буду. А ты с меня пример будешь брат. Мудрость простая, Володька, мудрость простая: «Сын честного человека всегда честен, а сын вора обязательно вор». — Владимир Иванович резко поднялся, сунул руки в карманы брюк, заходил взад-вперед по гостиной. — И никаких тебе Швейцарий! Здесь будешь учиться, в России! В Придонске... Университет откроем имени... имени Печенкина Владимира Ивановича! — Поймав на себе веселый взгляд Гели, Печенкин

расхохотался: — Да я просто подумал: кто из придонцев самый-самый? Получается — я, — объяснил он и снова захохотал.

Где-то запищал мобильный. Владимир Иванович посмотрел на Гелю.

— Это твой секретный, — сказала она.

Печенкин порылся в кармане висящего на спинке стула пиджака и вытащил аппарат, номер которого был известен только самым близким.

— Я... Да... Понял... Да, понял, понял. Все.

Геля глянула на него встревоженно. Владимир Иванович улыбнулся и виновато развел руками. Он надел пиджак и заговорил неожиданно громко:

— Ты представляешь, Уралов в Израиль уехал с отцом.

— Ты говорил, — напомнила Геля с улыбкой.

— Говорил? — удивился Печенкин, но тут же вспомнил еще: — Лема в свою Чечню уезжает. Я говорю: «Тебя же убьют там!» Знаешь, что он мне ответил? «Зато на Родине». Вот чечен!

— Ты говорил, — терпеливо напомнила Геля.

— Да, говорил, — согласился Владимир Иванович. — Я говорю: «С кем же я работать теперь буду?»

И вдруг он упал. Непонятно было, как это произошло. Геля даже не успела испугаться, потому что Печенкин уже стоял на ногах.

— Об ковер... — объяснил он.

Внутриутробный человек на телеэкране сунул в рот палец, будто озадачился последним обстоятельством.

— Ты меня не прожай, — попросил Владимир Иванович, направляясь к входной двери, но Геля уже поднялась.

И вдруг Печенкин снова упал — грузно, громко, нелепо.

— Володя! — испуганно вскрикнула Геля.

Но он уже поднялся.

— Ух ты, чего это я? — пробормотал Владимир Иванович, недоумевая, и вывалился в дверь.

2

К телеэкрану был прикреплен желтый листок, на котором было написано красным фломастером: «Володя, включи, пожалуйста».

Печенкин оторвал листок и включил телевизор. Шли новости. Он сменил несколько программ, прежде чем понял, что следует включить видеомagneфон — кассета была уже вставлена. На экране возникла Галина Васильевна. Она улыбалась улыбкой теледиктора, но глаза были очень грустны. Печенкин опустил в кресло. Словно дождавшись этого, Галина Васильевна заговорила:

— Как далеко зашел прогресс! Можно видеть того, кого уже нет, и даже того, кого еще нет. Прогресс, прогресс... А если рак прогрессирует — это тоже прогресс? Не пугайся, Володя, я здорова! Я о другом...

У Галины Васильевны вдруг задрожали губы, она почти заплакала, но сдержалась, взяла себя в руки, улыбнулась и вновь заговорила — радостно, возвышенно:

— Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно... В могиле даже лучше... Под деревцем могилушка... как хорошо! Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... Весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... Всякие... — Галина Васильевна засмеялась и повторила: — Всякие...

Печенкин нервно поскреб пальцами щеки, подбородок, лоб и ухватил себя за нос. Галина Васильевна словно увидела это.

— Потерпи, Володя, я заканчиваю, ты всегда был нетерпелив. Что главное для человека в жизни? Главное — быть честным перед собой, пе-

ред своей совестью. Мне не в чем себя упрекнуть: всю свою жизнь я посвятила семье, то есть вам с Илюшей. И этот поступок я совершаю ради вас, только ради вас. Все тайное становится явным, это истина, и когда-нибудь Илюша узнает и поймет и оценит... Ну а ты, Володя, должен понять меня уже сейчас: у меня не было другого выхода. Впрочем, я прощаю тебе, я все тебе прощаю! Володя... Ты знаешь — я не верю во все эти выдумки вроде ада и рая, но что-то такое должно быть, ну, например, перевоплощение душ... Тогда мы встретимся с тобой в нашей новой жизни — какими-нибудь собачками или морскими свинками — и ты мне скажешь: «Галка, как ты была права!» Последняя просьба, Володя: проследи, чтобы я была в том костюме, в каком встречала Илюшу. Вспомни: жемчужно-голубой с фиолетовым. А отпевание пусть совершит отец Николай. Только не переплачивай, он и так нам многим обязан.

Галина Васильевна прощально улыбнулась и застыла в стоп-кадре. Печенкин растегнул пуговицы сорочки, сунул под нее руку и, тупо глядя в экран, стал тереть горячую грудь ледяной ладонью.

- Владимир Иванович, Илья приехал, — доложил из-за спины рыжий.
- Где он? — спросил Печенкин не поворачиваясь.
- На берегу стоит.

3

Галину Васильевну искали почти сутки, и все это время отец и сын стояли на берегу, на тех самых деревянных мостках, с которых, как говорили, поскользнувшись, она упала в воду. Резко похолодало, пошел косой с ветром дождь, но Владимир Иванович и Илья не уходили, и тогда их обрядили в длинные, до пят, черные пластиковые дождевики с высокими остроконечными капюшонами. Тихая заводь кишела моторными лодками и небольшими катерами, с которых прыгали в воду водолазы и спустя какое-то время к ним же возвращались. Центром этой разношерстной и нервной флотилии был печенкинский катер «Надежда». На носу его стоял капитан в белой капитанской фуражке, на которую был натянут прозрачный целлофановый пакет.

Капитан смотрел в бинокль, по-совиному медленно и плавно поводя головой из стороны в сторону.

Отец и сын все время молчали. Только однажды, скосив на Илью глаза, Владимир Иванович неожиданно спросил:

- А как будет по-латыни «река»?

Илья не ответил.

— Слышь, Илья, как «река» будет по-латыни? — громче повторил вопрос Печенкин.

- Не знаю, — ответил Илья, оставаясь неподвижным.

— А «дождик»?

— Не знаю.

— А «лодка» — тоже не знаешь?

— Тоже не знаю... Ничего не знаю.

— Забыл?

— Я и не знал.

— А как же читал здесь, переводил, помнишь? — растерянно напомнил отец.

— Я один кусок наизусть выучил. Текст и перевод...

Владимир Иванович не сразу понял, но потом до него дошло:

— А, ну да, кто же тебя проверить бы смог... Выходит, надул? — Кроме искреннего удивления в голосе Печенкина было и восхищение.

Илья пожал плечами:

- Выходит, так.

И тут случилось странное и неуместное — Владимир Иванович засмеялся, затрясся всем телом в своем мокром хрустком куколе. И чуть погодя Илья засмеялся — тоненько, задавленно.

Из каюты выбрался на палубу странного вида матрос: он был без штанов, но в телогрейке, из-под которой, как бабья ночная рубаха, вылезала длинная тельняшка, а на голове его была шапка-ушанка с завязанными под подбородком тесемками. Он, видно, перенырял и простудился, и теперь его мутило и знобило одновременно. Встряхивая головой и обнимая себя за бока, матрос взглянул на стоящих на берегу отца и сына Печенкиных и спросил капитана:

— Чего они там, плачут?

— Смеются, — мрачно ответил капитан, не отнимая бинокля от глаз.

Это была правда — они смеялись.

— У этих богатых не поймешь, — раздраженно высказался больной матрос, и тут на реке закричали, замахали руками, и сразу несколько моторок, взревев, сорвались с места и понеслись туда, где произошло что-то важное. Капитан торопливо направил в ту сторону бинокль.

— Все, нашли, — сообщил он громко.

— Васька? — спросил матрос.

— Васька.

— Везет гаду, — проговорил матрос и нервно зевнул.

4

Беда сближает. Беда сблизила отца и сына — в продолжение тех бесцветных мертвых дней везде и всюду Печенкины были вместе. Со стороны они напоминали оперативника и задержанного, скованных одной парой наручников; их можно было сравнить и с сиамскими близнецами, у которых срослись предплечья. Непохожие, они стали одинаковыми: у них были одинаковые серые лица с неподвижными неразличимыми в черноте ввалившихся глазниц глазами. Даже в росте они сровнялись — то ли сын вырос, то ли отец уменьшился. Одинаковость прибавляла одежда: на похоронах отец и сын были в одинаковых черных пальто, над ними несли одинаковые большие черные зонты, и на поминках они были в одинаковых черных костюмах и черных же одинаковых водолазках.

Только дважды за все это время отец и сын отлепились друг от друга. Первый раз — отец от сына — на кладбище, когда Владимир Иванович вдруг повалился на колени и пошел так, пополз за гробом, то бормоча что-то, то страшно взрывая — то ли молясь кому, то ли кого проклиная... А потом, уже на поминках, Илья на время оставил отца... Они сидели рядом во главе большого стола, горестный хмель затуманил мозги многочисленным приглашенным, те закурили и загомонили разом, Илья почувствовал себя плохо, испугался, что упадет, торопливо поднялся и ушел в свою комнату. Закрыв за собой дверь, скинул пиджак, стянул через голову водолазку и вдруг увидел стоящую посреди комнаты Дашеньку Канищеву.

— Вот! — воскликнула девушка, жертвенно морща лобик, и стала стаскивать с себя прихотливое траурное платье. Оставшись совершенно голой, Дашенька Канищева раскинула руки и закричала высоким детским голоском: — Вот! Еще никто! Никто! Возьми меня, Илюшенька! Может, так тебе легче станет! Мне тетя Галя была как мать! Она была мне больше чем мать! Возьми меня, Илюшенька!

Илья попятился, ткнулся спиной в дверь и, глядя смущенно на налившее девичье тело, не находя в себе сил ответить от него глаз, забормотал, объясняя:

— Параграф восемь. Другом и милым человеком для коммуниста может стать человек, заявивший себя на деле таким же коммунистом, как и он сам...

И вдруг по-детски всхлипнул, рванулся вперед, пробежал мимо громко рыдающей девушки, выскочил на балкон, встал на перила, прыгнул к растущей рядом сосне, ухватился за ветку и полетел вместе с ней, обломившейся, вниз. Упал Илья удачно: ничего не сломал и даже почти не ушибся — только прихрамывал немного, когда бежал в сторону кинотеатра «Октябрь».

Глава тридцатая

КОММУНИЗМ ВСЕ РАВНО ПОБЕДИТ!

На чердаке гудели голуби. Раздраженно посматривая вверх, Илья достал со дна сундучка коробку из-под зубного порошка, в которой вместо дедушкиных челюстей теперь лежал револьвер. Торопливо покрутив барабан, он установил патрон под боек и стал шарить свободной рукой по груди в поисках точного местоположения сердца. Голуби отвлекали.

— Ну, вы там! — возмущенно крикнул Илья и даже погрозил им оружием. Сердце обнаружилось, и он приставил к груди револьверное дуло.

Стоящий на столе гипсовый Ленин шурился, то ли одобряя, то ли посмеиваясь.

Илья зажмурился и стал давить на спусковой крючок, но крючок не поддавался, Илья открыл глаза и внимательно посмотрел на Ленина. Что-то было не так... Илья вынул из стоящего на полу ящика бутылку пепсиколы, открыл ее, сел за стол и выпил из горлышка свой любимый напиток до последней капли. План самоубийства созрел по ходу самоубийства. Илья сорвал со стены красное шелковое знамя и тщательно застелил им поверх одеяла свою постель.

— Думать, что коммунизм может не победить, — это значит расписаться в собственном бессилии, — задумчиво проговорил он, глядя на свою работу, и прибавил — твердо, оптимистично: — Коммунизм все равно победит!

Эти слова очень понравились Илье, он торопливо вернулся к столу, взял ручку из дедушкиного письменного прибора, окунул стальное перо в чугунную чернильницу и размашисто написал на листе бумаги: «Коммунизм все равно победит!» Действия Ильи становились все более осмысленными. Теперь он был уверен в себе. Илья расправил плечи, вздохнул и лег навзничь на знамя, стараясь его не смять. Золотые серп и молот поблескивали у виска. Решимость и покой были в глазах Ильи. Но неожиданно к ним прибавились растерянность, удивление, смущение: Илья обнаружил, что забыл револьвер на столе. Пришлось подняться, взять орудие самоубийства и лечь снова. Что-то твердое упиралось в позвоночник, лежать было не очень удобно, но второй раз Илья решил уже не вставать. Теперь он приставил пистолет к виску и, то ли прощаясь, то ли здороваясь, проговорил:

— Мама...

Потом он закрыл глаза, но в следующее мгновение кто-то громко и мокро чмокнул его в середину лба. Илья испуганно вздрогнул, торопливо провел по лбу рукой и скривился от резкого запаха птичьего помета.

— Ах вы сволочи! — заорал Илья возмущенно и оскорбленно, вскинул револьвер и трижды выстрелил вверх, в темноту. Точнее, подумал, что выстрелил, выстрела не было — были лишь резкие щелчки, удары бойка по патронам. Илья замер в удивлении. Полежав неподвижно, он сел на кровати и внимательно осмотрел свое оружие. На патронах были заметны вмятины от бойка. Это были осечки, три осечки сразу! Покрутив барабан, Илья направил револьвер в пол и нажал на спусковой крючок. Выстрела опять не последовало. Он усмехнулся, приставил дуло ко лбу и в послед-

ний раз попытался выстрелить. Никакой решимости в его глазах теперь не было, была лишь ирония. Щелчок — осечка.

— Русь-ская рапота! — выкрикнул Илья с сильным эстонским акцентом и бросил беспомощное оружие в темноту чердака.

Ленин смотрел иронично.

— Русь-ская рапота! — обратился к нему Илья и, прохаживаясь от кровати к столу, объяснил: — У нас в «Труа сомэ» был садовник — старый эстонец. Когда у него что-нибудь плохо работало или ломалось, он говорил: «Русь-ская рапота».

Илья вздохнул, не зная, что делать дальше, повалился на кровать. И снова почувствовал что-то уткнувшееся в позвоночник — острое и твердое. Сунув под покрывало руку, он вытянул оттуда красный томик Николая Островского и, держа его в руках, задумался.

— Да! — воскликнул вдруг Илья, вскакивая с кровати. Торопливо листая на ходу книгу, он нетерпеливо повторял: — Да... да... да... Вот!

Найдя то, что искал, Илья остановился и стал читать — громко, радостно, торжественно — себе, Ленину, всем:

— «Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новгород-Волынским семнадцать раз в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной!»

— Ну конечно же! — воскликнул Илья, чуть не плача от счастья и, закричав в восторженном исступлении: — Да! Да! Да! — прижался губами к твердой коленкоровой обложке.

Глава тридцать первая

ВОТ И ОСТАВАЙТЕСЬ В СВОЕЙ РОССИИ!

1

Уже на следующее после похорон утро, как все эти годы, ровно без пяти восемь черный «мерседес» Печенкина подъехал к центральному офису его компании. Владимир Иванович спешно выпрыгнул из машины, когда та еще даже не остановилась, и побежал по мраморным ступеням вверх — к высоким зеркальным дверям.

Охрана с трудом за ним поспевала. Печенкин был в черном костюме, в черной сорочке и черном же галстуке, и секьюрити, соответственно, тоже. Рыжий, который занимал теперь место Седого, был еще и в черных очках.

У стеклянных дверей выстроилась охрана офиса. Давно было так заведено — встречать Печенкина строем. Обычно он приветствовал их словами: «Здорово, мужики!», а они отвечали слаженно: «Здравствуйте, Владимир Иванович», однако сейчас Печенкин проговорил на ходу неожиданное: «Работать», и охрана растерялась: одни промолчали, другие все-таки сказали: «Здравствуйте, Владимир Иванович», а третьи автоматически повторили: «Работать».

В президентском лифте его встретили две длинноногие красавицы в строгих черных костюмах и черных же колготках. Когда двери большого, отделанного красным деревом лифта плавно раскрылись, девушки вдруг разом всхлипли и горестно и сочувственно ткнулись в плечи Печенкина.

— Владимир Иванович... Ой, Владимир Иванович, — шептали они сквозь слезы.

Печенкин растерянно улыбнулся, обнял девушек за плечи и проговорил успокаивающе:

— Ничего, ничего, — работать.

Увидев в этот момент в зеркале собственное отражение, Владимир Иванович удивился произошедшей в нем перемене. Он осунулся, почернел, постарел, но глаза просветлели, сделались чище, глубже.

— Работать! — решительно и твердо, как заклинание, как пароль всей будущей жизни, сказал Печенкин, глядя себе в глаза.

2

Как только Владимир Иванович сел за свой рабочий стол, секретарша Марина доложила, что звонит Ангелина Георгиевна Всеславинская. Он решительно поднял трубку.

Геля молчала. Он тоже молчал.

— Как ты? — наконец спросила она тихо и виновато.

Печенкин пожал плечами.

— Работаю...

— Это ужасно... — прошептала Геля и повторила: — Это ужасно...

Но Печенкин молчал, и она тоже замолчала. Он посмотрел на часы, и, словно увидев это, Геля испуганно как-то воскликнула:

— Я люблю тебя, Володя! — И прибавила, тихо и нежно: — Мы... любим тебя...

Печенкин еще раз вздохнул — так громко, что она услышала.

— Ты придешь сегодня? — робко спросила Геля.

— Работать надо, — ответил Владимир Иванович.

— А... потом?

— Что — потом?

— Нет, ничего...

— Работать надо...

Печенкин положил трубку и сразу же пригласил к себе Прибыловского. Через минуту секретарь-референт стоял напротив. Безукоризненный, безупречный, с блокнотом в одной руке и ручкой — в другой, он вел себя так, будто ничего не случилось. Печенкин оценил — взглянул на своего секретаря-референта одобрительно.

— Вызови юристов, — задумчиво заговорил он. — Пусть подготовят необходимые документы о переименовании компании «Печенкин» в компанию «Печенкины». Подготовить соответствующую рекламу. Это первое. Второе... Составить завещание... В случае моей смерти всю мою собственность, недвижимую, капиталы наследует мой сын — Печенкин Илья Владимирович.

Прибыловский захлопнул блокнот и пошел к двери.

— Да! — вспомнил Печенкин.

Секретарь-референт вернулся, взяв на изготовку блокнот и ручку. Владимир Иванович приветливо улыбнулся, вытащил из ящика и положил на стол листок с напечатанным текстом и журнал «Экспресс» — грязный, замусоленный, тот самый. Прибыловский увидел его и побледнел. Обложка журнала была разделена надвое жирной красной чертой, и на одной ее половине была запечатлена скульптура Шадра «Бульжник — орудие пролетариата», на другой — голый по пояс Печенкин с бульжником в руках. Вероятно, редакция поместила рядом два этих изображения, рассчитывая на идентичность композиций и схожесть фактур, и, надо сказать, верно рассчитывала: каменный пролетарий и живой капиталист были здорово похожи.

Печенкин смущенно улыбнулся и, протянув журнал секретарю-референту, попросил:

— Переведи ты мне, дураку безъязыкому, что там твой друг написал. Да ты сядь, в ногах правды нет.

Прибыловский взял журнал, но не сел.

— «Бульжник. Русский пролетарий передал свое оружие „новым русским”», — прочитал секретарь-референт крупно написанное на обложке.

Журнал в его руках дрожал, но Печенкин этого, кажется, не замечал.

— А дальше — там, посередке? — подсказал он.

Прибыловский торопливо зашуршал слипшимися страницами.

— И погромче, — попросил Печенкин, пригитовляясь слушать.

— «Полтора столетия назад, — громко начал Прибыловский, но дальше голос у него сел, так что Печенкину, чтобы лучше слышать, пришлось даже оттопырить ухо, — наш великий соотечественник Александр Дюма побывал в России и написал о своем путешествии книгу, которая и по сей день в этой стране почти неизвестна. Наши далекие предки ехали в Россию, чтобы увидеть там белых медведей. Сегодня мы едем туда, чтобы увидеть „новых русских”. Недавно я вернулся из России. Мне повезло. Я увидел там одного „нового русского”. Он...» — Прибыловский запнулся.

— Ага-ага, — подбодрил Печенкин, подаваясь вперед.

— «Он... ужасен, — продолжил секретарь еле слышно. — Он носит под пиджаком двадцатизарядную „беретту” и ест рыбу руками, вытирая их время от времени о ковер, на котором возлежит во время трапезы».

Печенкин смущенно улыбнулся и попытался деликатно вступить с автором статьи в полемику:

— Все правильно... Не умею я есть рыбу ножом и вилкой. Да и невкусно так... А он ел! И что получилось? Да если бы я свою грязную лапу в его чистую пасть не засунул... Читай дальше, ага...

Прибыловский криво улыбнулся:

— «Парадоксом является то, что с такими людьми, как Печенкин, связываются надежды на духовное возрождение России. О духовности русские могут говорить бесконечно! (Еще недавно с таким же энтузиазмом они говорили о коммунизме.) Никто точно не знает, что такое духовность, это расплывчатое понятие русские связывают с религией. Они строят церкви, в которые не собираются ходить. Тон, конечно, задает Москва, но и провинция старается не отставать. Мой „новый русский” строит церковь из материала весьма неподходящего — из хрусталя. Зато как будет блестеть! Византии давно нет, а византийское тщеславие осталось. Оно пребывает в России. На деньги, которые господин Печенкин потратил на свой хрустальный храм, можно было бы построить тысячу общественных туалетов. О, если вы не были в привокзальной уборной города Придонска, то вы не знаете России!»

— Дались им эти уборные! — взорвался вдруг Владимир Иванович. — Гадить, что ли, они сюда приезжают? Читай дальше...

Прибыловский кивнул и, словно перед прыжком в воду, набрав в грудь воздуха, прочитал:

— «Россия — последняя великая нация, которая думает, что она последняя великая нация».

Печенкин смущенно крикнул и подбодрил секретаря-референта:

— Читай — интересно...

— Я... не могу... — еле слышно доложил Прибыловский.

Владимир Иванович посмотрел на него внимательно и поверил.

— Тогда я сам. Мне вообще-то перевод принесли, но ты же знаешь, я читать — не очень... — Он пододвинул к себе листок с текстом, посадил на кончик носа очки и, вода по строчкам пальцем, нашел нужное место. — «Россия — последняя великая нация, которая думает, что она последняя великая нация. Вернувшись из своей поездки по России, Александр Дюма назвал русский народ ребенком, которому, чтобы повзреть,

предстоит пережить не одну революцию. С тех пор прошло полтора столетия. Русские постарели, но не повзрослели. Россия — старый ребенок, обреченный на новые революции. Возможно, когда-нибудь эти слова станут синонимами: Революция и Россия». — Печенкин отупело смотрел в листок с текстом. У белого как мел Прибыловского мелко дрожал подбородок. — Революция... Россия... — забасил Печенкин, словно кому жалуюсь. — Да что он знает о России, замухрышка французский! — Он поднял глаза на секретаря-референта, сорвал мешающие очки, с хрустом смял их в кулаке и повторил: — Что он знает о России?

— А вы? Что вы знаете? — зашептал Прибыловский, и из глаз его неожиданно брызнули слезы. — Что вы вообще знаете? — продолжил он уже на крике. — Разве это не правда? А как вы витрину в фотоателье разбили? Забыли? Зато я не забыл. Россия — ну и что? — Слезы буквально заливали лицо секретаря-референта, но он продолжал обличать: — Если сто раз за день не повторите — Россия, то не спите потом, наверно! Средство от бессонницы для вас — ваша Россия! Патрик еще не все сказал! А я скажу! Вы — дикарь! Поэтому вы рыбу руками едите! И в туалет вам все равно в какой ходить, грязный или чистый! Потому что — дикарь! И все вы здесь дикари! И никогда как люди жить не будете. Замухрышка... Да вы ногтя Патрика не стоите. А мы... Я... Я и Патрик... Мы с Патриком... Он мне не друг... Он мне больше чем друг! Я люблю его! Люблю! Слышите? И он любит меня! Для вас это дикость, потому что вы — дикарь! А мы с Патриком будем жить вместе! Во Франции! И, у нас будут дети — мальчик и девочка... Но вам это не понять. Никогда не понять. Вот и оставайтесь в своей России! — И, зарывав в голос, закрывая лицо ладонями, секретарь-референт выскочил из кабинета.

Печенкин долго сидел в своем кресле, пытаясь осмыслить произошедшее, но это ему, кажется, не удавалось. Тогда он поднялся, стал думать стоя, но только развел руками.

Пребывая в состоянии оторопелого изумления, Владимир Иванович вышел из кабинета и чуть не наткнулся на секретаршу Марину. Печенкин поискал глазами, куда бы сесть, и медленно, осторожно опустился на край низкого кожаного дивана.

— Марин, а что, Прибыловский — голубой? — спросил он шепотом. Секретарша улыбнулась улыбкой Джоконды и промолчала.

Владимир Иванович пожал плечами.

— Да мне-то, в принципе, все равно... Неожиданно просто...

И Печенкин ссутулился, втянул голову в плечи, спрятал ладони между колен и сделался вдруг маленьким и жалким.

Марина посмотрела на него сверху сочувственно и ласково, вздохнула и проговорила:

— Эх, Владимир Иванович, Владимир Иванович, ничего вы вокруг себя не понимаете!

Печенкин еще ниже опустил голову и мелко покивал, несомненно соглашаясь с таким о себе мнением. Казалось, он засыпал — как намаившийся ребенок или уставший от жизни старик. Марина не двигалась, боясь его потревожить, но Печенкин вдруг сильно вздрогнул, встряхнулся, поднял голову и заговорил деловито-озабоченно:

— Значит, так, Мариночка...

В руках секретарши мгновенно оказались блокнот и ручка.

— Значит, так, — повторил Владимир Иванович и продолжил: — Мне... в кабинет... сейчас... водки... ящичек...

— Водки вашей? — спросила Марина, записывая.

— Любой, — кротко ответил Владимир Иванович и добавил: — Воды, и побольше... Любой тоже, только без газа... И это... соды питьевой, а то изжога что-то замучила... — Он замолчал, вновь задумавшись.

— Все? — спросила Марина, и в голосе ее появилось то легкое раздражение, которое часто бывает у официантов, когда заказ бессмысленно затягивается.

Печенкин поднял глаза и внес в свой заказ поправку:

— Нет, водки, пожалуй, два ящичка...

Глава тридцать вторая

ЭЙ, ЕСТЬ ТУТ КТО?

1

И все-таки они полетели на белоснежном своем красавце «фальконе» — отец и сын Печенкины, и это были счастливейшие, сладчайшие мгновения их жизни! Небесная твердь над головами потемнела, как синее стекло, а пшеничные квадраты полей внизу выбелились солнцем, и это зримое ощущение верха и низа настраивало на торжественный лад, радовало и веселило.

Они взяли с собой в дорогу еду, сперва насыщающую душу, а уже потом тело, еда эта лежала в беспорядке на столе: халва, вобла, конфеты «Мишка косолапый», вареная картошка и малосольные огурцы, кильки в томате, розовый зефир, копченая курица, хала с маком и жаренные в масле пирожки с повидлом. А еще они взяли с собой в дорогу два ящика пепси-колы, и, когда, встречаясь с воздушными потоками, их легкий «фалькон» вздрагивал, бутылки дружно и бесстрашно позвякивали.

— Летим, Илюха! — закричал Владимир Иванович и изобразил пальцами викторию или по-нашему козу. — Лети-им!

Они летели, и несомненность этого факта давала Печенкиным столько силы, что казалось, захоти они сейчас поменять местами небо и землю — сделают это играючи. Но хотелось другого. Илье хотелось другого, и Владимир Иванович хорошо понимал хотение своего сына, потому что сам хотел того же, но стеснялся в этом признаться. Однако и терпеть мочи больше не было, и, в последний раз глянув в сторону кабины летчика, Владимир Иванович решительно скомандовал:

— Пошли!

Илья благодарно глянул на отца.

И они пошли, слегка покачиваясь, к кабине летчика, положив друг дружке руки на плечи.

Потому, потому что мы пило-ты!
Небо наш, небо наш родимый дом! —

громко в ритме марша запел отец, и сын смущенно и счастливо засмеялся.

То, что сейчас между ними происходило, было не любовью отца к сыну и не любовью сына к отцу, — это было больше чем любовь, это была дружба, мужская дружба — самое ценное Владимиром Ивановичем чувство.

Летчик Фриц в небе был еще краше, чем на земле. Оробело и застенчиво смотрели Печенкины в его крепкий, загорелый, аккуратно подстриженный затылок, на его сильную спину под белоснежной коттоновой сорочкой, на витой золотой погончик на широком плече.

Почувствовав их взгляд, Фриц повернул голову и кивнул, показывая, что все в порядке.

— Слышь, Фриц, мы чего пришли-то, — смущенно забубнил Владимир Иванович. — Можно Илюха порулит немного?

Из-за наушников летчик, разумеется, ничего не слышал, но ему было достаточно увидеть глаза Печенкиных, одинаковое выражение их

лиц, он все сразу понял, замотал головой и заговорил решительно и возмущенно:

— Nein! Nein!

Это было бесполезно, Владимир Иванович сочувственно глянул на сына, указал пальцем в сторону Фрица и прошептал Илье на ухо, успокаивая и объясняя:

— Фашист...

Илья улыбнулся — на самом деле он не очень расстроился.

— Moskau! — громко объявил вдруг летчик и указал рукой вправо и вниз.

— Маскау?! — удивился и обрадовался Владимир Иванович. — Маскау, говоришь. Ну держись, Маскау!

Представив, что перед ним стоит крупнокалиберный пулемет, Печенкин ухватился руками за гашетку и стал посылать в сторону ненавистного города очередь за очередью:

— Та-да-да-да! Та-да-да-да-да!

Илья мгновенно включился в игру, подавая пулеметную ленту.

Фриц смеялся — несколько, впрочем, сконфуженно.

Но пулеметные очереди были для Москвы все равно что для слона комариные укусы, и тогда Владимир Иванович скомандовал:

— Бомбу!

Илья сразу сообразил, обхватил бомбу руками, поднатужился и подал отцу. С серьезной важностью на лице Владимир Иванович принял смертоносный груз и, прищурив один глаз, опустил бомбу в отверстие бомболюк.

— Фью-фью-фью-фью-фью, — засвистела она, часто покачивая в воздухе хвостовым оперением...

Бомба еще не долетела до Москвы, когда раздался взрыв — внезапный, оглушительный, страшный, и в первое мгновение Владимир Иванович подумал, что у него взорвалась голова.

Печенкин полежал немного в темноте и открыл глаза. Было темно. Темно и тихо. Только где-то, непонятно где, однообразно и назойливо пищал телефон. Темнота не пугала, было понятно, что надо встать и включить свет, но делать это как раз и не хотелось. Владимир Иванович сладко потянулся и улыбнулся, радуясь ясности головы и крепости тела, отчетливо понимая, что все в его жизни отлично, а будет еще лучше. Хотя, если бы кто вошел сейчас в разгромленный рабочий кабинет, включил свет, снял со стены зеркало и наклонил его над лежащим на диване Печенкиным, Владимир Иванович не только бы удивился, но и испугался бы, увидев незнакомого человека с грязными, сальными волосами, черным лицом, острыми скулами, красным опухшим носом и мелкими гноящимися глазами... Но никто не входил, свет не включал и зеркало со стены не снимал — потому он знал: все отлично, а будет еще лучше, вот только думать об этом мешал телефонный писк... Печенкину это ужасно вдруг надоело, он вскочил на ноги, чтобы подойти к столу, на котором стояли телефонные аппараты, но, словно матроса в двенадцатибалльный шторм, его неожиданно кинуло к противоположной стене. Боком, перебирая по-крабьи ногами, опрокидывая невидимые в темноте стулья и раскидывая пустые звенящие бутылки, Печенкин все-таки преодолел это немалое расстояние не упав. Неожиданное происшествие развеселило Владимира Ивановича, и, держась обеими руками за стену, он немного над собой посмеялся. Телефон, однако, пищал. Сосредоточившись, Печенкин поразмышлял, куда теперь направить свои стопы: к входной двери, чтобы сначала включить в кабинете свет, или сразу к телефонному столу, и решил — сразу.

— Ур-ра! — закричал он, рванул как в атаку, достиг цели и остановился, опираясь обеими руками о стол, успокаивая стремительно бьющееся сердце и одновременно ощущая, как накатывает обжигающий нутро, хва-

тающий за горло приступ изжоги. Торопливо нашарив кнопку настольной лампы, Печенкин зажег ее, кривясь и морщась, схватил одну из валяющихся целлофановых упаковок питьевой соды в таблетках, спешно стал выдавливать их на ладонь, закидывать горстями в рот и смалывать с громким звериным хрустом, жадно запивая водой из хрустального графина.

Следствием такого лечения изжоги стала отрыжка, больше похожая на рычание.

Телефон продолжал пищать, и, рыча, Владимир Иванович принялся снимать трубки всех шести своих телефонных аппаратов:

— Я! Р-р-р...

— Я! Р-р...

— Не я!

Писк продолжался. После этого Печенкин снова задумался и стал размышлять — какой же это телефон звонит, если все они молчат? В раздумье он сунул руку в карман пиджака, чтобы найти сигарету, закурить и подумать об этом хорошенько, но вместо сигаретной пачки вытащил свой секретный мобильник. Он-то, гад, и пищал.

— Нилыч? — удивился Владимир Иванович, слыша голос Седого, и направился к входной двери, чтобы зажечь верхний свет. — Работаю, что я еще могу делать. Станный вопрос. — Печенкин сделал вид, что обиделся, нажал на клавишу выключателя. — Приехать? Да ты сам приезжай... Хотя нет, лучше я приеду, а то у меня тут... накурено после совещания... — Владимир Иванович дивился на свой разгромленный кабинет. — А у тебя выпить есть?

Ноги были босые, и он с удовольствием пошевелил пальцами.

— Что ж, я и выпить уже не могу после трудового дня? Так что если у тебя выпить нет, я не поеду, ты уж не обижайся...

То, что носков не было видно, это еще куда ни шло, но не было нигде видно и ботинок.

— Не, водку я не хочу, коньячок благороднее. Есть? А ты где сейчас?.. Где-где?.. А что это ты там делаешь?

Ботинок лежал на столе.

— Работаешь? Как — работаешь? Ах ты черт! — Печенкин хлопнул себя по лбу и засмеялся: — Я и забыл, что уволил тебя... Ну ладно, еду, ты там пока разливай... Слышь, а какое сегодня число? — крикнул он, но поздно — Нилыч уже положил трубку.

Держа в руке единственный свой ботинок, Владимир Иванович искал второй, но, быстро поняв, что это бесполезно, отшвырнул его и вышел из кабинета босиком.

Приемная была пуста, на низком кожаном диване лежал скомканный плед, а сверху валялся женский лифчик. Владимир Иванович озорно и самодовольно усмехнулся, хотя ничего такого что-то не припоминалось. Рядом на полу валялся второй ботинок, и Печенкин мстительно пнул его ногой...

2

Длинные коридоры офиса были темны и мертвы.

— Эй, есть тут кто? — крикнул Владимир Иванович, не особенно веря, что кто-то ответит. Никто и не отозвался.

— Где народ? — спросил Печенкин уже самого себя и сам же в ответ пожал плечами.

Лифты не работали. Предстояло спускаться пешком двадцать этажей.

— Ладно, спускаться — не подниматься! — оптимистично высказался Владимир Иванович, торопливо вышел на гулкую темную лестницу и начал свой спуск. За сплошным стеклом стены светились внизу уличные фонари, и это успокаивало и радовало.

— Аба-ра-я! — громко и торжественно запел Печенкин.

Но там, внизу, совершенно не было людей. Это раздражало и даже пугало. Вообще-то люди Печенкину были не нужны, но одновременно именно сейчас их очень не хватало.

— Аба-ра-я, — дрогнувшим голосом повторил он и увеличил скорость. Какие-то мелкие острые камешки попадали то и дело под голые ступни, и это тоже было неприятно. Чтобы скорее от всего этого избавиться, надо было бежать быстрее, и Печенкин побежал быстрее. — Аба! Рая! Аба! Рая! Аба! Рая! — приговаривал он при этом. Первый этаж представлялся спасением, потому что там находилась охрана офиса, там можно было дать распоряжения, обуться, спросить, какое сегодня число. — Аба! Аба, аба! Рая, рая, рая!

Печенкина буквально вынесло по инерции в просторное фойе первого этажа. Тут тоже было тихо и мертво, но живо журчал декоративный фонтанчик. Владимир Иванович подбежал к нему, жадно напился, умылся и, выпрямившись, крикнул:

— Вы что, хотите, чтобы я вас всех уволил к черту?

Никто, однако, не отозвался на эту угрозу. Скрипнула вдруг входная стеклянная дверь, и Печенкин обрадованно туда посмотрел. Дверь была открыта и покачивалась от сквозняка. Владимир Иванович зябко поежился. Электронные часы над дверью показывали какое-то странное, непостижимое время: 99.99. Это пугало — это не могло не испугать, и Печенкин рванул на улицу.

Уже сбегая вниз по мраморным ступеням, он стал оглядываться и задирает голову.

Наверху, на крыше небоскреба, ничего не было, не было того, что должно быть, и это уже не пугало, а убивало. Остановившись внизу на асфальте, Печенкин смотрел вверх, пока там, под черным беззвездным небом, не загорелась алая буква «П», потом «Е», потом «Ч»...

Владимир Иванович облегченно вздохнул. Последняя буква не загорелась, получилось ПЕЧЕНКИ, но это уже не имело значения. С хрустом расправив плечи и по-хозяйски оглядывая широкую пустую улицу, он направился к своему «мерседесу». Асфальт охлаждал ступни. Неприятности, однако, продолжались — рулек был отломан, вместо него торчал противный корявый штырек, и это мгновенно испортило поднявшееся было настроение. Владимир Иванович торопливо отвернулся, чтобы не видеть царапающую душу картину, и пошел прочь.

Уличное одиночество длилось недолго — из-за спины вывернулась старая японская иномарка с правым рулем, громыхающая железом и бьющая стереомузыкой. Машина сбавила скорость и поехала рядом. Из открытого окна задорно поглядывали две круглые, с короткими стрижками морды.

Желанная еще недавно встреча с людьми сейчас почему-то не радовала.

— Мужик, ты где боты потерял? — весело крикнула одна морда.

Печенкин не ответил на вопрос, он даже как бы и не слышал, продолжая идти своей дорогой и глядя только вперед.

— А, мужик? — немного обиженно прокричала морда вторая. Впрочем, обида была напускной — морда улыбалась.

— Садись, подвезем! — предложили морды хором. Делать дальше вид, что не слышишь, было неудобно, и, повернув в их сторону голову, Владимир Иванович объяснил:

— У меня денег нет.

Морды страшно обрадовались, что ночной пешеход заговорил с ними, и закричали, перебивая друг друга:

— Да нам денег не надо!

— Мы так подвезем!

— Бесплатно!

Печенкин заколебался, он то ускорял шаг, то замедлял и наконец остановился. Колымага тоже остановилась. Морды смотрели на Печенки-

на так, будто всю жизнь мечтали бесплатно прокатить его по ночному Придонску.

— А какое сегодня число? — решительно спросил Печенкин.

Морды задумались и уставились друг на дружку. Похоже, вопрос застал их врасплох. Печенкин шурился, дожидаясь ответа, от которого зависело, поедет он с ними или нет. И морды вдруг разом заржали. Печенкин криво усмехнулся и пошел как ни в чем не бывало дальше. Машина осталась стоять, и до слуха Владимира Ивановича еще долго доносились, прерываемые тишиной, взрывы хохота.

3

В просторный сумеречный кабинет Печенкин вошел весело, по-хозяйски. Первым встретился Седой, и Владимир Иванович крепко обнял его и пьяно, слюняво облобызал, хотя тот явно не выказывал желания целоваться. Кажется, Седой хотел быть с Печенкиным строгим, жестким, но сила обаяния прежнего хозяина и крепость его рук взяли верх, и он только растерянно улыбался.

Вторым был начальник Придонского УФСБ — мелкий, с мелкими же чертами лица, серый, никакой. Он хмурился и протягивал для пожатия вялую ладонь. Печенкин громко хлопнул по ней своей ладонью и упал в низкое, по моде шестидесятых годов, кресло. Устало шевеля пальцами ног, он озабоченно объяснил ситуацию Нилычу:

— Рулек опять у «мерса» отломали, гады...

Седой судорожно кивнул.

На стене, над столом начальника, висел написанный маслом, большой, в рост, портрет Дзержинского. Приятельски ему подмигнув, Владимир Иванович поделился:

— Мой тесть его вешал. — И тут же поинтересовался: — Ну что, мужики, выпивать-то будем? Где коньячок?

— А тебе какой — французский? Или армянский? — неожиданно прозвучал из-за спины сильный, хорошо поставленный голос.

— Армянский, конечно, французский не уважаю, — ответил Владимир Иванович, выворачиваясь в кресле, чтобы увидеть, кто говорит. В дальнем темном углу за низким столиком сидел, подавшись вперед, пожилой мужчина с породистым лицом и мешками под глазами. Смотрел он недобро.

— Будет тебе армянский, — пообещал незнакомец, и в этом обещании слышалась угроза.

Мелкий мелко засмеялся, Седой нерешительно поддержал. Печенкин переводил удивленный взгляд с одного на другого и не удержался — засмеялся тоже: открыто, громко, раскатисто. Он долго не мог остановиться, и обитатели сумрачного кабинета уже не рады были, что развеселили званого гостя.

— Это генерал... — представил неизвестного Мелкий. — Специально сегодня из Москвы прилетел...

Владимир Иванович не расслышал фамилию генерала, но его сейчас интересовало другое, и он спросил:

— Какого числа прилетел?

— Сегодня, — сухо ответил генерал.

Печенкин вздохнул, резко поднялся, стуча голыми пятками по паркету, подошел к генералу и браво представился:

— Печенкин.

— Печкин, — ответил генерал.

— Где-то я уже слышал эту фамилию... — задумчиво проговорил Печенкин и обратился через плечо к Седому: — Нилыч...

— Не Нилыч, а Василий Нилович! — истерично закричал вдруг Седой. — Василий Нилович!

Печенкин не обиделся, но расстроился.

— Да ты чего, Нилыч? — спросил он. — Сам позвонил: «Приходи, выпьем коньячку», человек вот специально прилетел... сегодня... А сам кричишь...

— Вы, говорят, кино любите смотреть? — вмешался в перебранку генерал.

Владимир Иванович задумчиво склонил голову и ответил:

— Смотря какое...

— Ну, это тебе понравится, — усмешливо проговорил генерал и нажал на пульт стоящей рядом видеодвойки.

Изображение было черно-белым, мутным; чтобы лучше видеть, Печенкин подошел ближе. Там был хрустальный храм, а рядом с ним, у закрытых ворот, стояли трое, они разговаривали — кажется, спорили, — размахивали руками.

— А звук? — спросил Владимир Иванович.

— Звука нет, — ответил из-за спины начальник УФСБ.

— Илюха! — обрадованно воскликнул Печенкин, узнав среди троих сына. — А рядом кто? Где-то я их видел... Кто они?

— Подельники, — мрачно ответил генерал.

— Черножопая и узкоплечный, — добавил Мелкий и засмеялся.

Илья бросил что-то за ворота храма и побежал, за ним поочередно выскочили еще двое.

— Куда это они? — поинтересовался Владимир Иванович.

— Не куда, а откуда. Они храм заминировали, — объяснил генерал.

— Какой храм?

— Тот самый... — ответил генерал.

— Хрустальный, — подсказал Седой.

— Хрустальный, — повторил генерал.

— Зачем? — вяло поинтересовался Печенкин.

Генерал пожал плечами:

— Следствие выяснит.

Экран погас.

— Конец фильма, — прокомментировал Седой.

Печенкин вздохнул, улыбнулся, поежился, потер ладони и обратился ко всем трим:

— Ну что, выпивать-то будем? А то у меня ноги замерзли...

— А ты какой размер обуви носишь? — неожиданно поинтересовался генерал.

— Сорок третий, а что?

Генерал положил на стол папку, а сверху свою руку и, глядя в глаза Печенкину, внимательно и серьезно объяснил:

— Здесь все необходимые документы: полетный сертификат и все такое прочее. В срочном порядке вы должны улететь со своим сыном... — Генерал помолчал и прибавил: — ...к гребаной матери...

— Это вы серьезно или шутите? — искренне недоумевая, спросил Печенкин.

— Да куда уж шутить, завтра от этой шутки вся Россия содрогнется, — ответил генерал недовольно.

— Повтори, что сказал! — выкрикнул вдруг Владимир Иванович, ухватив генерала за лацканы пиджака и вытягивая к себе. Столик упал, документы рассыпались, телевизор свалился и разделился на пластмассовую коробку и электронную требуху. Генерал уперся руками в плечи Печенкину, пытаясь оторваться, но это ему не удавалось.

— Повтори! — яростно потребовал Владимир Иванович.

— Завтра... вся... Россия... — прохрипел генерал, почувствовав, видимо, что иначе Печенкин его не отпустит, но Владимир Иванович не отпускал и снова требовал:

— Повтори...

Налицо было непонимание: Печенкин требовал повторить другое, про мать, а генерал думал, что про Россию. Это не понимали и Седой с Мелким, они вцепились в локти Печенкину, пытаясь разорвать его мертвую хватку, каждый говоря о своем.

— Не Нилыч, а Василий Нилович, — напоминал Седой, а Мелкий жаловался:

— Телевизор раскокали, гляньте вон...

Но Печенкин не желал нечего слышать, кроме одного.

— Повтори! — требовал он снова и снова.

— Завтра... вся... Россия... — послушно хрипел генерал.

Печенкин мог его задушить.

— Повтори...

— Завтра... — Генералу не хватало воздуха, и тогда Мелкий пришел ему на помощь:

— Завтра вся Россия содрогнется!

— Завтра вся Россия содрогнется! — подключился и Седой.

Они топтались вчетвером по важным, видимо, бумагам и потрескивающим деталям телевизора, словно исполняли какой-то странный и страшный мужской танец.

— Завтра вся Россия содрогнется...

— Завтра вся Россия содрогнется...

— Завтра вся Россия содрогнется, — повторил и Печенкин и отпустил вдруг генерала. Тот повертел шеей, откашлялся, поправил пиджак и резко, профессионально ударил Владимира Ивановича в лицо. На подбородок и грудь Печенкина хлынула черная густая кровь. Он наклонился и подставил под нее сложенные лодочкой ладони.

Генерал еще раз поправил пиджак и обратился к Седому:

— У тебя какой размер ноги?

— Сорок первый, — с готовностью ответил Седой.

— А у тебя?

— Тридцать девятый. — Мелкий почему-то испугался.

Генерал махнул рукой, сел на пол и стал расшнуровывать ботинки.

Глава тридцать третья

А Я НОВУЮ ПЕСНЮ СОЧИНИЛА

1

Все те дни, когда Печенкин-отец безвылазно пропадал на своей работе, Печенкин-сын безвылазно пропадал на своем чердаке. Илье приносили туда еду — вкусную, полезную, разнообразную, но он отказывался, ограничиваясь дедушкиными сухарями и пепси-колой. После попытки самоубийства в молодом человеке проснулась яростная и веселая жажда жизни: он почти не спал и то читал вслух Ленина, то разучивал по дедушкиному песеннику и громко распевал революционные песни, то что-то писал и, смеясь, рвал написанное. Вообще он много смеялся, даже когда Ленина читал. Особенно Илью почему-то веселили слова вождя из работы «Социализм и религия»: «Мы требуем полного отделения церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейно и только идейным оружием, нашей прессой, нашим словом». Это место Илья перечитывал много раз и всегда залиvistо хохотал.

В один из вечеров, когда стемнело, он надел красную швейцарскую курточку, узкие брючки и клоунские ботинки; чтобы не привлекать внимания охраны, перелез через забор, поймал попутку и поехал в Придонск.

В кабине маленького грузовичка, глядя на ритмично возникающие и исчезающие придорожные столбы, Илья стал напевать — сначала про себя, а потом, чтобы не удивлять водителя, в четверть голоса — ту самую мелодию, которую исполнял однажды в их доме оркестр под управлением знаменитого дирижера:

Ту-у-ду-у, ду-ду-ду
Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду...

Водитель — худой, с заостренным вперед лицом, большим острым носом и треугольным кадыком — прислушался и неожиданно подхватил:

Ту-ри-ру-ри-ру
Ту-ри-ру-ри-ру...

До самого Придонска они исполняли хором увертюру Дунаевского к фильму «Пятнадцатилетний капитан» и расстались, можно сказать, друзьями.

В Придонске Илья первым делом пошел в парк Воровского, сел на ту же скамейку, на которой сидел однажды, когда сзади неслышно подкралась Анджела Дэвис и приставила к его виску револьвер. Это было небезопасно — поздним вечером находиться в парке Воровского одному, но Илья как будто не испытывал страха — наоборот, он время от времени нетерпеливо вертел головой, словно ожидая, что кто-то подойдет, и удивляясь, что никто не подходит. Так никого не дождавшись, а лишь замерзнув, Илья поднялся и направился к «Макдональдсу», то выбивая зубами дробь, то бодро напевая:

Ту-у-ду-у-ду-ду-ду...

В «Макдональдсе» он с удовольствием умял полдюжины гамбургеров и выпил три больших стакана с клубничным коктейлем, отчего замерз еще больше.

ЖЭК, он же Совет ветеранов, был закрыт, и в школе, где училась Анджела Дэвис, не горело ни одного окна.

На привокзальном базарчике зябли унылые кавказцы, Илья спросил их про корейца, торгующего корейской морковью, и они ответили, смеясь, что кореец женился. Илья тоже засмеялся.

После этого он отправился на Заводскую площадь. Она была пустынная и неприветливая. Холодный ветер гонял по пыльному асфальту надузыренный целлофановый пакет. Хрустальный храм светился зыбким негреющим светом. Дрожа и сутулясь, пряча руки в карманах курточки, Илья подошел к памятнику Ленину, шмыгнул носом и заговорил, глядя в постамент:

— Ты во всем виноват, ты все испортил...

Он сказал это тихо, осторожно, виновато и, не поднимая глаз на каменного вождя, пошел вокруг постамента, сцепив за спиной руки, и заговорил на ходу уже громче и решительней:

— Ты во всем виноват! Ты все испортил! «Мы требуем полного отделения церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейно...» Чисто идейно? А кто религию труположеством называл? Кто за расстрел попа сто тысяч рублей платил? А тут вдруг — «чисто идейно»... Тактика? Знаю я эту тактику — страшно стало. А вдруг Он все-таки есть? Вот и все твое «чисто идейно». Испугался, что коммунист — человек обреченный? Поэтому и Сталина генсеком сделал, этого либерала и рохлю, уж мы-то знаем, что Сталин — либерал и рохля... А про остальных, что потом были, про них и думать противно! Сделаны все ошибки, какие можно было сделать. Все! И я добавил в копилку наших ошибок свой медный пятак. НОК — утопия! Не от частного к общему надо было идти, а наоборот... Это моя страна! Это мой народ! Здесь все коммунисты, просто они об этом забыли. Надо заставить их это вспомнить. Как? Я знаю — как. — Илья засмеялся. — Все очень просто. Надо не отнимать у богатых деньги,

чтобы раздать их бедным, — наоборот! Надо помочь богатым отнять у бедных последнее. И тогда они сами пойдут за нами! Национальный вопрос... Не надо говорить, что между, допустим, русским, корейцем и негром нет никакой разницы, но надо говорить русским, что они лучше всех, корейцам — что они, а неграм — что они... Они передерутся между собой, а потом сами пойдут за нами!

Илья согрелся, ему даже стало жарко. Он говорил, глядя в каменное лицо вождя, громко, уверенно, с интонацией превосходства.

— Не запрещать, а разрешать! Можно все! Не расстреливать попов, платя за это по сто тысяч рублей, и не бороться с церковью «чисто идейно», а кормить чернорабочих, набивать их утробы и строить, строить эти чертовы храмы на последние народные деньги — из хрусталя, из золота, из чего угодно, — до тех пор, пока их не возненавидят. И вот они уже все наши, все, все сразу! И не туда я должен был бросать ту дурацкую игрушечную взрывчатку, — Илья махнул рукой в сторону храма, — а сюда! — Он ткнул пальцем в Ленина. — И не муляж, конечно, а настоящую, до килограмма в эквиваленте, ха-ха, между ног подвязать... Чтобы как рвануло! Вдребезги! Чтобы были руины и пепелища! И тогда они все придут к тебе, потому что они любят руины и пепелища...

Услышав тугой хлопок за своей спиной, Илья обернулся и увидел поднявшееся над хрустальным храмом быстро исчезающее в темноте розоватое облачко. Составляющие стены храма хрустальные пластины стали падать на асфальт и разлетаться на мелкие осколки. И еще Илья увидел, что, лишенный опоры, золоченый хрустальный крест завис на мгновение в воздухе — маковки под ним уже не было — и пропал внизу...

Илья засмеялся, не веря своим глазам, и повернул туда, где это происходило, но тугая и теплая, чем-то сладким пахнувшая взрывная волна заставила остановиться, попятиться и побежать назад... Только два раза он обернулся на бегу и в первый раз увидел там белый дым, а во второй — желтое пламя. Илья улыбнулся и словно в рожок загудел, предупреждая о своем беге:

Ту-у-ду-ду-ду-ду...

Он бежал по слепому, немому, глухому Придонску неспешно, но быстро — держа спину прямо и вздернув подбородок, равномерно работая ногами и согнутыми в локтях руками, — гордо бежал, гордо и счастливо: быть может, так бежал тот первый марафонец, несущий свое радостное известие; Илья тоже теперь что-то такое знал — благая весть переполняла его душу, питала его силы.

2

Анджела Дэвис вздрогнула и открыла глаза.

— Чего ты? — спросил Ким.

— Приснилось чего-то... — ответила она.

— Спи...

— Я уже поспала.

Анджела Дэвис подняла на Кима глаза и улыбнулась. Голова ее покоилась на его голом плече, они лежали в ее комнате на ее диван-кровати, тесно прижавшись друг к другу под одеялом.

— А ты спал? — спросила Анджела Дэвис.

— Нет. — Ким ответил так, что ей даже стало немного стыдно за свой вопрос. Он не спал, потому что не имел права спать тогда, когда спит она. На лице Кима лежала печать высокой мужской ответственности, он готов был прямо сейчас взвалить на себя бремя супружеской жизни и нести его без передышки весь бесконечно долгий путь. Собственно, он нес уже это бремя, поэтому и не позволил себе заснуть.

— Я давно хочу тебя спросить, но стесняюсь... Я давно хочу тебя спросить. Как тебя зовут по-настоящему? — спросил он.

— По-настоящему?

— Да.

— Имунга Квами Нкомо-Нкомо.

Он потрясенно молчал.

Она тихо засмеялась.

— А если на русский перевести? — робко спросил он.

— Если по-русски, получится Зина.

— Зина? — обрадовался он. — Зина — и все? Просто Зина? Это же мое любимое женское имя! У меня маму зовут Зина!

— Ну вот... — Девушка смущенно улыбнулась.

— А меня зовут Коля! Тебе нравится?

— Ким лучше, — пошутила она.

— Я — Коля, — строго сказал он.

И Зина смирилась и тоже полюбила его имя.

— Знаешь, что я думал, когда ты спала? — заговорил он, помолчав. — Между нами много общего...

Она улыбнулась и хотела даже хихикнуть, но, видя его серьезные глаза, сдержалась.

— У меня отец русский, у тебя мать... — продолжил он.

— Ну?

— У меня отец русский, у тебя мать... — повторил он.

— Ну? Ну? — Она почему-то занервничала.

— Если у нас ребенок родится, он совсем русский будет, — сделал Коля свой очень важный вывод.

Комната вдруг осветилась ярким светом, многократно более ярким, чем свет самого солнечного дня.

— Что это? — удивленно спросила она, щурясь и прикрывая глаза ладонью.

Хотя Коля сам еще не знал, что это, он хотел ответить, потому что должен был теперь отвечать на любой ее вопрос, и уже открыл рот, как вдруг, сметенные какой-то страшной силой, в комнату одновременно влетели дверь и, звеня стеклом, оконная рама, и в образовавшиеся черные проемы стала вваливаться огромная, гремящая металлом, орущая, матерящаяся, безликая сила. Противостоять ей было бессмысленно, разумней было подчиниться, и будь Коля один, он бы так и поступил, но он был не один, он был с женщиной, с любимой, единственной на всю жизнь женщиной, и Коля успел вскочить, встать в боевую позу и крикнуть:

— Ки-я!

Что-то железное ударило в ухо, и все пропало...

3

Несмотря на мертвый предутренний час, Заводская площадь была заполнена народом, и он все стекался сюда из окрестных глухих переулков. Было тихо, только хрустело под ногами крошево хрусталия да какая-то баба вопила, как на похоронах:

— И-и на ко-го ж ты на-ас по-ки-ну-у-ул!

Черная эфэсбэшная «Волга» беспрепятственно миновала милицейское оцепление и остановилась у самого эпицентра. Печенкин выбирался из машины долго, как будто нехотя. Его сразу узнали.

— Печенкин!

— Сам приехал посмотреть...

Владимир Иванович вышел наконец из машины и, сильно сутулясь, огляделся. Храма как не бывало. Рассыпанные по асфальту площади куски

хрустала, словно колотый лед, отражали синие вспышки милицейских мигалок. Полный, с округлым бабьим лицом милиционер хлопотливо оттирал рукавом шинели закопченную иконку.

— То ли Иисус Христос, то ли еще кто, не пойму, — смущенно проговорил он и протянул ее хозяину.

Печенкин отвернулся и наткнулся взглядом на возвышающегося в темноте неба Ленина.

— А народу-то, народу, — непонятно кому говорил тот же милиционер. — Стояла — не нужна была, а как не стало — пошли...

Сделав над собой усилие, Владимир Иванович отвел взгляд от памятника и сел в машину.

4

Ярко освещенный в ночи убогий двухэтажный барак стал неожиданно красив, даже величествен, напоминая средневековый замок или корабль. Из окна на втором этаже, в котором отсутствовала рама, выдувалась наружу сквозняком, пузырилась как парус занавеска.

За пробитыми белым напористым светом стеклами всех остальных окон, видимо, существовали люди. Одни сидели на своих табуретах, опустив плечи, — терпеливые, покорные, другие делали вид, что занимаются хозяйством: терли грязные кастрюли и заваривали чай; третьи негодовали — мужики в майках и трусах и бабы в ночных рубашках метались в замкнутом пространстве своих комнат, подбегали к окнам, приникали лицом к стеклу, шурились, пытаясь увидеть происходящее на улице, и отбегали, ослепленные страшным светом. Внутри барака было шумно: бабы плакали, мужики матерились, дети орали. Шумно было и снаружи, но это был другой шум — лязг, звон, дребезг, — железный шум. Если в бараке, не считая тазов и сковородок, железа почти не было — все старые тюфяки, ватные одеяла да жалкая, смятенная человеческая плоть, — то окружало его почти сплошь железо. Здесь стояли впритык — все с включенными фарами — армейские тентованные грузовики, омововские фуры с мелко зарешеченными стеклами, серые глухие автозаки, сине-желтые милицейские машины, а между ними в муравьином хаосе продирались, стучаясь железом о железо, омововцы в черном спецнаряжении, оставляющем открытыми только глаза, — с поднятыми вверх от плеча автоматами и длинными снайперскими винтовками; телевизионщики с громоздкими камерами, осветительными и звукозаписывающими приборами на длинных железных палках; бесформенные, как снежные бабы, милиционеры в бронежилетах поверх толстых шинелей, с болтающимися на груди автоматами — все это лязгало, звенело, дребезжало.

Трещали рации.

— Скажите, здесь снимается кинофильм? — высоким «аристократическим» голосом обратилась сразу ко всем облезлая старуха с облезлой собачкой на руках.

— Кинофильм, бабка, кинофильм, — усмешливо ответил стоящий рядом милиционер.

— Смотри, Долли, здесь снимается кинофильм! Я тоже снималась однажды в фильме «Свинарка и пастух» в сцене на ВСХВ, потом это называлось ВДНХ, а сейчас уже не знаю, как называется... Это было восхитительно! — торжественно сообщила старуха.

Руководил операцией ладный парень с плавной линией подбородка и быстрыми веселыми глазами. Он стоял на подножке «уазика» и, держась одной рукой за открытую дверцу, сжимая в другой черный брикет рации, говорил:

— Костик, ну как там? Одеваете? Смотри, чтобы было красиво.

Ладный вызывал желание смотреть на себя и улыбаться, и Илья смотрел на него и улыбался.

- А это кто, режиссер? — все интересовалась старуха.
— Режиссер, бабка, режиссер, — ответил тот же милиционер.
— Смотри, Долли, это режиссер!

Старуху слышали, но никто на нее не смотрел, потому что все смотрели на окно с пузырящейся занавеской и на жалкую фанерную дверь барака, ожидая чьего-то долгожданного, очень важного для всех выхода.

— Ручеек! — произнес неожиданное здесь слово Ладный, из железной толпы выдвинулись два десятка омонцовцев, они выстроились в два ряда от двери дома до двух стоящих напротив автозаков и разом подняли от плеча вверх свои автоматы и длинные снайперские винтовки.

— Тишина! — попросил Ладный, и стало тихо, даже дети в бараке перестали орать.

Лицо Ладного светилось вдохновением.

— Пошли! — объявил он радостно, и наверху, на втором этаже, часто-часто ударили барабаны. Скотившись в несколько секунд вниз, барабанная дробь выросла в раскаты грома, он с треском взорвался — створки двери стремительно распахнулись, и в потоке белого густого света остановились и замерли Ким и Анджела Дэвис. Это их выход объявлялся и был так торжественно обставлен. А теперь им предстояло сыграть в детскую игру «ручеек» — проплыть вдвоем по узкому руслу с берегами из черных людей под сенью стальных стволов.

— Вперед, родные! — подбодрил их Ладный и сам двинулся навстречу.

Илья улыбнулся и торопливо потянулся следом.

И Ким и Анджела Дэвис пошли: раз-два-три, раз-два-три — под звуки раздолбанного пианино: пам-пари-рам, пам-пари-рам. Им ассистировали — поддерживали под руки четверо омонцовцев, они не шли — летели, часто перебирая ногами, бежали по волнам, как в балете, — почти совсем без одежды, в серебре браслетов на запястьях. Без сомнения, это был звездный час Анджелы Дэвис, самые торжественные мгновения ее жизни: она гордо вскинула свою курчавую головку и широко, белозубо улыбалась. Ким хуже справлялся со своей ролью — голова клонилась и падала, вытекающая из уха кровь проложила узкое русло к ключице, скопилась в полукруглой ямке шеи, бежала оттуда по ложбинке груди к пупку...

Ладный смотрел на них ласково и благодарно.

Они быстро проплыли свой ручеек, слишком быстро. Илья понял вдруг, что опоздал, рванулся вперед, но соратников уже бросали в открытые двери автозаков, каждого в отдельный.

Тогда Илья хотел прокричать громко, чтобы они услышали, прокричать то, что узнал, и уже открыл рот и вскинул руку, как вдруг услышал голос стоящего рядом омонцовца:

— Обнагдела нерусь вконец...

Илью удивили эти слова — не их смысл, а то, что, ему показалось, он это уже где-то слышал; он посмотрел на сказавшего их и увидел в прорези омонцовской маски водянистые голубые глаза и белесые, словно присыпанные мукой ресницы. Омоновец тоже удивленно смотрел на Илью. Илья вспомнил его и опустил глаза.

— Ну, здравствуй, как ты живешь? — как к старому доброму приятелю обратился к нему Ладный. Он улыбался, и Илья ответно улыбнулся, глядя в глаза Ладного, ища поддержки и защиты.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит, —

продекламировал Ладный мягким, приятным, добрым голосом и похлопал Илью по плечу.

Весь во власти обаяния этого человека, Илья пристально вглядывался в его глаза, в самые зрачки, пытаюсь понять, почему тот так с ним разговаривает: знает, догадывается или они и впрямь хорошо знакомы?

— Ну? — спросил Ладный, чуть-чуть поторапливая. Но Илья отшатнулся вдруг, ткнулся спиной в железо и, поняв, что никуда теперь не уйти, вскинул руку и продекламировал:

— Non timeo te, rex male Porsena!

— Что? — не понял Ладный и очень удивился.

— Tu me timere non potest, sed mortem mortis angores timent, — немного часть, решительно продолжил Илья.

— Что-то? — Ладный засмеялся. Он словно не верил своим ушам. — Это по какому же? Инглиш, фрэчч, дойч?

— Mortem non timeo — et cum dictis eis manum adulescens audens in cibano ardentem demusi't! — Эти слова Илья продекламировал торжественно, в полный голос — лучше, чем тогда, на берегу Дона, по требованию отца. Но Ладный вдруг потерял к нему интерес; в последний раз глянув на Илью, сочувственно улыбнулся и обратился к тому же омововцу:

— Знаешь что... Отведи-ка ты его вон в кусты и шлепни там на хер.

Сказав это, Ладный прыгнул в «уазик» и уехал. Только теперь Илья услышал, какой стоял вокруг звон железа и рев моторов. Все потемнело, дышать стало нечем.

Омововец хмуро глянул на Илью, взяв за плечи, развернул и легонько толкнул в густую твердую темноту. Илья полуобернулся на ходу, попытался улыбнуться и объяснил:

— I'm an American citizen. I'm George Misery, a businessman. I'm here to help you with the reforms².

В ответ омововец ткнул его в спину острым стволом снайперской винтовки. Илья прошел несколько метров, не видя перед собой ничего из-за кромешной тьмы, и сделал еще одну попытку объяснить:

— Je suis étranger. Je suis Français. Je suis le correspondant du magazin «L'Express». Je m'appelle Patric Lessage... J'ai arrivé pour écrire l'article sur les reformes economiques et politiques en Russie³.

И тогда Илья закричал, заорал — всем — то, что сам только сегодня узнал, ту коротенькую, состоящую всего из двух слов благую весть.

— Он есть!!! — закричал Илья, но страшный, чудовищной силы пинок кованым армейским ботинком смешал слова и буквы — так, что получилось: — Не-е-е-есть!!!

Наверняка многие в округе слышали крик, но наверняка также — никто ничего не понял, в нем не было смысла: интонация ужаса и боли победила смысл.

Несколько метров Илья пролетел по воздуху, как прыгун в длину, перебирая при этом ногами, шлепнулся на четвереньки, пробежал так по инерции немного, вскочил и, скуля, держась обеими руками за ушибленную задницу, скрылся в темноте.

Где-то в стороне, в невидимых сараях, глухо закукарекали петухи.

5

— Стой-ка! — обрадованно закричал Владимир Иванович, увидев из машины свет в угловом окне панельной пятиэтажки. Перемахивая через две ступеньки, он быстро поднялся наверх, хотя это было и непросто: из груди выскакивало сердце, а с ног сваливались великоватые генеральские ботинки.

² Я американский гражданин. Я Джордж Мизери, бизнесмен. Я приехал помочь вам в осуществлении реформ (англ.).

³ Я иностранец. Я француз. Я корреспондент журнала «Экспресс». Меня зовут Патрик Лесаж... Я приехал сюда, чтобы написать статью об экономических и политических реформах в России (франц.).

Перед фанерной дверью Печенкин остановился, переводя дух и прислушиваясь. Оттуда доносились гитарные переборы. Дверь была не заперта. Владимир Иванович легонько толкнул ее и вошел.

Все было как всегда: Геля полулежала на тахте и, внимательно вслушиваясь в мелодию, наигрывала на гитаре. Печенкин улыбнулся и присел на табурет, отдыхая. На низком треногом столике рядом с тахтой стояла бутылка водки, рюмка, соленый огурец, колбаса, хлеб.

Все было как всегда: те же выцветшие бриджи и старая, завязанная узлом на животе ковбойка.

— А, Печенкин, — поприветствовала Геля гостя, на мгновение оторвав взгляд от гитары.

— Улетаю, — сообщил Владимир Иванович.

Геля кивнула, не поднимая глаз.

— Далек, — добавил Печенкин.

Геля снова кивнула.

— И надолго, — закончил он.

Геля вздохнула, отложила гитару в сторону, налила в рюмку водки.

По лицу Печенкина пробежала судорога страдания.

— Плохо выглядишь, — заметила Геля. — Ты не заболел?

— Нет, — ответил он, глядя на ботинки генерала.

— А нос почему красный?

— Простудился.

— А говоришь — нет, — укорила она и, подняв рюмку, прибавила жизнерадостно: — Как говорят евреи: лэ хаим — за жизнь! — Лихо опрокинув в себя водку, весело захрустела огурцом.

— Слушай, какое сегодня число? — живо поинтересовался Владимир Иванович.

— Число? — Геля задумалась и повторила: — Чис-ло... — Схватила гитару и стала торопливо подбирать мелодию: видимо, это слово — «число» — затронуло ее ассоциативный ряд. Кажется, мелодия наконец сложилась...

— А где Володька? — испуганно спросил Печенкин. Только сейчас до него дошло, что Геля не беременна, совсем ни капельки не беременна.

Она подняла на него радостные светящиеся глаза и сообщила:

— А я новую песню сочинила. Называется «Маленький человек ушел».

Владимир Иванович встал и отвернулся к окну. Страшное, составленное из красных букв слово висело над Придонском: ПЕЧЕНКИ.

Она не предложила спеть свою новую песню, а он не попросил — ушел неслышно.

Глава тридцать четвертая

ВСЕ В ПОРЯДКЕ! ЭТО Я ТАК...

1

Какая-то была бесконечная ночь, никак она почему-то не кончалась...

Печенкин торопливо выбрался из «Волги» и вбежал в домик охраны. Голая дебилая баба метнулась, скрываясь в смежной комнате. Навстречу, застегивая на ходу штаны, выскочил охранник. У него была опухшая от пьянства рожа — видно, пока хозяин гулял, слуги тоже даром времени не теряли.

— Где Илья? — сердито спросил Печенкин.

— Илья? — спросил охранник.

Владимир Иванович плюнул в сердцах и заторопился на территорию усадьбы. Там было безжизненно и темно. Какой-то человек, маленький, жалкий, припадая на обе ноги, бежал вдалеке.

— Илья! — крикнул Владимир Иванович. Да, это был Илья. Печенкин обрадованно улыбнулся и, вскинув руку, изображая викторию или по-нашему козу, закричал: — Летим, Илюха!

Илья остановился, посмотрел на отца и побежал дальше — тяжело, медленно, припадая на обе ноги. Он бежал в сторону «Октября».

2

Владимир Иванович вошел в темное фойе, нашарил на стене ряд выключателей, стал щелкать ими, но свет почему-то не зажигался. Замерев, он услышал скрип и стук фанерного сиденья в зале. На улице было темно, в фойе — темней, чем на улице, а в зале была абсолютная, беспросветная темнота.

— Илья, — позвал Печенкин, — ты здесь?

Сын не отозвался.

Владимир Иванович прощально глянул в сереющее пространство фойе — словно глотнул воздух перед тем, как глубоко нырнуть, — и стал погружаться в темноту зала, выставив перед собой, как слепец, руки и осторожно передвигая ноги. Он добрался до бокового кресла без приключений, опустился в громко скрипнувшее сиденье и облегченно вздохнул.

— Ну что, Наиль, заводи свою шарманку! Знаешь, что нам на дорожку поставь? «Бродягу»! — Печенкин прокричал это явно шутя, зная, что никакого Наиля в проекторской нет. Да он сейчас и не нужен был.

А-ба-ра-я,
Бродяга я,
Никто нигде не ждет меня,
А-ба-ра-я! —

пропел Владимир Иванович, надеясь, что Илья подхватит. Илья, однако, не подхватил.

— Экспорт-импорт! Это вещи отсюда туда, а оттуда сюда! — задорно выкрикнул Печенкин и озадаченно послушал в ответ тишину. — Сын честного человека всегда честен, а сын вора обязательно вор, — теряя надежду, сам особенно не веря в эти слова, проговорил Владимир Иванович и помолчал, размышляя. — Не нравится? Я знаю — тебе другое нравится... А я и другое могу — пожалуйста! Как там:

Камень на камень;
Кирпич на кирпич,
Умер наш Ленин
Владимир Ильич.
Нет, он не умер,
Он вечно живой...
Будет он... вечно
Стоять над тобой!

Но даже и на это Илья не откликнулся. И тогда Владимир Иванович закричал — нервно, истерично почти, не выдерживая больше пытки темнотой:

— Свет, сапожники!

И в то же мгновение на фоне едва различимого прямоугольника экрана беззвучно пробежал человек.

— Ну, Илья! — обиженно воскликнул Владимир Иванович, вскочил, рванулся вперед, ударился о спинку переднего кресла, перекувырнулся и с грохотом повалился на пол.

3

На чердаке было светлей. Илья лежал на своей кровати, укрывшись с головой чем-то красным, — спрятался, затаился. Владимир Иванович улыбнулся, подошел к арочному окну, посмотрел вниз. С прибытием хозяина

имение на глазах оживало: зажегся свет в окнах особняка, бегала, сутилась прислуга, из ворот гаража выезжал «мерседес». Печенкин нашарил рукой шпингалет, распахнул створку окна, пронзительно свистнул и закричал:

— Эй! «Роллс-ройса» запрягайте! На нем поедем!

Те завертели головами, заметили хозяина, заспорили между собой и стали загонять «мерседес» обратно в гараж.

Печенкин с хрустом расправил плечи. Силы возвращались к Печенкину.

— А ты знаешь, какой мне сон сегодня приснился? — воскликнул он, вспомнив неожиданно. — Как будто летим мы с тобой на нашем «фальконе»... Летим, значит, а потом я Фрицу говорю: «Дай Илье порулить немножко». Ты представляешь? — Владимир Иванович смущенно засмеялся и прибавил, посерьезнев: — Ну, он, конечно, не дал... немец...

Илья молчал и не шевелился. Владимир Иванович вздохнул.

— Пощиплют они меня без меня, обкусают, обгрызут... Букву «нэ» уже схавали, хоть бы «пэ» осталась, когда вернемся... Мироеды московские... Ну и черт с ними! Мы с тобой вернемся, хоть с нуля начнем, а все равно их в соответствующее положение поставим. Да мы их всех... в замазку сомнем, щели в окнах будем промазывать, чтоб не дуло!

И на это Илья не отозвался.

Владимир Иванович понимающе усмехнулся, подошел, присел на край кровати.

— И насчет этого ты не расстраивайся, — осторожно заговорил он. — Чему бывать, того не миновать... Седьмое чудо света, тоже мне! Или восьмое? «Рюмка» — правильно ее народ прозвал! Русский народ — он на язык меткий. Рюмка — она рюмка и есть. Хрусталь для того, чтобы пить из него! А не молиться... Так что не ты виноват, а я! Ну ничего, я вину свою искуплю. Вернемся, я на том самом месте настоящий храм поставлю! Каменный! Цемент — на яичном белке. На века, как раньше строили! Не золотое, а простое... «Ко-ко-ко... Снесу я вам яичко не золотое, а простое». Я все думал, про что сказка, любил ты ее слушать, когда маленький был, до пяти раз, бывало, тебе читал, все еще и еще, а я читал и не понимал и потом никак понять не мог: чем же простое лучше золотого? Не мог понять, про что она... Или про кого... Теперь понял — про меня. — Печенкин смущенно улыбнулся. — Ко-ко-ко... Снесу я вам яичко, не золотое, а простое... И не содрогнется... Не содрогнется! Не такое видела... Ну вставай, сынок, вставай.

Владимир Иванович поднялся, глянул по сторонам, посмотрел на кровать, улыбнулся и хлопнул сына по плечу... Ильи там не было... Были одеяло и подушка, уложенные в форме человеческого тела, укрытые дедушкиным шелковым флагом. Владимир Иванович наклонился. Поблескивали золотом серп и молот. Печенкин смотрел перед собой внимательно и тупо, как бык при виде красной тряпки, наливаясь кровью и яростью.

— Россия... Революция... Революция... Россия, — зашептал Владимир Иванович, пытаясь себя удержать, но это не удавалось, он уже не справлялся с собой. — Россия! Революция! — закричал он, словно жалуясь на свою страшную, невыносимую, смертельную боль; сунул руку под пиджак, выковырнул из-под него «беретту» и всадил в алый шелк флага и золото серпа и молота сплошную длинную очередь, дырявя ткань замысловатым абстрактным узором, наполняя окружающее пространство сизым дымом, пылью и вонью горелой ваты. Тут что-то страшно зашумело, и Печенкин инстинктивно обхватил руками голову, испуганно присел... Голуби — их много здесь оказалось, — громко хлопая крыльями, ошалело метались в замкнутом пространстве чердака, пока не наткнулись на открытое окно... Сразу все стихло. Владимир Иванович подбежал к окну удостовериться — точно ли это были голуби, но их уже и след простыл...

Внизу бежали к «Октябрю» люди, и первым — Рыжий с черной автоматической винтовкой. Владимир Иванович успокаивающе поднял руку и крикнул:

— Все в порядке! Это я так.

Люди остановились, глядя вопросительно, ожидая приказаний.

— Слышишь, Женьк, ты там Илью нигде не видел? — озабоченно спросил Печенкин.

Рыжий мотнул отрицательно головой и задал тот же вопрос стоящим рядом. Они тоже не видели Илью.

— Ну ладно, — махнул рукой Владимир Иванович, повернулся и глянул на кровать.

Флаг сполз...

Флаг сполз почти до самого пола...

Флаг сполз почти до самого пола, оставалась только узкая полоска...

Печенкин обернулся, испуганно посмотрел в окно. Люди уходили, разговаривая меж собой...

Флаг сполз почти до самого пола, оставалась только узкая полоска, и, чтобы увидеть, что там, надо было сильно наклониться...

Это было просто — наклониться, так просто, что Печенкину даже смешно стало от такой простоты, и он хохотнул и стал наклоняться — сначала быстро, потом медленно и остановился на полпути...

Флаг сполз почти до самого пола, оставалась только узкая полоска, и, чтобы увидеть, что там, надо было опуститься на колени. Это было еще проще, чем наклониться, — опуститься на колени, но колени почему-то не гнулись. И Владимир Иванович понял, что никогда в жизни не сможет заглянуть под кровать.

Силы оставили Печенкина, окончательно оставили, и, чтобы не рухнуть здесь же, он успел сделать пару шагов и упал на кровать. Железная сетка страшно заскрипела под ним, загудела ржавыми волнами и долго успокаивалась. Потом все стихло.

Владимир Иванович попытался улыбнуться, но это ему не удалось. Хотел что-то сказать, но тоже не получилось. И тогда он опустил руку, как это иногда делают, когда едут в поезде в одном купе двое: один на верхней полке, другой — на нижней, и тот, кто лежит на верхней, опускает руку, а тот, кто лежит на нижней, своей рукой дотрагивается до нее.

Никто не дотронулся.

Владимир Иванович вспомнил вдруг мучивший его все последнее время вопрос, спросил:

— Какое сегодня число, не знаешь? — И, не дожидаясь ответа, подытожил: — Никто не знает... Но вот что интересно! — воскликнул он. — Раньше думалось: будут людям хорошо платить — будут хорошо работать... Ни фиги!

Никто эту мысль не оспорил и никто не поддержал...

— Мы не белые, мы не красные, мы придонские! — выкрикнул Печенкин, подгибая под себя ноги и втягивая голову в плечи, а руки его при этом тянули на себя алый стяг. — Работать... это... дело... мешает... — проговорил он, с трудом выдавливая из себя последние слова, с головой заворачиваясь в красное, прячась от всех, окукливаясь.

За окном серело — то ли утро было, то ли вечер...

То ли весна стояла, то ли осень...

То ли жизнь, то ли уже не жизнь.



ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

ПОВСЮДУ И НИГДЕ

* *
*

Время сбрендило, спятило, тихо свихнулось,
И ушло, и обратно уже не вернулось,
То ушло, а другое пришло...
Я от боли от острой внезапно проснулась —
Так нещадно оно меня жгло,
Жгло, как будто о тело гасило окурки,
Не жалеет оно наши нежные шкурки,
Не бывает щадящих времен.
Мы на каторге здесь — доходяги, придурки, —
Каждый мечен, вернее, клеймен.

* *
*

He took his own life!

Он взял свою жизнь и куда-то унес,
На брошенный дом оглянувшись сквозь слез,
Сквозь слезы на дали взирая...
Увы, не видать ему рая.
Ведь рай, что мерцает в дали голубой,
Совсем не для тех, кто кончает с собой,
Земного не выдержав ада
И выпив смертельного яда.
Теперь впереди ни границ и ни дат,
А только один нескончаемый ад,
Немыслимый и беспредельный
И хуже того — несмертельный.

Миллер Лариса Емельяновна родилась и живет в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. Постоянный автор нашего журнала.

¹ Он покончил с собой (англ.).

* *
*

Где хорошо? Повсюду и нигде.
Все разошлось кругами по воде
По тихой — разбежалось, разошлось...
Гляди-ка, тут погасло, там зажглось.
Там осень лист осиновый зажгла...
Послушай, не проводишь до угла?
Верней, до поворота, а верней,
До тех дрожащих на ветру огней?

* *
*

Худо-бедно, бедно, худо...
А чего хотим мы? Чуда,
Чудо-юдо, рыба-кит,
У земли усталый вид.
Ведь она — судите сами —
Всех нас кормит чудесами,
Каждый день и каждый час
Чудесами кормит нас,
Чтобы мы, живя, как принцы,
И жуя ее гостинцы,
До последних самых дней
Мнили — нету нас бедней.

* *
*

Пока, пока, до скорого, пока,
Пока не пересохла та река,
Та темная, что держит на плаву,
Пока она не высохла, живу.
Dum spiro, spero² — мертвая латынь —
И та велит — надейся, не остынь.
Пока дышу, твержу на все лады:
«До скорого, до завтра, до среды».

* *
*

— Как живешь?
— Благодарствуй, живу на свету,
Вот пионы цветут, и шиповник в цвету,
И акация. Все это утром в росе,
В изумрудной, густой. Вот и новости все.

— Неужели других не нашлось новостей
В этом мире темнот и сплошных пропастей,
Тех, в которые ухни, — костей не собрать...

² Пока дышу, надеюсь (лат.).

И откуда взяла ты свою благодать?
Где живешь ты, ей-богу?
— В начале села,
Я на лето полдома с террасой сняла.

* *
*

На столе алеют розы,
За забором блеют козы,
За окном вздыхает сад...
Ни вперед и ни назад —
Никуда спешить не надо
Из пленительного сада,
Из медлительного дня,
Что пустил пожить меня.

* *
*

На деревьях стая соек,
На заборе два дрозда...
Мимо соек и помоек
Лихо мчатся поезда.
Поезд мчится, гнутся травы,
А промчится — снова тишь.
Жизнь моя, куда ты, право,
Как безумная летишь?
Дай ответ — не даст ответа.
Пролетит — и все дела...
Снова осень рощу эту
Раздевает догола.

* *
*

И все же он невыносим,
Хотя нести его не надо.
Он сам подобьем водопада
Несет сквозь груды лет и зим —
Тебя, меня несет поток
Текущей жизни — и уносит,
Покуда где-нибудь не бросит...
Невыносим он — вот итог.
Невыносим его напор
И недостаточность напора,
Невыносим он тем, что скоро
Летит и что не слишком скор.
Несясь сквозь груды зим и лет,
Невыносим он всем на свете:
И тем, что хмарь, и тем, что ветер,
И тем, что ветра вовсе нет.

* *
*

Осенний дух листвою шуршит,
Увещевает: «Брось,
Пускай судьбу твою решит
Счастливого *авось*.

Авось — отмычка, верный ключ,
Решенье всех задач...
По рукаву сползает луч...
Не мучь себя, не плачь.

Точнее слов в запасе нет
Про время и про путь,
Чем невесомые *чуть свет*,
Авось, когда-нибудь...»

* *
*

Made in Russia, in Russia, в России одной
Обходиться умеют без речи родной,
С матерком продираясь в тумане,
И, пускаясь в загул, не стоять за ценой,
Даже если негусто в кармане.

Made in Russia, in Russia, взгляните на швы,
Как они непрочны и небрежны, увы,
Да к тому же и нитки гнилые...
Ни приткнуться и ни приклонить головы —
Времена здесь всегда нежилые.

Наш родной уют — на века, на века.
Хоть дрожит у хмельного умельца рука,
Когда тянет он жижу из склянки,
Он еще молодец, и при деле пока,
И не рухнул еще со стремянки.

* *
*

Живем, то бишь спешим
Весной, зимой и летом...
А жизнь — она с приветом,
Причем весьма большим:
То далеко пошлет,
То вусмерть зацелует,
То спит и в ус не дует,
Холодная, как лед,
Недвижная почти,
Мертвячка и ледышка,
И ты бормочешь: «Крышка!»

Но это жизнь — учти.
Она еще тебя
Огреет и ошпарит,
Еще поддых ударит
И скажет, что любя.

* *
*

Все вполне выносимо, но в общих чертах,
А в деталях... постылые эти детали!
Не от них ли мы так безнадежно устали,
И особенно те, кто сегодня в летах.

Эти ритмы попсовые над головой,
Эта дрель за стеной, что проникла в печенки,
Уголовного вида хозяин лавчонки,
Одинокой собаки полуночный вой,

Этот ключ, что, хоть тресни, не лезет в замок,
Полутемный подъезд и орущие краны,
Тараканы, и мыши, и вновь тараканы,
В жаркой схватке с которыми всяк изнемог.

Бог деталей, я все же не смею роптать.
То ли Ты мне шепнул, то ли выскочка-дьявол,
Что на тех, кто в мирском этом хаосе плавал
И тонул, — лишь на них снизойдет Благодать.



СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

*

ПОДЬЯЧИЙ ВАСИЛИЙ КУРБАТОВ

Маленькая повесть

I

Было знойное, душное лето 1680 года. В Москве что ни день то там, то здесь начинались большие пожары, истреблявшие разом по несколько десятков дворов, церкви, монастыри... Кареты, телеги, всадники, проезжавшие по улицам, вздымали вместе с клубами пыли пепел, густым слоем лежавший на мостовых, — его легкие хлопья кружили в воздухе, точно серый снег... Царь Федор Алексеевич приказал, чтобы в городе не зажигали огня в черных избах.

В один из таких пожаров сгорела и изба подьячего посольского приказа Василия Курбатова, жившего в Китай-городе возле Вшивого рынка, неподалеку от посольского подворья. Курбатов и в другой раз не слишком бы огорчился этому — дело было обычное: скудное добришко свое он, как и большинство москвичей, хранил в яме, где ему был не страшен огонь, а возвести новую избу было делом одного дня — цены на строевой лес в Москве были баснословно низкие; теперь же он и вовсе не придал никакого значения приключившейся с ним беде, так как целыми днями пропадавал в приказе, готовясь к отъезду в составе посольства князя Петра Ивановича Потемкина ко дворам испанского и французского королей.

Курбатов был не молод, сам себе считал тридцать пять годов, а на деле могло выйти и больше. (Спросить было не у кого — он рано лишился родителей и был малолеткой привезен приходским священником из родной деревеньки под Ярославлем в Москву и отдан на обучение¹ в Заиконоспасский монастырь.) Его жена и маленькая дочь погибли во время морового поветрия, случившегося лет семь назад; с тех пор он жил вдовцом, иногда на месяц-другой сходясь с какой-нибудь из непотребных девок, что с бирюзовым колечком во рту приманивают на улицах мужиков на блуд. В посольство князя Потемкина его нарядили толмачом. Курбатов изрядно знал латынь (учился в латинской школе, открытой в Заиконоспасском монастыре Симеоном Полоцким) и порядком немецкий, поскольку по роду службы имел знакомцев в Кукуе¹.

Предстоящее путешествие занимало все его мысли. Уезжать из Москвы ему было не жаль, хотя и немного боязно. В своем воображении он уже жил в тех далеких, притягательно-страшных городах, о которых его кукуйские знакомые рассказывали столько удивительного. Курбатову страстно хотелось увидеть и ученого амстердамского слона, который играл знаменем, трубил по-турски и палил из мушкета, и святой камень в городе Венеции, из которого Моисей воду источил, и хранящееся в тамошних церк-

Цветков Сергей Эдуардович родился в 1944 году. По образованию историк. Печатался в журналах «Новый мир», «Москва» и др. Живет в Москве.

¹ Куку уй, или Немецкая слобода, — место поселения иноземцев в Москве, на правом берегу Яузы (ныне район Бауманских улиц).

вах млеко Пресвятой Богородицы в склянице, и дивную зрительную трубу, в которую все звезды перечесть можно, и Кельнский костел, где опочивают волхвы персидские, и бесстыжих жен заморских, выставляющих напоказ — прелесть бесовская! — свои непокрытые волосы и сосцы голы, и башню на реке Рене², в которой, сказывают, короля мыши съели, и многое, многое другое. Хотелось ему побывать в замке Шильон, чтобы посмотреть на место заточения Бонивара³, о котором со скорбным восхищением так часто рассказывал один швейцарский рейтар из Кукуя. Эта история почему-то особенно волновала Курбатова, с удивлением узнавшего, что и у немецких еретиков есть свои почитаемые мученики. Рейтар в своем рассказе упомянул о впадине, вытоптанной ногами несчастного узника, принужденного годами ходить на цепи по одному месту. Эта впадина так и врезалась в память Курбатову — долго, долго стояла она у него перед глазами. Одно время он даже задумал писать вирши: «Злое заточение, или Плач Бонивара, на семь лет в замок Шильон заключенного». Начинались они так:

Зри, человек: в узы заключенный,
влачу в темнице удел свой бранный,
стар не по годам, ибо мои волосы
из черных стали седы в малые часы.
Тленна юна красота, недолго блистает,
в единый час темница ону истребляет.
Смирись же, человек, и во красном небе
красота предвечная даруется тебе.

Дальше дело не сладилось, и «Плач» остался неоконченным; Курбатов думал завершить его, возвратясь в Москву.

Несмотря на свои скудные средства, он постарался обеспечить свое путешествие всеми возможными удобствами. Собрав вещи и прикупив к ним кое-что необходимое, он уложил все это в сундуки и ящики и отвез на посольское подворье.

В последний перед отъездом день он, бесцельно бродя по городу, забрел в книжную лавку, находившуюся рядом с типографией. Книг на полках почти не было: хозяин, опасаясь пожара, перенес их в каменное здание типографии, где хранилась московская библиотека. Курбатов рассеянно поводил рукой по корешкам оставшихся книг — это были все больше житейники да патерики; вдруг его взгляд упал на великолепную тетрадь в золоченом пергаментном переплете, обшитую зеленым бархатом. Он взял ее, полистал гладкие листы, радующие глаз свежей белизной плотной бумаги, и почувствовал, что уже не в силах выпустить ее из рук. Ему сразу представилось, как он будет заносить в нее дорожные впечатления и новые, необыкновенные мысли, которые — он в этом не сомневался — непременно появятся у него, как только он приобретет эту тетрадь... А потом, возвратясь из путешествия, он сможет на основе этих заметок написать книгу об увиденном в Неметчине и поднести ее Симеону Полоцкому или князю Василью Васильевичу Голицыну, мужам zelo прилежным чтению и писанию. А там, глядишь, пожалуют в дьяки...

Он спросил цену и, услышав ответ, изумленно ахнул. Но уйти без тетради уже представлялось ему невозможным. Курбатов попробовал торговаться, два раза картинно уходил из лавки и вновь возвращался — хозяин все стоял на своем. Наконец подьячий, сердито хмурясь, отсчитал деньги. Получив тетрадь, он отправился на посольское подворье и бережно спрятал ее в сундук с наиболее ценными вещами.

² Рейне.

³ Бонивар Франсуа (1493 — 1570) — женеvский гуманист, участник борьбы горожан Женевы против герцога Савойского. В 1530 — 1536 годах был заключен в подземелье Шильонского замка — этот эпизод его жизни воспет Байроном и Жуковским («Шильонский узник»).

До отъезда он еще навестил знакомых и товарищей, простился, выпил с каждым по чарке-другой вина, сделал распоряжения об имуществе, которое оставлял в Москве. Новую избу решил поставить по возвращении.

Седьмого июня посольство — князь Петр Иванович Потемкин, дьяк Семен Румянцев, семеро дворян, трое секретарей и священник — двинулось в путь. Повозки с прислугой были высланы вперед, к Язуе, — там намеревались устроить табор для ночлега. Посольство верхами выехало через Неглинные ворота, крытые листовой позолоченной медью, жарко сиявшей на солнце; из особой пристройки над воротами, через окна с густою решеткою, царь с царицей и несколько бояр наблюдали за выездом.

Царские приставы и некоторые духовные чины проводили князя Потемкина версты две за городом и, простившись с ним, вернулись обратно.

Потянулись подмосковные поля, леса... Первое время Курбатов беспрестанно оглядывался на три кольца московских стен, на неистовое сверканье куполов и крыш соборов, церквей, башен, ворот, на деревянную громаду Земляной слободы, все теснее опоясывавшую город по мере того, как тот удалялся, терял очертания и цвета, собираясь в одну беспорядочную сизо-бурую грудю построек. При мысли о том, что он покидает Москву на год, а может, и более, его сердце как-то тоскливо сжималось, и он чувствовал, что уже был бы рад отсрочить отъезд — на день или, лучше, на неделю...

Чтобы отогнать эти мысли, он дал зарок не оборачиваться и какое-то время ехал, преувеличенно внимательно смотря по сторонам. У села Пушкинского не выдержал — снова оглянулся. Над Москвой поднимался густой черный дым: разгорался новый пожар...

II

Чем дальше на север — тем призрачней синели узорчатые верхушки необозримых лесов, прозрачнее становились ночи... Ровный тихий свет до утра не сходил с небосклона, незаметно становясь с зарею бледно-золотым, потом тускло-медным. Заснуть в этом жидком полусумраке, в котором столбом вился остервенелый гнус, было невозможно. Лица у людей распухли от укусов, лошади, заедаемые смертным поедом, отчаянно ржали ночи напролет.

За Вологдой зарядили дожди. Во влажной, спертой лесной духоте было нечем дышать, тела людей и животных покрывались испариной, кафтаны тяжелели от сырости.

Ближе к Архангельску начались сосновые боры, стало легче: вода быстро уходила в песчаную почву и через час после дождя лес снова был сухой.

Наконец выбрались на простор, и в одно росистое, ясное утро Курбатов увидел нечто невообразимое: из-за диких лесистых холмов впереди круто поднималась, упираясь в небосклон, темная громадная пустыня, влажно-мглистая, сумрачная, одинокая в своей безмерности. У него от радости и ужаса перехватило дыхание, и он остановил коня, чтобы насытить глаза этой тяжелой синевой. Ему казалось невероятным, что там, за линией окоема, может быть еще что-то — какие-то земли, города — и что он скоро поплывет по этой необъятной глади, по этой ужасающей бездне на утлом, крошечном суденышке... Сама мысль о подобном путешествии показалась ему безумной, он внутренне содрогнулся, представив жуткий мрак этих холодных глубин.

— Ну чего раззявился! — окликнул его кто-то сзади. — Пошел, пошел!

III

В Архангельске все было деревянным: и высокие, теснящиеся друг к другу дома с крутыми крышами, небольшими окнами и полукруглыми во-

ротами в нижних ярусах, и причал, где, несмотря на ранний час, уже не то разгружалось, не то загружалось несколько кораблей, и храмы с высокими шатровыми крышами, и торговые склады, и городская стена, которую опоясывали глубокий ров и поросший травой крепостной вал с вкопанными в него чугунными пушками... По раскисшим от дождей улицам медленно тянулись телеги, подводы; редкие прохожие — это были главным образом возвращавшиеся с ранней обедни посадские, и равнодушные стрельцы, по двое, по трое бредущие по казенной надобности, — старались уклониться от комьев грязи и навоза, разлетавшихся из-под копыт несущихся куда-то во весь опор лошадей, которых седоки с гиканьем то и дело подзадоривали плетьюми...

Разместились на дворе у воеводы. Немедленно послали за капитаном голландского корабля для переговоров о перевозке посольства в Амстердам. Потемкин торговался расчетливо, цепко, не забывая подливать голландцу пахучего золотисто-зеленого рейнского из своих запасов. Капитан хмелел, и Курбатову становилось все труднее разбирать слова, произносимые заплетаящимся языком, — все что-то о пеньке, лесе, убытках, которые он понесет, взяв на борт столько людей... Потемкин терпеливо слушал и вновь наполнял кубки... Наконец капитан смирился с убытками, и его, мертвецки пьяного, передали на руки матросам.

Вблизи корабль вовсе не казался той утлой скорлупкой, какой он представлялся Курбатову издалека. Напротив, теперь он поражал своей громадностью, тяжеловесностью, надежностью. Широкий нос, крутые борта и округленная корма высоко вздымались над водою, и уже совсем куда-то в поднебесье, в самые облака, возносились стройные, круглые мачты с оранжево-бело-синими флагами⁴.

На палубе было чисто, блестела начищенная медь, пахло морем, дегтем и свежесрубленным лесом (команда недавно кое-где заменила подгнившую обшивку). Капитан, в камзоле табачного цвета, стоял у трапа, указывая, куда разместить пассажиров.

Матросы по свистку полезли на рей ставить паруса. Огромные полотнища несколько раз оглушительно хлопнули и вдруг округлились, наполнившись ветром. Чуть завалившись на левый борт, корабль заскользил по солнечной жемчужно-серой глади. Волны ударились о дубового позолоченного льва на носу, под бушпритом, и взлетели радужной пылью.

Курбатов стоял на палубе и долго глядел на удалявшийся, постепенно мутневший берег.

IV

Бесконечное побережье Финляндии и Норвегии показалось ему нестерпимо скучным. Всюду было одно и то же: заливы и бухты, голые или лесистые скалы, иногда — не более десятка невзрачных, изъеденных ветрами домиков, построенных на берегу, в уровень с морем, рыбацьи суда, сети, сохнувшие на колышках...

Раз в неделю корабль заходил в какую-нибудь бухту, чтобы пополнить запасы питьевой воды (о том, чтобы сделать разнообразнее матросский стол, не приходилось и думать: местные жители могли предложить только рыбу и овощи, выращенные на клочках возделанной земли). Грузные, неповоротливые рыбаки в кожаных шляпах, с бритыми губами и растущими на зобу бородами, с любопытством подходили к голландцам, русским, но ни о чем не спрашивали, только молча таранились бесцветными рыбьими

⁴ Цвета голландского флага были составлены из любимых цветов принца Вильгельма I Оранского, предводителя освободительного движения Нидерландов против испанского владычества. «Молчаливый принц» (так прозвали его за неразговорчивость) носил оранжевый плащ, белую шляпу и синий колет.

глазами... Курбатов сам или с помощью кого-нибудь из матросов пытался расспрашивать их. Из этих полумимических бесед он вынес убеждение, что люди тут рождались, жили и умирали, нисколько не подозревая о существовании других, более обширных стран, да, кажется, ничего и не хотели знать о них. Впрочем, их деловитость и степенность нравились ему, только было смешно, когда они называли скопление своих рыбацких хижин городом.

Дни Курбатов проводил на палубе, в бесцельном созерцании уже начинавшей надоедать морской пустыни, вечерами лежал в тесной каюте, при тусклом свете коптящей лампы. Листы купленной тетради оставались по-прежнему чистыми — новые, необыкновенные мысли все как-то не приходили в голову, а увиденное казалось незначительным и не представляющим никакого интереса. Ему хотелось начать записки с описания чего-нибудь выдающегося, небывалого, и он терпеливо ждал, когда корабль прибудет в Амстердам.

Недели через три скандинавский берег исчез из виду, теперь вокруг расстилалась одна бескрайняя морская равнина, на которой вдали все чаще белели паруса встречающих кораблей. Капитан объявил, что до Амстердама осталось не больше трех суток пути.

V

Земля показалась на третий день после полудня.

Корабль проплыл между двух островов и вошел в залив, имея берег по правому борту. Курбатов вместе с другими русскими поднялся на корму, чтобы полюбоваться дивным зрелищем.

Зеленая равнина была покрыта прямоугольниками огородов, пастбищ, цветников, расчерчена сетью канав и каналов. Изобилие цветов поразило русских, хотя клумбы и оранжереи в московских дворах и боярских усадьбах давно были не в диковину. Остатки гиацинтов, левкоев, нарциссов уже отцветали на оголенных черных грядках, но тюльпаны бархатным ковром устилали землю — черно-лиловые, красно-рдяные, пестрые, золотистые... Повсюду виднелись мызы, хуторки, домики с острыми черепичными крышами, на которых гнездились аисты, кусты приземистых ив вдоль канав. В голубовато-фиолетовой дымке таяли очертания городских стен, башен, соборов и бесчисленных мельниц с лениво вращающимися крыльями. Иногда из-за крыши какой-нибудь мызы появлялся белый парус и тихо скользил по каналу, а казалось — между тюльпанами.

Ближе к вечеру свежий ветерок нагнал на волны легкую зыбь. Море становилось все оживленнее — корабли, корабли в уже розовеющем просторе. Из-за горизонта клубами вздымались багровые облака и, словно перерегов, подергивались по краям пеплом. Равнина вспыхивала огоньками, некоторые из них двигались вдоль каналов.

Амстердам поразил Курбатова великой каменной теснотой и многолюдством, в котором никто не обращал на другого ни малейшего внимания. Казалось, здесь никому нет дела до приезда московского посольства. Только одни мальчишки проводили процессию до дворца штатгальтера⁵.

Послам отвели лучшую гостиницу в городе. Здесь, вечером следующего дня, Курбатов сделал первую запись в своей тетради:

«Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабль вводить; по сторонам ка-

⁵ Штатгальтер — голландский главнокомандующий сухопутной армией, традиционно выбирался из членов дома Оранских. Штатгальтер Вильгельм III Оранский в 1674 году фактически упразднил республику и захватил власть в стране, став верховным правителем Голландских Соединенных Штатов. В 1689 году английский парламент передал ему права на британскую корону.

налов улицы не довольно широки — едва в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними — фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах — плезир, или гулянье великое.

Торговых людей и мастеровых ко всякому мастерству много без меры. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, так споделяются, как — нигде. Рыбы свежей безмерно много, а в рыбном ряду все торгует женский пол. Биржа сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром — зело пречудно. Пол сделан как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великою теснотою. И бывает там крик великий. Некоторые люди — которые из жидов, бедные — ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, — и тем кормятся...»

Потом появились другие записи:

«Видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы четверти, — привезена была на ярмарку. Видел тут же голову сделанную деревянную человеческую, — говорит! Заводят как часы, а что будешь говорить, то и она голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе — садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам. Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре, — вода закипела, и дерево сожгли.

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разное — сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобна как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, — как нитки. Зело предивно...»

Десять дней жили послы в Амстердаме — отдыхали, осматривались. Принц Вильгельм сам возил их по городу, показывал достопримечательности. Вдоль улиц, по которым проезжали послы, выстраивались солдаты, салютовали при их приближении залпами из мушкетов. Потемкин воспринимал почести как должное и даже требовал, чтобы штатгальтер ехал позади него, иначе-де, переводил Курбатов, получается, что солдаты салютуют не послу великого государя, а самому принцу.

Курбатов обследовал город и в одиночку — так даже больше ему нравилось. Вечерами, когда князь отпускал его от себя, он выходил из гостиницы и отправлялся бродить по освещенным фонарями улицам. Постепенно он свыкся с обилием трех-четырёхэтажных каменных строений, научился разбирать дорогу по остроконечным шпицам ратуши и церковей. Утомившись, отыскивал глазами потешную вывеску ближайшей пивной, заходил, пробовал ром, джин, английский эль, иногда вступал в беседу с соседями по столику, вкусно посасывавшими длинные трубки... После таких одиноких прогулок тетрадь пополнялась многочисленными записями.

VI

На третий день Курбатов познакомился с Эльзой Хооте.

В тот вечер он вышел из портовой пивной и не спеша зашагал вдоль какого-то узкого канала. Хмель, чистый блеск звезд и вольный ветер над огромным, смутно темнеющим заливом заставляли его острее и слаще чувствовать свое одиночество. Дойдя до каменного мостика, дугой перекинутого через канал, он увидел на той стороне, у садовой калитки, молодую статную женщину — она курила трубку, и с каждой затяжкой вспыхивавший огонек отбрасывал на ее круглое лицо красноватый отблеск. Курбатова с первого взгляда потрясла меловая белизна ее открытых шеи и плеч, освещенных луной. Он невольно остановился и слегка поклонился ей.

Женщина ответила долгим спокойным взглядом, в котором, однако ж, Курбатову почудилась ласковая усмешка. Он смутился, не зная, как быть дальше — уйти или остаться, — сделал шаг и встал, уже внутренне дрожа.

— Два гульдена, — ровным грудным голосом произнесла она.

Он сразу перешел мостик и приблизился к ней. Она без всякого интереса осмотрела его, пыхнула трубкой и, плавно повернувшись, вошла в калитку. Он последовал за ней.

Пройдя цветник, они оказались у двери небольшого кирпичного двухэтажного дома с деревянным чердаком. Внутри, в полутемной комнате с узорным каменным полом, стоял стол, массивный буфет, слева в стене за решеткой зиял камин. Женщина засветила лампу, поставила на стол бутылку вина, ветчину, хлеб, фрукты. Сама она почти ничего не ела, только мелкими глотками отпивала из стакана и слушала Курбатова, выпуская изо рта и ноздрей длинные струйки сизого дыма. Потом, не выпуская трубки, пересела к нему на колени, обняла за шею, склонилась на плечо... Он начал целовать ее прохладные белые плечи, но она зажала ему губы рукой: «Посидим просто так, хорошо?»

Утром Курбатов попросил разрешения прийти снова и стал ходить к ней каждый вечер. Она все так же встречала его у калитки, вела в дом, кормила, некоторое время сидела рядом, прикинув к нему, затем шла наверх стелить постель... Эльза Хооте была очень немногословна. Курбатов узнал только, что она вдова торговца шерстью, семь лет назад поплатившегося жизнью за дружбу с великим пенсионарием Яном де Виттом⁶. Имущество ее мужа было конфисковано, его друзья, спасаясь от преследований штатгальтера, уехали во Францию. С тех пор она должна была сама заботиться о куске хлеба.

Курбатову, впрочем, нравилась ее неразговорчивость — так было даже легче: лежать рядом, чувствуя женское тепло, и думать о чем-нибудь, что не имело отношения ни к ней, ни к Голландии, порой — ни к нему самому. Эльза набивала свою трубку, курила, полузакрыв глаза, но никогда не засыпала первой.

Здесь, в спальне Эльзы, Курбатов впервые как следует принялся к табачному дыму: душноват, конечно, но ничего, духовитый. Дома, в Москве, ему не раз предлагали — и немецкие знакомые, и свои, посольские — из тех, кто был тайно привержен табачному зелью, — покурить, пожевать, попить носом с бумажки, да он все отказывался, памятуя государев указ покойного царя Алексея Михайловича: табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. Теперь, при взгляде на Эльзу, в сладком полузабытии посасывавшую мундштук, прежние страхи забывались и тянуло отведать: что это, в самом деле, за дымная прелесть такая?

Раз он не выдержал, попросил ее набить для него трубку. Она не удивилась, молча умяла в кубок несколько щепотей табаку, раскурила и подала ему. Он с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затянулся — и зашелся громким, безудержным кашлем.

— Дас ист штаркер табак!⁷ — одобрительно кивнула Эльза.

Она подвинулась к нему, взяла у него трубку и, подождав, когда он кончит сотрясаться, снова поднесла к его губам. Он с отвращением отпихнул ее руку.

— Не бойся, кашля больше не будет, — сказала она. — Держи трубку во рту и посасывай, как я.

⁶ В 1672 году великий пенсионарий (глава республики) Ян де Витт и его брат Корнелиус были убиты сторонниками принца Вильгельма.

⁷ Крепкий табак! (нем.)

Эльза откинулась на подушку и взяла в рот чубук.

Превозмогая себя, Курбатов последовал ее примеру. Через короткое время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались словно не его, мысли исчезли... Сладкое наваждение!

В тот вечер они больше не разговаривали.

Между тем приближался день отъезда посольства в Испанию. Штатгальтер помог договориться с капитаном английского судна, отплывающего в Сан-Себастьян. В последний раз прийдя в домик на узком канале, Курбатов был деланно весел, болтлив; потом как-то сник, сделался задумчив... Эльза подарила ему трубку и кожаный кисет, туго набитый табаком.

Уже стоя в дверях, он сказал:

— Я приду к тебе, когда снова буду здесь на обратном пути.

— Приходи.

— Ты не уедешь отсюда?

— Вообще-то я хочу купить гостиницу где-нибудь рядом с Амстердамом — например, в Саардаме. Но вряд ли это случится скоро, я еще не накопила достаточно денег.

— Тогда до встречи?

— До встречи.

VII

Два дня Курбатову было очень тоскливо.

С великой мукой кое-как проштатавшись по палубе до вечера, он ночью тайком вновь поднимался наверх из каюты, находил укромное местечко и доставал подаренную трубку. Курить не хотелось — хотелось просто подержать ее в руках, погладить изгибы, вдохнуть сладковатый запах нагара. Порой все-таки не выдерживал: торопливо, по-воровски, закуривал, вспоминал домик, спальню... Все же был начеку — слышав голоса или скрип палубных досок, быстро прятал трубку за пазуху, придавив пальцем тлеющий табак.

Ла-Манш несколько рассеял его тоску. Потянулись острова и островки, уютные прибрежные городишки, совсем не скучные в своем однообразии: готическая церковь, старые улицы, тесные, узкие, причудливо-кривые, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами, дома набегают друг на друга; внизу — маленький порт, где теснятся суда, реи шхун угрожают окнам домов на набережной... Сам залив — не то море, не то река или скорее морская улица: всюду рыболовные барки, шлюпки, двух- и трехмачтовые корабли...

В первых числах августа показался воздушно-сиреневый берег Испании.

В Сан-Себастьяне пересели на лошадей и мулов и двинулись дальше, отослав в Мадрид гонца с вестью о прибытии государева посольства. По обе стороны древней каменистой дороги громоздились одна на другую ужасные в своей пустынности горы; некоторые из них были совсем лысые, как спина старого осла, другие — покрыты низкорослыми каштанами, дубами, кленами, буками. В мертвой тишине ночей, казавшихся особенно мрачными от обилия звезд, слышался один глухой ровный шум горного потока.

Города тоже были древними и пустынными: тенистая улица вела между каменными остовами домов, часто зиявшими черными пустотами на месте окон; за домами виднелась пыльная зелень одичавших садов; потом появлялась залитая солнцем площадь, длинный водоем под навесом, церковь с голубой статуей Богоматери над порталом, обитаемые дома, никуда не спешащие люди, а впереди, уже на выезде, постоялый двор с неизменными связками трески, сохнувшей на пыльной доске... В Бургосе Курбатов

с любопытством осмотрел готический собор: на его стенах нельзя было найти места в ладонь, где бы ни прошелся резец мастера.

За Бургосом потянулись сухие серые равнины, выжженные солнцем. Изредка попадалось стадо овец, таких же серых, грязных; неподвижный пастух в выгоревшем, потерявшем всякий цвет плаще провожал посольский караван долгим взглядом из-под широкой шляпы. На улицах бедных селений, у ворот жалких лачуг с соломенными крышами валялись в пыли черные свиньи, круглые и гладкие, как шары...

В эти дни Курбатов записал в тетради: «Испания страна бедная, вроде нашего Костромского уезда».

В окрестностях Мадрида посольство разместилось на постоялом дворе, довольно приличном на вид. Однако на ужин подали только яичницу, от которой пришлось отказаться — шел Успенский пост. С великим трудом хозяин к ночи раздобыл форель и накормил тех, кто еще не лег спать, чтобы заглушить голод.

Утром, когда хозяин принес Потемкину счет, князь побагровел и велел Курбатову ответить, что не заплатит и половины требуемой суммы. Начались пререкания; хозяин совсем не понимал курбатовскую латынь, пришлось послать за местным приходским священником. В это время в комнату явился посольский иерей отец Богдан с жалобой, что ночью у него украли несколько дорогих окладов с образов, наградной крест и даже срезали серебряные пуговицы с епитрахили. Услыхав о таком бесчестии, Потемкин наотрез отказался платить, пока хозяин не отыщет воров. Тот ушел, клянясь, что взыщет с проклятых москвитов все, до последнего песа.

И действительно, когда князь со свитой вышел из комнаты, собираясь спуститься вниз, он обнаружил в дверях гостиницы с десяток человек прислуги, вооруженной мушкетерами, вилами и дрекольем. Хозяин, стоявший впереди всех с кочергой в руке и пистолетом за поясом, всем своим видом показывал, что не отступится от своих слов.

Пятеро дворян, выхватив из ножен сабли, сгрудились вокруг Потемкина, двое кинулись в свои комнаты за пистолетами. Князь грозил, что нынче же потребует у короля Карла вздернуть хозяина со всеми его холопьями, как воров и разбойников, но приходской священник уже исчез, а хозяин, не слушая Курбатова, только потрясал в ответ листком, на котором был записан грабительский счет.

Вскоре положение еще более осложнилось. Человек тридцать княжеских дворовых, запрягавших лошадей и укладывавших вещи на заднем дворе, собрались на шум и обложили испанцев с тыла. Хозяин с прислугой были вынуждены закрыть и забаррикадировать дверь. В то же время за воротами гостиницы стала скапливаться толпа, все более заинтересованно наблюдавшая за происходящим. Для начала побоища не хватало только сигнала — выстрела или чьего-нибудь истеричного крика.

В этот напряженный момент толпа за воротами раздалась надвое, и на гостиничный двор въехал всадник в расшитом золотом камзоле, сопровождаемый несколькими сеньорами в столь же роскошном облачении и отрядом солдат. Спешившись у двери, испанец застучал в нее кулаком, сопровождая удары властными выкриками. Услышав его голос, хозяин сразу присмирел и приказал слугам разбаррикадировать дверь.

Приезд маркиза де Лос Балбазеса, посланного королем для встречи московского посольства, быстро уладил споры. В ответ на жалобы Потемкина о бесчестиях и великом поругании, творимых над послами великого государя рядом со столицей его королевского величества, маркиз объявил, что начиная с этой минуты его католическое величество король Карл II принимает все расходы и содержание князя и его людей на счет королевской казны; хозяин гостиницы получит от короля требуемую им с москвитов сумму, но в свою очередь должен будет возместить стоимость

украденной у священника церковной утвари, в противном случае имущество его будет конфисковано, сам он будет заключен в тюрьму, а выплату вместо него произведет королевская казна.

Этим маркиз сразу приобрел величайшее благоволение со стороны Потемкина, который распорядился одарить его несколькими связками соболей.

VIII

Прием у Карла II произвел на Курбатова тягостное впечатление. Су-мрачные гранды в черных камзолах, вышитых черным стеклярусом, стоявшие у подножия трона и поблескивавшие круглыми стеклышками обязательных очков, их жены в черных платьях и мантильях напоминали духовенство в похоронном облачении. Сам король, неподвижный, безжизненный, с мертвенным взглядом сонных глаз из-под полуприкрытых век, казался совсем мертвецом рядом с молодой королевой (Марией-Луизой, французской принцессой) и чем-то походил на государя Федора Алексеевича: тот тоже был бледен, слаб, ходил опираясь на палку и не мог без посторонней помощи даже снять с головы царский венец.

После аудиенции послам показали дворец. Курбатов поразили обилию голых эллинских дьяволов и дьяволиц, зачастую соседствовавших с распятием на стене. В пышных формах некоторых женских истуканов он узнавал стати московских девок, сотни раз виденные в банях; только те не прикрывали свой срам с такой развратной томностью.

В одной из зал его внимание привлекло большое темное полотно в тяжелой золоченой раме, висевшее на стене. Он подошел ближе и всмотрелся. Посередине холста восседал страшный старик с лвиным лицом и развешивающейся бородой — казалось, он изрыгает проклятия. Святой Дух со зрачками коршуна низвергался на него, точно хотел выклевать глаза. Направо от старика исступленный монах заносил, как стилет, свое перо, готовясь писать. Черный овал капюшона мрачно обрамлял его бледное лицо, жестокое неистовство кривило его рот и узило глубоко запавшие глаза. Налево, позади епископа, замершего в высокомерной позе, подымались головы монахов, их глаза угрожающе пламенели, словно угли костра. Херувимы, витавшие в небе, корчили гримасы капризных детей.

Курбатов с трудом отвел взгляд от чудовищной картины. Он не мог отделаться от мысли, что видит бесов, надевших священные облачения, чтобы кощунственно глумиться над обрядами церкви. Заметив под рамой медную табличку с выбитой на ней латинской надписью, он нагнулся и прочитал: «Святой Василий, диктующий свое учение». Он с возросшим недоумением еще раз взглянул на полотно: так вот как здесь пишут его святого! И Курбатов, вспомнив светлые, благостные лики московских икон, поспешно зашагал вслед удалявшемуся посольству.

IX

В Мадриде пробыли два месяца, обменялись грамотами о дружбе и торговле и в начале октября тронулись дальше — в Париж.

Ехали по уже знакомой дороге. Ближе к Пиренеям по предложению проводника свернули в горы, чтобы переночевать в Лойоле — на родине основателя иезуитского ордена. Деревня находилась неподалеку от довольно широкого ручья, в очень тесной долине, которую опоясывавшие ее горы летом превращали в пекло, а зимой — в ледник. Четверо чрезвычайно вежливых иезуитов радушно встретили гостей.

Они охотно показали жилище «святого Игнатия» — двухэтажный дом с чердаком, похожий в лучшем случае на скромную обитель священника. В нем главными достопримечательностями были комната, где раненному на войне Игнатию было ниспослано свыше знаменитое откровение об ор-

дене, и конюшня, куда из смирения и почитания вифлеемских ясель удалась его мать, чтобы произвести его на свет, — это низкое, придавленное помещение теперь сияло золотом убранства. И в комнате, и в конюшне было устроено по великолепному алтарю, на которых покоились Святые Тайны.

В доме иезуитов могло поместиться с десяток человек, остальных развели по крестьянским домам. Курбатов остался при князе вместе с дворянами и отцом Богданом.

Стол у иезуитов был превосходный, в конце обеда подали уже знакомое русским лакомство — чашки с дымящимся жирно-фиолетовым шоколадом.

Осторожно отпивая обжигающий губы напиток, иезуиты поинтересовались: отчего в Московии оказывают предпочтение протестантам перед католиками — при приеме на военную службу и в торговых делах?

— Скажи им, — обратился Потемкин к Курбатову, — что негоже нам, православным, одних еретиков перед другими выгораживать. Люторы не лучше латинян-папистов: Христова смирения не имут, но сатанинскую гордость и вместо поста многоядение и пьянство любят, крестного же знамения истинного на лице изобразить не хотят и сложению перст бледнословно противятся. Также поклониться Господу на коленях не хотят и ложь шивают самосмышлением, разум Божественного Писания лукаво скрывают и своевольно бьют, прельщая безумных человек. А что с ними больше дело имеем, так это оттого, что они нам самозванцев на престол не сажали и в наши святые церкви на лошадях не въезжали.

Курбатов дипломатично перевел все, что поддавалось переводу.

— То творили миряне, поляки, — возразил старший из иезуитов. — А между нашими Церквями нет вражды, существуют только внешние, обрядовые различия. Церковное учение у нас, по сути, одно. Вот возьмем, например, вопрос, чем оправдывается человек: одною верою или верою и делами удовлетворения? Ведь вы, конечно, гнушаетесь суемудрия лютеран, уверяющих, что дела не нужны и что можно спастись одною верою?

— Гнушаемся, — кивнул Потемкин.

— Значит, при вере нужны еще и дела?

— Нужны.

— Итак, если без дел спастись нельзя, то дела имеют оправдательную силу.

— Имеют.

— А кто покаялся и получил отпущение за свою веру, но умер, не успев совершить дел удовлетворения, как быть тому? На таких у нас есть чистилище, а у вас?

Потемкин задумался, теребя бороду, и, помолчав, сказал:

— А ну, отец Богдан, отвечай еретiku.

— У нас, — произнес священник, помявшись, — у нас, пожалуй, есть в этом роде: мытарства.

— Хорошо, — продолжал иезуит, улыбаясь, — значит, помещение есть, разница только в названии. Но одного помещения мало. Так как в чистилище дел удовлетворения уже не творят, а между тем попавшим туда нужны именно такие дела, то мы ссужаем их из церковного казнохранилища добрых дел и подвигов, оставленных нам как бы про запас святыми. А вы?

Отец Богдан, чувствуя близость какого-то подвоха, пробормотал:

— У нас есть на это заслуги *сверх-требуемых*.

— Так с чего же, — радостно подхватил иезуит, — отвергаете вы индульгенции и их распродажу? Ведь это только акт передачи. Мы пускаем свой капитал в оборот, а вы держите его под спудом. Хорошо ли это?

Отец Богдан хмуро молчал. Потемкин с неудовольствием потер кулак нос.

— Да, отче, сел ты в лужу.

— Индульгенции — папская ересь, — отозвался тот. — Переводы, Курбатов: вся ложь и непотребство в латинстве — от папства.

Курбатов убежденно перевел слова священника.

— Как? — притворно изумился иезуит. — Неужели вы, заодно с проклятыми лютеранами, думаете, что одинокая личность с Библией в руке, но пребывающая вне Церкви, может обрести истину и путь ко спасению?

— Мы веруем, что нет спасения вне Церкви, которая одна свята и непогрешима, — отозвался отец Богдан.

— Прекрасно! Но ведь вы знаете, что суемудрие и ложь часто вторгались в Церковь и соблазняли верующих личиною церковности.

— Знаем.

— Так, значит, необходим осязательный, внешний признак, по которому всякий мог бы безошибочно отличить непогрешимую Церковь? У нас он есть — это папа. А у вас?

— У нас Вселенский собор.

— Да и мы тоже перед ним преклоняемся!.. Но объясните мне, чем отличается собор Вселенский от невсееленского или поместного? Почему вы не признаете, например, Флорентийский собор⁸ за Вселенский? Только не говорите мне, что вы называете Вселенским тот собор, в котором вся Церковь опознала свою веру, свой голос, то есть вдохновение Духа, — ведь задача-то и состоит в том, как узнать голос истинной Церкви. Мы в этом случае доверяем святости папы, вы — учености то одного, то другого монаха.

Отец Богдан сидел насупившись, Потемкин и дворяне растерянно переглядывались.

— Вот видите, — великодушно закончил иезуит, — и вы и мы стоим на одном пути. В вас много доброго, но мы у цели, а вы не дошли до нее. И мы и вы признаем согласно, что нужен внешний признак истины, иначе — *знамение церковности*, но вы его ищете и не находите, а у нас он есть — папа: вот разница. Вы тоже, в сущности, паписты, только непоследовательные.

— Вон как! — присвистнул Потемкин. — Что же ты молчишь, отец Богдан, как в рот воды набрал? Нас здесь уже в латинство перекрестили!..

— Так ведь сам видишь, князь Петр Иванович: они своей еллинской диалектикой хоть из черта святого сделают... Что ж сказать? Умишком я слаб, не учен, но все же от Христа разум имею и потому знаю, что русское православие — одно истинно. Была, конечно, и в нашей святой Церкви порча, но не от неправильности чинов, а единственно от нерадения. Знаю также, что наши отцы православной верою спаслись, и нам не только в их вере, но ни в малейшей частице канонов, ни у какого слова, ни у какой речи святых отцов ни убавить, ни прибавить ни единого слова не должно, ибо православным следует умирать за единую букву «аз». Вот это и скажи им, Курбатов.

Х

Оставив Лойолу, посольство направилось к реке Бидассоа, отделявшей Испанию от Франции.

Над Пиренеями нависли плотные, серые облака. Временами накрапывал дождь, и тогда тропинка, петлявшая над бездной, делалась скользкой;

⁸ Флорентийский собор — собор Римско-католической Церкви (1438 — 1445), созванный папой Евгением IV с целью преодоления разногласий и заключения унии между Римом и Константинополем. На нем была заключена Флорентийская уния (1439) на условиях признания константинопольским патриархом главенства папы и принятия ряда католических догматов с сохранением обрядов и богослужения Восточной Церкви. Акты собора не были подписаны ревнителями православия, во главе которых стоял Марк Эфесский. В дальнейшем уния была отвергнута и Византией, и Московским государством.

приходилось спешиваться и вести лошадей и мулов под уздцы. На одном из перевалов поскользнувшийся мул от злобы едва не укусил Курбатова за ногу — он успел отскочить и при этом сам чуть было не сорвался вниз. Успокоив животное, Курбатов первым делом с облегчением ощупал сквозь привязанный к седлу мешок тетрадь и трубку: в этот миг он остро, как никогда, почувствовал, что это самые дорогие ему вещи.

На берегу Бидассоа возле Сен-Жан-де-Люза французский таможенный чиновник придирчиво осмотрел их поклажу. Потом он долго что-то прикидывал в уме и наконец потребовал тридцать луидоров за провоз дорогих окладов и прочей церковной утвари.

Потемкин возмутился, но спорить на этот раз не стал. Достав туго набитый золотом кошель (в нем было не меньше ста испанских дублонов), он с презрением бросил его под ноги чиновнику.

— Даю эти сребреники тебе, еретику, псу несытому, лающему на святые образа, ибо не познал ни Господа, ни Пречистую Матерь Его.

Тот, не слушая, кинулся подбирать рассыпавшиеся монеты.

За Пиренеями небо расчистилось, воздух потеплел. В конце октября добрались до Бордо и остановились в двух милях от города, отписав о своем прибытии гасконскому губернатору маркизу де Сен-Люку. На другой день маркиз прислал послам семь карет, пять телег, десять верховых лошадей и письмо, в котором оповещал, что его христианнейшее величество король Людовик XIV принимает на королевский счет все расходы князя, как это делают и московские государи с французскими послами. Потемкин сел в карету с правой стороны, дьяк Семен Румянцев, не желавший в чем-либо уступать, устроился слева. Курбатов и французский офицер сели напротив.

В Бордо городские старшины поднесли князю подарки: вина, фрукты, варенья, — потом говорили речи. Когда кто-нибудь из них произносил «царь Московский», Потемкин сразу прерывал оратора, требуя сказать «царское величество», и Курбатов переводил по-латыни: «Caesarea Majestas».

Сен-Люк в ратушу не пришел, так как Потемкин ранее уже сказал его офицеру, от лица маркиза спросившему, отдаст ли князь ему визит, — что государеву послу неприлично видеться с кем-нибудь из вельмож прежде короля. Чтобы смягчить ответ, Сен-Люку были посланы меха, которые тот, однако, не принял.

Курбатов с любопытством приглядывался к французским порядкам. «Никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанести обиду. Король, хотя самодержавный государь, кроме общих податей, никаких насилований делать не может, особливо ни с кого взять ничего, разве по самой вине, по истине, рассужденной от парламента⁹. Французы живут весело и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет, всякий делает по своей воле, кто что хочет, но живут во всяком покое, без обиды и без тягостных податей. Дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются наукам...»

Здесь, в Бордо, члены посольства последний раз ели все вместе. Уже при следующей остановке дьяк и дворяне потребовали от французов накрывать для них отдельный стол, поскольку-де они не ниже государева посла, так как тоже назначены его царским величеством.

Кормили послов хорошо. Потемкин был чрезвычайно разборчив в пище и просил в скоромные дни не подавать ему зайцев и кроликов, так

⁹ Имеется в виду один из местных парламентов.

как они слишком обыкновенны, а также голубей, которых православные не едят; телят — можно, но лишь годовалых. Особенно любил молодых гусей, уток, поросят. Поили тоже на ёлаву. «Вино хорошее: церковное свежее, белое французское, мальвазия, аликант», — записал Курбатов в тетрадь, но с грустью добавил: «Только водок нет никаких, одна яковитка: хуже тройного вина, да и пить дают всего шуруп или две стклянки...»

XI

В местечке Ла-Рен под Парижем Потемкина ожидал маршал Бельфон, присланный королем. Для встречи московитского посольства было подготовлено восемь карет (две королевские, две самого маршала и четыре — взятые им у знакомых). Рота королевских мушкетеров составила почетный эскорт.

Курбатов разместился вместе с Потемкиным и Бельфоном на мягких, обитых штофом подушках одной из королевских карет. Как только закрыли дверцы и карета тронулась, маршал достал из-за широкого обшлага надушенный платок и поднес его к носу. Курбатов догадался, что причиной тому была любимая чесночно-луковая подлива князя.

Дорогой Потемкин из окна кареты раздавал милостыню нищим, каждый раз приподымая свою медвежью шапку. Он был раздосадован, что не видно встречающей толпы, и жаловался на это маршалу. Курбатов перевел ответ Бельфона: в этом-де никакой обиды и бесчестия послу великого государя нет, при въездах послов других государей то же бывает.

В Париже князю и его свите отвели дом чрезвычайных посланников. Маршал проводил Потемкина от кареты до порога и остановился, словно чего-то ожидая. Князь уже поднимался по лестнице.

— Разве его светлость не проводит меня до кареты? — с удивлением осведомился Бельфон у Курбатова.

— Послу великого государя это неместно, — ответил Курбатов.

Маршал вспыхнул и в гневе уехал.

Вечером он вернулся, чтобы проводить Потемкина в Сен-Жермен, где его ожидал король. Во дворец предполагалось идти пешком, но Потемкин счел это оскорбительным, и маршалу пришлось послать за двумя каретами.

У подъезда дворца послов встретили обер-церемониймейстер и шестьсот гвардейцев. Еще сто швейцарцев выстроились шпалерами по ступенькам лестницы; с балкона звучали трубы и гремели литавры. Капитан гвардии проводил послов в королевский зал, где напротив дверей, в отдалении, был поставлен трон на четырех ступеньках. Когда ввели послов, Людовик XIV уже сидел на троне со шляпой на голове; справа от него стоял дофин, слева — брат короля, герцог Орлеанский, — оба с непокрытыми головами. Королева, присутствовавшая здесь же инкогнито, затерялась в толпе дам.

Лишь только Потемкин переступил порог залы, Людовик встал, снял шляпу, затем тотчас надел ее и сел. Потемкин вручил королю свои верительные грамоты, царские подарки и произнес речь, которую Курбатов после зачитал с листа по-латыни. (Речи московских послов писались заранее в посольском приказе, прибавлять что-либо от себя послам строгойше воспрещалось.) Людовик, слушая, снимал шляпу всякий раз, когда Курбатов произносил титул и имя царя.

По окончании аудиенции все перешли в другую залу, где в честь гостей были даны небольшой концерт и театральное представление.

Музыканты уже сидели на своих местах за нотами. Рядом с ними стоял певец, неприятно поражающий какой-то рыхлой, изнеженной полнотой и набеленным мукой лицом, на котором выделялись только густые черные брови, по-женски томные глаза и жирные, сочно-алые губы. Курбатов решил про себя, что это, видимо, шут, который будет их развлекать. Он со-

всем утвердился в этом мнении, когда толстяк сделал напряженное лицо и заголосил совсем бабьим визгом, уморительно вытягивая губы и округляя глаза. Курбатов хотел засмеяться, но осекся, заметив, что французы, напротив, придали своим лицам благоговейное выражение. Курбатов недоуменно притих, вслушиваясь в чудной переливчатый визг, и вскоре почувствовал, как внутри у него что-то раскрывается навстречу этим звукам, отвечает им... После концерта он спросил у сидевшего рядом вельможи, отчего толстяк поет таким тонким голосом, и, услышав насмешливый ответ, содрогнулся, в то же время почувствовав, что странное, непривычное удовольствие, испытанное им от пения, ничуть не уменьшилось от этого неприятного открытия.

Из последовавшего затем театрального действия Курбатов ничего не понял, но, возвратясь из дворца, добросовестно записал увиденное:

«Король приказал играть: объявились палаты, и те палаты то есть, то вниз уйдут, — и того шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемое волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а в вершине палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака с людьми вниз опускаться и, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, что сидели на рыбах, туда же поднялись вверх, за теми на небо. Да спушался с неба же на облаке сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамаки под каретами как бы живы, ногами подергивают. А король сказал, что одно солнце, а другое месяц.

А в иной перемене, в палате, объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели и почали клевать кости; да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие и люди в них плавают.

А в иной перемене появилось человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали...»

Вечер в Сен-Жермене закончился роскошным пиршеством, данным маршалом Бельфоном от имени короля. Потемкин поминутно вставал, снимал шапку и пил здоровье его царского величества и французского короля. Маршал каждый раз был вынужден поднимать ответный тост за здоровье его христианнейшего величества и московского царя; под конец он так ослабел, что уже не мог уклоняться от медвежьих объятий и троекратных поцелуев князя, отдававшего его нестерпимой луковой воню.

Простились они неразлучными друзьями, поддерживаемые под руки слугами. Бельфон напоследок поинтересовался, как понравились его светлости французские дамы. Курбатов, у которого также заплетался язык, все-таки сумел перевести ответ Потемкина, что он женат и ему неприлично засматриваться на девиц столько, чтобы выразить о них мнение.

ХII

А через несколько дней после вечера в Сен-Жермене Курбатов сбежал. Случилось это так.

Потемкин решил отправить грамоту царю с известием о результатах посольства и о том, что заимует в Париже; Курбатову было поручено переписать бумагу.

Он засиделся за ней до вечера в своей комнате. Устав, подошел к окну, поднял раму и закурил трубку (покуривал он все чаще). С улицы пахло сыростью. Город тонул в темноте, сыпал затяжной осенний дождь. Курбатов несколько раз с наслаждением вдохнул холодный воздух, пыхнул трубкой, задумался...

Впоследствии он не раз сокрушался: как же мог он забыть запереть дверь! Потемкин налетел на него, как буря, лупил палкой, обещал в Моск-

ве самолично вырвать его копченые ноздри... Курбатов повалился ему в ноги, винулся, умолял, плакал...

Князь постепенно отошел, но ничего не пообещал, только приказал тотчас закончить грамоту и принести ему. Курбатов долго ждал, пока перестанут трястись руки, потом снова сел за переписку, уже ничего не соображая...

Когда он принес бумагу князю, Потемкин, хмурясь, взял ее и принялся читать. Вдруг лицо его побагровело:

— Вор! Ты как титул великого государя пишешь?!

Курбатов похолодел: описка в титуле государя означала — батоги, кандалы, темница. В уме мелькнула впадина в Шильонском замке... Не помня себя он кинулся к дверям, слетел по лестнице и побежал куда-то в темноту...

Несколько дней он скрывался в предместьях. Его спасло то, что кошелек всегда был при нем, на поясе. Сменив платье и купив лошадь, Курбатов беспрепятственно выехал из Парижа, держа путь на север — к маленькому домику на узком канале.

В Амстердам он приехал вечером, недели через две после побега. Лил дождь, улицы и каналы холодно отливали светом фонарей. Эльза, вышедшая на стук в длинной белой ночной рубашке, узнала его в новом наряде не сразу; узнав, не удивилась, сказала только, что сейчас не одна. Курбатов, усмехнувшись, поднялся наверх, в ее спальню, где при виде его на кровати под одеялом испуганно сжался какой-то крючконосый, плешивый старичок. Как оказалось, он ничего не имел против того, чтобы провести эту ночь у себя дома. Эльза, величественно стоя в дверях, спокойно ожидала смены кавалеров.

Так же спокойно выслушала она слова Курбатова о том, что теперь они будут жить вместе. Ночью сквозь сон он смутно слышал ее долгие счастливые вздохи.

XIII

Вскоре он устроился приказчиком в морскую компанию, торговавшую с Россией. Здесь он прослужил десять лет. Россия постепенно забывалась, теряла реальность, пряталась в снах, напоминая о себе одними бесконечными списками связок мехов, бочек икры, смолы, поташа, сала...

Скопив денег, он исполнил давнюю мечту Эльзы: купил гостиницу в Саардаме. К тому времени он обзавелся потомством — Эльза аккуратно каждые два года производила на свет крепкую мальшкку. Гостиница содержалась ею в образцовом порядке и приносила небольшой, но постоянный доход. Курбатов с удовлетворением чувствовал, как приближается спокойная, обеспеченная старость. Не переставал жалеть только об одном — что пришлось оставить тогда, в Париже, заветную тетрадь...

Он сделался книгочеем. Вечерами, поручив Эльзе постояльцев, покидал шумную, окутанную табачным дымом гостиную, поднимался в свой кабинет, брал с полки увесистый том, с удовольствием устраивался у камина, тщательно набивал длинную трубку, раскуривал и привычным движением отстегивал застежку с переплета... Мирно, незаметно текли часы; потом появлялась Эльза, поила его липовым отваром и вела в теплую, нагретую грелкой постель...

Как-то раз сосед кузнец Кист (недавно вернувшийся из Москвы, где он работал у молодого государя Петра Алексеевича), желая сделать приятное Курбатову, подарил ему на Рождество книгу.

— Пусть она напоминает тебе о покинутой родине, — сказал он, вручая ее. — Я знаю, что значит жить на чужбине.

Книга оказалась романом Энрико Суареса де Мендосы-и-Фигероа «Евсторий и Хлорилена, московитская история». Читая его, Курбатов чув-

ствовал нараставшее в нем возмущение: да где же здесь Россия — так ли в Москве говорят, думают, любят?..

В этот вечер он решил написать о России сам.

С этого момента для него наступила пора ночных бдений, душевной смуты, полупризрачного существования здесь, в Саардаме, рядом с Эльзой и детьми, и настоящего там — среди грез и воспоминаний... Он писал так, словно старался извлечь Россию из небытия, спасти, сохранить ее для себя. Несмотря на это, книга получилась довольно жестокой.

Россия — бедная страна сравнительно с европейскими государствами, размышлял Курбатов, потому что менее их образованна. Здесь, в Европе, разум у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, процветает морская торговля, земледелие, ремесла. Россия же заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, не производится ценных и необходимых изделий. Ум у народа косен и туп, нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. В боярской думе бояре, «брады свои уставя», на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать не могут, «потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные». Подобно им и другие русские люди «породою своею спесивы и непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго дела не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась, что, узнав тамошних государств веры и обычай и вольность благую, начнут свою веру бросать и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не будут иметь и мыслить». Истории, старины мы не знаем и никаких политических разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается и в некрасивом покрое платья, и в наружном виде, и во всем быту: нечесанные головы и бороды делают русских мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и «оба-два пальца в ней окунул». В иноземных газетах пишут: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобные: окна низкие, в избах нет отдушин, люди спят от дыма. Всюду пьянство, взаимное «людодерство», отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши «вояки» ежели побегут, так уж бегут без оглядки — бей их, как мертвых. Великое наше лихо — неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в одной стороне вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Даже у магометан русским есть чему поучиться: трезвости, справедливости, храбрости и стыдливости.

Так какое же место занимаем мы, русские, среди других народов, задавал себе вопрос Курбатов и отвечал: наш народ — средний между «людскими», культурными народами и восточными дикарями и как таковой должен стать посредником между теми и другими. Мы и Европа — два

особых мира, две резко различных человеческих породы. Европейцы наружностью красивы и потому дерзки и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость; мы ни то ни се, люди средние обличем. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они речисты, смелы на язык, на речи бранные, колкие. Мы косны разумом и просты сердцем; они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем; они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам; они промышленны, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы — обыватели убогой земли; они — уроженцы богатых, роскошных стран и на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем: поссоримся и помиримся; они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, вовеки искренно не помирятся, а помирившись, всегда будут искать случая к отместке. А потому мы, русские, должны всячески их междуусобные раздоры поддерживать и разогревать, ибо, как только западные народы меж собой замиряются, они сразу всей силой прут на нас.

Закончив книгу, Курбатов ощутил пустоту и ровную, тихую боль, которая с тех пор так и осталась где-то внутри, у сердца. Россия ушла из воспоминаний, снов, мыслей, и он снова увидел себя в Саардаме, в гостинице, рядом с Эльзой и детьми.

Издателя для книги он нашел без труда. Несколько экземпляров отослал в Москву, в государеву библиотеку.

XIV

Прошло еще шесть лет.

Седьмого августа 1697 года Курбатов зашел к Кисту — хотел попросить его подковать лошадь. Жена Киста отперла дверь и проводила в гостиную. Кузнец сидел за столом вместе с каким-то молодым человеком, одетым в красную фризую куртку, белые парусиновые штаны и лакированную шляпу. Когда Курбатов вошел в комнату, гость повернул к нему свое округлое испитое лицо с тонкими кошачьими усиками, живо сверкнув на него большими умными глазами.

Кист поднялся навстречу Курбатову, усадил его за стол.

— Это ваш соотечественник, герр Питер, — сказал он гостю. — Василий Курбатов, держит здесь, рядом, гостиницу.

— Русский? — удивился молодой человек. — Да, где только нашего брата не встретишь... А мы с этим славным кузнецом были добрые знакомцы в Москве. Я Петр Михайлов из свиты великих государевых послов, что сейчас в Амстердаме. Слыхал о сем?

Курбатов немного разволновался, стал расспрашивать. Сели за стол, жена Киста принесла еще одну кружку и трубки. Петр Михайлов достал из кармана куртки кисет, пошарил в нем.

— Вот незадача, табак кончился, — сказал он и обратился к Курбатову: — Дай-ка щепоть своего...

Курбатов протянул ему свой кисет и поинтересовался, считают ли в Москве по-прежнему курение табака грехом.

— Считаю, — отозвался собеседник, недобро усмехнувшись. — Ну да великий государь переделает их на свой лад!

— Неужто его царское величество Петр Алексеевич курит? — изумился Курбатов.

— И сам курит, и своим боярам велит.

Курбатов посидел еще, потом стал прощаться. Михайлов переспросил, где находится его гостиница, и пообещал зайти на днях, потолковать.

Вечером следующего дня Курбатов сидел у себя в кабинете за книгой. Неясный гул голосов за окнами отвлек его от чтения. Выглянув в окно, он увидел вчерашнего гостя кузнеца, идущего к гостинице. За ним несколько в отдалении следовала толпа голландцев — мужчин, женщин, детей. Раздавались крики:

— Der Kaiser! Der Russische Kaiser!¹⁰

Петр сердился, топал на зевак ногой, замахивался кулаком... Один чрезвычайно назойливый бюргер подошел к нему очень близко, рассматривая его в упор, как диковинку. Петр одним прыжком оказался рядом с ним и влепил звонкую пощечину. Бюргер растерянно замигал, в толпе раздался смех. Петр в сердцах сплюнул и больше не оглядываясь размашистым шагом направился к дверям гостиницы.

Курбатов поспешил вниз.

Петр запирает дверь. Увидев растерянное лицо Курбатова, он улыбнулся:

— Ты-то что тарацишься или вчера не посмотрелся?.. Ну да, я и есть царское величество великий государь Петр Алексеевич. Просил ведь Киста вразумить жену, чтоб не разглашала мое инкогнито... Проклятые бабские языки!

Курбатов подавленно молчал. Петр посмотрел на окна, к которым прикили лица зевак, вздохнул.

— Книгу твою я читал, — сказал он, — и была она мне в великую досаду...

Курбатов потупился.

— ...ибо чуял правду слов твоих, — продолжал царь. — Ныне и сам знаю, что имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Потому всегда радуюсь, встретив человека, согласно со мной мыслящего. Слушай меня, Курбатов. Вины, какие были за тобой, я тебе прощаю. Если не хочешь уподобиться ленивому рабу евангельскому, закопавшему талант свой в землю, поезжай в Москву, будешь числиться при Посольском приказе. А пока что жалую тебя дворянским званием и чином поручика. Ответ свой дашь завтра, а пока налей водки, что ли...

В сентябре, продав гостиницу и устроив все дела, Курбатов вместе с семьей выехал в Москву сухим путем. В дороге был весел, подшучивал над невозмутимой Эльзой, говорил с детьми только по-русски. В Кёнигсберге, поднимаясь по трапу на корабль, который должен был везти их в Либаву, он вдруг остановился, дико выпучив глаза и лоя ртом воздух, схватился за грудь и под пронзительный визг Эльзы рухнул в воду. Через полчаса матросы баграми достали его тело, уже почти окоченевшее.

Эльза похоронила его в Кёнигсберге по лютеранскому обряду. Затем она продолжила путь и к зиме добралась до Москвы. Петр, возвратясь из Голландии, оставил за ней и ее детьми дворянское звание и назначил личную вдове поручика пенсию.

¹⁰ Царь! Русский царь! (нем.)



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

LONG DISTANCE,
ИЛИ
СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕНТ

Сценарные имитации

Фильм второй

ВТОРОЙ ЕГИПТЯНИН

CAST:

Официант закусочной, иммигрант.

Художница.

Хозяин кафе.

Супружеская чета на пороге смерти.

Люди из прошлого, объекты памяти и воображения.

Объекты телевизионной заэкранности.

Полицейские.

Сцена 1. КАФЕ

«Простите, могу я спросить вас, мэм? Откуда вы приехали?» — «Из Петербурга». — «А, это в Африке... Вы говорите на африканос?»

Около пяти часов летнего вечера. Арабское кафе на окраине Нью-Йорка. Честнее было бы назвать это заведение закусочной, но хозяин не поспешил на вывеску: «MIRACLE of CAIRO».

Молодой официант засмотрелся на женщину. Осмелился заговорить. Сел в лужу с этим Йоханнес... Петербургом. Потерялся.

Женщина смеется.

Блистательная, артистичная. Чуть взвинченная.

Отодвигает поставленную перед ней чашечку кофе. Без молока. Без сахара.

«Я вообще-то художница. В Нью-Йорке пару месяцев. Хочешь, покажу свой альбом? Издан в Париже». — «О, это правда ваши картинки?» — «Правда мой». — «О найс!»

Функция альбома: я, парень, не то, что ты думаешь.

Функция сока, что пьет, подсев, официант: ты добрая, ты очень добрая, не гони меня, ладно?

Губы официанта, вседневная функция коих — называть счет, на ощупь продираются сквозь дремучести внепрейскурантного обхождения: «Иджипшен библ ар найс... Дон'т би эфрейд...» — «Библия? Египетская библия?» — «Библ... библ... май библ...» — «Байбл?» — «Ноу, хе-хе... Ай мин би-бл... иджипшен би-бл...» — «Пипл?» — «О йес, библ!» — «Не библ, а пипл. Скажи: пипл!» — «Библ!» — «Ну, о'кей...»

Ей уже скучновато. It leads to nothing. Парень полноватый, лысоватый. Глуповатый. Глаза добрые. Да и черт с ними. Устала. It really leads to nothing.

«Ю хэв э лот оф пикчерз, мэм!.. Бью-у-у-тифул пикчерз!..» — «Где тут пепельница у вас?» — «Пожалуйста, мэм! Ай ноу уан пэйнтер... Он тоже рисует картины... Э лот оф пикчерз!.. Красивые картины!..» — «Ну и что? У него есть деньги?» — «Деньги? Ай дон'т ноу. Я видел его один раз... Красивые картины, мэм!..» — «Так. Ну, я, пожалуй, пойду». — «Уай, мэм? Вы торопитесь?» (*Она — себе.*) «Подумаешь! Буду в „Макдональдсе“ тарелки мыть!» — «Сорри, мэм?» — «Подумаешь, говорю. (*С прежним вызовом.*) Буду в „Макдональдсе“ посуду мыть! Плевать мне на всех!» — «Но... (*робко*) в „Макдональдсе“ посуду не моют, мэм... Они ее выбрасывают...» — «Soggy?» — «В „Макдональдсе“ не моют тарелок, ай гесс... Зей троу зем зуэй... Одноразовая посуда, мэм...»

Секундная пауза.

Взрыв смеха.

Женщина хохочет невероятно громко.

Хозяин, багроворожая гора мяса, на миг забывает про нож.

Смеется и официант. Начинает робко, оглядываясь на хозяина. Заканчивает, глядя женщине прямо в глаза.

Что-то примиряет этот совместный смех.

«Вы очень добрый и красивый вумэн. Очень! Пожалуйста. Ай инвайт ю-ту май хоум. Пожалуйста!.. Я очень-очень хорошо приготовить э диннер. Ит из тру. Иджипшен библ всегда вкусно готовить! Дон'т би эфрейд! Пожалуйста! Можно?..»

Сцена 2. УЛИЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Чуть позже.

Женщина за стеклом кабины.

Видимо, говорит с подругой.

Может, с собой?..

«Сколько это может продолжаться?! Я устала! Почему бы нет?.. А что, разве сейчас меня не насилюют? Ну, изменится форма насилия... Хотя бы конуру свою оплатить за месяц! И потом, я художница, мне нужны детали! Свобода?.. Не смейся. От смены континентов меняется только форма зависимости. Да нет!.. Это не Гегель сказал!..»

Сцена 3. СНЭК-БАР

Сразу после этого.

Наскребают последние центы.

Наглатывается дешевой, быстро заглушающей голод дрянью.

Потат, майонез, потат.

Итог: желудок жадно и ласково принял пищу.

Впрок. Наперед. Про запас.

У него дома она думать об этом, слава Богу, не будет.

Сцена 4. ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ СПУСТЯ. ДОРОГА

«Зачем ты заходила в снэк-бар?» — «Я хотела купить себе новые туфли». — «Разве они там продаются?» — «Нет». — «Зачем же ты заходила?» — «Потому что хотела купить туфли». — «Найс, хе-хе... Ты очень веселый женщина! и добрый! и ты бью-у-у-тифул!.. Иджипшен библ...»
И т. п.

Сцена 5. В СУПЕРМАРКЕТЕ

«Давай я покупаю красивый египетский еда?» — «Покупай что хочешь». — «Что-нибудь пить? Сок? Пепси? Спа?» — «Вино». — «Какое? Сколько бутылок? Я купить все, что ты показать». — «Любое. Up to you». — «Сорри?» — «Да делай что хочешь!»

Тоска. Кому повем печаль мою?..

Сквозь стекло витрины видна парочка. Девяностолетние супруги в духе немецкого экспрессионизма. Маленькие, сплюсненные в направлении сверху вниз. Муж, храня мужскую дистанцию, на два пальца выше. Намертво сцеплены под ручку, полный клинч. Загипнотизированные зеленым светом, испуганно и покорно семят на тот берег... Стараются именно семять, не ползти...

Огромная, пустая и страшная дорога. Стая машин, пригнав к одной линии, по-волчьи застыла перед прыжком. Иллюзия остановки времени. Трусливая абберрация. Все равно поток искорежит... сомнет... вычеркнет из пейзажа...

Старичок в костюмчике цвета мокрого пепла... Старушка в темной приплюснутой шляпке... Точно в щербатой тарелочке, что из рода скромного антиквариата... Черная сумочка, темно-зеленый костюмчик... Черна кладбищенская земля, в которой они вот-вот оба исчезнут, сильна темной зеленью трав, что покроеет их. Кто первый? «Только не ты!» — «О нет, только не ты!» Горбатенькие, слитые временем в неразрывность. Так ли? В том, как судорожно сцеплены руки, слышится: «Господи, только не ты!..»

...Куда мне девать себя от ее приплюснутой шляпки?

Отойди от окна.

А толку?

Все равно отойди.

Появляется египтянин. На лице — влажная, как дыня, улыбка, в руке — огромный фирменный мешок от P&P. Мешок распираем корпоративными дарами Запада и Востока.

На этот несколько перегруженный натюрморт художница взирает более чем нейтрально. Когда не хочется есть, и впрямь чувствуешь себя человеком.

Сцена 6. ЖИЛИЩЕ

Табличка на двери: «Mr. N. Vacilli».

Звяканье связки ключей.

«Это твоя фамилия?» — «Ноу. Хозяина». — «Квартиры?» — «Квартиры и кафе. Но он здесь не жить, дон'т би эфрейд!» — «Ха! Было б чего бояться». — «Он хороший мэн. Он мой родственник. Он давать мне работа!» — «Противная фамилия. Бац! — бациллы, бициллин... Остерегайтесь случайных связей». — «Сорри?»

Жилище...

Жилище? Нет, а тебе-то какие такие чертоги здесь грезилось узреть? Подумаешь тоже! — наперсница Нефертити с дружеским визитом к наложнику Клеопатры...

Жилище?.. С пересчетом на жанровую сценку в духе передвижников здесь органичен (и очевиден) пролетарий в застиранной майке. Тридцать лет и три года он фрезует, знай, на «Арсенале», а его старуха (то бишь жена после первых же родов) пьет, впополаме с ним, водку. Учетчица в трансмехдепо, а хотела бы стать бригадиршей, чтоб другие учетчицы были б у ней на посылках. Трое детей (для расширения площади) настрогали старик со старухой, школьница дочь не пойми от кого залетела: водка, побои, чтоб помнила; водка, горзагс и роддом. Несколько ценных вещей накопили старик со старухой: в «зале» цветной телевизор (взятый в

кредит), «шифоньер». Крестная первой жены: приезжала с Гусилищ на Пасху, в Центре лечили с бесплодия, а умерла с аллергий. Зина, от мужа золовушка, женщина с образованием: слезы, курорты, женатики, слезы, аборт, дурдом. Шурин, что зубы погнившие, тот угорел еще в майские, так ненавидел Америку, что про семью и забыл.

Ну и т. п.

А тебе чего бы хотелось? Не тебя ль элегантно пришили классик: «...он принадлежал к тому типу людей, кои, скажем, воображая себе Индию, видят не багрового от жары английского чиновника, а непременно факира». (Вроде бы так.)

То есть, проще говоря, ты хочешь, чтоб тебе тут Изида с Озирисом чай да сахар подавали. Так, что ли? Ну, так... Но их нет даже в Египте — не чая с сахаром, в смысле, — Озириса и Изиды там нет... А может, и не было... Дело не в них! Но Боже мой, почему сие человеческое жилище не имеет ни одного, ни единого отпечатка человеческой души? Почему? Ну, пусть эти отпечатки были бы проявлены через постыдное тело (а через что же еще?), пусть это были бы самые побочные, самые что ни на есть окольные проявления души, выказанные через очевидные физиологизмы, пусть это были бы следы застарелой мочи, спермы, еды, бурой высохшей крови, блевоты, «синих пятен вина», кала — чего там еще входит-выходит из человека? — но только не то, что показывают мне сейчас, не это удушающее и что, как будто люди здесь сроду не ели, не пили, не мотали друг другу нервов, не умирали, не слепли в тоске, будто они не бывали сбитыми с толку минутным восторгом, не рожали, не чахли от жалости и отчаянья... Да мало ли еще чего «не»...

Электрическая плита. Стиральная машина. Койка для сна. Телевизор, конечно. Даже антенна-тарелка торчит на балконе. Убранство покоев: все-непременный, справляющий скромную нужду купидон — гипсовая дрянь на дээспэшных дверях ватерклозета; на всех плоскостях — то ли всепроникающие, то ли и впрямь директивные сердечки (I LOVE YOU) — абсолютная копия свиных или бабьих задов в сакральной позиции совокупления, две-три рамочки с рынка, — конечно же медные, кружевами обрамляющие бесплатные календари, а также суррогаты рекламной нечисти и квазикартинки с помойки, — о, как страшно, если это и будет последним, что видит умирающий человек! (А если это постоянно видит живущий?..)

«Я сейчас собираться брать мой душ».

Что?.. как?.. зачем?..

«Я брать мой душ каждый день. Дон'т би эфрейд! Я делать быстрый». — Он стоит перед ней в майке и трусах. И когда успел? О, это не будоражащая обнаженность любовника — скорее идиллически-безбурная, словно бы узаконенная уютность и беззащитность мирных семейных уз. Кажется, он сейчас зевнет и доверительно пукнет. Голубоватая майка застирана, с прорехой в подмышке. Трусы — красные, неожиданно маленькие, бесстыдно обнажают бабьин живот, по-женски просторные («ориентальные») ляжки. Странный эффект: плоть везде покрыта потными колечками темных волос (дающих на груди густой и ровный, в меру длинный мех), а кожа при этом выглядит все равно очень белой и очень гладкой, омерзительно голой и беззащитной, как у моллюска. Вот они, прямоходящие шесть метров кишечного шланга, обернутого типовым комплектом слизистых оболочек, вялых мышц, слоями желтого сала, — и на все это плотно натянут кожух влажного эпидермиса с его потовыми железами и жировыми протоками. Бежать...

Дверь в ванную наконец закрывается. Женщина сидит, какое-то время тупо глядя на бугры развороченной койки. Синтетический спальный мешок со сломанной молнией... Одноразовые наволочки... Глянцевые, отдающие какой-то химической кислотной небеса иллюстрированного журнала... Белые трусы с прилипшими лобковыми волосами...

Встает и крадучись идет к выходу. За дверь с купидоном громко и неровно слышны всплески ручного душа. Выбежать, успеть на свой поезд, нажать в мозг кнопку «delete»...

Некоторое время мы видим женщину со спины... Она стоит в коридоре, у двери на улицу, низко опустив голову... Может быть, слушая шум собственного кровотока... Здесь очень ясны звуки уличного движения, душа и кухни, но женщина застыла словно бы в зоне собственной тишины... Поворачивается и тихо идет назад.

Садится в кресло перед телевизором. Губы и зубы сжаты. Берет панель дистанционного управления.

Так.

Убийство религиозного лидера в Индонезии. Демонстрация. Полицейские избивают китайских студентов. Археологическое открытие в Монголии. Корея: биржевой кризис. Наводнение века в Польше, жертвы среди скота и населения. Ближний Восток: булжники, крики, оперативные полицейские. Люди в пейзажах. Молитвы. Коррида. Военный переворот. Футбол. Португальская дикторша. Комментатор из Швеции. Снова Монголия: реформа высшего образования. Где же Россия?.. Фьорды Норвегии. Прага. Париж...

В кухне раздается стук сковородки. Ножа. Крупная дробь картофелин по дну раковины. Вообще комплексные звуки приготовления человеческого корма.

Женщина морщится, настраивает телевизор громче.

«Чего ты там делаешь?!» — кричит.

«Ай эм кукинг фор ю!.. Э найс диннер!..»

«Почему нет России?!» — кричит.

«Йес, ай эм кукинг!..»

«Почему он не ловит Россию, я спрашиваю!!»

«Сорри?..»

Какие-то люди с какими-то лозунгами. Люди стреляют. Люди прячутся от стрельбы.

Крупный план: мать голосит над убитым ребенком. Политик с безукоризненной линией пробора. Примадонна с бантом, под фонограмму, завывает: для кандидата в президенты. Банкет. Выборы. Взрывы. Бритоголовые. Железнодорожная катастрофа. Похороны. Реклама мыла.

Где это происходит? Везде. Не все ли равно...

«Ин а фью минитс ит уил би реди! Вери тэйсти!»

«Что?..»

«Э диннер! Ю уил инджой!»

«Я не хочу есть. Совсем».

«Уай? (Появляясь.) Ю тэйст, энд ю уил инджой, билив ми! Мы иметь время. Ты бы любила сейчас видеть мой альбом? Мой пикчерз? Мой фамили?»

«Валяй».

«Смотреть: это свадьба мой двоюродный брат. Это есть невеста. Ее зовут Шаганэ».

«Как?..»

«Шаганэ. Это мать невеста. Это отец невеста. Это приемный сын сестра мать невеста. Это друг от ее брат. Это другой друг от ее другой брат. А это...»

«У тебя там на кухне, часом, ничего не обуглится?»

«Не обуглится? Уот из ит?»

«Не сгорит? Пойди посмотри...»

«Разве запах? Запах нет... Есть вкусный запах! Там все есть о'кей... Хе-хе... Иджипшен библи знает кукинг... А это дедушка от мой школьный друг...»

Вот он, Египет... Господи Боже мой... Эти чернявые, грубого мяса, оплывшие бабы в аляповатой синтетике... Крупный план: человечья самка, выглядывая из белого нейлонового кокона, вступает в период узаконенной яйцекладки... Ее девственность невольно девальвируется бременем дешевой и грубой косметики...

А ты-то, конечно, мечтаешь обонять лилии и бальзамические масла на брачном пиру Тутанхамона?

С меня, скажем честно, и Аменхотепа хватило бы.

И все-таки: за что мне эта комсомольская свадьба в рабочей столовке на окраине Сумгаита?

Сцена 7. BACKGROUND

(Вставная глава)

Азербайджан.

«Азевбарджан», как это произносили дефективные, плебейского племени, кесари (словно габсбургскую губу, стойко друг у друга перенимавшие уродство дикции).

Азербайджан. Выцветший белесо-розовый флаг над куполом минарета... Жара. Нищета. Пестрота тряпок.

Старик в тени разошедшегося причала перебирает шиитские четки. Close up: паутина бородки колеблется бризом. Большой лоб цвета жженой умбры. Сухость бурых, кореньями, пальцев. Перстень с крупным смарагдом. Гладкие бочечки четок... Каждая с черную виноградину... Fade out...

Fade in: ежегодный ритуал. Национальные танцы на Главной Сцене столицы империи. Елейно-заздравные бляенья очередного Бюль-Бюль-оглы.

Средний план: конвейер. Работницы фабрики. Косы и зубы. Глянec значков. То, что угадывается под комбинезонами: затхлость тел, застарелость болезней.

Средний план: давка в пристанционном буфете. Тридцатилетние старухи с детьми и внуками. Расширяя границы оптики, в ноздри прет удушательный запах отработанных тел, злая, усугубленная зноем, гнилостная вонь выделений. Они плохо смываются тепловатой водой арыка. Мешки. Полосатые торбы. Узлы.

Арык: источник дизентерийного, а также холерного заражения города, ежедневно кишащий головами детей и свиней. Close up: зубочистка, золотая фиска и бриллиантовый перстень начальника краевого санэпиднадзора.

Дальний, заглушенный грохотом поезда, крик одичалого муэдзина. Мечеть с фанерной вывеской: «МУЗЕЙ ОТЫИЗМА». Плакат с диаграммой: повышение надоев ликеро-водочных изделий и рост поголовья населения. Резкий запах нефти. Небеса цвета индиго. Апокалиптический вздыб «лисыих хвостов» из труб химкомбината.

Продовольственный магазин. Close up: очень белые вши на черной, уложенной «корзиночкой», косе продавщицы. Горстка захезанных фиников в углу пустой полки. Мухи.

Очередь. Жены, истощенные бесcчетными родами. Аммиачная вонь мочи в драгоценной тени киоска. Здесь же: слизистое месиво гнилых дынь, куриных кишок, хлебных корок. Собаки.

Площадь. Первый секретарь горкома возлагает венок. Охрана. Телекамеры. Охрана. Толпы представителей населения резко отжаты за ограждения.

Полоска берега. Вечер. Мечты о волшебных странах к юго-востоку. По эту сторону яви: ржавые конструкции заброшенной нефтяной вышки. Закат. Собаки жуют бумагу со следами фекалий.

Никогда я не был на Босфоре. Да и в этой республике, при впадении Куры в Каспий, тоже не довелось. Как и в верблюжьих республиках Средней Азии, что хороши для туристов широкого спектра, от демонстративно не мытых до подчеркнуто выбритых. О да: Регистан, Тамерлан и «родина хлопка». Но Бог не создал меня туристом. Я просто честный путешественник, который не знает, вернется ли он назад.

«Не довелось побывать?» Разве это про меня?

Мне братственно близок мой бывший компатриот, что темною ночью был таков — прямо с борта теплохода «Ильич» (не Чайковский) — в воды открытого океана. Ни лодки, ни страховочного жилета. Живая молекула (тело) возвратилась в бульон жизнеродной среды. Три дня в голой стихии вод и небес. Главный страх: как бы «Ильич», не ровен час, за ним не вернулся. По прибытии (!) на остров к каким-то аборигенам был мгновенно избит и сдан в руки локальной полиции. Сейчас живет там, где всегда считал нужным жить, и занимается тем, чем считает нужным.

Артикулировать трюизмы — в равной степени совестно и несуразно. Но если очень хочется, то можно: только такому человеку свобода и впору. И цена за нее — единственно верная. Неловко также производить, что свобода — элитарное лакомство избранных. А для масс уготован некий набор сугубо теоретических знаний вроде цитат: «Лишь тот достоин счастья и свободы...» Ну а Кура, как и Волга, впадает в Каспийское море...

Это я к тому вспоминаю, что если б решение поехать («к жемчужине Кавказа, озеру Мингечаур» или «к неповторимым, ручной работы, коврам таджикских мастериц») было мной принято, то последовало б и действие. Но естественное решение было прямо полярным: не бывать. Раз над куполами мечетей болтаются на палках выцветшие портянки уж не знаю какого по счету Рима...

Двойная деспотия — штука ужасная, даже (именно) с эстетической стороны. Представим себе бессмысленную козу, кою во все дырки харит пахан со своею сивушной шестеркой...

Насилие заражает биосферу тотально, как радиация. Какие там, к чертовой матери, тибетейки и персики, какие Бахчисарайские фонтаны, гаремы, шальвары, пиалы, «корабли пустыни» и прочая сувенирная дребедень! Все здесь загажено, все пропитано насилием в самой грубой и беспощадной форме. Это море развращено и отравлено. Пресловутая «даль барханов» заражена до самого горизонта. Даже небо давно не девственно, оно тоже изнасиловано — и вдобавок до самых глубин развращено хамским принуждением безучастно наблюдать картины насилия и разврата. А горы! Эти их «белоснежные шапки»! Какая уж там белоснежность!.. Словно фата, что, в потеху сатрапам, напаялена на употребленных всем легионом «красавиц Востока»... Ох, земля! Нечего изображать целку! Спрячь подальше жалкие свои пиалы и тибетейки! Ни о какой «самобытности» не может быть речи, когда тебя, вполне in cooperation, отхаривают шакалы местного разлива и пьяные легионеры!

Сцена 8. СНОВА ЖИЛИЩЕ

«Тебе нравится Шаганэ? Правда, хороший невеста?»

...Ах да, Египет. Где он, Египет? Господи Боже мой!

«Ну, я пойду».

«Уай?! Куда ты хочешь ходить?!»

«Домой».

«А диннер?! Сейчас будет диннер!! Имей свой диннер, и тогда ты можешь гоу хоум. Но ты можешь и стэй хир. Узиз ми. Уай нот?! Ты хороший, добрый, веселый, и ты бью-у-у-у-тифул!»

«Я пойду».

«Пожалуйста, ноу!»

«Спасибо, йес».

«Пожалуйста!.. Я еще никогда не иметь секс!..»

«Чего-о-о?!»

«Я еще ни разу не иметь секс».

«Тебе сколько лет?»

«Тридцать».

«И у тебя никогда не было герл-френд?»

«Нет».

«Почему?»

«Иджипшен библ очень строго: если ты иметь секс, ее отец тебя убивать. Если секс — он убивать или свадьба».

«А ты не хочешь жениться?»

«Я хочу! Я очень хочу иметь жена! Но мой отец умирать! Мой мать очень бедный! Два маленький брат — бедный. Маленький сестра — бедный. Я очень бедный в Иджипт! Я бежать сюда. Я был счастливый получить работа от родственник. Но май англиш очень плохо...»

«Ит'с о'кей».

«Май англиш очень плохо. Ай эм нот эйбл... Американский герлз дон'т вонт визит ми... Энд уи хэв ноу иджипшен герлз хир... Они жить в Иджипт...»

«Ну а при чем здесь я?»

Тридцатилетний девственник. Уже полнеющий... Лысеющий... Сильно потеющий. С этой странной незащитностью кожи под темной, в завитках, шерстью... Моллюск без раковины...

«А почему бы тебе не съездить в Египет? У тебя что — денег нет?»

«Ай хэв май мани! Ай хэв! Тысяча долларов в месяц! Но я не есть здесь легальный... Мой родственник давать мне работа. Но это блэк джоб. Я не имею американ паспорт, и я не имею грин кард».

«Но ты же получишь когда-нибудь?»

«Ай дон'т ноу. Зато родственник давать мне работа! Он добрый! И он давать мне эта квартира!»

«Сколько ты за нее платишь?»

«Пятьсот».

«Пятьсот?»

«Пятьсот. Но у меня остается еще пятьсот. И я могу делать мани экстр! Я делать! Потому что я люблю работа, люблю библ!..»

«А как ты проводишь обычно уик-энд?»

«Я не иметь уик-энд. Зачем мне уик-энд? Что делать в квартира?»

«Так что же, у тебя и выходного нет?»

«Я могу делать выходной!»

«Когда?»

«Когда ты сказать!»

«Да при чем тут я!.. Сколько ты не был в Египте?»

«Сорри?»

«Я говорю: сколько ты не был в Египте? не видел свою мать?»

«Девять лет».

«И что, совсем нет возможности поехать?»

«Ай дон'т ноу... Это очень, очень диффикэлт...»

«Я пойду».

«Бат...»

«Я пойду...»

«О! О! Тогда возьми э диннер с собой! Ит из реди! Плиз, возьми с собой! Я положу в кастрюльки! О!»

«Знаешь что... Вина бутылочку тоже дай...»

«Бат...»

«Тоже, тоже...»

«Ю дон'т вонт ту дринк уиз ми?...»

«No».

«Хорошо... О! Хорошо...»

«Можно мне позвонить от тебя?»

«Оф корс...»

«Але. Да. Нет. Еду домой. Ничего. Не имеет значения. Нет. Да. Как-нибудь выкручусь. Выкручусь, говорю! Конечно. Я же картинки рисую, мне все-таки легче!.. Чем тем, кто их не рисует. Нет. Я не плачу. Просто устала. О'кей. Все о'кей...»

«Вот кастрюлька! и еще кастрюлька! и еще вот эта йеллоу кастрюлька! Тут патейтоуз энд палчури, тут райс, а тут веджитэблз энд спайси саус!..»

«Поставь как-нибудь все в мешок».

«Оф корс... Кэн ай си ю эназэ дэй? Уил ю кам хир эгейн?»

«Honestly, I am not crazy about coming here. I mean... No offense, but... We can meet somewhere else, some time, why not?»

«Когда? когда? когда?..»

«Some day... А знаешь, ты — второй египтянин, которого я встретила в своей жизни...»

«О найс!.. А кто был зе ферст? Ты его встречать в Нью-Йорк?»

«Нет».

«А где?»

«В Эрмитаже».

«А где это?»

«Далеко... В Африке...»

«А что он там делал?»

«Кто?..»

«Зе ферст иджипшен».

«Он там работал...»

«О найс! Как я? В кафе?»

«Примерно... В основном, в саркофаге лежал... Без единого выходного. Последние пять тысяч лет...»

«Сорри?»

«Он там мумией фараона работал...»

«О найс!..»

Сцена 9. ДОРОГА К ВОКЗАЛУ

Странная они парочка.

Он: в левой руке мешок, из него выпирает кастрюля, что стоит, видимо, на двух нижних. Ее крышка скреплена с упомянутой пирамидой белой, довольно толстой бельевой веревкой. Правой рукой он, с видом хоть временного, а все-таки владельца крупнейшего в мире бриллианта, держит под локоть спутницу.

Она: рука, одолженная в локте спутнику, ближе к кисти по-прежнему живет собственной, то есть отдельной жизнью. В длинных пальцах, чуть на отлете, изящно дымится тонкая, кофейного цвета, сигаретка. На правом плече висит довольно тяжелая — не привыкать — сумка, очень родственная торбе эмигрантов первой волны. Как там? «Сквозь та-та-та та-та денек / У него сундук, у нее мешок. / По паркету парижских луж / Ковыляют жена и муж. / Я за ними долго шагал, / И пришли они на вокзал...» Так, что ли?..

Несуразная парочка. Этим она привлекает внимание двух полицейских. Подозрительно ослепительная спутница для такого малого... Как если бы он ехал себе в «кадиллаке» цвета mauve...

А вот и неправда. Всякий имеет то, что имсет. Ошибок нет. И правильно копы сделали, что прошли мимо...

Ошибок нет... Взгляните, как странно подходит к этой сцене мертвый неон реклам, разнузданный яд их вампирствующих палитр! Как точен и не случаен сейчас этот одноразовый рай витрин, неприступный рай, полный дешевых — всегда, по сути, дешевых и жалких — тряпок... Жизнь как главный предмет затянувшегося торга. Какой абсурд — платить непосильную цену за вещь, которая, в общем-то, не нужна!..

По До-ону гуля-ает, по До-ону гуля-ает,
По До-ону гуля-ает казак мо-ло-до-о-ой!!
О-ой!.. О-о-ой!.. Казак мо-ло-дой...

Голос у художницы не слабый. Да и рот не маленький. А разверзает она его — ух широко! Ну и орет на всю Johnson Street...

А де-ева там пла-ачет, а де-ева там пла-ачет,
А де-ева там пла-ачет над быстрой реко-о-ой!!
О-ой!.. О-о-ой!.. Над быст-рой ре-кой...

А громко еще оттого, что пусто. Она толкает своего спутника в такт каждой строке, а ему, бедолаге, и нравится. Ему, горемыке, похоже, все нравится. Позвякивают кастрюли... Да и ее-то швыряет, как пьяный корабль. Пьяный! ох, если бы!.. Корабль! да уж!.. куда там!..

О че-ом, дева, пла-ачешь, о че-ом, дева, пла-ачешь,
О че-ом, дева, пла-ачешь, о че-ом слезы лье-о-ошь!!
О-ой!.. О-о-ой!.. О чем сле-зы льешь...

Ах, ка-ак мне не пла-акать, ах, ка-ак мне не пла-акать,
Ах, ка-ак мне не пла-акать, слез горьких не ли-ить!!
О-ой!.. О-о-ой!.. Слез горь-ких не лить...

Спутанные ее волосы развеваются по ветру... лезут в рот... Она то и дело резко отбрасывает их рукой... Магазин водных кроватей «ALLURE», пивбар «GRASSHOPPER», бутик «EDWIN & FLOY», бесконечные «HOWARD OLES», «HUMPHREY'S VIEW», «GLORIA!», «BUCKINGHAM'S CLOCK», «GANGES», «ROSAMOND», «SANDY LITTLE», НОЧЬ, АВЕ-НЮ, СТРИТ ЛАЙТ, АПТЕКА...

Цыга-анка гада-ала, цыга-анка гада-ала,
Цыга-анка гада-ала, за ручку брала-а-а!!
О-ой!.. О-о-ой!.. За руч-ку бра-ла...

Не бы-ыть тебе, де-ева, не бы-ыть тебе, де-ева,
Не бы-ыть тебе, де-ва, женой казака-а-а!!
О-ой!.. О-о-ой!.. Же-ной ка-за-ка...

«Ю хэв э найс войс!.. Эта песня по-французски?..»

Сцена 10. ВОКЗАЛ

Ночь. Пригородный поезд.

Ярко освещенный вагон.

Она в вагоне одна.

На полке, над головой, — мешок с кастрюлями.

За окном пустая платформа. Если не считать египтянина. Вдали, за его спиной, видны ярко освещенные внутренности пустого кафе. В ночи горит красная вывеска: «MIRACLE of CAIRO».

Окно вагона полуоткрыто. Сюда, в купе, из тьмы, что по ту сторону стекла, сочится тихий человеческий голос. Шепот, искаженный ночью, мольбой и акцентом... Или это ветер шуршит чем-то, что не имеет воли и

памяти, а только тоску и покорность времени? Можно мне тебя ждать?.. ты позвонишь?.. ты позвонишь мне когда-нибудь?..

«It's getting cold in here. Do you mind if I close the window?»

Она закрывает окно.

Садится.

Затянувшееся ожидание.

Вдруг, вспомнив что-то, открывает сумку. Быстро перебрав бумаги, достает одну из своих картинок.

Открывает окно.

Тьма.

Протягивает туда картинку.

Освободившись, рука заныряет назад.

Растопыривает пальцы. Делает быстро «good-bye».

Захлопывает окно.

Сейчас поезд наконец тронется, и можно будет нажать кнопку «delete». Осталось переждать парочку последних мгновений, самых невыносимых, когда возможности прощальных жестов и мимики исчерпаны до конца.

(Фильм третий в следующем номере.)



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН

*

ПОМНИТЕ, У АБРАМОВА...

...я из Верколы, из села достославного тем, что там в старину был знаменитый Веркольский монастырь. Вот и сейчас я еду туда — на свою Родину.

Ф. Абрамов, из частного письма.

Это почти как наваждение: плывешь по Пинеге час, другой, третий — и вдруг сквозь лесные дебри откроются холмы и угоры с зеленеющей отавой. И на каждом угоре деревенька. Такое впечатление, что поставили ее специально для того, чтобы приветливо встречать всех путников, знаемых и незнаемых. Она словно втянута в движение реки и составляет с ней одно целое. Убери с берега стайки амбаров «на курьих ножках», колодец-журавль или двухэтажную хоромину с затейливой росписью по фронтому — и речной пейзаж омертвеет, а путник невольно очерствеет душой. А тут он увидел дымок над крышей, пылающее за околицей стадо, услышал ребячьи визги, гортанный клик петуха — и словно выпрямился, взбодрился. Остро волнуют звуки и запахи жилья!

Так много лет назад я открывал для себя Верколу, родину Федора Александровича Абрамова. Четыре книги романа «Братья и сестры», повести «Вокруг да около», «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», сборник рассказов-миниатюр «Трава-мурава» и другие произведения мастера были созданы на основе веркольских наблюдений в течение сорока лет жизни...

Обычно я подплывал к селу с верховьев и уже издали как бы принимал парад стариннейших построек. Взявшись за руки, к реке сбегали прясла и изгороди, чем-то напоминающие древнерусский алфавит. Веркола тянулась по высокому правому берегу, выставив впереди себя дозор амбаров и банек. За ними виднелись крыши домов первого порядка, бойкие коньки на стыке стропил и скатов, потом открывались крутые бревенчатые взвозы, поленницы дров и узкие «косячатые» оконца, в которых солнце разжигало малиновый пожар.

Как прогоревшая восковая свеча, стоял на противоположном берегу реки, разрушенный и оплывший, каменный собор Веркольского монастыря, напоминающая о своем былом величии. Белеющий сквозь редкие сосны монастырь был как бы ключом к пониманию Бога и красоты Русского Севера. Мог ли думать деревенский отрок Артемий, именем которого названа обитель, что эти места будут подвергнуты разорению, а имя Божие изгладится из душ людских?

Артемий Веркольский был местночтимый святой, в течение веков он собирал на престольные праздники огромные толпы прихожан из ближних и дальних деревень. Сам Бог прославил его мощи, как говорилось в книге «Жития русских святых», сам отец Иоанн Кронштадтский, уроженец пинежского

Ларин Олег Игоревич родился в 1938 году в Москве. Окончил журфак МГУ. Член Союза писателей. Печатался как очеркист и прозаик в журналах «Знание — сила», «Вокруг света», «Наш современник», «Север», «Новый мир». Автор книг: «В ритме Пинегы» (1975), «Узоры по солнцу» (1976), «Мезенские сюжеты» (1980), «Дорога Ломоносова» (1983), «Поклонись дереву» (1985) и др.

На родине Ф. А. Абрамова Олег Ларин бывал неоднократно, недавно он вновь посетил эти места по заданию редакции «Нового мира».

села Сура, снискавший себе даром прозорливости всероссийское почитание, прикладывался губами к его священной раке.

Можно сказать, все пинежане от мала до велика знали историю Артемия Праведного. И те, кто верил в исцеляющую силу гробницы, и кто относился к этому чуду с кривой ухмылкой, — когда весть о разорении нетленных мощей разнеслась по Пинеге (было это в разгар Гражданской войны на Севере, в декабре 1918-го), люди словно оцепенели, словно им наплевали в душу. Война — дело жестокое, но и у нее есть свои пределы! Пропагандистский трюк с разоблачением «церковных штучек» не приблизил, как рассчитывали местные руководители, а, наоборот, отшатнул от новой власти большое число сочувствующих среди крестьян, вызвал волнения в партизанских отрядах. Вскрытие гробницы было произведено не по чьей-то прихоти, а «по линии Северодвинской губернской ЧК» и с незатейливым идеологическим прикрытием как «желание всех трудовых граждан Пинежского уезда». Предварительно оповестили население Верколы и окрестных деревень, и народу собралось много.

Поначалу в Артемьевскую церковь, где хранилась серебряная рака, заходить боялись, жались вдоль стен, толпились у двух открытых входов, которые охраняли вооруженные часовые. Местная община старообрядцев — более ста человек — и послушники монастыря забыли свои раздоры: получился летучий митинг. Но председатель уездного ЧК товарищ Щеголихин (кстати говоря, бывший приказчик пинежского лесопромышленника Кыркалова, бывший кронштадтский матрос, участник штурма Зимнего, родом из здешних мест) уже засучил рукава и насупил брови, давая понять, что приступает к делу необычайной важности.

Гробницу, обшитую листовым серебром с тончайшими узорами, поставили на середину церкви. Со всех сторон ее обступили крестьяне. Щеголихин снял верхнюю крышку, не спеша заглянул внутрь — все невольно подались к нему. Но там оказалось что-то вроде детского гробика, покрытого сверху клеенкой с изображением Артемия Праведного, а под клеенкой — слезавшийся ком ваты. Когда чекистский начальник разобрал эту вату, обнаружил маленький ящик из досок, окрашенный бордовой краской. Он был перевязан крестнакрест белым шнуром, концы которого скрепляли сургучи с печатями Веркольского монастыря.

Щеголихин помедлил немного, обвел глазами собравшихся, выдержал паузу, чтобы произвести впечатление перед последней операцией, — и резким движением открыл ящик, показал его содержимое толпе. Все отшатнулись: кто-то испуганно и суетливо крестился, кто-то вытянул руки с растопыренными пальцами, чтобы не смотреть, кто-то дурашливо хохотнул¹...

Как потом судачили бабы, в ящике лежали обломки кирпича, горелые гвозди, фунта два пепла с пожарища — и никаких признаков детских костей. Почему нетленные мощи отрока-чудотворца превратились в мусор, не мог объяснить ни один веркольский монах. Хотя, впрочем, никто их тогда не расспрашивал: настоятель Веркольской обители отец Павел с приближенными были взяты под стражу и вместе с содержимым бордового ящика, запечатанного сургучом Пинежского уездного исполкома, отправлены в Котлас, в следственную комиссию при политотделе 6-й армии. Кто из них остался в живых — неизвестно. А на Пинеге еще долго ходили слухи, что подлинная гробница святого Артемия была предусмотрительно спрятана от большевиков служителями Веркольского монастыря. А та, что распотрошил комиссар Щеголихин, якобы являлась подделкой, которую в целях борьбы с религией изготовили сами чекисты. Эту версию подтвердили мне в 80-е годы долгожительницы села Ефимья Федоровна Клевакина и Анна Васильевна Абрамова-первая.

¹ Я читал воспоминания К. Ф. Щеголихина, написанные от руки на семидесяти шести страницах убористым бухгалтерским почерком, и позаимствовал некоторые подробности при описании вскрытия мощей святого Артемия. (Примеч. автора.)

...Веркола вымахала по косогору почти на четыре километра, и избы тесно жались друг к другу. Ощущение тесноты объяснялось еще и тем, что почти нигде не было деревьев. Каждую полосу земли между домами оккупировали грядки с луком, клубникой и картошкой. Каждый дом кричал о своей избранности, исключительности, каждый был наособицу, а все вместе они гляделись как некий град-детинец, будто сошедший с полотна Васнецова или Билибина. Некоторые семьи еще держали узорчатые прялки, короба, веретена, медные братины, а иногда и старопечатные книги в переплетах из телячьей кожи. В одной и той же избе рядом с иконой, выложенной фольгой от шоколада, можно было увидеть телевизор, холодильник, стиральную машину и услышать песню «Роза — цвет алый, виноград зеленый» — песню далеких предков. Здесь под одной крышей жили дед, родившийся при лучине, и внук, который управлял скоростной амфибией с маркой «Ту».

По молодости лет я назвал когда-то Верколу «глухой», «задебряной». И Федор Александрович, прочитав мой опус, сильно разгневался, хотя и попытался упрятать свои чувства в оболочку вопросительного упрека и недоумения. «Ну как же так можно о Верколе?! — спрашивал он в письме. — Да такой красавицы деревни по всей России не сыскать!» И хотя я не принял замечания (на той же Пинеге есть куда более живописные селения), все же пожалел о том, что написал такие слова: «глухая», «задебряная» — для коренного пинеганина, уроженца Верколы, они звучали почти как оскорбление.

Таковыми же по-своему исключительными личностями виделись писателю и его земляки — основательные и медлительные, хваткие, напористые и озорные, иногда угрюмые, колючие, но всегда открытые, блестящие искрометной выдумкой, с лицами, очищенными от повседневной суетности, и зело буйные во хмелю. За долгие века — а деревне не менее пятисот лет от роду — веркольцы собрали обильную жатву пронизательных наблюдений и приемов смеховой игры и вполне заслуженно слывут заядлыми остроумцами. Существует даже легенда, будто свой корень они ведут от веселого племени скоморохов, природных русских сатириков и смехачей, скрывавшихся в северных палестинах от церковного гнева. Что-что, а веркольцы умеют поводить за нос, умеют выставить тебя посмешищем на всеобщее обозрение — сам тому свидетель. (На мой вопрос: «Как жизнь?» — один бойкий старичок выдал без промедления и на полном серьезе: «Жизнь у нас — лучше некуда. Всего до горла! Даже хлеба не едим. Масло сразу на колбасу намазываем».) В этом театре они преуспели изрядно и вряд ли кому уступят в деле зубоскальства. А при случае не пожалеют и себя, лишь бы только покуражиться и завладеть вниманием публики. Будут кряхтеть-терпеть-мучиться, а от привычки все подвергать осмеянию никогда не откажутся.

Есть такая шутка: греческий, мол, язык предназначен для молитвы, французский — для признаний в любви, немецкий — для отдачи воинских команд, итальянский — для пения классических арий. Но вот когда в рейсовом автобусе, который шлепает по сельским ухабам, вам вдруг наступают на большую мозоль...

Что смеетесь?

Так вот, когда в латаной-перелатаной колымаге, по недоразумению называемой автобусом, набитым телами намного плотнее, чем коммунальная квартира послевоенных времен, кого-то бьют локтем в бок или же наступают на большую мозоль, тут даже самый молчаливый пигмей с восточной части водопада Нгорс-Нгоро начнет говорить... по-русски.

Да, ругаться мы мастаки, хлебом не корми. Это еще Гоголь подметил. Одно крепкое, соленое словцо из трех букв в сопровождении энергичных глаголов способно вогнать вас в краску или же вызвать гомерический хохот.

Помнится, во времена оны под эту «музыку» я ехал в Верколу из райцентра Карпогоры. По случаю субботы все ожидали вместительный «ЛиАЗ», а тут вместо него пришлепала к остановке заляпанная едкой грязью какая-то «тру-

повозка». Водитель открыл двери, и те, кто посильней и понахальнее, ринулись занимать места. За какие-нибудь пять минут рейсовая машина была забита под самую завязку. Автобус гудел, ёрничал, огрызался, издевался и орал на все лады и переборы. У каждого нашелся повод кого послать и куда пойти. Признаюсь, я тоже принял в этом участие. В результате получилась причудливая замесь из гнева, боли, юмора, а порой и блатного цинизма — одним словом, то, что лингвисты наших дней называют неформальной лексикой, еще точнее — нецензурной бытовой бранью. (Вспомнилась собственная фраза из книжки «В ритме Пинеги»: «...даже ругательства в устах пинежанина звучат почти как добрые напутствия». И ироническая реакция на нее Федора Александровича: «Нет, нет, просто вас никто как следует не обматюкал».)

Мне, в общем, повезло. Мой рюкзак надежно покоился на чьих-то ногах, одна рука сжимала металлический поручень, а локоть другой защищал спину, потому что сосед с тыла пытался взвалить на нее бензопилу «Дружба» в брезентовом кожухе... А дорога?! Она кидала нас с ухаба на ухаб, проваливалась в воронки с бурой застойной жижей, расплескивалась ручьями. Чтобы удержать равновесие, мы буквально вжимались друг в друга и, слушая красочные матюки, тихо радовались: слава богу, что еще сели!..

Теперь все не так. Дорогу спрямили, укатали, отгладили, автобусы заменили на более современные, чистые и уютные, только вот число пассажиров заметно поубавилось. Причина одна: шестнадцать рублей в один конец, так что особенно не разъездишься. А если учесть, что зарплату и пенсию выдают крайне нерегулярно, к тому же небольшими порциями, то для большинства пинежан поездка в Верколу довольно накладна.

Садясь в полупустой автобус вместе с карпогорскими школьниками, которые ехали на экскурсию в литературно-мемориальный музей Ф. А. Абрамова, я почувствовал, что новая встреча с Верколой не сулит мне ничего особо интересного. Все было слишком пресно, обыденно, все слишком «по-московски». Правда, ребята толкались и бузили — ну, это им по возрасту положено, а взрослые с утрюмой деловитостью обсуждали цены на продукты и какие товары доставили нынче в пинежские магазины. Если бы не старый приятель Анатоха, то и занять себя было бы нечем.

— Ну что... пофантазируем?

Юный пенсионер Минин нетерпеливо ерзал на сиденье, выказывая всем своим видом суворовскую готовность к марш-броску. Только бы не сидеть на месте! Крикун и задира, любит он начальству перо вставить (и не всегда обоснованно), бегун от семьи и работы, с туманными поисками не совсем ясного для него нравственного идеала. Порыв «очертя голову» стоит в иерархии Анатохиных ценностей где-то рядом с геройским поступком.

Выйдя на пенсию, Минин полностью отдался охоте. Да с такой страстью, будто до этого его держали взаперти. Его охотничий путик идет на несколько десятков километров по пинежской тайге, и на всем этом протяжении у него расставлены избушки. Не простые, между прочим, избушки, а им же самим, Анатохой Мининым, срубленные и обставленные с домашним уютом, включая телевизор. («Дичи и зверя в лесу хватает. Но вот что-то ноги загребать стали, придется снегоход „Буран” покупать. А в общем-то грех приbedняться: зимой без мяса не сидим».) Но зимний охотничий сезон у него закончился, а весенний еще не начался — нечем заняться вольному человеку! Обрыдло ему домашнее житье-бытье с бесконечным мытьем посуды, подметанием полов и разглядыванием редких прохожих за окном. Поэтому мое появление на автобусной остановке Минин расценил как возможность встряхнуться, развеяться, повеселить, распотешить душу.

— Предлагаю три сюжета, — с ходу взял он быка за рога. — Избушку на Шарде помните? Мы там с вами уже ночевали, отсюда не больше восьми километров. Встанем на лыжи — и айда. Печку натопим, пофантазируем, а? Там запас дров есть, лежанки с одеялами. Заодно и капканы проверим, у проруби

посидим. Может, на уху что попадет. Пару пузырьков с собой прихватим — вы как?

Предложение, конечно, соблазнительное, но я все же поинтересовался: а второй сюжет?

— Мишу подымать будем, — шепотом сообщил Анатоха и на всякий случай оглянулся. — Спит больно сладко и все чихает и кашляет.

— Кто такой Миша? — не понял я, тоже почему-то переходя на шепот. — Сосед ваш или родственник?

— Медведь, — без тени улыбки сказал охотник. — Залез, понимаешь, в завалящую берлогу, и хоть бы хны. Совсем не боится человека! И где место выбрал для спячки — в километре от дороги! Пыхтит, как пожарник. — Он зашептал мне прямо в ухо: — Я вас вторым номером поставлю и двенадцатый калибр с двумя жаканами выдам, а сам с собаками подымать пойду. Вы как? Будем лечить его от насморка. Бутылочку распечатаем — и с песней!

— Нет, — не согласился я. Охотник умер во мне еще до рождения. — Пускай себе спит!

— Нет так нет, — согласился Минин и уже готов был предложить «третий сюжет», но в это время с бокового сиденья меня окликнула молодая женщина, эдакая богиня плодородия. Во внешности ничего примечательного, кроме габаритов, а голос такой трубный, раскатистый. Как по команде стихла ребячья колготня, все повернулись к нам.

— Вот гляжу... гляжу, лицо ваше больно знакомое. Вы случайно не писатель будете?

— Ну, допустим, — нехотя признался я.

— А я ведь вас помню, честное слово, помню. — Она в сердцах хлопнула себя по коленям. — Фамилию только позабыла, извините. Вы у нас в школе выступали, в Шардомени, в году... дай бог памяти... восемьдесят четвертом. Было такое? Неужели забыли? Я еще вопрос задала: как вы относитесь, товарищ писатель, к войне в Афганистане?

Женщина улыбалась и одновременно удивлялась собственной памяти: надо же, столько лет прошло и была она тогда девяти- или десятиклассницей — а помнит, все помнит. Но я слушал ее и в растерянности разводил руками. Да, действительно, в декабре восемьдесят четвертого я был в Шардомени, выступал в школе и доме культуры, но вот что касается Афганистана — убей бог...

— Ну и что я ответил?

— Ловко вы тогда вывернулись. — Она рассмеялась, эдакая пинежская Марфа-посадница, как бы разрешая и другим пассажирам приобщиться к ее радости. — Я, говорит, отношусь к этому явлению, сказали вы, как в песне поется: «Бери шинель, пошли домой»... Ей-бо... с места не сойти!.. так и сказали. Неужели не помните? Ну и память дырявая! Наш учитель вас тогда на глазок взял и в тетрадку записал... В райком случайно не вызывали? Хвоста вам там не накрутили?..

— Строгий выговор с предупреждением, — профессионально отрапортовал Минин Анатоха, бывший партиец, а ныне фантазер, пострадавший в свое время за браконьерские шалости.

Так, за разговорами — с хохотом и подначками — мы проехали Шардомень, длинную-предлинную Кушкопалу, почти брошенный поселок лесозаготовителей Лосево. Окутанные слоем инея, ели вдоль обочины казались столбами белого дыма, а дым, бивший из печных труб, нехотя подымался в недвижимый воздух, приобретая очертания гигантских елей. Лесная дорога сверкала, как начищенная сковорода, предлагая разгуляться на скорости и открывая сквозь редкие деревья окна чистого неба... Скрипя тормозами и пробуксовывая на поворотах, автобус лавировал среди сутолоки строений, и я не сразу узнал Верколу. Полное безлюдье! Глаза блуждали по кривым проулкам, вдоль сараюшек и завалов бревен, которые облюбовали для лёжки ленивые коты, — и не находили привычных ориентиров прошлого.

Куда меня занесло? И куда подевались угодные моему сердцу дома-крепости, колодцы-журавли? Почти полдеревни заново отстроилось! Хорошо, конечно, что люди думают о своем будущем, о продолжении рода. Но новые дома были сработаны по шаблонным «среднерусским» образцам и все вместе выглядели унылыми близнецами. Чем же так привлек этот стиль «баракко»? Из строений словно вынули душу, они стояли холодными и безгласными, как манекены. И это в краю деревянных коней, где каждый второй был когда-то плотником!

Правда, кой-где шевелился еще народец. Растрепанная особа в красных брюках тянула за рукав своего подгулявшего муженька, а тот упирался, жестикулировал, показывая на открытую дверь напротив, откуда неслись децибелы тяжелого рока, пьяные выкрики, визг и звяканье битой посуды. В общем, не поймешь: то ли лешего хоронят, то ли ведьму замуж выдают...

Слово «дом» Абрамов трактовал с какой-то особой значимостью. «Вы избу от дома отличаете? — спрашивал он у меня в письме. — У нас эти понятия совершенно разные. Если говорят: „У него одна изба“ — значит, последний бобыль и лентяй, даже двор к избе не сумел прирубить». И это действительно так.

На Севере до сих пор бытуют поговорки: «Плотник — первый на селе работник», «Добра голова сто рук кормит», «Кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли», «В своем доме хозяин больше архиерея». И поскольку все зависело от его усилий и стараний: полнота закровов, ухоженность полей и сенокосов, красота построек, веселость праздников, где дела рук, мыслей и сердца сопряжены с окружающей природой, то и Дом свой он сделал сродни этому миру.

Дом по Абрамову — это не только максимум разумного комфорта, тепла, уюта, экономии времени. Не только оазис радости посреди белой, на зиму замершей природы. Дом — это прежде всего то, на чем держится мир, — семейный уклад, вековые фамильные устои, нравственные ценности. То самое духовное молоко Родины, где ты явился на белый свет. Как защита человека после одежды и кожи тела. Такое жилище отвечало потребностям как всей семьи в целом, так и каждого человека в отдельности. И ребенку, и старику, и взрослому — всем находилось свое место и дело, и никто не мешал друг другу. Один плотничал, пахал, охотился; другой прял, ткал, шил, вышивал; третий ухаживал за скотиной, стряпал, стирал, подметал — и при этом каждый при необходимости мог подменить своего сородича. И старый и малый в меру сил, возраста и особенностей характера вносил свою лепту в спайку семьи, участвовал в общем деле домостроительства. В таком Доме рождались песни, сказки, игры. Ну а русская печь-лежанка служила своего рода домашним университетом для подрастающего поколения. Печь — место для озорства, место встречи старого и малого, урок нравственности на всю жизнь. С печи начинался русский фольклор, на печи заучивался русский алфавит... Как это у поэта? «В доме бабушки моей печка русская — медведицей, с ярко-красною душой — помогает людям жить: хлэбы печь, да щи варить, да за печкóй и на печке сказки милые таить».

Зимой все держались тесно и кучно, поближе к теплу, а летом норовили расселиться по многочисленным клетям, светелкам, чуланам, а то и сеновалам. Тот самый биоритм, о котором столько пишут психологи, озабоченные разладом внутрисемейных связей, был заложен много веков назад. И больно становилось писателю, когда он видел разрушение Дома, как близкие ему «братья и сестры» теряли нравственные начала...

«Прошу дать купить мне ботинки так как я не имею кожаной обуви и прошу дать мне мануфактуры на верхнюю рубашку и на брюки. Мое социальное положение маломощный середняк.

Придет весна мне совершенно не в чем идти в школу. Мне в тот раз не дали ничего дак дайте пожалуйста мне кожаную обувь к весне. Нам бы хоть дали 2-м одни ботинки.

Проситель Ф. Абрамов».

Это заявление 7 февраля 1931 года написал «маломощный середняк», когда ему было десять лет. И никаких ботинок, как следует из другого документа, он не получил. Ибо нашлись другие, более удачливые претенденты, принадлежавшие к категории детей партийных «бедняков» и красных партизан. А спустя год его, первого ученика веркольской начальной школы, круглого отличника, не приняли в пятый класс, потому что он являлся сыном... середнячки.

Что представляла собой абрамовская семья? «Когда умер отец, оставил нам коровенку и пол-избы, — говорил писатель, выступая по телевидению. — А к тридцатому году, к моменту вступления в колхоз, мы были одной из самых состоятельных семей в нашей деревне. У нас было две коровы, жеребенок, бык, штук десять овец, и все это сделала, сотворила наша детская колония, наша детская коммуна, и вот все это было поставлено в вину мне. И я, как сын середнячки Степаниды Павловны, не попал в школу. Это была страшная, горькая обида ребенку, для которого учение было — все».

Его сестра, Мария Александровна, на юбилейной встрече одноклассников, собравшихся вместе спустя пятьдесят лет, так вспоминала о своем детстве:

«Нас осталось от отца пятеро, мал мала меньше. Спасибо старшему брату, что не бросил нас, всех поднял на ноги. Некоторые ребята зарабатывают деньги, пьяные идут. Михаил идет, обвешанный сушками, как бусами, а то и конфет несет, отрез на платье купит. Мама скажет:

— Ты, Миша, хоть бы себе покупал.

— Да что ты, мама, их одевать надо!

Особенно заботился Михаил о младшеньком, о Федоре. Никогда пальцем не давал обидеть мальчика, жалел его. И мать жалела. Помню, бабы роптали:

— Хоть бы этот-то помер, куда он без отца.

А мать им:

— Не смейте так говорить! Он не умирать родился, а жить».

Брата Михаила писатель называл братом-отцом: забота о семье, которую он взвалил на себя, сделала его хозяином, главой Дома. И это признавала сама Степанида Павловна, женщина неглупая и властная, хотя и неграмотная, которая с трудом умела ставить печатные буквы. Между прочим, дочь свою Марию она родила недалеко от деревни, когда возвращалась домой с покоса, и принесла новорожденную в берестяной коробке.

Крестьянин жил, чтобы работать; работал, чтобы жить. И эта работа забирала человека целиком, она была многообразная, меняющаяся от времени года и отнюдь не монотонная. Каждый прожитый день был единственным в своем роде, в ходе которого крестьянин творил вместе с природой и находил в этом радость и утешение.

Вспомним Михаила Пряслина, главного героя четырех романов Федора Абрамова. Совестливый сельский паренек, держащий на своих плечах многочисленную семью, — человек долга и редкого самопожертвования. Жизнь испытывала его на разрыв и на сжатие, и он не согнулся, выдержал, став от этого еще сильнее и добрее. Пряслин всюду на первых ролях: стога метать — он, на лесоповал ехать — он, старухе-соседке дров наколоть — он, больного в район везти — тоже он. Война заставляла его от зари до зари надрываться в поле и в лесу, война сделала из него мужчину. Все выращенное зерно колхозники сдавали государству, а сами ели мох пополам с житом, мусёнку-баланду из колосьев, перезимовавших под снегом. Зато исправно платили налоги и подписывались на займы, оставаясь при этом разутыми и раздетыми. Жительница Верколы Александра Максимовна Постникова рассказывала сотрудникам абрамовского музея: «Мужики воевали, а в деревне одни бабы остались. У меня ребят двое маленьких было, Маша да Боря. С ними мама-свекрова сидела. Уедешь в четыре утра сено возить, темно — они еще спят. Приедешь — опять темно, они уже спят. Так и не видели мать целыми неделями... Прихожу раз с телятника, ребята на печи сидят и песни поют. „Чего это вы распелись, — говорю, — ведь не ели еще?“ — „А мы, мама, поём, чтоб про еду не думать“...»

Но вот проходит двадцать лет, и мы видим немного другого Михаила Пряслина. С окружающими резок и груб, о жизни судит круто и практично, объявил состояние войны чуть ли не всей деревне, и «нет у него розовой дымки в глазах, какая была раньше». Муторно, погано у него на душе еще и потому, что «не в ладах, не в согласии» с родными и близкими. И все-таки крепкое, здоровое нутро его нисколько не изменилось. Михаил по-прежнему опора всех сирых и слабых, по-прежнему не шадит себя в работе...

Из всех фамилий, которые встречаются в абрамовских книгах, только одна придумана автором — Пряслины. Все остальные принадлежат Верколе и соседним пинежским деревням — Минины, Житовы, Нетесовы, Стахеевы, Клевакины, Постниковы, Вороницыны, Мёрзлые. (Между прочим, в самой Верколе каждый третий — Абрамов.)

Чем же приглянулось писателю это слово — «прясло»?

Однажды, вспоминал местный журналист-краевед, кто-то из мудрых стариков сказал Абрамову:

— Видишь, стоит в поле одинокое прясло? Стоит в стороне от дороги и никому не мешает. И люди до поры до времени не обращают на него внимания. Но это до поры. А на самом деле прясло, как и вся земля, — основа крестьянской жизни.

Писатель удивился: как это так?

— А очень просто, — пояснил старик. — Еще прадеды говаривали: мать-земля дает людям хлеб, а прясло спасает хлеб от гибели.

И действительно: простое приспособление из продольных жердей на столбах, предназначенное для сушки ячменя, льна, сена, — реалия крестьянского быта, в особенности северного. Короткое лето и частые дожди не позволяли высушить и сохранить зерно — вот почему «прясло» в воображении писателя выросло до уровня символа. Пряслины, по мысли Абрамова, — это соль земли, ее опора и защита. Так появилась эта фамилия, которой он нарек любимых своих героев. В его книгах за каждым героем, каждым персонажем стоит живая натура, живой веркольский прототип. («Так, например, с прототипом главного героя „Братьев и сестер“ Михаила Пряслина я встречаюсь на своем Пинежье каждое лето, — писал Абрамов в „Литературной газете“. — И не только встречаюсь, но и беседую с ним».) И когда в 1971 году я впервые приехал в Верколу, то принялся жадно разыскивать этих прототипов.

Прежде всего меня интересовал Мишка Пряслин. Кто скрылся под этим именем? Каково же было мое удивление, когда все, к кому я ни обращался, указывали на известного в селе тракториста Абрамова Михаила Ивановича, отца пятерых детей.

Я, конечно, понимал, что писатель никакой не фотограф. От реально существующего человека он берет общую канву биографии, какую-либо поразившую его черточку характера, без которой образ теряет жизненную остроту. И все же желание увидеть человека, в котором все веркольцы признали Мишку Пряслина, было огромно. Его образ получился настолько объемным, что Пряслина узнавала и признавала как своего не только читающая Россия, но и Германия, Франция.

Дверь мне открыл синеглазый мужик с могучим разворотом плеч и чугунными, как лопата, ладонями. При рукопожатии он оцарапал мою ладонь мозолями. Михаил Иванович торопился на работу, поэтому наш разговор вышел на скорую руку.

— Что рассказывать-то? — сказал он с виноватой улыбкой. — Там все написано...

С «прототипом» согласился сразу и безоговорочно: «Мишка Пряслин — это я и есть». Вкратце сообщил, что родился в 1928 году, в четырнадцать лет потерял отца, погибшего в окружении, и остался, по сути дела, единственным кормильцем в семье.

— За всех робил. Шестеро нас было у матки — четыре мальчика и две девки. Лес корчевал, сенá ставил, пахал, молотил, в кузнице горн раздувал. Все было!

А кормились мы невесело: четыреста граммов хлеба на нашу семью выдавали — больно не разгуляешься. Бывало, придешь домой усталый — и в баню. Баня вместо лекарства была — от комарья, от мороза, от хворостей. И душе отрада!

С момента той встречи, в июне 1971 года, много воды утекло. На этот раз Михаил Иванович Абрамов никуда не спешил: почти пятнадцать лет как на пенсии! И если раньше мне приходилось буквально клещами тащить из него слова, то теперь наша беседа покатила как по маслу. С возрастом стал он лиричнее и мудрее. За это время не раз перечитал сочинения своего земляка-однофамильца.

— Ноги от одного берет, а голову — от другого, — сказал Михаил Иванович, отвечая на вопрос, насколько портрет литературного героя совпадает с его собственным. — Вообще, я вам скажу, Федор Александрович хитрющий мужик был. Он с меня, как с народа, списывал, а я об этом и не догадывался. Окольными путями к душе подбирался. Но по сорок второму году, когда Федора, раненного, привезли с фронта, я его почти не помню. Ходил он тогда с палочкой, со стариками и старухами разговаривал. Со мной, говорят, тоже беседы водил, когда я из лесу приезжал, а вот в памяти ничего не осталось. Почему? Видать, все мозги в работу ушли... Вообще, я вам скажу, отучили людей работать. Все хотят хорошо жить и хорошо получать, но никто не хочет хорошо работать. Кого-нибудь из нынешних «лохмачей» спроси: что за зверь такой — хорошая работа? Не знают...

Какие-то неуловимые черты, неуловимая человеческая живинка, интонация речи внушали мне рискованную мысль: да это же Мишка Пряслин! Только у этого Мишки уже поседели виски, наметилась сократовская плешь, а у пятерых его детей завелись собственные дети. Между прочим, из 76 веркольцев, награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», Михаил Иванович — самый молодой.

— В сорок втором пришлось мне бросить школу и идти в колхоз. Сразу отправили в лес на заготовки. Жили в фанерных бараках, спали на нарах. Подъем в пять утра, проспал — пойдешь под суд. Так ведь не просыпали! Встанешь, а руки-ноги не шевелятся. И ватник мокрый, за ночь не успевал просохнуть. Робишь, робишь — и конца работы не видно. Требовалось вручную нарубить от пяти до восьми кубометров да на сани погрузить. Это для дюжего мужика непосильная норма, а я пацан. Иной раз думал: хоть бы заболеть, что ли, — домой бы отпустили. Дак ведь не болели тогда люди. Все болезни после войны пошли...

Я напомнил Михаилу Ивановичу запись из дневника писателя, относящуюся непосредственно к нему. Вечером 15 июля 1979 года они случайно встретились на улице и разговорились. Федор Александрович спросил:

«— Почему твой сын не стал управляющим в Верколе?»

— Жить хочу.

— Не понимаю.

— А кому бы пришлось разоряться (мучиться, переживать. — *О. Л.*), если бы сын стал управляющим? Мне.

— Почему тебе?

— А как? Я бы ведь по каждому случаю закипал. Такой бардак в совхозе — разве бы я стерпел?

— Вот и хорошо.

— Нет, пускай другие. А мне еще пожить хочется. А с этим управляющим я живо откину копыта».

Михаил Иванович ответил не сразу: видимо, этим напоминанием я наступил на его большую мозоль. Он вздохнул:

— Эх, Федор Александрович... Все мы хороши — профукали Верколу, проморгали, проболтали. Любят у нас на Руси языком кружева плести. Вот и дожили до ручки... А нынче-то что? Нынче мы уж старые стали...

Сколько раз Абрамов объяснялся в любви к Верколе! «Не знаю, как перелетные птицы, а я уже с января начинаю томиться по Северу, и моя родная деревня день ото дня все обольстительнее представляется мне...»; «Летели в тучах, в облаках, потом самолет нырнул вниз, и вдруг открылась Пинега: яркая-яркая зелень лугов, далекие, серебряные деревеньки... Сердце запело от радости: родина-мать!..»; «Вся человеческая история — только миг в жизни Вселенной. Но как хорош этот миг! Воздух, тишина, красота... Веркола моя ненаглядная».

Но эта Веркола могла обернуться и злой, мстительной мачехой, когда писатель шел против шерсти. Из года в год в его записной книжке накапливались такие строки: «Второй день под угором бродят по посевам лошади с жеребятками. Все это видят из деревни, проходят мимо — и ноль внимания. Не свое...»; «Куда мы идем? Полна деревня народу, и полно пьяных (второй день свадьбы), а на лугу никого...»; «Часов в одиннадцать зашел в клуб. Шпана пьяная, матерщина. Все пьяные от мала до велика...»; «Не пойму, что такое нынешний человек в Верколе? Рабочий? Нет. Мужик? Нет. Какая-то неопределенность...»; «Первый час дня, солнышко шпарит... самая-распросамая страда... но никто ничего не делает...»; «Бардак в Верколе неопишувемый... но ведь и веркольцы сами виноваты... Дайте, помогите, организуйте. А сами в это время пьянствовать и зубоскалить...»; «Самое страшное в том, что Веркола не исключение. Веркола — Россия... Вся Россия такая, как Веркола. И еще хуже...»

Есть писатели, для которых малая родина является чем-то вроде санатория, где они поправляют свое профессиональное здоровье. Гуляют по лесам и лугам, встречаются с земляками, пьют парное молоко и, обогащенные впечатлениями, уезжают в свои столичные квартиры, чтобы засесть за новый роман... У него было все не так, как у «нормальных» писателей. Он не искал себе легкой жизни процветающего «писменника». Живя в Ленинграде, сердцем болел за Верколу и с наступлением тепла ждал первой возможности, чтобы улететь на родное гнездовье. А оказавшись на месте, снова не находил покоя — ругался с односельчанами и совхозным начальством, выступал на собраниях, с бригадами косцов отправлялся на дальний покос, присутствовал на утренних разводах, помогал материально родным и близким.

— Он как заводной бегал, Федор-то Александрович, — рассказывала мне Ефимья Федоровна Клевакина, его соседка, ныне уже покойная, которая помнила Абрамова годовалым ребенком. — Иной отпускник еще глаза не продрал, а этот уже в бегах, ему все надо чё-то. Летал, как рябок. Он ведь про нашу жизнь не все знал, чуть что запоминавал — сразу к нам, старухам. Что с нас брал, а что из головы придумывал: голова-то ему не зря была привешена... Он и сейчас ко мне приходит, живой. «Ну что, — говорит, — тетка Офимья, как жисть?» Я и жалуюсь ему, и плачуся: «Совсем старая стала, Федор. На печку уж не могу взобраться, сухая я пакля!» А он, Федорушко, все утешает меня, да наставляет, да лекарства новые божится достать и всякие слова говорит... Проснешься, бывает, а подушка вся мокрая от слез...

В 1963 году в журнале «Нева» у Абрамова вышла повесть «Вокруг да около». По сути дела, это документальный очерк о Верколе, только родная деревня в нем названа Богаткой и изменены подлинные фамилии односельчан. Вскоре в областной газете появилось открытое письмо (21 подпись), которое редакция сопроводила издевательским заголовком «К чему зовешь нас, земляк?». Как легко догадаться, авторами коллективного послания были сами веркольцы — тогдашний председатель колхоза, кузнец, плотник («первый топор Верколы»), тракторист («лучший пахарь Верколы»), учитель, доярки, секретарь сельсовета. Были бы какие-нибудь райкомовские подпевалы, слизняки-угольники — еще можно понять. А то ведь, в общем-то, порядочные, достойные люди! С некоторыми из них писателя связывали общность взглядов, узы родства. Кое-кто из них своей яркой непримиримостью к существующим порядкам впледел свои голоса в канву произведения — и вдруг такой предатель-

ский удар ниже пояса. Было от чего растеряться! Федор Александрович хотел помочь Верколе, поддержать ее нравственный дух, а в ответ получил оплеуху.

К чему же призывал «земляк»? Чтобы каждый деревенский житель научился по-хозяйски мыслить, почувствовал бы себя суверенной личностью. Чтобы разорвал порочный круг из инструкций и директив, спускаемых сверху и превращающих работника в тупого бессловесного исполнителя. Чтобы люди получали наконец полноценную зарплату за свои труды... Сейчас эти призывы потеряли свою остроту и злободневность, а тогда «Вокруг да около» прозвучало открытым вызовом партноменклатуре или, как выразились авторы письма, «издевательством, глумлением над совестью, над чувствами советских людей». Писателя упрекали в том, что он, дескать, договорился до того, что «старик с большими ногами, перестав работать в колхозе, за полтора года и дом перекрыл, и баню с погребом построил, и изгородь сделал. И живет старик со старухой в полном достатке».

Более того, у этого «старика без пенсии» все было подчинено рынку, он торговал на лесопунктах и выручал хорошие деньги. С чего бы это, спрашивается? А очень просто: лук и адов труд. «Вместо маленькой грядки с луком, какие водятся при каждом доме, тут была целая луковая плантация. И уж лук так лук — не чета колхозному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы до того крепкие да ядреные — будто репа...» В большом старике из повести с первых же строк угадывался коренной верколец Никита Матвеевич Минин, по прозвищу Луковник, мужик отнюдь не старый и не жадный, отличавшийся прямоотой и откровенностью. Не стал человек ждать милостей от родного государства и взял дело обеспечения семьи в свои руки — получилось совсем неплохо. Мог бы запросто расширить луковую плантацию, да колхозное начальство давило на него слоновьей тушей: «Не смей! Антигосударственная практика! Долой частнособственнический эгоизм!»

«Дорогой земляк! — продолжали авторы письма. — Советуем Вам глубже вникнуть в экономику, а не делать выводы из слов отсталых людей, стяжателей... Из советских людей Вам, конечно, никто не поверит. Но недруги наши, враги социалистического строя, постараются выдать это за истину...»

Самое неожиданное: приехав в Верколу, Абрамов убедился, что повесть его никто не читал. Журнал, где она была напечатана, сельская библиотека не выписывает, а единственный экземпляр, который приходит на Пинежье, затерялся где-то в райкомовских кабинетах. В сущности, он никого уже не интересовал, этот журнал, потому что кампания «по разоблачению» прошла и о ней успели позабыть. Выходит, люди попались на удочку партийных функционеров, позволили использовать себя в роли цепных псов? Эх, если бы все было так просто! Природа человека раскрывается в единстве далеко расходящихся черт и поступков, и покрыть их общим знаменателем невозможно. Жизнь деревенская — как река, у которой кроме твердынь-берегов есть свои боковые русла, прижимы, перекаты, свои завихрения и подводные течения, несущие не только родниковые воды, но и мутную взвесь, кору, пену. Жизнь деревенская с ее недо молвками и сплетнями, с ее светотенями и полутонами намного сложнее, чем самый запутанный социально-психологический роман.

Кое-кто из подписавшихся, встречая писателя на улице, стыдливо опускал глаза. Кое-кто отводил его в сторону и каялся: «Грех попутал, Федя, прости! Не держи камня за пазухой!» И рассказывали примерно следующее: приехал товарищ из райцентра, эдакий златоуст-чревоушатель, собрал актив, накидал слов-удавок типа «смакование недостатков», «очернительство», «буржуазный выпад с целью опорочить колхозный строй» и предложил подписаться под уже готовым текстом. Ему сказали: «Дайте прочитать абрамовскую повесть, тогда и разговор будет!» Но товарищ мастерски разыграл возмущение: «Выходит, вы мне не верите? Партии не верите?!» Говорил складно, вдохновенно, и люди поверили ему — подписались... Некоторые до сих пор считают, что поступили

правильно, готовы в глотку вцепиться, лишь бы восстановили их «любимый колхоз», и Абрамова клянут по-черному — но таких все-таки меньшинство.

Со многими «подписантами» Федор Александрович продолжал поддерживать хорошие отношения и не пытался ущемить их больную совесть. Но спрашивал со всех по высшему счету — за разгильдяйство, равнодушие, оголтелое пьянство, за гибель отчих полей и лугов, за то, что разучились работать до седьмого пота. Он всегда чувствовал себя кровной частью своей малой родины и потому имел право на суд, ибо хлеб насущный и хлеб духовный никогда позорнь не существуют.

«Чувствуете ли вы ответственность за запущенное хозяйство? — спрашивал он односельчан в письме, опубликованном в августе 1979 года. — Всегда ли оправдываете трудом высокую зарплату, льготы северянам? Не превращаетесь ли — вольно или невольно — в нахлебников у государства?.. Людей мало? 117 числится в Веркольском отделении — куда же больше? А на сенокос сколько вышло? 41 человек, чуть больше одной трети. Да и эти 41 работают ли с полной отдачей?.. А почему телята ежегодно гибнут в Верколе?.. И от чего? От истощения. Среди лета, когда трава кругом. И что же? Забили веркольцы тревогу? Меры неотложные приняли? Нет... Так в чем же дело, дорогие земляки?.. Не обмелела ли река народной совести, народной нравственности?»

Мучительной борьбой с самим собой далось ему это письмо. Правильно ли он сделал, добровольно вступив в конфликт с Верколой? Не отвернутся ли от него земляки? Может быть, кому-то снова захочется заварить идеологическую кашу?.. Но нет: веркольцы поняли его как надо, всем опротивела безалаберщина, пьянство, бардак. «Значит, не умерла еще Веркола, — с радостью записал он в дневнике. — Есть, есть еще люди, которые хотят добра и справедливости... А я-то маловвер, я-то как трясса! Слава богу, не сработала на сей раз теория черного варианта. Радует нравственный максимализм земляков: слабовато написал, Александрович, надо бы покруче. А то до ручки дошли. Похвала земляком дала мне крылья. Летаю, а не по земле хожу...»

Но недолго музыка играла. Поохав и повозмушавшись, что «так жить нельзя» и «надо что-то делать», Веркола снова улеглась в спячку, вернулась к прежнему своему состоянию.

«Все мы, русские, любим по краям да по пропастям блуждать», — в сердцах бросил три с половиной века назад Юрий Крижанич, один из первых отечественных мыслителей, кстати говоря, хорват по национальности. Что это, особенность нашего характера, так сказать, «пейзаж русской души»? Есть ли специфические черты, присущие только нам, русским?

Английский писатель и дипломат Морис Беринг попытался вывести образную формулу нашего национального типа. Это важное для нас свидетельство, взгляд человека со стороны — то, чего мы, русские, часто не замечаем в себе, находясь в стихии родного языка, быта, традиций, привычек.

Беринг — переводчик русской поэзии, автор книг «Русский народ» и «Главные истоки России» (по-моему, они до сих пор не переведены на русский язык). До самой смерти в 1945 году он оставался горячим другом нашей страны. Так вот, писал Беринг, если в каждом британце есть сочетание характеров короля Генриха VIII, писателя Джона Мильтона и диккенсовского мистера Пиквика, то в русском человеке разлиты черты Петра Великого, князя Мышкина и Хлестакова (я бы добавил сюда еще и Обломова).

Этому подбору исторических и литературных персонажей можно верить, потому что человеческие типы не вымирают, а только видоизменяются. Подобранный подбор фигур сложился у Беринга не из книг философов или бесед в светских гостиных, а из бессмертной чичиковской брички, летящей по российским просторам, где все разом бросается в глаза — богатство и нищета, широта души, крепость духа и мелочная скардность, святая кротость и бытовая жуликоватость... Короче говоря, человеческий ландшафт, воспетый Гоголем, не прошел мимо очей наблюдательного британца.

Так что же он увидел в русском человеке? Прежде всего «природное изящество, обаятельность, гостеприимство, мягкость, женственность, ловкость, любовь к пассивным удовольствиям (пьянство, что ли? — *О. Л.*), доброжелательность, жалость к страдающим, щедрость и широту натуры». (Как тут не вспомнить Достоевского: «Широк человек... я бы сузил».) И вместе с тем, отмечал Беринг, этому народу свойственны «скачки от энергии к бездеятельности, от оптимизма к пессимизму, от бунта к подчинению».

Есть такое мнение, что в формировании русского характера немалую роль сыграла... география. «Русское историческое движение — это движение в самую невыгодную сторону, а именно: с юго-запада на северо-восток, от лиственного леса — к елкам, кочкам и тундре, от моря к болоту, — считает Виктор Ерофеев. — Только принуждение может заставить двигаться в столь невыгодном направлении». Именно в «принуждении» видит он причины того, что впоследствии легло в основу русского национального характера.

За недостатком места не стану полемизировать с амбициозным автором, оставляю этот тезис на его совести, но вот что касается географии... Непроезжие дороги, непролазные болота, глухие леса, дикий зверь и не менее «дикие» мороз и комар были тем природным антуражем, на фоне которого веками протекала жизнь русского человека. Северного человека в особенности. В местных православных молитвенниках постоянно встречаются имена потопших, древом убиенных, зверем растерзанных, демоном уведенных. Кто видел искусственные поля и луга — островки посреди тайги, тот поймет силу и упорство крестьянина-новосела. За куцый отрезок лета и части осени он должен был сделать все хозяйственные дела и обеспечить свое будущее. Труд, рассчитанный на год, иногда удавалось выполнить за месяц. А затем наступала пора затяжной зимней спячки. Происходил «резко континентальный» переход от непосильного труда к вынужденному безделью. В условиях крайностей и выковывался характер: в основе его лежала идея рывка, порыва, аврала, импульсивности, стремления к недостижимому. Не отсюда ли пошли гулять характерные выражения «авось», «пан или пропал», «после нас хоть потоп»? Не поэтому ли получили права гражданства такие сугубо «ненашенские» словечки, как «бардак» и «кавардак»?

Слово «штурмовщина» тоже не русского происхождения, но к русскому национальному типу имеет такое же отношение, как «долой» и «да здравствует». Наш человек то безрассудно рвется вперед, то предается праздным мечтаньям, подобно Емеле-дурачку, удобно устроившись на теплой лежанке. Он может неумно пить и объедаться или вовсе ничего не есть, может спать двадцать четыре часа или не ложиться по нескольку суток, может пахать, рубить, колоть, ворочать тяжеленные бревна, неделями плутать по обманным мхам — или бесстыдно сачковать, почитая похмелье воздаянием за грехи. Наш человек может равнодушно взирать на голодающего соседа — и с оголтелой настырностью рваться в Сербию, чтобы помочь воюющему «брату по крови». При таком характере трудно стать хорошим бухгалтером, но зато можно перекрыть все мыслимые и немыслимые рекорды, посадить яблони на Марсе, вырастить горох величиной с арбуз или же переплыть Берингов пролив при температуре плюс три градуса. Рекорды Гиннеса — это по нашей части.

Русского человека, особенно крестьянина, не так-то просто сдвинуть с места, его непробиваемость и консерватизм к разного рода новациям замечательно выразили наши писатели-классики. Но уж коли его удалось чем-то увлечь, в чем-то переубедить, он доходит во всем — в добре и зле, в мудрости и дурости — до крайних пределов. В коллективизацию народ загоняли не только кнутом и лживыми посулами; очень многие шли сами, без принуждения — с задорной песней под разливы гармошки. Как, например, опьяненные духом ревпереустройства бедняки-веркольцы, основавшие на территории Артемьевского монастыря сельскохозяйственную коммуну под названием «Спартак». Работали коммунары ни шатко ни валко, с кочки на кочку, больше ругались и

митинговали. Проели продуктовые запасы, оставшиеся от монахов, — и разбежались...

Русский характер формировался в остром переплетении противоположностей. Смирение перед суровой природой — с одной стороны, и безудержное стремление победить ее во что бы то ни стало — с другой. Постоянное недо-вольство собой и своим окружением. Щедрость души, искренняя доброта — и завистливое подглядывание за соседом, представителем другой националь-ности, который живет если и не богаче, то, во всяком случае, как-то иначе. «Эту почтительность к чему-то лучшему, чем у нас, я часто встречал в нашем наро-де, — признавался Пришвин. (Между прочим, Михаил Михайлович проплы-вал мимо Верколы в 1935 году и останавливался в бывшем монастыре, на про-тивоположном берегу Пинеге.) — Мне тоже с детства все кажется, что у не наших людей все как-то лучше, и я до сих пор не могу решить, хорошее ли это народное качество или основной национальный порок».

Западный европеец не строит себе воздушных замков, шаг за шагом он идет от одной цели к другой, у него все выверено, рассчитано и подсчитано. Наш человек часто не знает, чего он хочет. Его земные цели расплывчаты и недосягаемы. Одной ногой он отталкивается от привычной почвы, а другую пытается приставить к своему идеалу, по всей вероятности выдуманному, к которому так стремится его беспокойная, ищущая душа. И бывает, что чело-век, потеряв жизненную опору, испытав глубокое разочарование, сходит с ди-станции, утрачивая все основы личной этики. Душа его покрывается нрав-ственной коростой.

Года три назад внешне невозмутимая Веркола была поднята на ноги сооб-щением о том, что приехавшая в село съемочная группа фильма «В той стра-не» производит набор «артистов». И стар и млад потянулся на пробы к Лидии Бобровой, режиссеру-постановщику, демонстрируя чудеса перевоплощения. Правда, некоторым даже лицедействовать не пришлось — настолько персона-жи сценария (по рассказам Бориса Екимова) и веркольские гулевые людишки оказались похожими, ну просто один к одному. Удивительное дело, сидел ав-тор у себя на родине, в Калаче-на-Дону, писал о тех, кто его окружает, кто душу свою утопил на дне граненого стакана, а вышло, что и северное житье-бытье ему знакомо от «а» и до «я». Екимов никогда не был в Верколе, никог-да не видел Сашку Стахеева, но, думаю, что и он, как и режиссер Боброва, отдал бы предпочтение этому тридцативосьмилетнему баламуту-алконавту, возмутителю веркольского спокойствия, несмотря на то, что первоначально на роль Зайки был утвержден очень сильный актер Иван Бортник.

Известно по статистике, что Россия выпивает в год примерно 4 миллиар-да литров водки, не считая вин, ликеров и напитков домашнего приготовления. 4 миллиарда литров — это одна бутылка в неделю на каждого россияни-на, включая грудных младенцев, престарелых пенсионеров, воинственных трезвенников и задумчивых язвенников. Но, естественно, главная нагрузка в этой статистике падает не на нас, грешных, а на людей, подобных Зайке, то бишь Сашке Стахееву, рыжему вертопраху с артистическими способностями, встреча с которым, как мне говорили, кроме дыры в кармане, ничего не сулит веркольскому обывателю. Человек, с которым он имеет дело, всегда будет оду-рачен. Умеет Сашка-Зайка поводить за нос, подержать масть и, завладев дове-рием, вроде бы играючи, выудить из тебя на бутылку, а то и на две. «Кучеря-во заделал?» — спросит он при этом у своих корешей, спившихся донельзя монстров неопределенного возраста, которым можно дать и сорок, и все шестьдесят, — и гордо выпатит грудь. Расступись, русские идут! Шумел ка-мыш, деревья гнулись... бездельник, кто с нами не пьет! И укает их злодей-ка-дурнина без наклейки в сиську, в сосиску, в дупелину, в дым, в зелень и пороссячий визг... Дальше (по сценарию) — могила на сельском кладбище. И пьяная улыбистая харя на фотографии, пришипленной к деревянному обелис-ку, — другой просто не нашлось.

Фильм «В той стране» прошел у нас почти незамеченным. А вот в Европе, в США, Австралии и Новой Зеландии вызвал настоящий шок и замешательство, отхватил даже «Гран-при» какого-то крупного кинофестиваля. Зрители двадцати восьми стран бурно переживали судьбы героев северной деревни и наверняка хватались за голову: столько пить, не брезгуя одеколонами, лосьонами и прочими «горюче-смазочными материалами», и оставаться при этом мировой супердержавой — это, простите, нонсенс! «Старики живут, а молодые спешат без очереди на тот свет», — говорит в фильме Николай Скуридин, которого играет Дмитрий Михайлович Клопов, веркольский художник-самоучка, в прошлом конюх, животновод, истопник и подсобный рабочий. Один чувствительный бизнесмен из слаборазвитой страны прислал на Север чек на солидную сумму для борьбы с зеленым змием.

Ну а Веркола продолжала жить, как и раньше жила, нисколько не изменилась: пили, пьем и дальше пить будем. (Помните, у Абрамова? «Веркола — Россия... Вся Россия такая, как Веркола. И еще хуже...»)

Победитель Ивана Бортника, лауреат Международного конкурса «за роль второго плана» по-прежнему бегал по деревне в поисках дурного занятия, сшибая рубли и пятерки на опохмелку. Слава «звезды мирового экрана» прибавила ему гонора и изобретательности по части развязывания чужих кошельков. Никто не отнял у Сашки Стахеева этого дара — заставить наивных, простодушных людей лунами вращаться вокруг себя. Отсюда состояние, близкое к творческому запалу, когда слова не задерживаясь слетают с кончика языка, обнажая в человеке природные качества смехача и своего в доску парня... «Веркола дала миру трех великих людей, — балаболит он как-то у магазина в кругу „восторженных“ („Восторг“ — это двадцатисемиградусная и сравнительно недорогая настойка) почитателей. — Первый — Федор Александрович. Второй — Константин Иванович². — Он выдерживал артистическую паузу, как бы подталкивая слушателей к вопросу: ну а третий кто? — Как кто? — Сашка опрокидывал стакан и говорил застенчиво, тихим шепотом: — Я, конечно! Кто еще?»

В таком же восторженно-поддатом состоянии явился он на премьеру фильма в веркольский дом культуры: видеоролик о пресс-конференции с участием Лидии Бобровой, Дмитрия Клопова и Александра Стахеева снял сотрудник литературно-мемориального музея Алексей Алин, и я видел рыжего «Зайку» в отглаженном костюме и при галстукке. Стоял наш герой на сцене, раскачиваясь с носка на пятку, строил уморительные рожи, подмигивая своим дружкам из зала, пытался ораторствовать, зубоскалить, но ему не дали особенно разгуляться...

Мой товарищ, корреспондент газеты «Правда Севера» Сергей Доморошенов, встретил Стахеева на автобусной остановке. Командировка Сергею удалась на все сто, но вот соленых грибов, о которых просила жена, купить так и не пришлось. Старухи наотрез отказали: как бы самим на зиму хватило. И тут из-за угла выскочил известный лицедей, совершавший дежурный «пробег» по Верколе. «Стахеев просветил меня: о грибочках, мол, нужно было спрашивать у таких, как он, мягко говоря, любителей сообразить на троих. Они бы живо принесли сколько надо и любого засола. Так что, милый друг, садись в автобус належке». И по инерции стрельнул червонец «до зарплаты».

У Сергея Доморошенова осталось о нем неплохое, в общем, впечатление: не злой мужик, весь нараспашку, едва ли не самый заядлый из сельских книголюбцев. Но вот произошел какой-то медленный, неотвратимый распад сознания, и жизнь его пошла наперекосяк. Скиталец, бегун, бич по призванию, он словно договорился жить по завету: если нельзя устранить неудачу, нужно извлечь из нее пользу. И Сашка извлекал ее с дружками в ничегонеделании: си-

² К. И. Вороницын — изобретатель бензопилы «Дружба», дважды лауреат Государственной премии СССР. (Примеч. автора.)

дели они в тапочках на босу ногу в невытой комнате, смолили «Приму», подсчитывали медные гроши и беззлобно переругивались, чья очередь бежать в магазин. «Александр умеет работать, — писал в своей газете Доморощенов, — но ему хорошо и без работы. И без личного хозяйства со скотиной. Живет на те деньги, что получает жена — техничка детского сада. Пока высоколобые люди бьются над загадкой русской души, Сашку мучает неразрешимый вопрос — помочь жене наколоть дров для детсада или ну их на фиг?»

И вот злосчастный исход. Почти как по фильму. Выскочил Стахеев за очередной бутылкой — и всё, с концами. «В той ли стране» стал искать он счастье свое забубенное? Замерз ли где, или утонул в Пинеге, или напоролся на нож какого-нибудь залетного злодея-рецидивиста? Никто ничего не знает, даже жена. С тех пор прошло больше года. Веркола умеет хранить тайны...

Глава сельской администрации Евгений Иванович Минин (в произведениях Абрамова по крайней мере трое персонажей носят эту фамилию) встретил меня на правах старого знакомого. Семнадцать лет назад, когда он принимал бразды правления, это был худощавый, застенчивый юноша, который еще не знал, как держать себя с представителем прессы. А теперь, как водится, вошел в тело, приосанился, приборахлился, в глазах появился стальной начальственный блеск.

— Как жизнь, Евгений Иванович?

— Жисть — только держись! — излюбленной пинежской присказкой ответил Минин.

Интересная особенность: если раньше, встречая столичных журналистов, местное начальство пускало пыль в глаза, живописуя собственные достижения, то теперь пламенный мажор сменило на унылый минор. У него, начальства, есть, конечно, резоны быть недовольным президентом, правительством, Госдумой. Но большинство никак не хочет признать, что оно тоже виновато в том, что люди дошли до ручки.

Вот и Минин не пожалел мрачных красок, описывая мне веркольскую действительность: по два-три месяца, а то и полгода не выплачивают рабочим зарплату в здешнем АО, которое пришло на смену совхозу. Не завозят сюда, как прежде, солому с солнечной Кубани («В край-то бескрайних трав!» — восклицал с издевкой Федор Александрович) — слишком стало накладно. Миллионные дотации из полноводной реки превратились в жиденский ручеек: сейчас нужно рассчитывать только на себя, а потому загатавливать побольше своего сена, чтобы не дохла на ферме скотина, как в абрамовские времена. Сколько она нынче дает молока? Стыдно вымолвить: и полторы тысячи не наберется на голову! (В 1978 году, по данным Веркольского отделения совхоза «Быстровский», надаивали 2254 кг.) В то время как в Финляндии не держат корову, если она приносит молока меньше пяти тысяч килограммов в год. Частники это хорошо понимают, оттого и скотина у них ухожена, играет всеми статьями, любо-дорого посмотреть. Люди понемногу тянутся из АО на самостоятельное хозяйствование. За последние годы увеличилось поголовье скота в личных приусадебных владениях — сказалось обвальное повышение цен на продукты питания. Кто побогаче, попредприимчивей, с большой охотой покупает коров, телят, овец, кур, поросят. В Верколе редкий дом без живности!..

Плохо только, что появились безработные, и довольно много, — с сонными, неодушевленными лицами шастают они из конца в конец, как Сашка Стахеев, или сидят у проруби в надежде на удачную поклевку. Когда-то они рубили, калечили лес, а в результате искалечили себе душу. Мускулы разучились работать, мозг — мыслить, глаза — воспринимать радость жизни. Одним словом, отбывают ее как тяжелое наказание, находясь во власти только своих чувств и инстинктов.

— У кого денег много, тот и живет до горла, — уныло констатировал Евгений Иванович, — а в основном народ из кулька в рогожку перебивается.

Правда, тут же поправился: в Верколе по-прежнему проживает около пятисот человек, и в течение ряда лет эта цифра не убывает. Дорогу объезжую построили, чтобы тяжелые грузовики не месили грязь на главной, имени Федора Абрамова, улице. Пятый год как на Пинеге прекратили молевой сплав древесины, и теперь есть надежда, что народ свежей рыбкой побалуется. («Считайте, полвека жили мы под молевым игом. Вот бы наш писатель порадовался! Он себе все зубы съел на этом бревноходе и начальству архангельскому тоже плешку проел».)

— А школу новую видели? Да такую красавицу и Москве не стыдно показать!

Вспомнилось: пять лет назад на этом месте я видел кирпичный фундамент и грешным делом подумал, что он так и останется фундаментом. «Долгострой» сейчас в моде — стоят по всей России годами, десятилетиями, и никто почему-то не чешется. То, что в веркольской школе-девятилетке вот уже третий год идут занятия, — огромная заслуга директора Веры Васильевны Степановой и ее мужа Александра Борисовича, преподавателя труда и физкультуры. Сколько сил и нервов стоило им поднять эдакую махину, знают только они. Единственное, что смущает: девятый класс в этом году закончат двадцать примерно учеников, а в первый придет только... четыре.

— Ну а фермеры у вас есть? — поинтересовался я.

Евгений Иванович поморщился как от зубной боли:

— Деловая мысль бьется. Как рыба об лед... Вы что, Верколы не знаете? Народ наш всегда долго раскачивается. К тому же налоги вам известно какие! Как ни кумекай, как ни планируй, и так, и эдак, никогда не угадаешь, что придумают в Москве, какие тарифы введут, какие проценты затребуют, сколько нервов выкачают. Н-е-е-т, — протянул глава администрации, — не до жиру нам нынче. Быть бы финансово живу!..

А я подумал о том, что живи сейчас Никита Матвеевич Минин по прозвищу Луковник, один из прототипов повести «Вокруг да около», — быть бы ему первым фермером на деревне. Уж если тогда, в людоедски коллективистские времена, он сумел стать суверенным хозяином в Верколе, то что ему нынешняя власть. Кипели бы, конечно, страсти нешуточные, накручивались бы всякие амбиции, людские зависти, бюрократические проволочки, высекались бы искры от сшибки характеров. Настродался бы Луковник и от нынешней аграрной политики с ее метаниями, от зыбкой законодательной базы, но, уверен, нашел бы свои спасительные ходы. Жил Никита Матвеевич исключительно работой, и потому, что работал как оглашенный, жил всем. А теперь его дом под угором (улица Федора Абрамова, 1) стоит с заколоченными окнами, и только пожилая дочь приезжает сюда в мае, чтобы посадить грядку лука и полосу картошки.

...Узкая, слегка припорошенная снегом тропинка змеилась по скату угора, обходя амбары, баньки и сосновую рожицу, которую местные выпивохи облюбовали для своих ристалищ. Сзади и спереди меня сопровождали сбежавшиеся со всей округи псы — помесь северной лайки и дворняжки, совсем не злые, не оручие и не кусачие, а, наоборот, готовые при случае показать, где их хозяева прячут заначку от жены. Тропка иногда исчезала из виду, спускалась под откос, снова карабкалась вверх. И оживали детали, события, люди из абрамовских романов, повестей, рассказов — все выросло из здешних корней. Здесь же, на высоком угоре, он и похоронен, среди тишины и осиянного простора. Рядом с любимой лиственницей, огромным царственным деревом, которое ведет свою родословную из дальних веков русской истории.

Быть может, он где-то сродни этой одинокой, растрепанной лютыми ветрами лиственнице, схватившейся корнями за родную почву. Между прочим, почва здесь самая что ни есть тощая и скудная — песок и камень с примесью подзола, и так бывает везде, где растет это дерево. Именно на скудных почвах светолюбивая «листва» благодаря своим корням обретает такую силу, что стоит выше всех и живет дольше всех. Я подумал о том, что и проза Абрамова чем-то

похожа на эту махину с тяжелым комлем: в жизни своей ему приходилось работать над трудным материалом, мало кому поддающимся, а корни свои пускать так же глубоко, как и одинокая листовница с веркольского угора.

А там, внизу... «Там, внизу, за огородами — голубые разливы лугов с чернеющими шапками зародов, за лугами серебрится Пинега, а за рекой, на другом берегу, высоко-высоко на красной щелье громоздятся белые развалины монастыря».

Картина, которая открылась передо мной, почти совпадала с текстом из «Братьев и сестер». Правда, монастырь, хранитель трех столетий, заметно помолодел, каменная громада церкви Успения Богородицы обзавелась свежим куполом; отныне в обители служат настоятель отец Варнава и десятка два молодых послушников.

Опыт кризиса показал удивительную устойчивость и фантастическую непотопляемость дружного монашеского коллектива. Ни о каких дотациях и льготных кредитах здесь и речи нет — просто послушники обрабатывают землю, доят своих буренок, производят свечи. По примеру отшельников прошлых веков решили круглогодично ловить рыбу в районе Уро. Так называется безлюдная лесная деревенька-невеличка, спрятавшаяся за десятками километров непроходимых болот. Связь с ней возможна только два месяца в году, когда стоит высокая вода в капризном притоке Юле. В 70-х годах там еще жили люди, сеяли рожь, ячмень, овес, лен, сажали картошку и капусту, много скота содержали. Ничего привозного не было, но всего хватало. Рядом находилось богатое озеро Красный Окунь, на берегу которого когда-то стоял скит...

Веркольские монахи никогда не видели писателя Федора Абрамова, да и не был он истовым верующим. Но проповеди их удивительным образом сходятся: главный свой Дом человек строит не на земле, а в душе. И никакими социальными потрясениями невозможно обновить жизнь. Только «каждодневное самоочищение, самопроверка своих деяний и желаний высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести».

Северная Русь, река Пинега... Отсюда вышел последний русский святой — Иоанн Кронштадтский. Последняя русская сказительница — Марья Кривополенова... И Федор Александрович. Он знал, где родиться. Земля и воздух были уже подготовлены для его появления на свет. В этом месяце ему исполнилось бы восемьдесят.



СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



ГОРИЗОНТ СЕМЬИ

О некоторых константах традиционного русского сознания

Прежде всего — несколько слов к пониманию заглавия. Под «традиционным» русским сознанием я понимаю те составляющие этого сознания, которые достаточно отчетливо присутствуют в представимых для нас аспектах последних допетровских столетий и в жизни наиболее консервативных кругов дореволюционного времени. Его константы будут рассматриваться *sub specie* бытия семьи.

Должен сказать, что я — решительный противник всех попыток, все равно, русофильских или русофобских, красить всю историю России в один цвет, скажем, редуцировать все русское к какой-нибудь русской сказке, предпочтительно об Иванушке-дурачке. В мои молодые годы я читал Карла-Густава Юнга и даже написал о нем статью, специально обруганную в одной советской газете блюстителем идеологии; так вот, с тех пор я запомнил, что всякий, кто — со ссылками на Юнга или без таких ссылок — желает исходить из концепции коллективного бессознательного и архетипов такового, обязан иметь в виду юнговские предупреждения насчет амбивалентности всякого архетипа, оборачивающегося в конкретных реализациях своими противоположными сторонами. Архетипическое само по себе — не содержательная характеристика явлений, а только их отвлеченно-формальное структурирование. У нас в России, в стране, где особая роль по части нигилизма и атеизма исторически принадлежала сыновьям священников, *поповичам*, удерживавшим наряду с длинными волосами и бородой некоторые другие парадигматические черты поведения и «дискурса», характерного для сословия их предков, — ограниченность архетипических идентификаций особенно очевидна. Эти идентификации, сами по себе необходимые, не дают никаких оснований для идентификаций самих явлений по формуле «это и есть то, а = б»; нет, феномен Чернышевского не «равен» явлению православия его отца, незаурядного саратовского проповедника о. Гавриила Чернышевского, не выводим из него; а более сложный феномен Владимира Соловьева, отнюдь не только в своем весьма «семиотичном» длинноволосом и длиннобородом облике парадоксально соединившего черты православной и интеллигентской парадигмы, в свою очередь не может быть выводим ни из одного, ни из другого. Завышенная оценка значения констант, столь характерная и для интерпретаторов русской истории типа Пайпса, и порой для их патриотических российских оппонентов, есть гносеологическая ошибка. Русская жизнь, как всякая иная, подвержена глубинным изменениям, вносящим скрытое несходство даже в то, что внешне сходно. А потому, приступая к рассмотрению констант русского сознания, я не хотел бы внушать ни себе самому, ни другим преувеличенного представления об их роли.

Некоторые важные составляющие культуры западного Средневековья в русской культуре допетровских времен полностью или почти полностью отсут-

ствовали. К ним относится, в частности, традиция куртуазной любви, так называемая *Nohe Minne*, обусловившая также определенные черты западной религиозности, которые были воспеты нашим Пушкиным в балладе про *Бедного Рыцаря*, но остались еще более чужды набожности русского народа, чем кодекс рыцарства — его быту. Для русского народа Богородица не может быть предметом даже самой одухотворенной и аскетически очищенной влюбленности, она — Матерь, и только Матерь (характерно, что Ее наиболее нормальное обозначение в русском узусе — не «Дева Мария», но именно «Богородица»). Русское присловье утверждает, что у каждого из нас — три матери, и первая из них — Богородица, вторая — мать сыра земля, третья — *та, что муки приняла*. Но не только человеческое материнство — даже и материнство животных, столь привычное и столь жизненно важное для крестьянского народа, причастно с точки зрения русского фольклора пренепорочному материнству Богородицы. Русский духовный стих утверждает: «Аще Пресвятая Богородица / Помощи своей не подаст, / Не может ничто на земле в живе родиться, / И ни скот, и ни птица, / Ни человеком бысть».

Наши впечатления о присутствии этого материнского начала в истории русской святости определяются обстоятельствами, которых нельзя не назвать весьма контрастными. С одной стороны, среди канонизированных святых Русской Церкви женщин поразительно мало; с другой стороны, как раз материнская и милосердная женская святость в миру являлась темой очень ярких и необычных текстов житийной литературы, занимающих весьма почетные места в истории древнерусской словесности. Это прежде всего принадлежащее XVI веку житие свв. Петра и Февронии, обильное фольклорными мотивами полусказочного характера. Князь Петр, представленный как драконоубийца, женится на деве Февронии, простой крестьянке, сумевшей не только исцелить его от тяжкого недуга, причиненного ядовитой драконьей кровью, но и преодолеть своей чистотой, но также умом и властной силой воли, сословные препятствия к их браку; оба они кончают свой век в монашеском чине, однако ее роль воплощенного идеала любви оказывается в некотором смысле важнее иноческой парадигмы. В конце мы читаем: «...Егда же приспе благочестное их преставление, умолиша Бога, да во един час будет преставление их. И совет сотворише, да будут положены оба во едину могилу». Те, кто предадут их погребению, считают, что монаха и монахиню нельзя погребать вместе; но чудо, повторяющееся три раза, заставляет исполнить собственную волю покойных. Св. Феврония — это образ женственной любви, которая благодатна и потому выше закона.

Напротив, св. Юлиания Лазаревская († 1604) — персонаж очень реальный, не имеющий никаких сказочных черт; ее житие написано ее сыном, муромским боярином Каллистратом Осорьбиным, и походит по тону на мемуары. Как св. Елисавета Венгерская на Западе, св. Юлиания — мужняя жена и мать своих детей, распространяющая свое материнское чувство на всех нуждающихся; как и ее западной сестре, ей приходится проявлять для этого немалую бытовую хитрость.

«Егда же приходаше зима, взимаше у детей своих сребреники, чим устроить теплую одежду, и то раздая нищим, сама же без теплой одежды в зиму хождаше, в сапоги же босыма ногама обувашеся...»

«Почитание св. Юлиании растет в наше время в связи с литературным распространением ее жития, популяризированного многими русскими писателями. Юлиания Лазаревская — святая преимущественно православной интеллигенции» (Г. П. Федотов). Необходимо отдавать себе отчет в том, что св. Феврония и св. Юлиания доселе очень мало известны массе русского православного народа. Но их образы весьма симпатичны.

Когда Максим Горький в статье протобольшевистского направления 1910-х годов, озаглавленной «Две души», рассуждал о «двух душах», живущих в русском человеке, причем все его похвалы доставались на долю души активной и волевой до жесткости и даже до жестокости, а все порицания — на долю души

«женственной», созерцательной и недопустимо жалостливой, Мережковский не без остроумия обратил внимание на то, что сам же Горький в только что появившейся тогда автобиографической повести «Детство» представил читателям своего деда, несомненное воплощение первой «души», как чудище, а свою бабушку, воплотившую вторую «душу», как единственную утешительницу для него самого и вообще для всех вокруг нее. Мы читаем в статье Мережковского «Не святая Русь» (1916) очень эмоциональную характеристику Бабушки из горьковского «Детства»: «Бабушка вся, до последней морщинки, — лицо живое, реальное; но это — не только реальное лицо, а также символ, и, может быть, во всей русской литературе <...> нет символа более вещего, образа более синтетического, соединяющего».

Этот спор Мережковского с Горьким, в котором главным доводом служит символическая фигура бабушки, чрезвычайно характерен для русской литературы — и русской жизни. Бабушка есть *par excellence* та, которая «жалеет». Она в каком-то смысле еще больше мать, чем мать, потому что она более надежно удалена от мира страстей и вообще интересов, с чистотой жалости несовместимых: она уже по ту сторону. Порочная, извращенная форма материнской привязанности может стать предметом сатирического изображения, как Простакова в комедии Фонвизина «Недоросль», но бабушке такая участь не угрожает.

То, что символист Мережковский говорит в связи с Горьким о Бабушке как *вещем* и *синтетическом* символе, символе *соединяющем*, не удивляет. Но задолго до этого символическую роль бабушке своей героини дает такой прямо-таки до сухости трезвый реалист, как Гончаров. Его «Обрыв» кончается следующими словами о переживаниях Райского в Италии: «За ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая „бабушка“ — Россия».

Советское дитя, воспитанное в атеизме, однако получившее от бабушки — непременно от бабушки! — тайное крещение и первые впечатления религиозного характера, есть один из постоянных мотивов и «общих мест» советской жизни. Эта новая роль бабушки находится в полном согласии с ее вековой ролью.

Некоторый субститут бабушки — няня; слово, ее обозначающее, в форме диминутива («нянюшка», как и старинное «мамушка») представляет собой ритмический дублет слова «бабушка».

И кто же из нас не помнит, как Пушкин создавал поэтический миф о нянюшке Арине Родионовне как воплощении своей Музы?

Этому женственному — богородичному, материнскому и бабушкиному — миру милосердия противостоит традиция, выразившаяся, например, в знаменитом «Домострое». Примечателен не жанр этого памятника, имеющий в европейской культуре бесчисленные параллели от «Οικονομικόν» Ксенофона до «Il cortegiano» Кастильоне и «El heroe» Грасиана. Примечательна не сама по себе репрессивная установка при рекомендациях главам семей: физическая расправа мужа над женой оставалась возможной и на Западе в самый расцвет культуры Ноhe Minne, а телесные наказания для несовершеннолетних, и в семье, и в школе, оставались вполне обычными вплоть до совсем уж недавних времен. Конечно, неторопливая обстоятельность, с которой «Домострой» обсуждает практические детали этого занятия, — «соимя рубашка, плеткою вежливенько побить, за руки держа», — действует на наши нервы; но он и предназначен не для современного читателя. Значительно специфичнее и принципиальнее другие обстоятельства. «Домострой» написан от начала до конца как подобие монашеских уставов и наставлений монахам; иначе говоря, он не допускает какого-либо содержательного различия в призвании и форме жизни между монахом и семейным человеком, за единственным исключением в том, что для второго в контексте этого монашеского в своих общих чертах образа жизни допускается брачное сожитие и деторождение. (Кстати, это свойство «Домостроя» заставляет несколько по-иному увидеть и тему телесного наказания; таковые предполагаются и западными монашескими уставами,

современными «Домострою», о практике *disciplina* заходит речь, например, и у Тересы Авильской.)

Вообще перспектива «Домостроя» отличается последовательным монизмом и не допускает никаких онтологических дистанций — например, между монашеским и мирским образом жизни, но также между духовным и материальным уровнями бытия вообще. «В дому своем всякому христианину во всякой храмине святых и честных образы, написаны на иконах по существу, ставити на стенах, устроив благолепно место, со всяким украшением и со светилники <...> а всегда чистым крыльцем обметати и мягкой губою вытирати их, и храм тот всегда чист имети; а к святым образом касатися достойным, в чисте совести <...> и во всяком славословии Божии всегда почитати их со слезами, и с рыданием, и сокрушенным сердцем исповедася, просяще отпущения грехом». Весь этот текст, приводимый нами с сокращениями, представляет собой одну единственную длинную фразу, в синтаксических рамках которой чистота совести и опрятность, достигаемая «чистым крыльцем» и «мягкой губою» — словно бы одно и то же, а молитва о прощении грехов не просто совершается пред иконами, а обращается к иконам («почитати их со слезами» — словно бы слезы были обращены к самому вещественному составу иконы). На это можно было бы возразить, что «Домострой» — все же не богословский трактат, а практические рекомендации хозяину; но в том-то и дело, что такие жанровые разграничения самой сути «Домостроя» молчаливо отклоняются, и это гораздо поразительнее, чем его «репрессивная» брутальность. Мы только что отметили, что на Западе куртуазный культ Дамы отнюдь не исключал для феодала возможности по-хозяйски расправиться со своей женой; что ж, это были разные стороны жизни, разные ее измерения, грани, парадигматические «порядки» (*ordines*), сосуществующие друг с другом. Но зато «Домострой» решительно исключает возможность для жизни, как он ее рисует, иметь еще и другие, не упоминаемые им измерения и грани. То, что мы назвали онтологическим монизмом, конкретизируется в единообразии социальной перспективы; так, в отличие от аналогичных по жанру западных текстов, «Домострой» не предполагает даже сословно лимитированного адресата, он обращается не к члену сословия, а к любому «хозяину», имеющему свое хозяйство и свой дом, от царя до состоятельного крестьянина включительно, и предлагает им одну программу и парадигму поведения, единообразную бытовую культуру. И хозяйство, как оно здесь понято, требует всего человека без остатка: «Домострой» характерным образом предполагает, что и на досуге, в гостях, не должно быть других разговоров, по крайней мере для женщины, как все на те же хозяйственные темы о том, «как порядню (хозяйство. — С. А.) ведут, и как дом строят, и как дети и служок учат». Напоминаю, что самое заглавие «Домострой», словообразовательная калька греческого *Οικονομικός*, выражает ориентацию на хозяйство и жесткую, непоблажливую хозяйственность как высшую ценность и меру всех вещей. Кто остается вне парадигмы, кроме социально несвободного человека, холопа или нищего? Монаху, разумеется, не подойдут в буквальном смысле рекомендации «Домостроя» насчет супружеской жизни, — но победа «иосифлянского» направления над «нестяжательским» в русском монашестве, совсем накануне составления «Домостроя», способствовала тому, чтобы и монашество приняло хозяйственно-домостроевские черты.

Вообще говоря, можно поспорить, где больше авторитаризма, принимаемого за само собой разумеющуюся норму: в старой европейской или в старой русской традиции. Но русской традиции оставалось чуждым одно очень характерное явление западной старины: авторитарный *плюрализм*, как он выразился хотя бы в многообразии «орденов» католического монашества, но прежде всего в сословной организации общества; напомним, что «сословия» и «ордена» обозначаются по-латыни одним и тем же *плюрализмом «ordines»*. Когда Святейшая Инквизиция, приведенная в XVI веке в весьма нервное состояние успехами Реформации, потребовала ответа у великого Тинторетто относительно игр, которые он позволял себе с сакральными сюжетами, художник отнюдь не стал говорить, скажем, о свободе индивидуального творчества, но и не выказал ни-

какой готовности признать себя виновным, — он сослался на прецеденты, оправдывающие внутри его *ordo*, его художнического сословия и цеха его поведение. Инквизиция, в общем, отступила. Совершенно очевидно, насколько западная модель авторитарного плюрализма благоприятствовала семье — еще одному *ordo*: если уже существует уверенная, сама собой разумеющаяся привычка к размежеванию областей действия даже самых жестких авторитетов, самых непреложных обязательств — ибо каждый человек есть подданный своего государя, сын своей Церкви, член своей гильдии и т. п. и т. д., — то очевидна реальность такого *ordo sui generis*, как семья, авторитарная, но внутри себя обладающая определенным суверенитетом, корректируемая другими авторитетами, но и в свою очередь их корректирующая. Напротив, в русских обстоятельствах границы между юрисдикционными сферами различных авторитетов и ценностей, если не предотвращающие возможность коллизий и конфликтов, то хотя бы вводящие их в определенные русла, значительно менее отчетливы. Слишком часто возникающая в русской истории готовность масс отказываться от свободы обусловлена, как кажется, дискомфортом из-за наличия напыляющих друг на друга и стремящихся отменить друг друга кодов поведения, отношения между которыми не структурированы или недостаточно структурированы и каждый из которых притязает на то, чтобы быть единственным. Достаточно вспомнить петровские реформы, разделившие русское общество на два микросоциума — бородатых и бритых: над крестьянами, купцами и в особенности духовенством, над русскими, остававшимися в мире «Домостроя», сохранял свою власть старомосковский церковный запрет брить бороду, но ведь и дворянам, напротив, было велено — не разрешено, а именно безоговорочно приказано царским указом — быть бритыми, и это был анти-Домострой (как известно, еще первые славянофилы через полтора века после петровских запретов имели небольшие проблемы с местной властью по поводу своего решения носить бороды, — другое дело, что тут уже времена менялись быстро).

Дворянское восприятие семьи, как оно выразилось в таких литературных памятниках, как «Детские годы Багрова-внука», трилогия раннего Льва Толстого и множестве менее знаменитых, представляет важный для истории русской культуры феномен, становление которого происходило в отталкивании, не всегда последовательном, но всеобщем, от домостроевской нормы. Усадебно-семейная атмосфера прошлого столетия явилась одним из важнейших культурных факторов. Когда мы присматриваемся к упомянутым литературным и мемуарным свидетельствам, мы замечаем, что особенностью начальных впечатлений дворянина была некоторая релятивизация роли родителей. В плане эмпирическом дворянское дитя было в значительной мере поглощено общением с нянюшкой, с домашними учителями, со слугами, а также — при дворянском культе рода — с дядьями, тетками, кузенами, кузинами и прочими родичами; в плане аксиологическом чувство достоинства рода релятивизировало вопрос о личном достоинстве родителей. Ситуация, когда неудачливый, скомпрометировавший себя отец попросту вытесняется из дела воспитания подрастающего ребенка, хорошо известна хотя бы на примере Лермонтова (оплакавшего это в стихотворении, начинающемся выразительными словами: «Ужасная судьба отца и сына...»).

Разночинское восприятие семьи резко отлично от дворянского. Для него все заострено на вопросе о том, достаточно ли порядочные люди — родители. При всех негативных аспектах восприятия Мандельштамом в «Шуме времени» своего отца, ясно, что личность отца для него важнее, чем для дворянских авторов их родители.

Советский период был в целом весьма разрушительным для реальности семьи. Сравнительно не так важен контраст между раннебольшевистской игрой в «раскрепощение» и сталинской игрой в восстановление идеала «крепкой» семьи. Разумеется, та и другая игра имела место; нельзя согласиться с лауреатом Пулитцеровской премии американским журналистом Гедриком Смитом, автором известной книги «The Russians» (1976), когда он, не совсем поняв жанровую принадлежность цитируемого им ленинского высказывания, находит всю

атмосферу 20-х годов «викторианской», — ему никто не рассказывал об акциях «Долой стыд» и тому подобном. По-видимому, тоталитаризму свойственно это движение от заигрывания с отменой табу к их ужесточению: можно сравнить путь, пройденный национал-социализмом от мечтаний о «мужских союзах» и однополый любви героических спартанцев, — мечтаний, чуть-чуть осязаемых еще у Альфреда Розенберга и, кажется, довольно важных для повседневности SA — к репрессиям против гомосексуалистов. Но важно, что смысл той и другой тактики — один и тот же: стремление тоталитаризма вытеснить все человеческие отношения и подменить их собой. И ранний советский строй, и ранний национал-социализм имели явные черты «молодежной культуры», и при всем различии между Wandervogel¹, когда-то распущенной гитлеровцами, и SA, люди искали в них удовлетворения той же потребности в утопии.

Я процитирую того же Гедрика Смита, приводящего слова некоей писательницы: «Советские женщины вовлечены в производство и исторгнуты из воспроизводства».

Не надо забывать то, что часто забывается: целый ряд бытовых навыков, впоследствии энергично усвоенных советским официозом, на какое-то, порой непродолжительное, время подпадал осуждению новой идеологии. Прежде, чем легитимировать столь важное для семьи торжество вокруг елки на грани двух годов, прежде, чем ввести новогоднюю — разумеется, не рождественскую — елку даже в Кремле, «новый быт» прошел через осуждение елки вообще как «мещанства». Этот символ суверенности семьи был в 20-е годы таким же подозрительным, как, скажем, «Gaudeamus», символ университетской суверенности². Потом все это «возрождалось» сверху. Но вопрос несводим к эксцессам раннебольшевистского экспериментаторства, как и к контрастам между ним и сталинистским реставраторством. Между «левацкими» эксцессами и приходящими затем реставрациями есть не только контраст, но и содержательная связь в процессе отмены суверенитета семьи. Елка перестает быть чем-то, что сохраняется в семье без оглядки на внешние семье инстанции: ее отбирают и затем даруют сверху; без отобрания невозможно было бы дарование. Все, что просто так, само собой, не спрашивая идеологии, существует в семье, есть «мещанство». Споры о границах «мещанства», столь заметные в советских песенках предвоенной поры, — мещанство ли резеда, галстук и т. п. — важны, в конце концов, не тем, в какую сторону они решаются, а тем, что любое решение отменяет суверенитет жизненной данности. Семья, члены которой могут при случае жаловаться друг на друга в партком, — уже не совсем семья, это нечто иное. Как говорилось в одном шуточном стихотворении позднесоветской поры: «...Живет, мол, гражданин такой, / Что не живет с своей женой, / А жить ему или не жить, / Должна общественность решить. / Нам убеждения велят / Повсюду вывесить плакат, / Плакат с протянутой рукой: / „А ты живешь с своей женой?“»

Тем важнее становилась в эти годы семья для тех, кому она служила заградительной стеной против жизни, «как у всех». Но об этом я не могу говорить в тоне объективированного анализа, а только в тоне личного признания, не совсем подходящего для этого доклада.

Настоящий день, не говоря уже о будущем, выходит за пределы моей темы и требует таких основательных и сбалансированных размышлений, которые никоим образом не смогли бы даже вкратце уложиться в рамки некоего пристроенного к целому эпилога.

¹ «Перелетная Птица» — немецкая молодежная организация начала века, культивировавшая практику пеших туристских походов (и, кажется, многого в этом отношении достигшая); господствовавшим настроением была постромантическая утопия, отчасти напоминавшая раннего Гессе.

² О таком отношении к старой латинской песне я был слышан от моей матери, окончившей гимназию в самом 1917 году, так что ее студенческая пора пришлась на первую половину 20-х годов.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

АННА АНДРЕЕВНА И АННА АРКАДЬЕВНА

Анна Андреевна любила Анну Аркадьевну и не любила Льва Николаевича. Лидии Чуковской она, например, говорила: «Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так!»

Лидия Корнеевна и не спорит. «Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка... А в общем, не любит она, видно, Толстого».

Итак, Чуковская называет Ахматову женофилкой: в 1939 году слово «феминистка» еще не было в ходу — и почти не ошибается.

Впрочем, ее собеседница умела быть беспощадной к женщинам (и великодушной к ним) ничуть не меньше, чем к мужчинам: «Я научила женщин говорить... / Но, боже, кто их замолчать заставит!»

Но причина негодования Ахматовой, ее претензии к Толстому объясняются другим. Ахматова узнавала в Анне Карениной себя, идентифицировала себя с нею!

«И Левин увидел еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость... Лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело». Кажется, что это сказано про Ахматову. Такой, окаменевшей, многие ее запомнили; такой она и сама видела себя не раз, и не только в страшные годы террора, в ответ на «каменное слово» превращаясь в соляной столп, но уже и в юности, где-нибудь в безмятежном 1911 году: «Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморною стану».

Отождествить себя с Анной Карениной, примерить к себе ее душу и облик ей помогал не только общее с героиней имя, не только совпадение инициалов А. А.: Анна Андреевна, Анна Аркадьевна (возможно, и псевдоним Ахматова выбран был юной Анной Горенко из неосознанной оглядки на Каренину — ведь таким образом гласных «а» в ее имени, отчестве и фамилии стало еще больше), не только внешность (черные волосы), но и «ум», и «грация», и «красота», и «правдивость».

О том, какое значение в XX веке поэты придают своему имени и что они способны расслышать в нем, хорошо известно. Цветаева, например, узнавала себя в Марине Мнишек. Имя Валерий подталкивало Брюсова к Риму и латинским ассоциациям. Понятно, как много значили для Маяковского не только его фамилия, но и имя и отчество, при этом важны были как этимологический смысл, так, по-видимому, и аналогия с дублирующими друг друга именем и отчеством у Блока: Александр Александрович. Интересно, что бы он делал и как справился с какой-нибудь простой фамилией на -ов или «черто-

Кушнер Александр Семенович — поэт, эссеист, филолог. Родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Автор многих поэтических книг, из которых наиболее полное на сегодня собрание стихотворений — «Избранное» (СПб., 1997). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995). Живет в Петербурге. Постоянно публикует в «Новом мире» стихи и прозу. Эссеистика Кушнера представлена в книгах «Аполлон в снегу» (1992) и «Тысячелистник» (1998).

вой», как у Мандельштама. Впрочем, и для Мандельштама его имя, например, отзывалось в словах «осы» и «земная ось». Много значил для Мандельштама и «Иосиф, проданный в Египет». Тот же мотив отразился в поэтических темах, ассоциациях и строительстве биографии у Бродского. Отождествляя себя с Анной Карениной, Ахматова и не могла простить «мусорному старику» того, что он бросил Анну под поезд. Именно с этим она и не могла смириться.

«А как сам он гнусно относится к Анне! — говорила Ахматова Чуковской. — Сначала он просто в нее влюблен, любит ее, черными завитками на затылке... А потом начинает ненавидеть — даже над мертвым ее телом издается... Помните: „бесстыдно растянутое“...»

Счеты Ахматовой с Толстым личные, почти интимные: так не говорят о вымышленном персонаже — так говорят о себе. Можно подумать, что Толстой не имеет прав на свою героиню, что Анна Каренина — не его создание, а живой человек. «Гнусно относится», «просто в нее влюблен», — с какой запальчивостью это сказано; чувствуется кровная обида.

Есть в книге страницы, где Ахматова, кажется, могла бы заменить Анну Каренину, — и такая подстановка не удивила бы нас. Вот Левин в седьмой части романа попадает в дом к Вронскому и с восхищением рассматривает, не может отвести глаз от портрета Анны.

«„Я очень рада“, — услышал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину с портрета в темном, разноцветно-синем платье...»

Эта сцена должна была нравиться Ахматовой. «Я очень рада», — произвести впечатление, взволновать человека самыми простыми словами она тоже умела как никто другой. Так сказать и так посмотреть: «Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете».

Вспоминается великое множество ахматовских портретов, знаменитая ее иконография. Каренину тоже писали и дилетант Вронский, и настоящий художник Михайлов.

Роман Толстого, по-видимому, был одним из самых сильных впечатлений и переживаний юной Ахматовой. О влиянии на поэзию Ахматовой психологической прозы писали подробно и много, но было бы интересно взглянуть не только на ее стихи, но и на биографию, весь облик, манеру речи, жесты — в связи с толстовским романом, его героиней, — здесь, думается, исследователя ждут сюрпризы и открытия.

Упомяну лишь «энергическую маленькую руку» Анны Карениной, походившей «на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений», на «точеной крепкой шее нитка жемчугу», и то, как она на балу «выступала из своего туалета», не лилового, в котором почему-то предполагала ее увидеть Кити, а черного, черного! («Это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная»); и то, как она «стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и... говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову»...

А еще до бала, в доме Облонских, Кити «чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических».

А теперь вспомним один характерный эпизод из записок Ахматовой о Блоке 1965 года. «В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд... Где-то, у какой-то пустой платформы паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: „Александр Александрович!“ Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: „С кем вы едете?“ Я успеваю ответить: „Одна“. Поезд трогается».

Ну чем не сцена из романа?

«Сегодня, через 51 год, — продолжает она, — открываю „Записную книжку“ Блока и под 9 июля 1914 года читаю: „Мы с мамой ездили осматривать

санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде»».

Ахматовой явно дорог этот «бес». Уж не тот ли самый, что дразнил Вронского и Анну Каренину в метельную ночь в Бологом?

И не кажется случайным, что рассказу о встрече на железной дороге в 1914 году предшествует в предыдущем абзаце как будто никак не связанная с этим эпизодом фраза: «В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что Блок одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой”».

Вот так проговариваются, так выдают сокровенные мысли и мотивы. Подсознание выносит на поверхность и диктует автору воспоминаний то, о чем он сам, возможно, и не догадывается.

Кто знает, может быть, и Гумилев, жизнь и развод с ним представляли иногда для Ахматовой в аспекте отношений Анны с Карениным?

«„Теперь я читаю *Duk de Lille*, „*Poesie des enfers*”, — отвечал он. — Очень замечательная книга”. Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета». Каренин считает своим долгом все читать, в том числе книгу вымышленного Толстым, возможно по аналогии с Леконтом де Лилем, Дюка де Лиля «Поэзия ада»: «...в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения». Гумилев, прекрасный знаток и переводчик французской поэзии, в том числе Леконта де Лиля, разумеется, никакой ответственности за Каренина не несет и отношения к нему не имеет. Но музыка, «понимания которой он был совершенно лишен» (вспомним упреки Блока акмеизму), но «самые определенные и твердые мнения»... И эта отмечаемая многими мемуаристами странная, едва ли не уродливая внешность... И отсутствие чувства юмора («...он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр» — Н. Берберова)... О, конечно, не так примитивно, не так плоско, чтобы можно было это обсуждать всерьез, и отношения строились в иной плоскости, и еще неизвестно, кто кого больше мучил и заставлял ревновать... и не охотился Каренин в Африке на львов, и все-таки...

Ее несправедливость к Толстому доходила до того, что она искажала даже смысл происходящего в романе. «И подумайте только: кого же „мусорный старик” избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпитафии отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства», — говорила Ахматова Чуковской.

Между тем графиня Лидия Ивановна и француз Landau к самоубийству Анны отношения не имеют: окончательный отказ Каренина дать Анне развод до нее дойти не успел. «Что ж телеграфировать, когда ничего не решено?» — говорит ей Вронский по поводу телеграммы Облонского из Петербурга. «„О разводе?” — „Да, но он пишет: ничего еще не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти”». Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал ей Вронский».

И руки у нее дрожали не потому, что ее волновал текст депеши: руки дрожали потому, что ее ссоры с Вронским приобрели угрожающий и непоправимый характер. «„Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу и даже получу ли развод, — сказала она, покраснев. — Не было никакой надобности скрывать от меня”. — „Так он может скрыть и скрывает от меня свою переписку с женщинами”, — подумала она».

Именно эта последняя ссора, затянувшаяся на весь день и на ночь, и привела к самоубийству.

«— Да, кстати, — сказал он в то время, как она была уже в дверях, — завтра мы едем решительно? Не правда ли?»

— Вы, но не я,— сказала она, оборачиваясь к нему.

— Анна, эдак невозможно жить...

— Вы, но не я,— повторила она.

— Это становится невыносимо!

— Вы... вы расклетесь в этом, — сказала она и вышла».

Но Ахматова была такой же мастерицей гневных реплик, окончательных и бесповоротных фраз. Это ощущается и по ее стихам, причем совершенно не важно, кому в них передана прямая речь, женщине или мужчине. «Улыбнулся спокойно и жутко / И сказал мне: „Не стой на ветру“»; «Тебе покорной? Ты сошел с ума!»; «А, ты думал — я тоже такая, / Что можно забыть меня...».

Толстой показал в своем романе, как зависит человек от своего окружения, общественного мнения, как социальные, семейные связи, принятые моральные нормы оказываются могущественней индивидуальных порывов и страстей. Но заодно, вопреки, может быть, своим намерениям, научил любви на разрыв — и ахматовское поколение ему, возможно, больше, чем кому-либо другому (Тютчеву, Достоевскому, Гамсуну), могло быть благодарно за эту науку.

Л. К. Чуковская в разговоре с Ахматовой заступает за Толстого:

«Когда она умолкает, я говорю только: какие великолепные страницы перед самоубийством.

— Да, да, конечно, множество гениальных страниц. Бормотание мужичка под колесами — великолепная заумь.

А в общем, не любит она, видно, Толстого».

Любит. Еще как любит! Потому и не может простить.

Огромное количество ее стихов подхватывает тему любовного бреда, большого кошмара и беспамятства, воспаленного страданием сновидения. Слово «бред» — ее любимое слово: «Она бредила, знаешь, больная...», «Видишь, я в бреду...», «Страшный бред моего забвения...» и т. д.

И ничуть не меньшее — варьирует мечту Анны о собственной смерти как наказании для Вронского. «Постель мне стелют эту / С рыданьем и мольбой;/ Теперь гуляй по свету / Где хочешь, бог с тобой!», «Когда о горькой гибели моей / Весть поздняя его коснется слуха...», «И нет греха в его вине, / Ушел, глядит в глаза другие, / Но ничего не снится мне / В моей предсмертной летаргии» и т. п.

И еще — мотив самоубийства. Здесь у Ахматовой, как выход, мелькают то пруд: «О глубокая вода / В мельничном пруду», то река: «Не гони меня туда, / Где под душным сводом моста / Стынет грязная вода», то петля: «В нем кого-то вынули из петли / И бранили мертвого потом... Мне не страшно. Я ношу на счастье / Темно-синий шелковый шнурок» (вспомним, что Левин тоже не веревку — «спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем»), то яд: «Смертный час, наклоняясь, напойт / Прозрачную сулемой. / А люди придут, зарюют / Мое тело и голос мой».

А в 1971 году было впервые опубликовано стихотворение 1911 года, третья, недоработанная строфа которого выглядит так:

И это юность — светлая пора
.....
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.

Итак, глубокая зависимость от Толстого и постоянно возобновляющийся спор с ним. «Ведь где-то есть простая жизнь и свет... / — Но ни на что не променяем пышный / Гранитный город славы и беды...»

И самое главное, не стремилась ли Ахматова всей своей жизнью, всеми любовными романами («Пленник чужой! Мне чужого не надо. / Я и своих-то устала считать»), поэтическим трудом и славой опровергнуть толстовский взгляд на женщину, взять реванш — в новое время и наяву, а не в романе, — за унижение и катастрофу толстовской героини?

И на этом пути, одержав в конце концов «победу над судьбой», она не раз бывала унижена и раздавлена, сначала — любовью и виной: «Уже судимая не по земным законам, / Я, как преступница, еще влекусь сюда, / На место казни долгой и стыда» (январь 1917), — как это перекликается с романом, его смыслом и эпиграфом, объяснять нет необходимости; затем — любовью и клеветой: «И станет внятн всем ее постыдный бред, / Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, / Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело...» (1922), а в сороковые — пятидесятые — неслыханным общественным осуждением и унижением: «А пятнадцать блаженнейших весен / Я подняться не смела с земли» (1962).

Заехав к Долли перед своим страшным концом, Анна говорит Кити, не хотевшей выходить к ней («но Долли уговорила ее»): «Я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мною. Я ко всему привыкла». Можно представить и документально подтвердить, сколько раз Ахматовой пришлось произносить такую фразу. Это чувство «оскорбления и отверженности», испытываемое Анной, было хорошо изучено и освоено Ахматовой, страдания Анны (упомянем и страшную разлуку с сыном) не оставляли, преследовали и ее.

Сказав о «победе над судьбой», ибо поэзия, кроме всего прочего, еще и победа над ней, сделаем одно уточнение. Над судьбой — да, но не над Толстым.

И, восхищаясь стихами Ахматовой, и прежде всего, может быть, стихами из книги «Белая стая», такими, как «Всё мне видится Павловск холмистый...» или «Перед весной бывают дни такие...», несравненными не только по предметной и психологической точности, но, и это главное, по безошибочно найденному, безукоризненно искреннему тону, признаемся, что иногда она оступалась, голос срывался, вдруг звучала фальшивая нота.

...Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар...

Можно ли не то что сказать, можно ли помыслить такое? И тут понимаешь правоту Толстого с его стремлением положить некий предел женскому (и мужскому) своеволию.

Возможно, Лев Николаевич, не Толстой, конечно, а ее собственный сын, ей этого и не мог простить.

Необдуманное, тем более опрометчивое поэтическое слово опасно. Недавно поэт боялся, «Чтоб персты, падшие на струны, / Не пробудили бы перуны, / В которых спит судьба моя».

Будь Анна Андреевна Львом Николаевичем, она бы распорядилась судьбой Анны Аркадьевны по-другому: не бросила бы ее под поезд, устроила бы ей развод, вернула сына Сережу и общее уважение и проследила бы за тем, чтобы Анна была счастлива с Вронским. Счастлива? Может быть. Вот только роман был бы совсем другим и вряд ли так волновал и мучил нас.

А сама Анна Андреевна, была она счастлива в любви? Как-то, знаете ли, не очень. («Лучше б мне частушки задорно выкликать, / А тебе на хриплой гармонике играть» — это в 1914 году, кажется, еще при Гумилеве или накануне развода с ним; «Мне муж — палач, а дом его — тюрьма» — это в 1921 году, при В. Шилейко; «От тебя я сердце скрыла, / Словно бросила в Неву... Прирученной и бескрылой / Я в дому твоём живу» — в 1936 году, с Н. Пуниным.) Почему так происходило, более или менее понятно: она тяготилась благополу-

чием семейной жизни, ей, поэту, любовь нужна была трагическая, желательна — бесперспективная. И самый долгий период творческого ее молчания объясняется, я думаю, не столько давлением советской власти, сколько мирной жизнью с Пуниным, пока этот союз не рухнул.

И еще одно соображение: так ли уж приятно мужчине стать героем любовного цикла? Возможно, не пишущему стихи это еще может быть лестно, хотя чем кончается такой лирический сюжет, мы знаем: «А человек, который для меня / Теперь никто, а был моей заботой / И утешеньем самых горьких лет, — / Уже бредет как призрак по окраинам, / По закоулкам и задворкам жизни, / Тяжелый, одурманенный безумьем, / С оскалом волчьим...» Тем более такая роль вряд ли могла понравиться, например, Гумилеву. Может быть, и Блок уклонился от романа с ней, потому что ему вовсе не хотелось быть воспетым в стихах: стихами его не удивишь, он и сам их писал неплохо. Представьте Петрарку, читающего о себе сонет Лауры, или Маяковского, о котором в поэме пишет Лиля Брик! О том, что эта проблема не выдумана нами, существует, или, скажем точнее, существовала, или, во всяком случае, была насущной для Ахматовой, говорят ее стихи, и ранние: «Он говорил о лете и о том, / Что быть поэтом женщине — нелепость», и поздние: «Увы! Лирический поэт / Обязан быть мужчиной».

Что же касается счастливой любви, то про нее у Ахматовой особое мнение: «Как счастливая любовь, / Рассудительна и зла». Понадобился воистину страшный опыт XX века, чтобы и в жизни, и в литературе возникло представление о возможности счастливой любви и ее глубокой человечности, — наперекор традиционному мнению и злым обстоятельствам.

Боже мой, как они одевались в прошлом веке, женщины 70 — 80-х годов! В конце романа есть одна такая сцена под дождем: «Дарья Александровна, с трудом борясь с своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла, а бежала, не спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами». Вот точно так же, как юбками, были они облеплены множеством общественных пут и предрассудков, в то время как мужчины «шли большими шагами». В связи с этим стоит привести ахматовскую автобиографическую запись: «...я получила прозвище „дикая девочка“, потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень». О том же сказано в ее стихах: «Стать бы снова приморской девчонкой, / Туфли на босу ногу надеть...»

Хотел того Толстой или не хотел, но его Анна лет за двадцать до этого уже делала шаги в том же направлении: Долли удивлена, увидев ее верхом на коне, в черной амазонке. «В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом». Еще больше поразило ее умение Анны играть в теннис: «Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то так устала, что села с княжной Варварой и только смотрела на играющих».

Толстой, конечно, Анну не одобряет: она как будто отбилась от рук, не слушается его, поступает по-своему. То ли дело Долли или ее младшая сестра Кити! «„Для чего он целый год все читает философии какие-то?“ — думала она». Зато Левин и был так очарован Анной, беседой с ней — в ее московском доме. И еще неизвестно, что ждет Левина лет через десять, не захочется ли ему отыскать спрятанный им шнурок или, не дай бог, бежать из дома, как бежал автор в 1910 году?

А любимая толстовская героиня еще в 70-е годы «выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах, и с тою внимательностью к читаемому, которая бывает только в уединении, прочитывала их». И это, заметим, тоже роднит ее с Ахматовой, о которой Лидия Гинзбург, например, вспоминала: «Она обладала особым даром

чтения». Имеется в виду, в отличие от профессионального чтения, ориентированного на специальные интересы, способность читать бескорыстно. «Поэтому она знала свои любимые книги как никто» и определяла, находила для звонившего ей «цитату сразу, не вешая телефонную трубку».

А вот что Толстой пишет о своей Анне: Вронский «удивлялся ее знанию, памяти и сначала, сомневаясь, желал подтверждения, и она находила в книгах то, о чем он спрашивал, и показывала ему». И еще: «...все предметы, которыми занимался Вронский, она изучала по книгам и специальным журналам, так что часто он обращался прямо к ней с агрономическими, архитектурными, даже иногда коннозаводческими и спортсменскими вопросами». Нет, право же, она озадачивает не только Вронского, но и своего автора.

Разумеется, архитектурные и спортсменские интересы Вронского не идут в сравнение с интересами египтолога Шилейко или искусствоведа Пунина, но Ахматова умела быть для них таким же понимающим другом — что, впрочем, не спасло от «обид и предательств».

Уж если ничего не пропускать и не страшиться упрека в педантизме, то почему бы не сказать и о женском образовании? Одна из ссор Анны с Вронским началась с того, «что он посмеялся над женскими гимназиями, считая их ненужными, а она заступилась за них». Даже Левин, близкий Толстому герой романа, был не уверен в необходимости гимназического образования для женщин, он считал ненужными и школы для крестьян. В этом смысле Анна Каренина оказалась дальновидней — следующее поколение русских женщин воспитывалось уже по-другому. «Училась я в Царскосельской женской гимназии, — рассказывала о себе Ахматова. — Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно». Училась неохотно, но затем поступила даже на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. А в пятилетнем возрасте был у нее замечательный учитель: «Читать я училась по азбуке Льва Толстого».

Эту фразу из короткой автобиографии не беру в эпиграф к своим заметкам только из нелюбви к эпиграфам с их многозначительностью.

Может показаться, что такое сопряжение биографических подробностей Ахматовой с романом Толстого насильственно, но что же делать, если даже в своих коротких записках она вспоминает его имя чаще, чем кого-либо из своих друзей-поэтов и ровесников? «Я родилась в один год с Чарли Чаплиным, „Крейцеровой сонатой“ Толстого, Эйфелевой башней...», «10 год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской».

О Левине можно сказать, что в нем Толстой изобразил самого себя, но без своего писательского дара. В результате получился умный, совестливый, «ищущий» герой, обреченный тем не менее заниматься сельским хозяйством изо дня в день, напоминая нам, жившим в другое время, хорошего председателя колхоза. Вообще Толстой плохо понимал, как справляются с жизнью люди, лишенные творческого дара. Известно, как он сам изнывал, мучился, не находил себе места в периоды писательского молчания.

Может быть, поэтому многие персонажи в романе пишут книги, статьи, научные, философские, экономические сочинения, беллетристику? Впрочем, успеха на этом поприще не добиваются. Вот озлобленный по причине неудач своего сочинительства Голенищев, с которым Вронский и Анна сталкиваются за границей: «„Да, я пишу вторую часть „Двух начал“... то есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, подготавливаю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы...“ — Вронскому было... неловко за то, что он не знал и первой статьи о „Двух началах“...»

Вот Сергей Иванович Кознышев, издавший книгу «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России», — «но прошла неделя, другая, третья, и в обществе не было заметно никакого впечатления».

Левин тоже пишет: «Это надо записать, — подумал он. — Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он бы и написал свой труд, посвященный правильным формам организации сельского труда, — помешала женитьба и поглощенность самим трудом, не оставлявшим времени на обдумывание и описание его организации.

«Детскую книгу», «роман для детей» пишет Анна Каренина. «Она пишет детскую книгу, — рассказывает Облонский Левину, — и никому не говорит про это, но мне читала, и я давал рукопись Воркуеву... знаешь, этот издатель... и сам он писатель, кажется. Он знает толк, и он говорит, что это замечательная вещь». Впрочем, Анна по этому поводу не ободряется: «„Мое писанье — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало, Лиза Мерцалова из острогов”, — обратилась она к Левину».

Анна называет свою книгу для детей «корзиночкой из резьбы», но говорит она в тот вечер с Левиным о французском искусстве, — и ее замечание, в ответ на его реплику о возвращении французской живописи к реализму, касается не только живописи, но и литературы: Zola, Daudet, и сделано оно, так сказать, на профессиональном уровне («Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои conceptions из выдуманных, условных фигур, а потом — все combinaisons сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры») и так умно, как будто автор и впрямь заглянул в будущее, разглядел в нем Ахматову, может быть, подслушал ее беседы с Л. К. Чуковской, предвидя наше «странное сближение».

Сближение странное. Но сама жизнь поощряет нас и подыгрывает нам: московскую горничную Анны Карениной зовут Аннушкой. «„Что это, я с ума схожу”, — и она пошла в спальню, где Аннушка убирала комнату». А вот запись в дневнике П. Лукницкого: «Вошла Аннушка. Пунин послал ее купить на ужин маринованную селедку и две груши: одну для А. А., другую для Иринки».

В церковь войдем, увидим
Отпеванье, крестины, брак,
Не взглянув друг на друга, выйдем...
Отчего всё у нас не так?

Или сядем на снег примятый
На кладбище, легко вздохнем,
И ты палкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдвоем.

Если бы Анна Аркадьевна могла прочесть эти стихи Анны Андреевны! Если бы, «сидя на звездообразном диване в ожидании поезда», она увидела вокзальный киоск, а в нем продавались бы поэтические книги... Но не было ни киоска, ни книг, ни таких стихов — в 1876 году!

«А наутро притащится слава / Погремушкой над ухом трещать...», «Вот отчего вы любите так жадно / Меня в грехе и в немощи моей...», «Молитесь на ночь, чтобы вам / Вдруг не проснуться знаменитым» и т. п. Когда думаешь о славе Ахматовой, не сравнимой с прижизненной известностью, например, Мандельштама или Кузмина, начинаешь понимать, что дело не столько в самих стихах, сколько именно в опыте становления независимой женской личности и судьбы, явленных в ее поэзии, — прошу прощения за суконную фразу.

И еще надо заметить, что сама Ахматова тоже в значительной степени сочинена; например — художниками, избравшими ее своей любимой моделью, тем более — мемуаристами: не человек, а этакий каскад остроумия и метких замечаний. Так, в одних недавно опубликованных мемуарах она острит, как эстрадный конферансье: «Ахматова... рассказала такую историю. На званом обеде вместе с нею были В. И. Качалов и молодой еще В. Я. Виленкин, который машинально крутил в руках вилку. Качалов сказал: „Виталий Яковлевич, сколько раз я говорил вам, что вилка — не трезубец Нептуна”». Очень

смешно. В других воспоминаниях нам рассказывают, как она спросила по поводу авторучки, торчавшей из пиджачного кармана молодого Баталова, не хочет ли он засунуть туда еще зубную щетку?

Разгадываем кроссворд: самая знаменитая русская женщина XIX века (слово из восьми букв)? Каренина. XX-го? Ахматова.

«Ну, я получаю развод и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мной и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мучение? Нет и нет!» — думает Анна в коляске по дороге на вокзал. «И она с отвращением вспомнила про то, что называла той любовью».

Толстой жалеет свою героиню и не видит для нее выхода: любовная страсть, пришедшая в столкновение с общепринятыми нормами, разрушительна, и для порядочных людей, по глубокому его убеждению, кончается катастрофой. Кроме того, с его точки зрения, физиологическое, психическое устройство женщин таково, что самой природой, а не только социальными, историческими условиями они предназначены для иной, нежели мужчины, роли. Ахматова такой взгляд на вещи склонна была объяснять «ханжеским духом Ясной Поляны».

Поэт любви (у каждого поэта есть своя большая тема, у нее прежде всего — эта), Ахматова, скажу еще раз, всей своей жизнью и стихами опровергла толстовское мнение. И не только в молодости, не только в двадцать или тридцать лет, но и в семидесятипятилетнем возрасте!

Мы до того отравлены друг другом,
 Что можно и погибнуть невзначай,
 Мы черным унижительным недугом
 Наш называем несравненный рай.
 В нем все уже прильнуло к преступленью —
 К какому, боже милостив, прости,
 Что вопреки всевышнему терпенью
 Скрестились два запретные пути.
 Ее несем мы, как святой вериги,
 Глядим в нее, как в адский водоем.
 Всего страшнее, что две дивных книги
 Возникнут и расскажут всем о всем.

Эти стихи, написанные ею в 1963 году, опубликованы впервые в 1974-м и затем, переходя из издания в издание, так и не удостоились никакого внятного комментария, хотя и заслуживают его, при всей своей пышной многозначительности и поэтической стертости («несравненный рай», «всевышнее терпенье», «запретные пути», «вериги», «адский водоем»). Никто как будто их внимательно не прочел. Все привыкли к недосказанности и «тайнам» ее стихов последних лет. «Иль тайна тайн во мне опять», «И только мы с тобою знаем тайну», «Был предчувствий таинственный зной», «Но я разобрала таинственные знаки», «Вы ж соединитесь тайным браком» и т. д. На единственно возможный, неопровержимый, непредсказуемый эпитет сил уже не хватало, — и приблизительным, ничего не обозначающим определением наспех латались прорехи.

«Тайны» на то и рассчитаны, чтобы быть открытыми, и хотят этого не столько отгадчики, сколько обладатели, так сказать, носители загадок.

Пушкин к этому слову обращался крайне редко, зато как! «...И оба говорят мне мертвым языком / О тайнах счастья и гроба». Названы две великих тайны, а все остальные более или менее ничтожны. Недаром их так любят сочинители детективных историй: «Тайна янтарной комнаты», «Тайна старой шкатулки» и т. п. «Тайна счастья» — настоящая тайна, в отличие от несчастья, столь распространенного.

Вот и стихотворение «Мы до того отравлены друг другом...» не только намекает на какую-то тайну, но тут же и приоткрывает ее. В том, что это стихи любовные, сомнений нет. И также очевидно, что они не ретроспективны:

«Мы черным унижительным недумом / Наш называем несравненный рай», «Ее несем мы, как святой вериги, / Глядим в нее, как в адский водоем». Настоящее время глагола не оставляет лазейки.

Остается лишь догадаться, почему эта любовь столь унижительна, запретна, недужна, преступна настолько, что и «всевышнему терпенью» не под силу: разгадка лежит на поверхности, доступна любому читателю, надо лишь посмотреть на дату. Впрочем, автор и не надеется что-либо скрыть: «Всего страшнее, что две дивных книги / Возникнут и расскажут всем о всем».

Так, собственно, и произошло. Одна «дивная» книга была вчерне написана Ахматовой: чтобы прочесть ее, достаточно приглядеться к ее стихам и черновым наброскам 1963 — 1964 годов. Другая, прозаическая, мемуарная, тоже издана — разумеется, без главы, самой важной для ее автора.

И во всех стихах, примыкающих к этому стихотворению, на разные лады варьируется тот же мотив: «Непоправимо виноват / В том, что приблизился ко мне / Хотя бы на одно мгновенье...» (1 июля 1963), «Мы не встречаться больше научились, / Не поднимаем друг на друга глаз, / Но даже сами бы не поручились / За то, что с нами будет через час» (1964), «И яростным вином блудодеянья / Они уже упились до конца. / Им чистой правды не видать лица / И слезного не ведать покаянья».

А как все это случилось — тоже известно. «И наконец ты слово произнес / Не так, как те, кто на одно колено...» (8 — 12 августа 1963). Здесь проще простого съязвить, сказать, например, такое: можно представить, каким разливался соловьем! А с другой стороны, надо и впрямь обладать из ряда вон выходящими качествами, чтобы произвести впечатление на Ахматову: на том конце, где в начале списка и Гумилев, и Недоброво, и Артур Лурье...

Впрочем, о герое романа, кем бы он ни был, говорить не будем, лучше всего поверить, что с его стороны это было высокое, бескорыстное, глубоко человеческое, искреннее, без тени расчета на какую-либо выгоду (снобизм, расцветший при нас махровым цветом, здесь тоже ни при чем), самоотверженное, всепреображающее, бессмертное чувство, воспетое всеми поэтами земли.

Многое из происходившего вокруг Ахматовой в эти последние три-четыре года ее жизни вызывает удивление. Мне, пришедшему к Ахматовой впервые в 1961 году и затем видевшему ее еще несколько раз, благоговевшему перед ней так, что я почти терял дар речи, казалось непростительным отнимать у нее время. Не думаю, что мое общество было бы для нее интересно и сегодня, а тогда — тем более. Но вот что, наверное, следует добавить: постепенно я понял, почему некоторые старые друзья, любившие Анну Андреевну и испытывавшие к ней глубочайшее уважение, все реже бывали у нее.

Преодолевшая символизм в начале своего блистательного пути, она под занавес «впала» в него, как «в ересь», — и многие поздние ее стихи утратили былую точность очертаний, страшно расплнели, расплылись, страдают водянякой, их и впрямь загубило «величие замысла».

А те, что сохраняют предметность, нестерпимо красивы:

Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять...
Снова свечи станут тускло-желты...

Какие свечи, откуда? И в филармонии, и по всей стране, и в Комарове, слава богу, горело электричество.

Протекут в немом смертельном стоне
Эти полчаса...

Как принято нынче говорить: без комментариев!

И жизнь обставлялась по тем же символистским канонам — театрализованная, рассчитанная на поклонение, рыцарское служение прекрасной даме и т. д. (Недаром в стихотворении одного из молодых поэтов многократно по-

вторялась строка «И Прекрасная Старая Дама».) В мемуарном сочинении, опубликованном в журнале «Октябрь» (1997, № 8), рассказано: «У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас. Например, к Бобышеву, Бродскому и мне, удостоенным „Роз” — „Пятой”, „Последней” и „Запретной” (с вариациями в „Небывшей”), более личное, чем к Рейну». Бедный Рейн! По-видимому, природный здравый смысл и неповоротливость выталкивали его из этого хоровода. Но больше всего умиляет стиль — не то докладной записки, не то правительственного указа: «удостоенным роз»... пятой степени, последней, запретной...

Скажут: не следует понимать стихи буквально. Тогда назовем это особым поэтическим флиртом.

Так уж глаза опускали,
Бросив цветы на кровать,
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.

(23 февраля 1963)

Как мы уже знаем, в августе 1963 года «имя было произнесено» («И наконец ты слово произнес...»).

Я хотел бы опровергнуть сам себя. Существует же поэтическое воображение — и оно вправе не иметь ничего общего с реальными фактами. Писал же старик Фет любовную лирику. Например, в 1890 году — стихотворение «На качелях»: «Правда, это игра, и притом / Может выйти игра роковая, / Но и жизни играть нам вдвоем — / Это счастье, моя дорогая!», а потом в письме к Полонскому замечал с обидой: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой... и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь».

Анна Аркадьевна, как мы помним, играла в теннис.

Но игры Анны Андреевны — иные:

Нет, ни в шахматы, ни в теннис,
То, во что с тобой играют,
Называют по-другому,
Если нужно называть...

Перевести эти игры в плюсквамперфект, приписать их игре воображения не удается:

Я играю в ту самую игру,
От которой я и умру.
Но лучшего ты мне придумать не мог.
Зачем же такой переполох?

(1963)

Лучше публикаторам не печатать такие наброски еще и потому, что они явно не прописаны и беспомощны как стихи: для того, чтобы «не мог» рифмовалось с «переполох», требуется произносить твердое русское «г», как украинское фрикативное.

О, если бы ее стихи последних лет были так же хороши, как фетовские: «Ах, как пахло весной!.. Это наверно ты!» Чудо настоящих стихов в том и состоит, что отменяются все недоумения и вопросы.

«...Поэту вообще не пристали грехи...» Если это так, тем более! Скажи Ахматова эти слова самой себе, не назови она все случившееся «черным унижительным недугом», «яростным вином блудодеянья», перемешанным со святостью («грешная, преступная, святая»), не поставь она между собой и нами непреступную стену, каменную перегородку, не просверли в этой стене маленькие дырочки...

Настоящая тайна всех стихов — одна и вовсе не сводится к «тайным знакам», состоит она в том, что... сейчас я соберусь с духом, зажгу, так сказать, *заветные свечи*, загляну *в зазеркалье*... Эй, не тяни, не темни! Рискуя вас разочаровать, скажу: о чем бы ни писал поэт, его стихи, оказывается, должны быть написаны и про нас тоже. Только и всего!

Мы прикладываем чужие стихи к своему сердцу и произносим их от собственного имени. Боже мой, разве мы покидали «берег... туманный Альбиона», разве ходили в атаку на речке Валерик, заходили на римскую виллу, спугнув ее вековую истому, сидели перед «устрицами во льду», вспоминая острый запах моря? А нам кажется, что все это было с нами!

Хотя ее первая публикация относится к 1907 году, настоящий поэтический дебют Ахматовой состоялся в 1911 году, первая ее книга «Вечер» вышла в марте 1912-го. Интересно, как Толстой отнесся бы к этим прелестным молодым стихам, проживи он еще несколько лет? (Как бы отнесся к поздним — лучше не спрашивать.) Ведь могла же к его дочерям в руки попасть книга петербургской поэтессы! (Увы, мы знаем, к стихам они были равнодушны и Ахматову, кажется, так никогда и не читали.)

«Сжала руки под темной вуалью... / — Отчего ты сегодня бледна? / — Оттого, что я терпкой печалью / Напоила его допьяна...» Нет, вряд ли они бы ему понравились. «Терпкой печалью», «искривился мучительно рот»... — он, наверное, назвал бы все это манерностью, поэтической красотостью...

А с другой стороны, мог бы вспомнить и такое: «Анна не отвечала. Кондуктор и входившие не заметили под вуалью ужаса на ее лице».

Впрочем, еще лет за десять — пятнадцать до смерти он отрекся и от собственных художественных писаний.

* *
*

Бывает ли так не похожа сестра
На брата, как Анна, с прямою осанкой,
На Стиву, чья совесть сквозит, как дыра,
С его танцовщицею и гувернанткой?

Бывает, бывает! Кружись за окном,
Кусты засыпай, электрички, вокзалы...
Мы лучше, мы хуже, мы в веке другом,
Начитаны больше, и проще финалы.

Бывает ли так, чтобы книга бела
Была, как метель, что кусты заметает,
Чтоб так мы любили и дрожь нас трясла,
И жить разучились, — бывает, бывает!

Свободы задуман прирост и души,
Что можно мужчине, то женщине можно!
Да! Но то же самое тише скажи,
Не так безответственно и заполошно.

Как будто он что-то скрывает, густой,
Ложась на деревья, карнизы и крыши...
А все-таки всех гениальней Толстой,
Ахматовой лучше, Цветаевой выше!

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИХАИЛ БУТОВ



ОТЧУЖДЕНИЕ СЛОВОЙ

Умберто Эко — это вроде нашего Пелевина. Только хуже.

Одна красавица литературовед.

Thierry Zaboïtzeff, «Prométhée»*

Из ныне живущих. Умберто Эко. Милорад Павич. Эти уже давно. Джон Барт. Этого переводить только начинают, во всяком случае, самый известный роман пока не издан. Томас Пинчон — вообще, по-моему, единственный рассказ публиковала «Иностранка», к тому же постмодерняга здесь другого извода — и куда более близкого к нашим, российским ПМ-представлениям. Но все равно, вписался и он в ряд имен, произносить которые без восхищенного придыхания вроде как и не принято, если не прямо опасно: вот повыскачат из-под обложки «Хазарского словаря» в бесчисленных образах призраки заблудившегося в тексте читателя да растерзают, аки Петкутина с Калиной.

Честно говоря, надоело всюду слышать одно и то же. Удивительная страна Россия — не хочет жить иначе, как по стойке «смирно» и в соответствии с табелью о рангах. Даже регламент интеллектуального окормления агрессивно навязывается — причем, что особенно интересно, совсем не в коммерческих рекламных целях.

Трудно себе представить, чтобы материальное благополучие популярного пародиста из Интернета, стремительно вырвавшегося в последние месяцы и на книжные страницы, Макса Фрая, прямо зависело от российских тиражей переводов Борхеса и последователей. Значит, своего рода чистая идеология заставляет его в авторском послесловии к книге стыдливо, хотя и с приличествующей самоиронией признаваться: да, было дело, дурость-молодость, корпел и я над томами Федор Михалыча. Но прошло, слава духам принтерной ленты и типографской краски, проехало. Свет упал. И увидел Макс Фрай — литературу настоящую, актуальную, интересную, литературу вымысла, литературу *другую*.

Обескураживает сам тон сделанного противопоставления. Можно, понятно, Достоевского не жаловать, не совпадать с ним по личностному складу, можно не верить — как я, например, не верю, — что человеческие жизнь и разум должны направляться доведением всякой мысли и ситуации до логического конца, до предельного напряжения. Можно и раздражаться, что Достоевского нам навязывают тоже несколько чересчур. Но как-то даже диковато, когда не обычный газетный словоблуд, но деятель, вроде бы искушенный в литературе, ничтоже сумняшеся выставляет себя с откровенно нелепой стороны. Все-таки Достоевский — не Маринина, не Г. Марков, не Битов и не Бутов. Достоевский, как ни крути, выдержал самую суровую из проверок — временем; сумел остаться — и остаться, очевидно, навсегда, — причем не в идеях только (идеи, бывает, стареют), но именно в слове. И так вот, с легким пре-

* Здесь и далее — пластинки, которые крутятся у меня на проигрывателях, покуда я сочиняю свои заметки.

небреженьцем, его все же не отменить. Набокову не удалось, вряд ли удастся и всей *другой* литературе. Из дальнейшего текста послесловия делается ясно, кого Макс Фрай, сбросивши прежних идолов с корабля современности, водрузил на их место.

Шёнберг, Сочинения для фортепиано. Op. 11, 19, 23, 25, 33а, 33б

Возможно, пародисту представляется, что путем подобных заявлений он сумеет действительно перейти в разряд *серьезных* — современных, авангардных, ПМ-ских, сетевых — художников. Раз музыка определенным образом входит в замысел данных заметок (я называю свои пластинки, поскольку усматриваю в этом хороший способ обозначить, что, «наводя критику», ориентирую себя в куда более обширном культурном поле, нежели принадлежность к какому-либо «лагерю»; а заодно готов поверить, что возьмет и составит из моих винилов, кассет и сидюков какая-нибудь тайная фонотека, а из их названий сложится потаенный лингвистический сюжет — о чем см. ниже), уместно будет и музыкальное сравнение. Макс Фрай — не столько литературная личность, сколько знаковая фигура — подается нам сегодня с такой помпой, что явно претендует на место в ряду новаторов высочайшего пошиба, коим вроде бы и позволено на косную традицию просто не обращать внимания. Вот для музыки в целом подобная ситуация была бы очень и очень нетипичной: и в филармонической опус-музыке, и в джазе, и в более-менее апеллирующих к той половине человека, которая выше гениталий, роке и построке преобладающая играет важнейшую, может быть, самую конструктивную роль. Не исключено, что я отстал от времени, *out of time*, как пели «Роллинг Стоунз», в силу чего и не понимаю резонов, по которым стоять в подобном ряду у Макса Фрая есть полное право. Однако я точно вижу, что заявления он при этом делает уровня наипримитивнейших рок-н-ролльшиков — из тех, что в шестидесятые радостно во всяком интервью выдавали на орехи то Моцарту, то Бетховену.

Ладно, оставим атаку на наши кровные «кто виноват?» и «среда заела» на совести литератора Фрая. Сами-то авторы *другой* литературы, как правило, толерантны. Павичевская «Внутренняя сторона ветра» впервые на русском была опубликована в журнале «Ясная Поляна», и на презентации приглашенный автор вовсе расписывался в любви к Толстому. Но пора определить точнее, кого и что под этой самой *другой* следует разуметь. Тут возможны два взгляда — широкий и узкий. Широкий: практически все, что подпадает сегодня под категорию ПМ-а. Список, который я привел в начале, плюс, разумеется, отец основатель — Борхес. Плюс Набоков (прежде всего «Приглашение на казнь», «Лолита» и «Pale Fire»). Из тех, чья принадлежность к ПМ-у вызывает сомнения, можно упомянуть экстремиста Уэлша и автора «Поколения Икс» Дугласа Коупленда. Имеет место еще загадочный киберпанк, до которого мы в России не доросли и только понаслышке знаем главного, судя по всему, в этом течении деятеля: Уильям Гиббсон. Сегодня произнесение любого из этих имен обеспечивает весьма значительной (и, главное, перспективной) частью нашей интеллигентной читающей публики чувство подключенности к самому актуальному и самому продвинутому культурному контексту. Однако на этом фоне выделяется еще строгий триумвират: Набоков — Борхес — Павич, особенно властвующий у нас умами. Их имена стали уже элементами специфического языка, словами-связками; забавно наблюдать, как без них у литературных обозревателей в глянцевах журналах не лепится даже коротенькая статейка на свободную тему.

В их поле притяжения возникает ряд критериев, которыми проверяются новые, входящие в обиход книги (в основном, конечно, переводные; отечественная фикшн-литература априори оценена так низко, что и до мысли о применении к ней этих критериев не дотягивает). Во-первых, книге очень желательно быть таинственной и фантастической (вариант: ироническо-фантастической). Но фантастической достаточно своеобразно. Почему, скажем, Борхес любил Кафку и не любил Майринка, писателя явно не второстепенного?

И вообще предпочитал не замечать мистиков? В первом приближении — за недостаточную отстраненность. Для Борхеса, полагаю, мистика как практика, направленная на достижение конкретных целей в реально существующем макро- и микрокосме, есть материя слишком вязкая, слишком, если хотите, «плотская». Ценность же имеют только сюжеты и события, все обоснования которых заключены внутри текста (а если интертекста, то не расплывающегося, с четко обозначенными пределами), осуществляющиеся в чисто литературном пространстве.

Второе — текст (по крайней мере большой текст) должен быть как-нибудь заковыристо структурирован. Заковыристо — не значит необычно. Например, произведений в виде комментариев к некоему тексту — вымышленному или реальному, написанному или не написанному — уже накопилось довольно много, чтобы могла еще идти речь об уникальности и необычности; скорее мы присутствуем при формировании устойчивого литературного жанра.

Структурировать полагается не абы как. Для того, чтобы выпускник факультета культурологии, пописывающий о литературе в каком-нибудь еженедельнике, обратил на книгу благосклонное внимание, признал ее достаточно интеллектуальной и дал сквозь зевок публике добро, он должен разглядеть в книге что-то знакомое. Посему в ней обязаны воплощаться известные принципы, в свое время подробно прописанные теоретиками постструктурализма (прежде всего Роланом Бартом). Разбирать их подробно здесь не место, но приведу несколько ключевых слов и словосочетаний, заклинаний своего рода: миф, метаязык, смерть автора; текст, порождающий текст; текст, описывающий текст; отсутствие абсолютного, конечного (или первичного) текста; отсутствие выделенной, исключительной реальности, действительности — то есть действительность как текст, равноправный с бесчисленностью иных. Все это и всеми уже заучено как дважды два. Тем более, что лет за двадцать до постструктуралистов теми же идеями великолепно прожонглировал Борхес.

Scott Walker, «ТИЛТ»

(Странный парень. Занудный, но вообще ни на кого не похож. Какие-то изломанные электронные стиричуэс... Насколько я знаю, в основном он выступает как продюсер. Кажется, пластинка сделана на «готовые» современные стихи. Фамилия поэта мне ни о чем не говорит.)

Выход в свет — если память не изменяет, в начале восьмидесятых — первой книги русских переводов Борхеса стал событием, влияние которого на наше образованное сословие сопоставимо только со стартовым событием «другой» литературы предыдущего поколения — появлением «Одного дня Ивана Денисовича». Не то чтобы до Борхеса мы совсем оставались прикованными к земле и пресмыкались в недостаточно «олитературенных» лимбах, перегруженных историцизмом и экзистенцией. Отнюдь. Был уже квадратный томик Кафки, за которого всякий уважающий себя МНС-книголюб не колеблясь отдавал месячную зарплату. А еще раньше — вполне для той поры сюрреалистические «Сто лет одиночества». И «Приглашение на казнь» самые продвинутые добывали в мутных ксерокопиях. Имелись и из домашних, кстати, зрелые Стругацкие, коих в литературных кругах нынче не часто поминают, смущаясь, видно, ярлыком «научная фантастика». Мне трудно судить об абсолютных достоинствах братьев-фантастов, поскольку я забыл, когда в последний раз их открывал — наверное, в школе. Но я отлично помню, какой они имели спрос среди студенчества, среди молодых технарей, с какой серьезностью к ним относились. И сильно подозреваю, что нынешняя широкая аудитория Умберто Эко и Павича — это с точностью до временного преобразования именно аудитория Стругацких (правда, обобщающее словечко успешно переменилось с «технарей» на «компьютерщиков»). Но несмотря на эти предварительные прививки, Борхес нас, еще очень онтологически неповоротливых, сразу дезориентировал сухостью, «сухим сиянием» и концентрированностью текста, подчеркнутым неразличением реальности «объективной» и реальности

«книжной», обескуражил полной бессмысленностью в созданном им мире вопроса, «возможно ли такое на самом деле?». Теперь уже трудно представить себе, и даже отчетливо вспомнить, тогдашнюю ситуацию информационного занавеса, представить, что на момент выхода книги никто у нас о Борхесе, кроме разве одиночек специалистов, не знал ничего, не знали о самом его существовании, и имя его вообще не звучало. Книгу раскрывали на угасающем импульсе интереса к латиноамериканцам. А потом один ошарашенно разъярялся другому, рекламировал, — Борхес разливался по отечественному интеллектуальному полю подобно эпидемии гриппа. Смертельно больной Андрей Тарковский цитирует его в одном из своих последних интервью. Тут же начинается мифологизация Борхеса как первооткрывателя (ну, в более трезвой оценке — переоткрывателя) литературного вымысла. Он теперь как бы санкционирует вступление текстов любой эпохи и их творцов в элитный клуб *литературы вымысла* — сюда входит то, и только то, что Борхес где-нибудь называет в благоприятном контексте. (И вот мысленный эксперимент: располагай Борхес самым что ни на есть конгениальным переводом «Петербургских повестей» Гоголя на необходимый ему язык — удостоился бы «Нос»?)

Лист. «Данте-симфония»

Между тем в применении к самому Борхесу категория литературного вымысла приобретает характер слишком специфический и маргинальный, чтобы его буквально канонизировать и противопоставлять любому иному подходу. Борхеса не назовешь выдумщиком и фантазером в том значении, какое придавалось данным понятиям до него. Он ничего не делает на пустом месте, ex nihilo; в известном смысле он сочиняет только то, что уже было сочинено. Еще менее стремится он строить убедительные сюжеты на материале реальности, так сказать, «первого порядка» (способен, умеет — что доказывают его «аргентинские» рассказы, — но не склонен; и весь небольшой «реалистичский» корпус начинает звучать весомо именно по контрасту с прочими борхесовскими текстами). Борхеса делает Борхесом, сочинителем полностью оригинальным и узнаваемым с первых строк даже теми читателями, которые пока не выучили трехтомника и «Книги вымышленных существ» наизусть, прежде всего совершенно новая литературная концепция. Борхес как бы предложил писателю неведомую прежде (ну ладно — напрочь забытую) точку стояния, неожиданную функцию — перекачивать литературу в литературу.

Вот мы и скатились к ПМ-скому ликбезу. Но три момента мне бы хотелось добавить здесь от себя. Конечно же такой ошеломительный поворот взгляда, видения выводил в широкое поле будоражащих возможностей, — однако множество их все-таки оказалось исчислимым. Далее, писатель, которому Борхес делает «предложение», был один-единственный — сам Борхес; и я рискну утверждать, что он сам эти возможности полностью и осуществил, причем в единственно органичном формате. И третье — что касается «технологий» перекачки. Вся последующая *литература вымысла* станет использовать излюбленные борхесовские мотивы — что жизнь, например, следует книгам или что наша явь есть одновременно чей-то сон — как арматуру, ячейки которой потом уже можно с успехом заполнять чем угодно. Индивидуальные, лично окрашенные борхесовские открытия, в сущности, будут низведены до удобных рабочих приемов. Мнение, что таков естественный ход развития литературы, да и всякого искусства, наверное, оправдано и авторитетно. Только, если поточная архитектура отбивает у тебя вкус к пространству, какое тебе дело до того, что в ней имеют долю поиски Ле Корбюзье?

Самому Борхесу структурирование просто ни к чему. Он сочиняет исключительно одноходовки. Он экстрагирует из любимых книг, из мирозерцания целых эпох, из философского словаря зацепившие его идеи, символы, вымыслы, а затем ищет им новое воплощение или метафору и в лучших своих рассказах, этюдах (вроде «Вавилонской лотереи» или «Сна Кольриджа») находит поистине гениальные. Структуры же у Борхеса остаются только объектами

описания. Я думаю, именно такой подход и позволил Борхесу, при его общих установках, которые впоследствии назовут ПМ-скими, все же сыграть в разных вещах в разные игры — в достаточное их число, чтобы получился отдельный, его собственный литературный мир. Хотя и не избавил его совсем от довольно монотонных повторений. И на мой взгляд, первое русскоязычное издание (в серии «Мастера современной прозы») оказалось для Борхеса репрезентативным как никакое последующее: там не было пропущено почти ничего из лучшего и важнейшего и не было совсем ничего лишнего. А вот трехтомника Борхес уже не держит. То и дело ловишь себя на мысли, что читать приходится по энному разу одно и то же. С обычным, в меру расплывчатым прозаиком это проходило бы спокойно. Но когда много Борхеса — его смысловая сгущенность почти до уровня афоризма начинает работать против него.

Открытый миру читатель моего поколения не любит Борхеса просто не может. Потому что Борхес первым назвал нам множество вещей, о которых мы до того и представления не имели. Потому что научил думать как-то иначе, чем мы умели прежде, — если не мнить при этом, что заодно и связал всех поголовно директивной думать так, и только так. За великолепную провокативность: с его подачи сам уже который год составляю bestiарий — и еще издать его когда-нибудь надеюсь, с подходящими картинками, для детей. За то, что до сих пор испытываю радостное удивление, обнаружив: некий сочинитель или исторический персонаж, по поводу которого был уверен: Борхес его выдумал, — существовал не только на борхесовских страницах. И не исключаю: вдруг однажды скромно появятся среди красиво оформленных книг (да хотя бы в списке готовящегося к изданию) выпускаемой ныне «Личной библиотеки Борхеса» «Проблемы одной задачи» Пьера Менара или «Апрель Март» Герберта Куэйна. И мне он еще дорог тем, что при всей своей высокоучености всегда отлично чувствовал, где лежит грань между филологом, историком, библиографом, литкритиком — в каковых обличьях он вроде бы постоянно представлялся, — и писателем, коим он всегда оставался. Замечательный стилист в любых своих текстах, Борхес безусловно недоступен для подражания. Ибо ему принадлежит патент отнюдь не на тот философский, исторический, литературный материал, который он эксплуатирует, а на самый тип подобного короткого рассказа или рассказа-эссе, с особой интонацией, с особой скоростью движения.

The Blue Effect And The Jazz Q Prague «Coniunctio»

(Во чехи давали в семидесятые! Я бы поместил эту забытую пластиночку в десятку лучших дисков европейского джаз-рокового авангарда.)

Мне доводилось читать кое-каких отечественных авторов, пытающихся работать в манере емкой безыроничной интеллектуальной притчи. Дело их заведомо обречено на провал. Будь у них материал хоть чукчанский — максимально далекий от зоны борхесовского обзора, — не спасает, пары абзацев довольно, чтобы произошла маркировка и возникло унылое ощущение вторичности; а зачинные истории насчет попавшей в руки автора книги, где обнаруживаются неплановые страницы с повествованием об удивительных событиях, да и вообще начальные описания документа, который якобы содержит нижеследующий текст или дает повод к размышлениям, будут, я думаю, смотреться перепевами из Борхеса как минимум ближайшие лет сто, покуда не растратят совсем коннотативный потенциал и не станут опять, как были до Борхеса, общим местом.

Еще раз с благодарностью припомнив Борхесу неписание романов, задумаемся, что он ведь немало рисковал. В ситуации, господствующей в европоцентричной литературе, когда «единицей измерения» писателя является почти исключительно роман, никакая новизна, оригинальность, глубина открытый не гарантировала сочинителя текстов-коротышек от забвения или в лучшем случае от статуса чудака маргинала наподобие милого сердцу Борхеса Натаниела Готорна. Разумеется, Борхес по праву считается не просто писателем сре-

ди других, но одной из самых веховых фигур культуры двадцатого века. Но, быть может, доля случайности в том, что культура уходящего столетия стала довольно решительно поворачивать на борхесовские рельсы, куда значительнее, чем мы предполагаем.

Зато следующее поколение, покотившее в том же направлении, первым делом научилось фактор случайности, удачи-неудачи из своей литературной судьбы исключать вовсе.

Когда в 1989 году упала на нас птицей Рух первая ласточка постборхесовского романизма — написанный за девять лет до русского перевода роман Умберто Эко «Имя Розы», — комплекс неполноценности российских литераторов (а я полагаю, что у честного русского литератора комплекс такой должен быть непременно, но не потому, что он совсем плохо пишет — бывает и ничего, и потом, нынешние европейцы в массе своей пишут еще хуже, — а оттого, что мировому культурному потребителю навязывается представление о России как о глубочайшей провинции, откуда временами, просто в силу многомиллионного населения, доносится что-нибудь более-менее интересное, главным образом по части классической музыки, — но в целом она стоит внимания не больше, чем любая второразрядная африканская страна; положение унижительное, и непонятно, как его поправить, ведь в силу многих исторических причин слово русского литератора не бьет сразу по мозгам в духе Милорада Павича, к нему нужно прислушаться, — кто же в современном мире станет прислушиваться?) — так вот, комплекс неполноценности российских авторов обострился не столько из-за художественных достоинств первого добравшегося до нас ПМ-ского романа, сколько из-за невиданной и даже как бы невыносимой у нас жесткой волевой установки автора, благо в комментариях к «Имени Розы» Эко историю написания романа и свои принципы подробно рассказал. Вдруг обнаружилось, что вовсе не обязательно подставлять свои хилые писательские плечи — не казенные! — под все грехи и беды мира, без чего творчества здесь по традиции себе не представляли; не обязательно во всем доходить до самой сути, ночами квасить водку, терзаясь сомнениями — до той ли дошел, а утром пугать жену с детьми: ох, соберусь-соберусь, сяду за ремингтон и выстукаю всю про вас правду-матку как она есть. Не обязательно даже описывать всякие ужасы и гадости, чтобы казаться современным. Вот ведь итальянец: подумал, оценил культурный ландшафт, точно вычислил, чего не хватает и как должен выглядеть роман, который всем окажется нужен. И не промахнулся. И было известно, что создается гениальный мировой бестселлер, задолго до того, как он поставил финальную точку.

If «If 2»

Понятно, что из России — в частности, по уже приведенным выше причинам — радовать мир плановыми бестселлерами затруднительно. Но интересно, что на внутреннем фронте никто у нас не воспользовался открытой Эко формулой успеха и своего романа, «написанного историей», совмещающего увлекательное романическое повествование с популярным историческим изложением и прямыми компиляциями из текстов эпохи, у нас, насколько мне известно, не обрелось — несмотря на то что от маркированности, ощущения вторичности, в данном случае в большом тексте, скорее всего удалось бы уйти. (Может быть, В. Шаров действовал на таком направлении, но уж больно узким кругом востребованы его произведения; а я подразумеваю увлекательность, способную обеспечить массовый интерес.) Полагаю, дело не в том, что мы не ахти умеем сочинять (в узком смысле слова) — хотя тут и правда наше слабое место. И в конце концов, почему надо придумывать непременно детективную, с жесткой схемой, фабулу? Фабулой могла бы быть и биография. Русская история знает биографии, которые дадут сто очков вперед выдуманному авантюруному или мистическому сюжету (навскидку: княжна Евпраксия Всеволодовна, выданная замуж за главного европейского сатаниста императора Генриха IV, — за нее брался романист Сегень, но с предсказуемым результатом; или семнадцатого века

виршеплет и самозванец Тимофей Акундинов). Скорее, испытывая такое давление действительности, какое итальянскому медиевисту и в страшном сне не приснится, мы подсознательно цепляемся за какие-то свои корни и нутром чувствуем, куда нам лучше не соваться — все равно хорошего ничего не выйдет. Недаром даже сегодня, когда все вроде бы на продажу, никто не осуществляет очевидно выигрышного хода: писать в манере Уэлша на отечественном материале — откровенного плагиата тут было бы также очень легко избежать, в любой стране есть свои наркоманы и футбольные болельщики, свои аргы, фени. Вот верю — когда-нибудь это еще зачтется нам в большой плюс. Однако ни в коем разе не имею в виду, что наша стезя — тексты непременно бесформенные, расплывающиеся, лишенные несущих конструкций.

Как бы там ни было, следующего романа Эко ждали с нормальным потребительским нетерпением: чем на сей раз удивит модный (а в тогдашнем нашем представлении чуть ли не самый модный на свете) писатель. О читательском ожидании весьма ярко говорит тот факт, что образовалась даже издательская гонка и первым, обгоняя нормальный, явился какой-то полупрофессиональный перевод в полупиратском издании. Удивить «Маятнику Фуко», пожалуй, удалось. Но впечатление книга оставила странное. Теперь, когда уже опубликованы переводы некоторых других, более ранних и хрестоматийных для мирового ПМ-а текстов, можно оценить «Маятник» как своего рода реверанс в сторону американской, «кампусовой» ПМ-модели, в сторону Джона Барта. В «Имени Розы» у Эко было две встречнонаправленных прагматических задачи. Первая — чтобы из интеллектуальной среды вышел роман, способный привлечь внимание не одних лишь сугубых интеллектуалов. Вторая — вернуть «отпавшего» интеллектуала в состояние «нормального» читателя, способного не только рефлексировать над книгой, но и искренне увлечься повествованием. И надо признать, что Эко справился с обеими (чему лучшее доказательство — факт постановки по роману фильма в Голливуде: единственной, насколько мне известно, коммерческой экранизации произведения ПМ-литературы), сделавшись, на мой взгляд, единственным писателем, реально осуществившим пресловутую многократно декларировавшуюся теоретиками ПМ-а тактику «двойного агента». За что, в сущности, и был сразу же причислен к бессмертным, и теперь книги Эко в Италии продают в супермаркетах (видел своими глазами, но справедливости ради стоит отметить: Италия и Россия — не одна земля; там, например, в супермаркете, напротив прилавка с лангустами и колбасой, можно найти даже издания современных итальянских поэтов). Разумеется, добившись такого статуса, за судьбу второго, как и всех дальнейших романов, Эко мог уже не опасаться и строить их исходя из внутренних своих побуждений и предрасположений. «Маятник Фуко» куда более отвечал запросам интеллектуалов-литературоведов, авторов диссертаций, нежели широкой публики. Метод-то, в принципе, остался прежним. Роман линейный и структурируется сюжетом, но сам сюжет таков, что дает возможность наращивать словесную плотность за счет огромного количества исторических материалов, в том числе и готовых текстов, зачастую не подвергая их иному художественному преобразованию, кроме самого включения в структуру. По памяти, по отстоявшемуся впечатлению — эдак добрая четверть «Маятника Фуко» есть популярное изложение истории крестовых походов. Однако в «Имени Розы» таким сюжетом был детектив. А детектив — штука приземленная, к реальности «первого порядка» отсылает с необходимостью, он просто не увлечет, если преступник, сыщик, жертва, преступление не будут «как настоящее». Сочинить можно, наверно, что угодно и развернуть детективное действие хоть в кукольном театре или среди персонажей «Винни-Пуха», но вряд ли при любой изощреннейшей игре ума подобный детектив окажется самоценным, ибо здесь центром тяжести неминуемо станет эксцентрика, сам выбор героев — деревянных и плюшевых; на этом в супермаркет точно не въедешь, разве по разряду детской книги.

John Zorn, «Masada» № 7 «Zayin»

В «Имени Розы» Эко вынес идеологически важные для ПМ-а разборы внутри треугольника текст — герой — автор (кто говорит? кто пишет?) за рамки сочинения. Но поспешил разъяснить публике, что они ему ни в коей мере не чужды, посвятив им обстоятельный и интересный автокомментарий. В «Маятнике Фуко», уже не имея нужды заигрывать со всеми сразу, он поступает так, как положено в ПМ-е по уставу, загоняя в текст ситуацию создания текста (правда, с какой-то осязаемой нерешительностью, будто несмотря ни на что все же лелеет надежду, что и этот роман возьмется экранизировать Голливуд!). Теперь уже не сюжет становится структурой, но структура — сюжетом. Получается ценящаяся в ПМ-ской литературе парадоксальная петля: роман «Маятник Фуко» есть, в сущности, роман о том, как создается структура этого романа. Для решения этой формальной задачи (у такого построения есть своя смысловая нагруженность, даже ансамбль смыслов, но обозначены они вне текста, в мировоззренческих высказываниях ПМ-ских теоретиков, — что, однако, не выводит «Маятник Фуко» из разряда *литературы вымысла*, поскольку ПМ-теория как бы постоянно подключена к обще-ПМ-скому интертексту) Эко возводит сложную и громоздкую конструкцию, в которой сведение концов с концами порой совершается путем натужных подтяжек и довольно грубых сюжетных скреп, отчего отдельные моменты становятся вообще невняты. Тут можно возразить: литература — занятие игровое, подлинная цель романа — именно построение петли, и маскирует эту цель автор разве что для профанов, а для них любые натяжки сойдут, в то время как настоящему эстету нет дела до жизнеспособности; от романа не требуется, чтобы в него верили, источник удовольствия при чтении — остроумие, с какими автор разворачивает саму сложную структуру. Однако это точка зрения исключительно «изнутри» и пригодна лишь для того, кто заведомо принимает установки, предположительно совпадающие с авторскими. Человека «извне» — меня, например, — сначала надо в эту игру втянуть, а то выходит, как предлагал в три года мой сынишка: давай поиграем, только я всегда буду выигрывать! В «Маятнике Фуко» такую роль должна была выполнить тематическая доминанта — оккультизм и магическая власть над миром. Не выполнила. Не хватило все того же всячески дискредитированного жизнеспособности. Либо же — напротив — безошибочно выбранной меры условности. А в итоге с теплым чувством вспоминался Борхес, по всей видимости понимавший ясно: далеко не все из того, что в принципе в литературе возможно, нуждается в полномасштабном осуществлении; многие вещи хорошо изобретать в общих чертах и в общих чертах описывать.

Третий роман Эко — не так давно изданный «Остров накануне» — уже не удивляет, а обескураживает. Самая общая идея как будто та же, что и в «Маятнике», и восходит, конечно, к Борхесу: отсутствие границ между литературным вымыслом и действительностью; вымысел становится реальнее действительности и замещает ее. Однако прежде, даже в «Маятнике», не говоря уже об «Имени Розы», Эко удавалось достаточно энергично толкать действие вперед. Теперь все очень вяло. Эпоха — барокко, семнадцатый век, даже совершенно точно 1643 год. Сюжет: силою обстоятельств молодой дворянин, Роберт, отправляется на иностранном корабле в Тихий океан. Цель его путешествия — он вообще-то шпионит в пользу кардинала Мазарини — связана с нерешенной тогда еще проблемой определения географических долгот, без чего морская навигация была, понятно, более чем приблизительной и даже открытые однажды земли часто не удавалось отыскать повторно, что никак не устраивало европейских монархов, желавших новых колоний. Разумеется, проис-

¹ По «Маятнику Фуко» действительно планировалось ставить картину ни много ни мало Стэнли Кубрику. Однако сценарий для своего фильма он хотел писать сам, на что Эко не согласился.

ходит крушение, в результате которого герой попадает на необитаемый — не остров, а корабль. Необитаемый этот корабль, собственно, возникает в первом же абзаце. И сердце мое, признаться, замерло, как у маленького мальчика, в том сладчайшем предчувствии, которое с ностальгией вспоминали Борхес и Набоков: неужели вот я держу в руках роман, о каком мечтал, пожалуй, всю свою читательскую жизнь, в который готов прямо сейчас, забыв обо всем, окунуться с головой, ибо с детства меня занимает, почти завораживает дерзкое и безумное время, когда, как точно пишет Эко, куда больше кораблей навечно оставалось в океане, нежели возвращалось в порты, фантастическое время со всеми его тайнами и мифами — летучими голландцами, морскими змеями. Да достаточно просто подать мне его, приукрашенным в интересах писателя и романной авантюры, — а вроде бы кто, как не Умберто Эко, историк, знакомый со множеством текстов и документов, умеющий тщательно реконструировать детали (вон с какой любовной дотошностью распланировал монастырь в «Имени Розы») и опираться на них интригу, ценитель необычных, малоизвестных фактов, странных концепций, непредсказуемых поворотов сюжета; кто, как не он, на это способен, — чтобы я наперед простил романисту любые частные неудачи, которых все равно не замечу.

Дудки.

Корабль никуда не плывет.

Sonny Stitt — Bud Powell — J. J. Johnson, Sessions 1949 — 1950

Он стоит в бухте. Команду ходульно сожрали ходульные дикари, а затем удобно исчезли, поскольку уж острову-то романному от века Робинзона Крузо предопределено быть необитаемым. От нечего делать Роберт, естественно, сочиняет, причем главное действующее лицо этого сочинения — выдуманный им еще ребенком его двойник, злодей, зеркальное отражение. Посредством литературного двойника Роберт в конце концов соединяется с возлюбленной, которую живые не поял. Появляется на время у Роберта и товарищ по несчастью, прятаящийся в трюме вполне жюль-верновский чудак ученый. Но ученого автор так и не наделит какой-нибудь действительной функцией, а, заставив проговорить изрядное число страниц словами, заимствованными из барочных натурфилософских трактатов, и выполнить пару клоунских падений, в своем месте благополучно умертвит путем отправки к острову в воздушном колпаке пешком по морскому дну. Роберту тоже хочется на остров. У него и на борту достаточно еды-питья, однако он имеет интересы, связанные с возможностью попать одной стопой полночь нынешних суток, другой — предыдущих, вытекающей из того, что они с ученым вообразили, будто по «их» острову проходит нулевой меридиан. Но плавать герой не умеет. Ближе к финалу научается — и сразу натывается на ядовитую рыбу. В конце концов, когда его роман будет завершен, причем таким образом, что вберет в себя и его наличное положение, Роберт запалит корабль, прыгнет в море, и течение повлечет его неведомо куда.

Игровое поле, которое здесь выбирает себе Эко, — приписанное барочному человеку «мерцание» сознания, ежемоментное взаимопроникновение в его мировидении, в его рассуждениях реального и символического. Единственный действительно яркий сюжетный ход связан с теорией «лезвейного магнетизма», согласно которой, воздействуя тем или иным способом на лезвие, рану нанесшее, можно вне зависимости от расстояний беречь либо лечить саму рану. На разбившемся корабле держали раненую собаку, в то время как агент в порту отправления в строго установленный час разогревал ранивший ее клинок на огне: так надеялись поверять корабельные часы, неточность хода которых и являлась главным препятствием в определении долгот. Данный секрет Роберт и был послан выведать для французской короны.

Примерно треть романа — рассказ об осаде города, в которой Роберт принимал участие (с внутренней стороны стен), до того, как начались его приключения на воде. Куда как короче рассказ о плавании по Тихому океану, а

жаль, потому что в романе он — самое живое место. Уже на последних страницах — фантастические фрагменты из Робертова сочинения о прикованном к скале Иуде, единственном бесконечно длящемся дне, похищенном Христе и неискупленном мире (все базируется на парадоксальном свойстве нулевого меридиана), их хочется пролистать и побыстрее добраться до конца. Впрочем, в конце ничего особенно интересного тоже не будет.

Я надеялся: перечислю, из чего «Остров накануне» сделан, — и краткое изложение скажет само за себя. Но теперь вижу — нет, не получилось. Перечисленное позволяет вообразить роман довольно увлекательным, каковым «Остров накануне» ни в какой мере не является. Структурная, формальная задача есть, есть поднадоевшая уже петля: герой сочиняет роман, который становится основой романа о герое. Только если в «Маятнике Фуко» Эко структурные ячейки как-то заселял — всякими неприятными персонажами, адептами оккультных доктрин, — здесь они просто забиваются квазибарочными текстовыми коллажами — десятки, сотни страниц. Большая их часть для динамики романа, для разворачивания действия никакого значения не имеет — или имеет прямо негативное, поскольку и динамику и действие разрушает (к условно «медленной» прозе, где текст способен своей тяжелой поступью, протапываниями на одном месте даже бороться с формальной структурой, «снимать» ее, на чем построено, например, великолепный «В лабиринте» А. Роб-Грийе, роман Эко, конечно, никак не относится).

В этой словесной массе читатель обречен *задним числом* разыскивать, как алмазы в кимберлите или более нашему сердцу дорогие жемчуга в компосте, некие указатели и направляющие — мысли, рассуждения, представления героя, встреченных им людей, всей эпохи которые в результате и прокидывают Роберта из действительного (и убивающего) мира в иной план бытия, из тесной человеческой ипостаси в блистающую литературную и символическую. Только они погребены и совершенно не работают, куда движешься по книге в первый раз. А восстанавливать их, оглядываясь назад, тоже никакого прока — потому что уже не ждешь ничего, уже знаешь, что общий результат неудовлетворителен, что слеппен роман, как у студента Литературного института, с эдаким залихватским отсутствием у автора сколько-нибудь критического взгляда на себя. К тому же, я полагаю, даже читатель с основательно ПМ-ской подготовкой и трехметровой высоты лбом по-человечески огорчается, когда вроде бы пообещали ему в романе отважных путешественников, коварных пиратов и разнообразные чудеса, а оделили очередной вариацией на тему треугольника автор — текст — герой.

Но дело в том, что интер- или гипертекст, нарративность-коннотативность своим чередом — а пираты с чудесами все равно быть обязаны. В чем и заключалась раньше самая привлекательная (во всяком случае, самая многообещающая) ПМ-ская фишка, на оной как раз и Умберто Эко впрыгнул в классики.

А в «Острове накануне» видится весьма показательный пример новых ПМ-ских тенденций. Потому что и пираты, и чудеса, и все, чего мне не хватает, в романе определенным образом имеется. Все это *заявлено* — самым выбранным антуражем. Заявлены и яркие, весомые, продуманные сцены, которые должны располагаться в структурных узлах. Под них словно бы выделено смысловое пространство. Так же, как под хитросплетения с именами действующих лиц, которые обязательно куда-нибудь вне текста отсылают и на что-нибудь намекают, — переводчица Е. Костюкович в предисловии к роману называет это не меньше как «сложным и потаенным лингвистическим сюжетом». Откуда взялось имя главного героя? Да какая вам разница, если вы не пишете об Умберто Эко литературоведческих монографий, откуда оно взялось и что его можно рассматривать как вариант имени «Робинзон Крузо», когда и без того ясно, что Роберт — в своем роде Крузо, а ничего более в романе на имени не строится и на имя не опирается? «Названия глав этого романа (что мало кто замечает), — пишет Е. Костюкович, — являют собой каталог тайной

библиотеки». Почему тайной? Почему каталог? Книги, с которыми корреспондируют названия глав, как правило, имеют ту же тематику, что и компилированные рассуждения этой главы. Никакого осмысленного ряда перечень этих названий собой не представляет. Сами книги, равно как и какая-либо библиотека, тайная или явная, в романе не возникают. Короче, нет ни лингвистического, ни библиографического сюжета, обещанного переводчицей. А вместе с тем как бы и есть. Потому что заявлены. И весь «Остров накануне» — это не проваленная заявка, а заявка, которую никогда и не собирались всерьез осуществлять. Мы снова имеем дело с приемом, отлично нам знакомым, с литературным вариантом того, что Лейбниц применительно к математике назвал определением *per generationem*, — сиречь задание объекта посредством понятия о способе его построения. По сути, «Остров...» — новелла, описание сюжета в борхесовском духе, и лучше бы ему оставаться борхесовских габаритов. Вот мы и докопались, в чем состоит поставленный Умберто Эко в его третьей книге литературный опыт: он умудряется растянуть новеллу на пять сотен страниц, практически ничего существенного, кроме аморфной текстовой массы, к ней не добавляя, и все же добившись какого-то впечатлительного цельности. Пожалуй, и способ был для этого один-единственный: элементарный, унылый концептуализм, в котором заявка приравнивается к ее успешному осуществлению. Вероятнее всего, тут самостоятельный интеллектуальный ход известного романиста. Однако другой, постоянно набирающий очки писатель по-своему, с другими целями пашет в чем-то сходную «заявочную» ниву уже довольно давно. В России сегодня его фигура застит полнеба.

Jansen — Barbieri — Takemura, «Changing Hands»

(Красота! Опять три часа ночи. У меня второй день дурацкий грипп: без температуры, но с ознобом. Надо бы остановиться и полежать недельку с книжкой на диване. А я все еще не понимаю, куда мои заметки меня выведут и чем мне их заканчивать. Еще — ох, даже стыдно, наплюет мне, чувствую, в глаза страдающая-голодающая Расея — я должен покупать автомобиль. Он, ясное дело, дорого стоит, требует много забот и впоследствии ввергает в значительные расходы. Машина нужна, чтобы с будущей осени возить ребенка в школу. По новым постановлениям детей в школу надо отдавать в шесть лет. Десяти годов обучения, обнаружилось, недостаточно — двенадцать необходимо ваньку валять за партией. И выпуск — прямо в их позорную, подневольную, дармовую армию. Как раз до осени мне худо-бедно научиться рулить. Но пока в автомобильных делах я не понимаю ровным счетом ничего. А приобрести машину, как выяснилось, целая наука, если не хочешь выбросить деньги на ветер. У сослуживца жены конфисковали старенький джип, на котором тот проездил три года, — вдруг оказался джип в розыске Интерпола. Так что завтра с утра тащиться мне на randevu с опытным человеком, за советами — приятель один устроил. Да я вообще не покупатель! Я терпеть не могу все, что с этим процессом связано. На жену бы переложить: сама разбирайся, ищи механика, давай объявления — и катаясь потом сама. Она отказывается... Она отказывается, а мне, гриппозному, землю бодая рогами, ковылять...)

Вряд ли общий тираж всех переведенных на сегодняшний день в России произведений Павича превышает тираж одного кирпича какого-нибудь Фридриха Незнанского. Да и по разряду интеллектуальных бестселлеров Павич, полагаю, приблизительно на равных потягается с Пелевиным. Но популярность Павича совсем иного рода. С Незнанским, как и с любым другим подобным собирательным (или не собирательным) персонажем, в принципе, все ясно: они занимают вполне определенную нишу, выполняют то, чего от них ждут, и ни на что другое, кроме денег, не претендуют (будем по крайней мере надеяться). Из Пелевина СМИ делают модного литератора — однако не делают культового (очень показательно: когда Пелевин наконец-то дает хулиганское интервью журналу «Вог», журналистка чуть ли не третьим вопросом интересу-

ется у писателя-радикала, где он приобретает шмотки: культовому деятелю — даже если он не писатель, а рок-музыкант или актер — такого вопроса никак нельзя адресовать, ему по определению не до мишуры, ему отведены в массовом сознании куда более важные задачи). Поскольку слово «модный» почти ничего не означает, оно всех и устраивает, позволяя Пелевину существовать как бы отдельно от нынешней русской словесности, а словесности — от него. Ну и ладушки. А в это время, стоит отступить буквально на шаг от старых добрых толстых литературных журналов в сторону СМИ — газет, журналов глянцевого, Интернета, — как тень Милорада Павича, парящего в сером славянском небе, зажавши в зубах «Хазарский словарь», начинает маячить в перспективе подавляющего большинства суждений о современной некоммерческой русской прозе. Тип дискурса (пускай не всюду приведенного к речи, но легко восстанавливаемого из окольных высказываний): ну что вы пыжитесь, зачем?! Ведь дадена уже вам Книга! Все одно, рядом с нею даже лучший из вас заведомо скучен, как жизнь рядового сорокалетнего инженера, и плосок, как рыба камбала. Раньше такое же место — идеала-пугала — занимали у нас Платонов и Набоков. Но они не совсем подходили, потому что ежедневно сравнивать живущих современников с неживущими классиками, каковых к тому же в ранг классиков назначили не журналисты, а время, — как-то глупо, и даже глянцевики обозреватели не чувствовать этого не могли. А вот Павич — по крайней мере тот Павич, что создан всецело журналистами, — отлично годится. Тем более, что и процесс его ускоряющегося бронзовения журналисты, казалось бы, крепко держат в своих руках (не замечая, что Павич еще крепче держит в своих — самих журналистов).

Метод «делания» супер-Павича очевиден. Мифологизируется абсолютно все, что до писателя касалось, — от расчесывания волос его женой до предметного, книжного воплощения сочинений самого знаменитого со времен Гаврилы Принципа серба («У одного моего приятеля из Сараево, — сообщает Павич в интервью, с которым, собственно, мы и будем разбираться ниже, — во время войны в Боснии сожгли всю библиотеку, уцелел только «Хазарский словарь», он привез и подарил его мне — ни одно слово не пострадало. А это видите? Мое имя сгорело»). На таком возбужденно-таинственном фоне из статьи в статью, из рецензии в рецензию переползают яркие жанровые определения-ярлыки его книг. Потенциального читателя эти заявки еще до всякого чтения вводят в состояние ожидания встречи с чем-то неведомым, подобного чему не бывало еще. Никогда. Ни у кого. Нигде. Газетные утверждения, будто Милорад Павич есть главное культурное событие двадцатого века, приводятся на обложках павичевских изданий. Но и этого мало. Когда я наткнулся в журнале «Новое время» (1999, № 36) на статью-интервью Е. Егеревой, посвященную новому роману Павича «Письменный прибор», уже из подзаголовка которой узнал, что Павич является также и автором первой книги века двадцать первого, — сделалось не по себе: как-то неловко даже общее небо коптить с титаном, единым махом оплодотворившим два столетия.

Та часть статьи, что принадлежит перу обозревателя, аккумулирует буквально все, что обычно по поводу Павича и его книг повторяется:

1. У Павича нет биографии, есть только библиография.
2. Павич написал роман в 100 тысяч слов «Хазарский словарь», читать который можно 2 миллионами 500 тысячами способов.
3. Роман-кроссворд «Пейзаж, нарисованный чаем» читается по горизонтали, по вертикали, по любовным историям, по темам и т. д.
4. Роман-часы «Внутренняя сторона ветра» следует читать полтора раза, и конец его в середине.
5. Есть у Павича и пьеса-меню, где читателю предлагается самому выбрать блюда и составить собственное меню текста.
6. «Хазарский словарь», существующий в компьютерной версии, можно читать, перемещаясь по истории хазарской полемики, как по Интернету, с помощью мышки в индивидуально выбранном направлении. Пособия к тексто-

вым редакторам в данном случае становятся ключом к его книгам, складывающимся в один огромный текст.

7. Павич первым ввел в литературу понятие виртуальной реальности.

Ну, лозунг номер один мы с легким сердцем вычеркиваем: это штампованный рекламный слоган, который кем только из писателей в последние полвека не повторялся. А вот остальные достойны обсуждения. Уже тем, с каким упорством в них игнорируются действительно очень сильные стороны писателя Павича. Скажем, его неоспоримый талант в области вурдалачной атмосферы жутковатых повествований с соответствующими персонажами и атрибутикой; или чрезвычайно меткие порой попадания во вполне дзэновское никуда емких, афористичных высказываний-коанов («Внутренняя сторона ветра та, которая остается сухой, когда ветер дует сквозь дождь»; не говоря уже о «поколениях, застигнутых сумерками», ставших выражением нарицательным). Зато всячески выдвигаются на первый план другие моменты: вроде участия Павича и присужденного ему журналистами лидерства в гонке за одной из самых известных культурных химер конца столетия. Призрак бродит по ПМ-у, призрак гипертекста!

«„Для меня постепенно стирается различие между романом и архитектурным сооружением. Мы приблизились к закату романа как дороги с одностронним движением. Гиперлитература показывает нам, как роман может развиваться подобно сознанию в нескольких направлениях. Я оставил читателям самим решать: где роман заканчивается, даже решения о судьбе главных героев”, — говорит Павич, предугадавший (это уже комментирует Е. Егерова. — М. Б.) в своих произведениях 80-х годов структуру гипертекста Интернета».

Орландо Лассо, «Плач Иеремии»

Под гипертекстом (мне кажется, стоит обозначить, что точно я имею здесь в виду, — в нынешнем понятийном разброде вероятны и весьма далекие от моей трактовки мудреного слова) подразумевается текст, организованный таким образом, что из некоторых его элементов возможен алеаторический (по выбору читателя) переход сразу на несколько других элементов либо возможны ссылки на другие элементы этого же текста или других текстов. В результате идеальный, «чистый» гипертекст не разворачивается от начала к концу, то есть всякий его элемент теряет ту составляющую своего «веса», которую в тексте «линейном» ему сообщало расположение на оси развертывания: ну, например, пропадает понятие «кульминационного момента». Такая организация, такой способ предоставления информации действительно подобен тому, как информация «упакована» для пользователя в компьютере и в компьютерной сети. На гипертекст имеется довольно острый спрос, исследованием корней которого заняты многие культурфилософы. Итогом их деятельности стала мифологизация «словаря» как наиболее адекватной сознанию человека в эпоху информационного взрыва структуры. Такое мнение не беспочвенно — недаром словари и энциклопедии стали сегодня очень популярным чтением. Однако это еще не превращает автоматически словарь в роман.

Мне приходилось не раз слышать от людей интеллигентных и вплотную занимающихся компьютерами, программированием, Интернетом, что стоящая книга обязательно должна читаться с любого места. Как Павич? — спрашиваю. Как «Хазарский словарь»? Нет, не как Павич. Не встречалось им пока такого романа. Но мечтают о нем. Однако на мой вопрос, а зачем непременно с любого места, что же так безнадежно устарело в обыкновенном, линейном развертывании (ведь термин «линейный» — просто обозначение, что остаются начало и конец, да и те могут совпасть: каких только не бывает в этой «линейности» петель, спиралей, циклоид, клоатоид; а нынешние «нелинейщики», вроде бы совершив революцию, отпуская начала-концы в свободное плавание, утвердили не столько новый тип романа, сколько свое право объявлять романом любой «нелинейный» текст), вразумительного ответа добиться пока не удалось. Ну, оригинально. Да, ссылаются на специфическое изменение вос-

приятия прежде всего у людей, чья интеллектуальная деятельность осуществляется полностью и только в Интернете. Одной оригинальности все же явно недостаточно, чтобы всерьез связывать именно с гипертекстом будущее литературы. Ну а что касается трансформаций сознания... Не следует все-таки забывать, что «компьютерной эре» не исполнилось еще и двух десятилетий. Оно, конечно, миллениум, чего угодно можно ожидать. Но я поостерегся бы от чересчур решительных прогнозов. Или, наоборот, почему бы не предсказывать еще решительнее: вдруг, например, тотальный поворот культуры в сторону мигающих картинок лет за сто так оболванит человека, что тому уже всякий сколько-нибудь сложно организованный словесный текст (словарь, кстати, в этом плане весьма прост, почти примитивен, и всегда открыт к еще большему упрощению, что хорошо доказывают всякие CD-гом'ные энциклопедии) окажется вообще не по зубам. Можно и сегодня отыскать порядочно людей, которые рубль и Уголовный кодекс еще худо-бедно прочли, а вот тридцать два тома «Муму» уже не одолели. И ничего. Некоторые даже служат. Даже на ответственных постах.

Казалось бы, гипертекст созрел, как перенасыщенный раствор: кинь заправку — и начнут выпадать кристаллы. Как бы не так. Никакого обвала являющих читателю принципиально новое видение мира и литературной материи гипертекстов не наблюдается (разве что загадочный киберпанк здесь произнесет еще свое взрывное слово). Наиболее убедительное гипертекстовое и по духу и по букве из известных мне сочинений написано в «провинциальной» России в период, когда компьютер оставался еще диковинкой, игрушкой для богатых, а Интернет проходил разве что по американскому военному ведомству².

Это «Бесконечный тупик» Галковского. Тут действительно не существенна фиксация позиций конца и начала, книгу формально можно читать откуда угодно — чему, однако, автор, к чести своей, никакого особого значения придавать не пытался. Форма комментариев к вынесенному за скобки «основному» тексту, комментарий к комментариям и т. д. позволила Галковскому свободно компоновать разнохарактерные фрагменты: философские рассуждения, парадоксальные реконструкции истории, собственные воспоминания, речь с исповедальной интонацией — а читателю, вполне по проекту Павича, словно бы следовать за живым мышлением. Несомненно в передаче живого, фрагментарного, «прыгающего» мышления, то надолго оставляющего некоторую тему, то возвращающегося к ней опять и опять, заключалась для автора и концептуальная, и художественная задача — недаром «Бесконечному тупику» премию Антибукер присудили как художественной прозе. И нужно признать, что форму в свете своих задач он выбрал безошибочно. Обращение к гипертексту здесь полностью оправдано — структура комментария действительно «раздвигает», «держит» колоссальную текстовую массу, обеспечивает ей необходимые разделяющие пустоты, не дает потеряться, перепутаться множеству ветвящихся смысловых линий, которые утонули бы в тексте, будь он организован только по линейному принципу, как поток сознания. Но вот что любопытно: «первичное» разворачивание текста происходит все-таки линейно. Мысли, записи расположены последовательно, как будто по течению времени, заносятся одна за другой, как в дневник: эта вчера, эта сегодня, — и только вторым порядком размечаются как комментарий, помещаются в гипертекстовую структуру. Именно напряжение между линейностью и гипертекстом здесь работает. Стоит от линейности отказаться вовсе, расставить, например, фрагменты по принципу А, за ним Б, комментирующий А, за ним В, комментирующий Б, — а такое преобразование «чистый» гипертекст вообще не замечает, остается равным себе — и книга расслоится на пласты более-менее скучных рассуждений и жалоб на судьбу.

² О барочных «гипертекстах», как и барочных корнях Милорада Павича, я говорить не могу — не специалист.

Я считаю, если у «чистого» гипертекста как художественного явления и есть какие-то абсолютно самостоятельные перспективы, на коих так настаивает Павич, связаны они с осуществлением его исключительно в компьютерном виде и с возможностью сколь угодно широких ссылок на внешнюю информацию. Но нафантазировать конкретно, что и как может получиться, мне не удается. Тут же вылетаешь в дурную бесконечность, и расплывается не только фигура автора (об этом-то в ПМ-е и грезят, хотя гонорары, видимо, получают исправно), но и само понятие художественного явления, ибо что текст, что вещь становятся предметом искусства именно посредством установления границ, «взятия в раму». Положим, гипертекст дает отсылки со ста позиций — на сто разных страничек. Но на каждой из ста будут отсылки еще со ста позиций — и все это теперь также включено в наш гипертекст. И так далее — лавинообразно. В конечном итоге любое гипертекстовое произведение неминуемо сразу вберет в себя весь Интернет — от порнографических сайтов до обзоров Вячеслава Курицына и Сергея Костырко. Чем и придет к самоотрицанию, лишившись всяких отличительных признаков, поскольку того же самого легко добиться, щелкнув мышью все равно по какому выделенному слову или значку на экране монитора. Что, может, и здорово. Но литература тут определенно ни при чем³.

Swans, «Die Tür Ist Zu»

Я вижу, мои отступления становятся все более далековатыми. И неспроста. Павич-то от меня ускользает. Я думал, пропущу серба по снежку в той же лихой манере, как предыдущих своих героев: это он делает так-то и так-то, соединяет новеллки в романы таким вот образом, это выдает за то... Но Павич — не Умберто Эко. Хочешь не хочешь, а пора менять тон.

Есть два Павича. Автор «Хазарского словаря» и автор всего остального, что печаталось под этой фамилией. Второй подбирает и запускает в оборот упавшее от избытка у первого со стола. На текстах второго можно было бы легко осуществить всю мою первоначальную программу — по крайней мере к набору новелл они точно редуцируются без остатка. Но нет смысла. «Хазарский словарь» существует. Ничего не поделаешь.

Боюсь, я теперь знаком со «Словарем» лучше, чем кто-либо другой из живущих и пребывающих в здравом уме, — кроме, конечно, автора и переводчиков. На данный момент я прочел его внимательнейшим образом четыре раза. Сперва естественным путем — когда перевод только появился и о книге заговорили. Затем, когда планировал — как реакцию на откровения Макса Фрая и статью Е. Егеревой — настоящие заметки, которые начал вроде бы достаточно задиристо, а вот сейчас, испытав на себе тяготение «Хазарского словаря», как-то безнадежно теряю цель и направление. Третий заход — я решил Павича проверить и пуститься в предложенные им авантюры, то есть перемещаться в тексте по ссылкам, петлями и зигзагами, произвольно выбирая траекторию, — оказался совершенно пустопорожним. Ну и после десятка неудачных попыток сложить о «Хазарском словаре» сколько-нибудь дельное высказывание мне пришлось взяться за книгу снова — теперь я составлял ее карту. А составив, сообразил: если карта, получившаяся, кстати, довольно живописной, стала единственным существенным результатом моего провалившегося анализа, значит, Павич меня все-таки достал, своего добился, по книге я действительно путешествовал. Но путешествие не было приятным.

³ Совсем в сторону: мне кажется, истинно новый вид искусства, который могут породить компьютерные технологии, не имеет отношения ни к гипертекстам, ни к набившей оскомину и до сих пор совершенно импотентной «интерактивности». Это искусство эволюционное. Создание неких виртуальных объектов, способных самостоятельно развиваться, самоорганизуясь, распадаясь, бифуркируя, — в общем, на сегодняшний день соответствия известным брюссельско-синергетическим моделям. Роль художника — в отведенных ему пределах эволюцию направлять, внося те или иные изменения в виртуальную среду. Настоящая алхимия.

А между тем мне и карта почти ничего не объяснила. Не могу сказать, чтобы с ее помощью «Хазарский словарь» наконец предстал для меня как нечто целое и завершенное — на уровне сюжетных линий, на уровне смыслов. Скорее даже наоборот: если прежде мне казалось, что я просто не удерживаю всего материала, всех внутренних пересечений романа в голове (посмотреть бы на того, кто удержит), но на самом деле там линии к финалу благополучно сходятся, все во всем отражается, главным действующим лицам временного слоя Коэна-Бранковича поставлены в однозначное соответствие их реинкарнации в наши дни, так что при подробном разборе обнаружишь, что роман замкнулся, заглотил свой хвост, — то карта ясно показала: как бы не так! Правда, она помогла найти и прочувствовать некоторые чрезвычайно сильные павичевские ходы: например, историю о том, как шайтан Ябир Ибн Акшани обманул и сбил с пути ловца снов Юсуфа Масуди, поманив его возможностью заглянуть в смерть глазами умершего — вместо того, чтобы выполнять свою подлинную задачу и собирать тело Адама Рухани. Как и многие прочие, история эта завязана на главную «корючку» романа: два персонажа видят друг друга во сне и сны каждого из них ткут явь другого. Чем необычнее, неожиданнее строится книга, тем мне всегда интереснее отыскать в ней отправную точку, ядро авторского вымысла, из которого все потом у сочинителя и развертывалось. Похоже, дополнительность снов и будет таким ядром для «Хазарского словаря». Ее Павич и развивает в невероятно сложную сюжетную структуру романа: так в лучших музыкальных текстах классического периода все произведение выводится из единственного мотива. Набор приемов, используемых для этого писателем, невелик, их можно перечислить, однако очевидно, что к приемам структуру такой сложности не сведешь — она держится другим. Любопытно только, что поднятый на щит как едва ли не определяющий качество и значение книги гипертекстовой принцип играет здесь далеко не главную роль. «Хазарский словарь» является гипертекстом ровно в той мере, в какой и любой энциклопедический словарь со ссылками на свои же статьи. Форма лексикона предоставляет Павичу всего лишь один из многих возможных способов подавать информацию в нужном ритме, отмеренными порциями и по несколько раз возвращаться к одному и тому же, смещая взгляд. Этого вполне можно добиться и в «линейном» романе — такие же задачи, например, стоят перед авторами детективов, к гипертекстам, как известно, не прибегающим. Не слишком трудно представить себе «Хазарский словарь» «вытянутым в линию» — кривую, разумеется, и с кренделями, — так, что все структурные, сюжетные связи сохраняются. Да, собственно, мы так его и читаем.

И почему, интересно, лежащая на поверхности идея романа-энциклопедии никем до Павича востребована не была? Вряд ли просто проглядели. Скорее представлялось, что если уж брать столь вызывающую форму, то ее и делать отправной точкой, загружать полностью: смыслами, структурообразующими функциями. В перспективе обозначался тяжеловесный, как ребенок Розмари, лишенный именуемого жизнью самопроизвольного внутреннего движения артефакт очередного литературного эксперимента. А Павич подчинил словарную форму куда более изощренному замыслу, и ее обязательность в романе мотивируется отнюдь не павичевскими лозунгами о гиперлитературе и одновременном развитии текста в разные стороны — ПМ-ской болтовней, выдающей желаемое за действительное, — но внутри сюжета, самой четырехступенчатой историей собирания хазарских словарей. Вот это и удивительно — что мотивируется. Уже для Павича-второго — вещь невиданная.

Один из моих частых собеседников, чье мнение для меня важно, считает, что гипертекстовое построение в «Хазарском словаре» необходимо, поскольку оно адекватно ситуации растекшегося времени, множественности времен, равно доступных, равно обесцененных, и разлившейся по этим временам нашей обесцененной будущей смерти — ситуации, которую Павич действительно прожил, проживает, которая и стала темой его романа.

Все, что в «Словаре» вроде бы следует отнести на счет вымысла, фантазии, таковой как-то не выглядит (а если выглядит — то сразу никуда не годится: начинаются «воняющие воскресенья», «чесоточные горизонты», зубы на ступнях и прочие натужные ужасы; начинается правое-левое, четное-нечетное, мужское-женское). Особенно это заметно по сравнению с безобидными сочинениями Павича-второго. Там честно человек сидит, трудится, выдумывает...

Отчего мы ожидаем, что «Хазарский словарь» непременно замкнется, что все будет объяснено, все займет отведенное ему место в структуре, которую надо только разгадать, одних и тех же персонажей мы сможем проследить в разных временах, и линии их, пересекающиеся в одном времени, обязательно пересекутся и в другом — а в результате останется у нас в руках благополучный ПМ-ский пшик? Когда я чертил карту, то вообще подозревал, что все основные действующие лица участвуют в одинаковом числе связей: скажем, ровно по четыре стрелочки окажутся проведенными от каждого к другим. Засасываемые вампирическим жерлом все более усложняющейся и ветвящейся, никак почему-то не намеренной смыкаться структуры «Хазарского словаря», мы цепляемся за рассудок и продолжаем надеяться, что все это в шутку — потому что по-настоящему быть не может, — что автор вот-вот уже вернет нам твердую почву под ногами. Предполагаем, что Павич с нами играет. И, значит, есть ему резон путать карты только до некоторого момента, а потом он разложит их в правильном, ясном порядке — иначе как мы оценим красоту игры? Но ничего подобного не происходит. Кто такой доктор Абу Кабир Муавия? Чьей смертью умирает отец Аврама Бранковича? Множество вопросов. Не верится, что Павич, всегда готовый обернуться литературным уроборосом, здесь банально не дотянул. Но вряд ли было главной его целью и просто утопить роман в полном мороке, где нет уже ни сна, ни яви, ни погружения в сон, где даже сны — не сны, но вырезанные на посохе изображения. Такую мутную атмосферу как раз отлично бы оттенила разыгранная в ней строго и до конца шахматная партия структуры. Павич маскируется под игру. Оставленные им структурные «недоговоренности» (возможно, потому они и не дешифруются, что пока еще распечатаны человечеством не все запретные коды) — как колодцы, ведущие из текста в отнюдь не игровые пространства. Сквозит оттуда нешуточно.

Предельно перегруженный, утомительно однообразный в интонации — поскольку даже самые обыкновенные события, речи, действия преподносятся здесь неизменно многозначительно и словно бы с намеком; монотонно-агрессивный по колориту; заведомо требующий для себя таких ресурсов времени и свободной памяти, какими современный читатель не располагает (ну кто станет сегодня, когда даже высоколобая фикшн вынуждена приспособливаться к реалиям и ориентироваться на чтение в метро или в перерывах между выпусками теленовостей, вычерчивать схему романов из простого, не профессионального, любопытства — дабы убедиться в итоге, что это был напрасный труд), а читатель будущего не будет располагать тем более, — «Хазарский словарь» может с полным основанием претендовать на титул самой некоммуникабельной книги всех времен и народов. И хотя в постборхесовскую эпоху писатель, делающий сновидения основой сюжета, уже гарантирован от попадания в полные аутсайдеры, у романа были шансы остаться не прочитанным даже в той степени, в какой он прочитан сегодня и встать на полочку для литературных странностей или для культовых книг полубезумных эзотериков (на которой он, впрочем, так и так оказался). Естественно, такое развитие событий Павича, как всякого нормального честолюбивого автора, удовлетворить не могло бы. Найденный им выход, по-видимому и к сожалению, действительно делает его провозвестником литературы грядущего века. Павич отлично разобрался, что подлинные виртуальные чудеса творятся не на мониторе компьютера, а в газете и на экране телевизора. Что СМИ обладают почти магической властью: властью что угодно подключать к актуальному современному мифу или отлучать от него. И кинул журналистам такую наживку, проигнорировать

которую они не могли. Первым из писателей Павич стал строить отношения со СМИ по принципиально новой модели. Куда там Пелевину, нашему замороженному «спецу» в этих вопросах, способному в лучшем случае натянуть черные очки и ужасать девушек-репортеров своей театральной брутальностью. Павич фактически передает журналистам функции литературных критиков. Он предлагает журналистам не просто раскрывать его книги, обеспечивать им рекламную кампанию — но «проводить» их, самим определять для них место в картине мира, которую СМИ создают. И фактически подтверждает авторитетом «высокой литературы» авторитетность этой картины, преимущественное право СМИ судить-рядить в современном мире, выносить оценки и расставлять акценты (конечно, становясь частью мифа, он уже в собственных интересах должен принять, по крайней мере публично, весь миф целиком и всячески его подпитывать). Но и это бы не сработало, когда бы журналистам пришлось трудить усталые головы и действительно самостоятельно решать, что павичевские книги значат и куда их отнести. Однако Павич просчитал сам механизм СМИ-шного мифотворчества, базирующийся на том, что и производители, и потребители масс-медиа оперируют не смыслами, но знаками явлений. И любое высказанное им суждение о своих вещах, о литературе вообще, любой проставленный жанровый ярлык содержат в себе ненавязчивые подсказки, крючочки, которые обязательно зацепятся и не позволят ни образу автора, ни образу текста промахнуться мимо предуготовленной для них в мифологизированном сознании ниши.

Отсюда непереносимое обсасывание в связи с Павичем гипертекста, Интернета, виртуальной реальности. Отсюда мужские-женские версии, романы — водяные часы и пьесы-меню. Какая разница, читать «Хазарский словарь» с CD-rom'a или на бумаге? На бумаге, по-моему, только удобнее. Если выбраться из мифа, очевидно, что архисложный «Словарь» скорее противоположен культурным установкам компьютерной эпохи: здесь ценят прежде всего картинку, а в структурном плане предпочитают незатейливо-прикольное вроде Макса Фрая. Но Павич знает — выбраться никому неохота. Зачем? Не зря же он столько лет разъясняет: попадешь-то все равно в другой миф. Из сна — в сон.

Постоянные ярмарочные заманивания Павичем читателя в текст предназначены, думаю, тоже прежде всего журналистам. Те якобы невиданные возможности, которые читателю предоставляют его книги, являются броскими фикциями. Утверждение, будто роман можно прочитать двумя миллионами способов (да пусть всего двумя, без миллионов) — что, собственно, и есть «введение в литературу понятия виртуальной реальности», ибо наличный текст теперь представлен как множество недопроявленных, «ждущих на пороге» романов, из которых читатель вызовет к жизни тот или иной, — должно бы с необходимостью предполагать, что каждый из способов если уж не создает новый сюжет, то сообщает роману свой особый смысл, или тон, или воздух. А так можно и «Войну и мир» читать задом наперед или перевернув том вверх ногами. Павичевским обещаниям — во вступлении к «Хазарскому словарю» — непредсказуемых постижений тому, кто проложит по тексту индивидуальный читательский маршрут, заведомо противоречит сам выбор Павичем слободной формы.

На самом деле Павич-первый, конечно, достаточно искушен, чтобы не пренебрегать таким могучим инструментом, как рассчитанная последовательность подачи читателю информации, — недаром весьма важные два аппендикса вынесены в «Хазарском словаре» за рамки собственно словаря, благодаря чему уже обозначен «неподвижный» конец романа, уже задается вектор движения. Но задача Павича-первого: представить «Хазарский словарь» не тем, что он подлинно есть. А вот Павич-второй занят совсем иными вещами: он представляет свои сочинения тем, чем они не являются, — уловите разницу. Тактика первого становится у второго стратегией. Павич-второй прочувствовал все выгоды такого модуса литературного существования, когда достаточно объединить две отдельные повести в книгу, направив их друг другу навстречу, от обложек к середине, чтобы в очередной раз стяжать лавры гениального первооткрывателя на романном поприще (в Советском Союзе в семидесятых

так печатались детские стихи Хармса про Ивана Топорышкина да Иван Иваныча Самовара); достаточно оставить в конце книги пустую страницу, куда читатель будто бы волен вписать свой вариант развязки или судьбы героя, чтобы тысячи романов разных эпох с открытым финалом считались отныне как бы не бывшими. У читателя есть один способ действительно вклиниться в чужое произведение — нащупать в нем «подводные», не предусмотренные автором сюжет, структуру, коннотативные уровни. Это возможно в текстах более-менее аморфных и построенных на материале реальности «первого порядка» (поскольку ее писатель никогда не охватит всецело, не заставит плясать исключительно под свою дуду и обязательно остается поле свободы) — но не в подобных весьма специфическим по ткани павичевским, демонстративно оторванным от общечеловеческого опыта и потому без остатка подчиненным авторской воле, организованным крайне жестко. Буде же отыщется человек, способный и здесь автора переплюнуть, такому просто грех разбазаривать таланты на дописывание чужих романов — природой назначено браться за свои.

Vladimir Tarasov, Atto II «Monotypes»

Истинное удовольствие и отдохновение души, уставшей от мрачных загадок и попыток угнаться за ускользающим сочинителем, — распрощаться с Милорадом Павичем и повернуться лицом к Джону Барту. Имя это нам известно давно — встречалось оно едва ли не в каждой статье о западном ПМ-е. А вот тексты Барта в России сначала галантно пропустили вперед целый выводок своих прямых и косвенных потомков. И теперь переводчики напрасно стараются, насыщая предисловия многократно повторяющимися в отношении Барта эпитетами «великий» и «величайший». Ничегошеньки не добьются. Вполне достаточно уже Эко и Павича, не так уж много места в мозгах у нормального, даже в меру умного, потребителя, и опоздавший Барт элементарно не нужен, и ниша его давно занята. Тот факт, что он не последователь, а, напротив, предшественник, разве у литературоведов способен вызвать вялый интерес. Барт в эту сторону и глядит: в Америке именно университетская, филологически-культурологическая среда обеспечила ему энергичную раскрутку и высокий статус. Но то в Америке. На страницы наших глянцевого журналов Джону Барту явно не пробиться. Чем он мне и симпатичен.

Чаще всего о Барте упоминают как о наиболее ярком представителе литературы «черного юмора» (из писателей, известных у нас, к «черному юмору» относили Курта Воннегута). Впоследствии Барт и некоторые другие «черные юмористы» плавно переместились под сень другого обобщающего названия — ПМ, где-то выработав, а где-то переняв у теоретиков-европейцев соответствующую идеологию. Первый вышедший у нас и пятый в библиографии Барта роман-трилогия «Химера» (1972) является первым в истории (пардон, забыл, история кончилась) образцовым, каноническим ПМ-ским романом. Первым — не считая, конечно, те многие и многие, вплоть до набоковской «Машеньки», сочинения, которые каждый, кому не лень, станет в дальнейшем относить к ПМ-у задним числом (а также «провинциальный» — но во многом провиденциальный — «Пушкинский дом» Битова).

Это очень честная книга. Без обманов, без ловушек, без невыполненных заявок. Округлая, ничего из нее не торчит, ничем не дует, вся в себе. В части первой — петля: Шахразада излагает Шахрияру истории, составившие после, как известно, книги «Тысячи и одной ночи»; однако самой Шахразаде пересказывает «Тысячу и одну ночь» некий современный американский писатель, очень похожий на автора, волшебным образом переносящийся на пару часов в день в шахразадово-шахриярский мир. Юмор по большей части в пародировании феминистско-эмансипиистского дискурса — злого, радикального, политизированного, образца начала семидесятых, — и в присваивании современной лексики и понятий персонажам, которым они свойственны быть не должны. Этот писатель озабочен проблемами литературного вымысла, у него затыка с произведением о мифологических героях. Беседы с Шахразадой помогают ему

кризис преодолеть. Вторая и третья части как раз и есть его произведение. Сначала повесть о Персее, отправившемся во второй половине жизни заново обретать себя по местам молодецкой боевой славы, — и что из этого вышло. Ее сам Персей, уже звездный, взятый на небо, рассказывает зажатой у него в руке отрубленной голове Медузы. Тут, скажем так, «матрешка» — рассказы, вложенные друг в друга. Утрируя: Персей-созвездие, что выясняется только в конце, — рассказывает о том, как он рассказывал еще в человеческой ипоста-си о том, как он рассказывал... См., понятно, «Тысячу и одну ночь», однако Барт все делает наоборот: начинает с «меньшего», внутреннего рассказа — и получается скорее «одевание» матрешки, когда не маленькая извлекается из большой, а, напротив, большая принимает в себя маленькую. Реально же текст организован куда сложнее и путанее, поскольку Барт с последователь-ным ПМ-ским упорством старается читателя интриговать, кто же все-таки ве-дет повествование, — что четверть века назад, вероятно, как-то и будоражило, но сегодня заранее и в высшей степени до лампочки. Затем история Беллеро-фонта, ознакомившегося с текстом предыдущей «Персеиды» и пустившегося во все тяжкие, чтобы выяснить архетипическую схему действий героя-полубо-га, осуществить ее, самому стать героем и обеспечить себе билет на небо. В финале он превращается в сам текст, в буквы, страницы, предложения расска-за о себе, «Беллерофониады».

Бах, «Страсти по Иоанну» — Taverner Consort & Players/Andrew Parrott

(Аутентичное исполнение — хор из девяти человек! Лучшее, по-моему, какое я когда-либо слышал. Я купил эти диски, страшно дорогие, с какого-то гонорара в единственном в Москве магазинчике, который специализировался на аутентич-ном барокко. Магазинчик — громко сказано. Это был закуток в большом магази-не компьютеров и канцелярских принадлежностей. Содержал его — закуток — человек совершенно безумный, он буквально набросился на меня, когда я его о чем-то спросил, и не отпускал минут сорок, причем всячески давал понять, какой я, по его мнению, идиот. Напяливал на меня наушники, ставил то одно, то другое и вскрикивал на весь торговый зал: не гениально?! не гениально?! Все время не доб-ром поминал Караяна, причем называл его не иначе как «Петрушкой». В общем, он мне понравился. Не знаю, существует ли еще его странная торговля.)

Что подано в «Химере» как-то удивительно по-человечески, так это про-блемы персонажей совсем не мифологические: страх перед надвигающейся старостью, ощущение утекающей меж пальцев жизни, детская, тревожная мечта о бессмертии. И юмор у Барта куда как соленый — но и необычно для ПМ-а теплый (мне особенно приглянулись по душе «перезарядки» Пегаса и тер-мин «горгонизация»). Но общую концепцию романа бартовская «лирика» только подчеркивает. Если и Эко и Павич подходили к созданию книги все же вполне традиционно — в том плане, что есть некая «материя» текста, кото-рая укладывается в структуру (ну пусть даже ею порождается), обволакивает ее, располагается согласно ее силовым линиям, и вопрос потом встает о рас-пределении смыслового «веса» между этой «плотью» и структурой, — у Барта структура стремится остаться в как можно более чистом виде, воплотиться лишь в той мере, чтобы стать видимой. В «Химере» потому и выбраны Шахра-зада да герои античного мифа, что они для нас, в сущности, бесплотны, со-вершенно схематичны, — и это позволяет автору методы структурирования (с которым Барт и отождествляет понятие сочинительства), организации сделать абсолютно самоценными. Они практически ничего не структурируют, они де-монстрируются как таковые, ради чего роман и писался. Демонстрировать, правда, есть что — не откажешь. Тут и пропорции золотого сечения (им свя-заны, насколько я разобрался, объемы текстов — частей относительно друг друга и внутри частей до некоторого кульминационного момента и после него), и фи-конфигурации, и ряды Фибоначчи, свой геометрический знак и мотив для каждой части, — перечень я списываю прямо из текста «Химеры», ибо Барт отдает должное и знакомым нам обязательным структурным принци-

пам: заведение в текст ситуации создания текста и т. п. Думаю, во всем довольно большом романе не найдется и абзаца, не несущего структурной функции. Как и следовало ожидать, при таком количестве самодовлеющих структурных задач непосредственно, чувственно данное архитектурное изящество в «Химере» и не ночевало. Но его отсутствие несколько даже искупается редкостной добросовестностью, с которой Барт, какую бы ни начал прочерчивать в тексте структурную завитушку, ни в коем случае не остановится на полдороге, а непременно ее каллиграфически доведет; в какие бы объемы ни оказался вынужден загонять очередные фрагменты, дабы они удовлетворяли отведенному им положению в числовом ряду, — непременно загонит. Иногда удается легко, почти натурально. Иногда ценою тяжелых, не очень внятных страниц или пустой растянутасти.

«Химера» — полная противоположность «Хазарскому словарю». Здесь нет и быть не может никаких недоговоренностей, тайн, второго дна и подводных течений. Это роман коммуникабельный на двести процентов, благодаря тому что заведомо и точно известен читатель, которому роман адресован; известны насквозь его запросы, культурная ориентация и способности, которым Барт и старается соответствовать. Дело не в конформизме, а в особенном мировоззрении автора. Поступивши после средней школы в университет, Барт остался там навсегда: вся его дальнейшая — уже профессорско-писательская — жизнь протекает в университетском городке, в кампусе. Кампус неизменно присутствует в его романах как среда действия, просачивается даже в мифологическую «Химеру». (В своих лекциях Барт говорил, что рассматривает историю Шахразады как метафору положения художников от повествования, работающих в университетских кампусах. Почему? Первое: Шахразада должна потерять невинность, прежде чем начнет практиковать свое повествовательное искусство... — ну и так далее.) Для Барта, и это его сознательная позиция, кампус — что-то вроде маленькой полой сферы, в которую, если приняты определенные законы и абстракции, отображается вся Вселенная. И тогда внешний мир избыточен, а значит, и не нужен, вне кампуса все равно что ничего нет. (Барт, конечно, человек рефлексирующий, и такой взгляд на вещи, я уверен, был им все-таки волево выбран из спектра предоставленных современностью возможностей — стало быть, в нем отразилась не тяга к комфорту, а намеренное самоограничение; в нем чувствуется даже некоторая трагичность, она покрывает вроде бы отвлеченно-нигилистические бартовские тексты тоненькой-тоненькой папиной — за нее, по-моему, Барта и стоит читать.) Университетская профессура и студенты — взятые именно в аспекте их учебно-научной деятельности — не просто *target-group* сочинений Барта; это, по Барту, вообще единственная существующая читательская аудитория. Следовательно, и книги должны быть такими, чтобы у профессоров не переводился материал для утверждающих их концепции монографий, а всякая герл, изучающая литературу с культурологией, могла под руководством профессора разобраться в тексте до донышка, до словечка: вот намешки над сексизмом, вот ряд Фибоначчи... Тайны-загадки в такой расклад захочешь — не пристройшь: роман Барта распахивает на себе бушлат не хуже героев моего любимого революционного фильма «Мы из Кронштадта». На всякий случай — вдруг кто чего не дотумкает — Барт еще и подстраховался: разъяснил свои методы прямо внутри «Химеры». Даже расхожая (и, судя по всему, авторизованная) версия творческого становления писателя: «черным юмором» Барт занимался под влиянием Беккета и Набокова, а потом открыл для себя Борхеса — и сочинил «Химеру», перешел в ПМ-скую стадию, — выглядит скорее как прямолинейные соображения второстепенного лектора, нежели как истинное положение дел. Набокова, кстати сказать, я в «Химере» совсем не нашел. Беккету отдано почтение путем заимствования — именно с этой целью — узнаваемых безделушек из репертуара замечательного ирландца: например, скрупулезный подсчет произнесенных «добрых утр». Борхес, понятно, в наличии еще «до» текста или «над» текстом, в начале всего — Борхес размечает пространство, в котором первому ПМ-скому роману и суждено было произойти на свет. А в тексте есть важный для сюжетов «Химеры» сквозной мотив — история

о том, что ключ к сокровищу может и быть самим сокровищем. Барт словно бы претендует добавить ее пятым номером к хрестоматийным борхесовским «четырем циклам», хотя она и сводима к номеру третьему в борхесовской классификации — истории о поиске — и чем-то напоминает излюбленную Борхесом притчу про птицу Симург.

Джон Барт — исследователь, экстрактор, своего рода литературный выриватель скелетов. Из книг, особенно из классического вымысла (та же «Тысяча и одна ночь» или «Океан сказаний» Сомадевы), его пытливый мозг добывает буквально формулы, с числовыми коэффициентами, для построения повествования. Рассматривая в «Химере» их геометрические представления («прямоугольно-треугольный Фрайтаг», «златотреугольный Фрайтаг»), рассматривая на фотопортрете писателя венозный череп интеллектуала, я поневоле и сам начинаю делать своему безответному 286-му компьютеру умные рожи и согласно кивать головой: м-да, сочинять можно и нужно учиться, обязательно нужно учиться... Замечтаюсь. Но сны, говаривал Павич, помнишь, покуда не выглянешь в окно. Тем более в мое. Потому что за ним, к добру или к худу, — не кампус. Совсем не кампус.

Henry Cow, «Western Culture»

На этом месте в приличной статье должно бы располагаться заключение, некий обобщающий вывод. Но я писал не статью, и вывода у меня нет. Собственно, цель этих заметок вырисовывалась по их ходу. Я не оспаривал славу ставших здесь моими героями значительных писателей — я попытался выдернуть их (прежде всего для себя) из отчуждения славой. Сколько бы ни заигрывали сегодня с отношениями текста и контекста культурной ситуации, я убежден (застрелите меня из ПМ-а), что первого не растворить во втором. То есть возможны критерии качества, взгляд, суждение о произведении, независимые от бытующих в настоящий момент социальных, культурных, литературных мифов. То, что для меня в литературе ценно, важно, интересно, ухватывается только такими. Я отказываюсь признавать словечко «прикольное» синонимом слов «интересное» и «современное». В той мере, в какой я осмеливаюсь считать себя человеком свободным, писатель или литературное направление, именем, названием которого размахивают, пусть и в интеллектуальной среде, как флажком из «Макдональдса», нужны мне не более чем писатель, вещающий с позиций обладания абсолютной истиной. Если книга становится книгой «для всех» (или, то же самое, «для избранных») — значит, она потеряла достоинство, а ее послание не дошло никуда. На гамбургский счет, у книги не может быть ни массового, ни корпоративного, ни поколенческого адресата. Книга — для тех, кому она смогла действительно высказать себя, с кем сумела установить сущностную, невыдуманную связь. Круг этот всякий раз совершенно уникален. Книга, писатель, представленные культовыми, превращенные в вымпел корабля современности, почти лишаются шансов быть найденными, ибо помпезная подача, навязывание, превентивно обесценивают, парализуют сам механизм тонкого интуитивного поиска книгой и читателем друг друга. Книга существует, только если о ней говорят. Но в технологиях СМИ под словом «говорить» понимается простое называние, как можно более частое упоминание чего-либо, как правило, с набором постоянных ярлыков. Я же имею в виду другие разговоры: пространные, непредвзятые, вьедливые, у каждого со своей колокольни. Так порой говорят о нашей совсем сегодня не культовой, текущей литературе на страницах, пока еще не пораженных глянцем, лучшие, серьезные критики. Так разговаривают между собою люди, для которых литература, вопреки веяниям времени, все же не стала ни просто развлечением в ряду других, ни видом коммерции. Я пытался вести беседу, как вел бы ее у себя на кухне, с хорошим и понимающим в этих делах толк приятелем. Под пиво — «Очаковское специальное». Под негромкий магнитофон. Ночь напролет.

Р Е Щ Е Н З И И. О Б З О Р Ы

В ПОИСКАХ ЖЕЛТОГО ЖАНРА

Александр Сегень. Общество сознания Ч. — «Москва», 1999, № 3, 4.

Что-то такое витает в российском воздухе, какие-то странные миазмы, вынуждающие писателей искать пути для излияния своих вдохновений на поле, так или иначе связанном с тематикой религиозного шарлатанства и массового подчинения сознания — или, если брать еще шире, — с «персонифицированным» в той или иной мере заговором сил мирового зла. Роман Александра Сегеня не является, таким образом, исключением — напротив, он легко вписывается в типовой ряд, лишний раз подтверждая тенденцию, набирающую обороты в современной литературе.

Сегень строит свой роман по классическому авантюрному образцу: быстрая смена «кадров», лихо разворачивающиеся события, погони, похищения, любовные страсти, предельное невнимание не только к внутреннему миру, но даже к психологической мотивации поступков персонажей убедительно свидетельствуют о том, что мы имеем дело с литературой, рассчитанной прежде всего на аудиторию, не слишком отягченную навыками «культурного» чтения.

В романе заявлены три разных «духовных» силы — то самое, заглавное, «Общество сознания Ч», секта «жаворонков», и противостоящая им Православная церковь. «Общество сознания Ч» имеет, разумеется, своего мессию, который постиг, что в звуке «ч» содержится имя бога, которое человечество тщетно искало тысячи лет, и звук этот, соответственно, несет в себе всю вселенскую мистику.

«Жаворонки» ставят своей целью достижение мировой гармонии, для чего встают непременно до рассвета, встречают восход солнца, поклоняются ему и ходят босиком. У них организовано целое «княжество» в поместье «нового русского», где блудят с сакральными целями и без оных.

С этими «жаворонками» вроде все понятно — имеется некая неразличимая в лицах масса адептов, принимающих на веру учение (смаживающее, кстати, в отдельных своих чертах на учение «русского йога» Иванова), которое сам гуру отнюдь не разделяет, пользуясь им как инструментом для удовлетворения и личных амбиций, и личных потребностей. Это ловкий коммерческий ход, который и позволил бывшему неудачнику взлететь на недостижимую ранее высоту, где он может и властвовать и наслаждаться обожанием поклоняющихся ему ничтожеств.

Сложнее с «Обществом Ч», поскольку автор не проясняет до конца целей, преследуемых его духовным водителем. С одной стороны, глупости, которые тот проповедует на подробно описанном собрании секты, должны настраивать читателя на сугубо иронический лад. С другой — на этом собрании должно «что-то» произойти с ребенком, и вот этого «что-то» автор нам не показывает и никак в дальнейшем не объясняет. И понятно почему. Если бы это «что-то» должно было стать ужасным, нарисованный автором балаган сразу переменял бы краски, превратившись в царство мрака и адского пламени. Если бы, напротив, «слезинка ребенка» оказалась недостаточно всесой, вся последующая романная интрига обернулась бы чистым фарсом, чего Сегень, кажется, все-таки не хотел.

С этой «слезинкой» Сегень, однако, перемудрил. Заставив сюжет раскручиваться из этой точки со скоростью и *качественной глубиной* второсортного кинобоевика, Сегень прямо-таки расписался в творческой неспособности освоения вроде бы заявленной им темы. Один из главных героев оказывается на пресловутом собрании случайно — привела возлюбленная. Случайно же став свидетелем обряджения ребенка в маскарадный костюм и заподозрив неладное, он его похищает и везет к отцу, другому главному герою, который успел к тому времени скоропалительно ответить на безумно вспыхнувшую страсть жены третьего. Далее герои мечутся, спасаясь от возможной погони (которой, кажется, вовсе нет), посещают «княжество жаворонков» и в конце концов собираются всей компанией в право-

славном приходе, куда поехал третий герой, он же обманутый муж, и где отец ребенка (к слову, главный редактор почвеннической газеты) вдруг ни с того ни с сего умирает от инфаркта, а все остальные разбредаются по домам. Надо ли добавлять, что все происходит на Страстной неделе, а инфаркт — аккуратно после Пасхальной службы, когда глубоко верующий муж и верующий, но поддающийся соблазнам редактор собрались стреляться на дуэли...

Заметим, что «Общество сознания Ч» в повествовании далее не возникает. Да и спасенный (от чего?) ребенок все менее и менее волнует автора — к концу тот попросту о нем забывает, как будто он был только пружиной, призванной дать действию необходимый толчок, — мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Нам так никогда и не узнать, что это было: зловещая тоталитарная секта, раскинувшая свои щупальца сквозь все мыслимые материки и пространства, за спиной которой прячутся хитрые и корыстные манипуляторы, или невинное собрание, насчитывающее четыре десятка невежд, возглавляемых распираемым от сознания своей значительности дураком.

Когда Александр Бородиня в романе «Бесы...» (М., «Локид», 1997) описывает мировой заговор каких-то темных сил, зомбирующих всех и всюду — в массажном кабинете, в сумасшедшем доме, в садоводческом товариществе, на курсах кройки и шитья — с одной только целью: заложить в подсознание программу на самоуничтожение, поскольку «наша планета не в силах прокормить пять миллиардов ртов и дети наши погибнут от голодной смерти», — все это, конечно, глупость незаурядная, но по крайней мере ясно, на чем строится сюжет.

Когда в романе Анатолия Афанасьева «Зона номер три» («Наш современник», 1998, № 6, 7) по огороженной бетонным забором с колючкой территории лупят из всех видов огнестрельных орудий — понятно, ради чего идет бой, — окопавшееся зло названо и охарактеризовано. (*Мистики* в «Зоне» нет, но общая бредовость затеи с устройством особого места для отдохновения и развлечения избранных, где основная масса живет на положении *рабов*, которых можно и нужно не только истязать, но и казнить самыми изощренными способами, — роднит ее с текстами «сектантско»-обличительного толка.)

Когда, наконец, Александр Проханов в романе «Красно-коричневый» («Наш современник», 1999, № 1 — 8) выписывает приснившуюся ему химеру с сатанинскими кознями против России, когда бесы, воплотившиеся в современных политиков и других известных личностей с неприятными Проханову политическими взглядами, при помощи разных колдовских ухищрений и подвластных им паранормальных явлений удобным для себя образом влияют на ход мировой истории, — очевидно, *что* он хочет этим сказать.

Но чего ради написан роман «Общество сознания Ч», если оно и фигурирует всего в двух главах, а во второй части его даже и вовсе нет? И зачем вынесено в название — ради звучности и привлекательности для массового слуха?

Если Сегень ставил своей задачей слегка высмеять людское невежество, с готовностью покупающееся на всякого рода обманки в виде «духовных откровений» самого дешевого пошиба, то замах на роман никак не тянет. *Слегка* пишутся юморески объемом до десяти страниц — и то если уж Бог дал толику незаурядного остроумия. И что, в таком случае, делает в этом веселом хороводе Православная церковь в лице сельского батюшки — очень правильного, но коримого и уличаемого чрезмерно ревностным прихожанином (переметнувшимся, правда, одно время к «жворонкам», но не стерпевшим их языческого срама) за то, что делает себе какие-то послабления (прихожанин в итоге оказывается посрамлен)?

В текст, рассматривающий проблему лжеучений, христианство может быть введено лишь с одной целью — как противопоставление лжи (если, конечно, автор не *антихристианин*, полагающий вслед за Ницше и христианство *ложью*). Но для того, чтобы эта оппозиция не выглядела комичной, члены ее должны быть хотя бы относительно сомасштабны, в противном случае получится стрельба из пушки по воробьям. И хуже того: ничтожный предмет, поставленный рядом с большим и значительным, по закону сообщающихся сосудов как бы вбирает в себя не свойственные ему качества и смыслы, но и тот, другой, соотнесенный с ничтожеством,

теряет в этом унижающем сопоставлении часть своего величия, опошляясь и уничижаясь в этом непрошеном соседстве.

Бедная Православная церковь! В какие только двусмысленные ситуации ее вовлекают ее наши «правoverные» писатели, для собственных нужд используя ее точно крапленую карту в нечестной игре. Тот же Проханов понуждает своих «служителей культа» произносить кощунственную околесицу вроде той, что произносит на смертном одре монах: дескать, не я тебя должен крестить, а ты меня, а тебе и креститься не обязательно (эта речь обращена к главному герою «Красно-коричневого», чья заслуга только в беспримерной ненависти к фигурам российской власти и тайном намерении убить президента — видимо, это скрытое от всех, кроме святого старца, намерение и внушает последнему еретические мысли).

И что это вообще за дикость — устраивать из Пасхи какой-то удобный писателям полигон для разрешения дурацких проблем *выдуманных из головы* персонажей? То у Владимира Крупина наделенная всеми возможными добродетелями и оттого нежизнеспособная героиня отправляется в мир иной со станции Светлое Воскресенье («Люби меня, как я тебя» — «Москва», 1998, № 9), то теперь у Сегеня находим что-то вроде «мытарств на Страстной седмице», настоящий цирк у алтаря, до неприличия нелепые сцены среди самой пасхальной службы — когда замужняя женщина вдруг начинает с воплями требовать обвенчать ее с другим человеком, еще какая-то гадость, да к тому же эта непревзойденная по пошлости «пасхальная» дуэль...

Наверное, мало обладать одной только дерзостью, чтобы из таких описаний вышло что-нибудь кроме срамоты. И даже одного таланта, видимо, недостаточно. Необходима какая-то глубочайшая идея, скорее всего трагическая, чтобы придать «низкому» материалу иные качества, перевоплотить его в высокозначимую художественную ткань...

Когда Николай Переяслов в статье «Оправдание постмодернизма» («Наш современник», 1999, № 5) утверждал, что принципы модернистского письма освоены теперь традиционными для «Нашего современника» авторами — в чем ему виделось завоевание новых рубежей «почвеннической» литературой, которая сильна содержанием, но слабовата по части формы, — тексты, приведенные им в качестве наглядных примеров, скорее опровергали, чем подтверждали выдвинутые им тезисы. Ему следовало только немного обождать со своей статьей — и Александр Сегень сдал бы ему недостающего до «стрига» джокера.

В «Обществе сознания Ч» действительно легко обнаружить многие из черт, свойственных постмодернистскому видению мира. Сегень иронизирует надо всем — в том числе и над своими братьями по оружию, только тут его улыбка добрая, снисходительная, а в других случаях — саркастическая и злая. Сегень бросает завязанные было сюжетные линии на полдороге, нимало не заботясь о логическом завершении, — мозаики постмодернизма «линейной» логике не подчиняются. Психологическая подоплека — зачем? Там, где «все возможно из всего», психология и мотивация — убийственный анахронизм. Жизнеподобие? Да кому оно нужно, оно источает скуку.

Однако наибольшее сходство «Общество сознания Ч» обнаруживает не с настоящей постмодернистской, а с настоящей бульварной литературой, с ее «остросюжетными» наворотами и истерическими страстями. То, что писатели, которые заявляли себя как «проблемные», начинают понемногу натягивать на себя желтый кафтан, говорит о подступающем «кризисе жанра». У Владислава Артемова (одного из тех авторов, которых Переяслов приводит в качестве примера «новой» литературы) в рассказе «Пошлость жизни» («Наш современник» 1999, № 9) хороший писатель в погоне за длинным рублем подписывает договор с дьяволом на изготовление коммерческой литературы (далее следует осовремененный пересказ гоголевского «Портрета»), только без разоблачительного финала. Ничем особенно плохим это для персонажа не кончается — он просто входит в некое гармоническое равновесие с окружающей его пошлостью. Этот рассказ избавляет от необходимости вслух произносить диагноз...

Мария РЕМИЗОВА.



ПРЕОБРАЖЕННЫЙ ХАОС

Новелла Матвеева. Пастушеский дневник. М., «Вагант», 1999, 272 стр.
 Н. Матвеева, И. Книру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. С приложением нот.
 М., «Аргус», 1998, 399 стр. (Серия «Авторская песня»)
 Новелла Матвеева. Кассета снов. М., «Апарт», 1998, 231 стр.
 Новелла Матвеева. Сонеты. СПб., «Искусство», 1998, 323 стр.

После десятилетнего перерыва (если не считать единственного крошечного сборника 1995 года) у Новеллы Матвеевой вышли сразу четыре больших книги.

За это время успело вырасти поколение читателей, о Матвеевой слышавших очень мало. Но стоило появиться «Пастушескому дневнику» — книге, в которой Матвеева, не побоявшись пресловутых разговоров о возрастной деградации шестидесятников, свела свою раннюю и позднюю лирику, — чтобы у читателя, развращенного и утомленного обилием вторичной и безрадостной поэзии, возникло ощущение чуда. Мы успели отвыкнуть от подобных пиршеств. Мы научились, пошловски говоря, отлично разбираться во вкусе обувных шнурков и подметок. Мы не верим, что такие россыпи веселья, наблюдательности и изобретательности возможны просто так, задарма, без напряжения.

Без сомнения, это Матвеева, — в чем-то иная (о том особый разговор), но в главном неизменная. Это ее твердая, сильная, временами мужская рука, ее виртуозная игра, ее щедрость и красочность, ее ассонансная, но не режушая слуха рифма, рифма-отзвук. Цитировать ее можно с любого места:

Пумперникель с Никербокером
 Ели каперсы с картофелем.
 В это время хлопья выткали
 Крышу с дымовыми трубами,
 Облицованными плитками,
 Точно пряниками грубыми.

Господи помилуй, вздохнет читатель, знающий более-менее и биографию, и библиографию Матвеевой! За что подвергался этот поэт цензуре и грубому окрику, за что его третировали снисходительным презрением, числа по разряду инфантильной, пионерской романтики? Кому мешали все эти чудеса? Ведь к нашей же радости, для нашего же — временами почти физического — наслаждения живой и яркой тканью стиха старался этот не самый счастливый автор! Есть ошибочное мнение, будто читателю становится намного легче, если поэт ему жалуется. Возникает ощущение, что читатель не один такой бедный. Да нет же: утешить, развлечь, внушить веру в возможность дальнейшей жизни способен только яркий и энергичный, захватывающий и виртуозный текст. Вот почему наш несчастный народ так охотно пересматривает старые комедии и так воротит нос от современной претенциозной чернухи. Матвеева лишний раз напоминает, что блеск, точность, изящество — не последнее дело, что стихи обязаны радовать гортань и язык! Свой механизм преобразования реальности автор предьявляет в одном из самых ранних стихотворений сборника (правда, позднее Матвеева его несколько отредактировала):

В эти часы предзакатные, ясные
 Я стихи сочинила о том, как тепла Океания,
 Как потемнело — и розы ударили в красные
 Барабаны благоухания.

...Два мужика пили пиво под воблу,
 Девочка рьжуют кошку пасла.
 Сумерки сделались мягкими, словно
 Ухо осла.

Это отнюдь не о том сказано, что для фантазии поэта, поглощенного созерцанием своей внутренней Океании, оскорбителен вид мужиков, пива и воблы. О нет! Матвеева сроду не предала своего старомодного демократизма, на который тоже находятся хулители, — речь о другом: ведь Океания с ее розами и мужики с их пивом взаимосвязаны, если не взаимобусловлены! И рыжая кошка, и мягкие сумерки — все это персонажи матвеевского мира, и никаких стихов без них не было бы: герои не виноваты, что до сих пор не преображены. Но Матвеева к ним уже спешит — и всему дарит другую оболочку: желудь у нее обращается в старинный брегет, показывающий «навсегда ушедшее время», а идолы острова Пасхи — в «шахматы двух исполинов», и преображений таких — по несколько на страницу. Это все та же Матвеева, искавшая «душу вещей».

...На богатство фантазии так обижаются,
 Что «богатством» уже называть не решаются.
 Не согласны признать за ней даже зажиточность,
 А придумали хитрое слово «избыточность».

По строгому счету — да, избыточность, особенно на фоне тотальной и хронической недостачи. Матвеева опубликовала наконец свою огромную и сложную драматическую сказку «Четвереньки», в столе лежит неизданный трехтомный роман, вышли двенадцать книг — полторы тысячи лирических стихотворений, — и все-таки для большинства своих поклонников она прежде всего автор песен, которые по мелодическому богатству, по райской своей гармонии мало с чем могут сравниться даже в классике жанра. Еще бы не избыточность! И уж просто как издевательство над публикой должен расценить любой закоснелый современник те иллюстрации, которыми Матвеева снабдила сборник пьес и прозы «Кассета снов». Это, товарищи, уже беспредел, это вызов здравому смыслу и оскорбление самой идеи равенства (равенства таланта с бездарностью).

...Проходившая по разряду формалистов, эстетов, гурманов, любителей экзотики и роскоши, она повторяет здесь любимого ею Уайльда, который при всей своей репутации эстета и сноба остался, как справедливо замечал Набоков, прежде всего моралистом. Матвеева не устает напоминать простейшую истину: плохим или хорошим человека делает единственная, определяющая черта — способность или неспособность присоединиться к толпе. И не важно, ликует толпа в данный момент или топчет несогласного (она и топчет ликуя, и ликует топча — это, в сущности, один процесс). Матвеева пошла на известный риск, опубликовав и прокомментировав в книге свой «Пастушеский дневник» — отроческую прозу. Не было в нашей словесности последних лет более душераздирающего зрелища! Восемнадцатилетняя девушка, ребенок, в сущности, пасет мосластых коров при подсобном хозяйстве детского дома, подвергается регулярным матерным разносам, ходит в единственных потрескавшихся башмаках, повторяет вечный путь советской Золушки — и описывает все это легким, ироническим, изысканным слогом книжной девочки, больше всего боящейся впасть в гордыню! Нынешняя Матвеева всячески предостерегает читателя от сентиментальности, слюнявого сочувствия, которое так близко к обычному высокомерию, — ради этого предостережения, собственно, и написан довольно язвительный комментарий. Но стихов не прокомментарируешь — а именно в них главный контрапункт блеска и нищеты:

Жизнь коварная не стелет
 Мне своих ковров.
 Голый лес. Холодный берег.
 Я гоню коров.

 Я под ветром, я во власти
 Снега и дождя...
 Я из тех, кому о счастье
 Помышлять — нельзя.

 Или счастье — дождик тощий?
 Зимний листопад?
 Каково оно на ощупь?
 С чем его едят?

Этого поэта чаще других ругали за книжность. Но на сегодняшний взгляд проследить истоки, корни ее дара — задача не из простых: книжная, экзотическая, оторванная от жизни Матвеева явилась в литературу со своим голосом и собственной интонацией, и даже самые ранние ее стихи отмечены «неподражательной странностью» — дотошной внимательностью, фабульностью, намеренным сталкиванием высокого и низкого (благо в жизни этого самого сталкивания наблюдалось в избытке — шутка ли, пасти коров на Чкаловской и писать «Рембрандта»!). В этом и был, и есть фирменный знак матвеевской поэзии — каждую метафору она разворачивает в историю, в сюжет, самому будничному действию отыскивает парадоксальный, экзотический эквивалент (классический пример с апельсином, который от грубой кожуры освобождают так же осторожно, как револьвер от грубой кобуры). Можно бы вспомнить, как далеко и весело уводили Матвееву слова (не вырываясь, однако же, из-под ее власти) в «Заклинательнице змей» или «Караване» с их пристальной, микроскопной пластикой. Но вся эта роскошь служила никак не для демонстрации собственных — действительно редкостных — возможностей; для самооправдания или скорее для самовоспитания был написан хрестоматийный «Фокусник», который Матвеева включила и в «Пастушеский дневник».

А теперь прислушайтесь, — кому бы могли принадлежать эти слова:

Вы им не «спонсоры» и в смысле
Жилья! Какого же рожна
Классифицировать взялись вы
Людей, чья жизнь вам не нужна?

Тот «жулик». У того (в Тарусе)
Есть бочка (чем тебе не дом?!).
Вы их скорей расквартируйте!
Рассортируете — потом!

Да и к чему сортировать,
Раз на пропавших от сивухи
И на погибших с голодухи
Вам одинаково плевать?!

Что в плутах вам? Что — в нищих детях?!
Вы бросили и тех, и этих.

Какой бы из наших трибунов, горланов-главарей, какой бы из наших интеллектуалов, жонглирующих именами, с такой дерзостью и таким отчаянием швырнул бы в лицо нынешним властям (в том числе и неприкасаемым московским) такие стихи? Почему свой голос за самых униженных и самых низших, неприкасаемых уже в индуистском смысле возвысила одна Новелла Матвеева — поэт теплых морей и хороших книжек, как принято ее определять? Почему не нашлось никого, кроме этого автора, чтобы написать такие газетные (в газете и появившиеся впервые), но такие точные и мгновенно запоминающиеся стихи:

«Сто москвичей замерзло... Сто один...»
Совсем поразобрал вралей задор, знать:
Как будто можно выйти в магазин
И, как ящик в глухой степи, замерзнуть!
Как будто можно — это как постичь? —
Замерзнуть в баре или в дискотеке!
Бездомный — кто б он ни был — не москвич.
Он — никакого города на свете.

Старомодно? — бесспорно. Матвеева никогда не боялась этого слова и не стремилась к новомодности. Может быть, весь и феномен ее — поэтический и человеческий — состоит в том, что старомодные, а по большому счету неотменимые истины высказываются чрезвычайно современным, сложным и богатым слогом. Если, конечно, понимать под современным языком не сленг, но расширение воз-

возможностей поэтического слова. Здесь Матвеева сделала больше многих — ее прозрачная, зыбкая просодия в сочетании с острыми фабулами и сильными сравнениями заставляет вспомнить о гумилевских поисках. Но при всем при этом, подозреваю я, подлинный исток ее лирики — все-таки психологическая проза прошлого века, и не зря Матвеева так старается насытить сюжетом, движением самую статичную картину. Ее мир ни на секунду не застывает — предметы, растения, пейзажи стремительно меняют маски, прикидываются то тем, то другим, слово дается всем.

В принципе же конек Матвеевой — не декларативная, не гражданственная и даже не пейзажная лирика. Не ее вина, что так много приходилось заниматься всем этим. Матвеева, при всей афористичности своих дефиниций и при всей бескомпромиссности оценок, рождена быть поэтом переходных, сумеречных состояний, неуловимых ощущений, поэтом подсознания, ассоциации, догадки, и лучший ее час — действительно «между сумерками и тьмой». Отсюда ее пристрастие к таинственному (но не мистическому), зыбкому и трудноопределимому, — хотя как раз этических двусмысленностей, расплывчатости в вопросах морали она не терпит, прекрасно зная, что от релятивизма до фашизма один шаг — или того меньше. Острее всего Матвеева ненавидит снобов, ибо в их стремлении подменить твердый и ясный критерий собственным произволом, в их жажде размыть опоры мира отчетливо прочитывается откровенное наполеонство. Но когда уже написана «Шекспириада», опубликовано «Золото проектов» и закончена «Москва-сортiroвочная», можно наконец предаться тому, к чему, собственно, этот поэт и предназначен:

За свалкой, где дети играли,
Песок бело-розов, как днем,
Но лужицы серой эмали
Горят демонически в нем.

А бриг удержался едва —
Сейчас его снова подбросит...
А ветер все шумы относит,
Лишь странной команды слова

В отдельной звучат тишине...
Мрак ночи порывист и душен.
Уж буря валит из отдушин
И люков, невидимых мне...

Я помню, как в детстве был зачарован матвеевской строкой из «Шпал», опубликованных тогда «Новым миром», — из маленькой аллегорической поэмы о все той же защите критериев, о надежности прямолинейных рельсов и шпал, этой «лестницы в детском наброске». Аллегии я, само собой, не понимал, и зыбкое время начала семидесятых мне ничем не угрожало. Но строка «на пустынном прилавке заката» отчего-то веяла такой тоской огромных пространств и невыразимых красок, что говорила мне куда больше, чем в ней, собственно, сказано.

Что же изменилось? Появилась небывшая прежде кротость — просится сюда именно это полузабытое слово. Разумеется, Матвеева-полемист по-прежнему непримирима. Но в пейзажных, любовных, ностальгических или морских ее стихах возникло какое-то особое смиренное умиление, более высокая и хрупкая, чем прежде, нота. Это голос не сорванный, но истончившийся, чище и мягче прежнего. словно песня «на последнем обрыве ада», в которой есть и ад, и мучительное, ценой последних сил преодоление его. Это цитатами не подкрепляется — это вырастает из композиции стихов, слишком длинных для цитирования, из состава сборников, из матвеевских детских картинок, на которых маленькие человечки бредут с фонарями среди небывало огромных деревьев.

Дмитрий БЫКОВ.



СПАСТИ ПЕСАХЗОНА

Антология ивритской литературы. Еврейская литература XIX — XX веков в русских переводах. Составители: Хамуталь Бар-Йосеф и Зоя Копельман. М., 1999, 631 стр. (РГГУ, Центр библеистики и иудаики).

Хамуталь Бар-Йосеф определяет составленную ею совместно с Зоей Копельман антологию как «хрестоматию к курсу „История новой ивритской литературы” для русскоязычных студентов» — определение, представляющееся излишне скромным. На самом деле масштабы этой работы далеко превосходят поставленную цель. Перед нами не просто статичный набор текстов для научения молодежи — здесь драма метаморфоз тем, стилей, идей на исторически и культурно насыщенный полуторавековом пространстве.

Надо отдать должное составителям — они преуспели. Этой антологией, где разнообразные тексты вступают во взаимодействие и в своей совокупности образуют живую целостность, ивритская литература заявляет о себе как о большом и во многих отношениях оригинальном культурном феномене, в России все еще практически неизвестном, и отдельные переводы тут погоды не делают.

Антология хороша и тем, что включает не только художественные тексты, но и несущие печать своего времени критические статьи — саморефлексию еврейской культуры. Хамуталь Бар-Йосеф написала обширную предваряющую статью — общий обзор новой ивритской литературы, начиная с ее зарождения и вплоть до наших дней, — а также отдельную статью об израильской литературе последнего десятилетия. Это своего рода введение в целый культурный мир.

Мне хотелось бы тем самым подчеркнуть сложность задач, стоявших перед автором статьи, и те критические соображения, которые я намерен далее высказать, ни в коей мере не должны зачеркнуть ее заслуги: представить для русского читателя образ ивритской литературы.

Общая концепция культурного контекста, в котором создавалась, согласно Хамуталь Бар-Йосеф, новая ивритская литература, вызывает возражение. Эта литература рождается как бы на пустом месте и ориентируется исключительно на русские и европейские образцы. В далеком далеке маячит Библия, вопрос о литературных взаимосвязях с которой вообще не поставлен. Полностью и демонстративно проигнорирована постбиблейская литературная традиция. У читателя может сложиться совершенно превратное представление, что до конца XVIII века иврит использовался исключительно в религиозном обиходе.

Ни слова не сказано о достаточно разнообразном еврейском литературном ландшафте, на фоне которого и во взаимодействии с которым формировалась ивритская изящная словесность. О взаимосвязях с литературой на идише хотя и упоминается от случая к случаю, но они не рассматриваются в общем и целом — как специфическая культурная проблема. Между тем в определенных временных рамках можно говорить о единой еврейской литературе — настолько неразрывно было ее бытование в двух языковых средах.

Можно понять (хотя это и достойно сожаления), почему в антологию не включен рабби Нахман Брацлавский — один из самых оригинальных, но, к сожалению, известных в России только специалистам авторов: Хамуталь Бар-Йосеф интерпретирует новую еврейскую литературу как литературу, порожденную Гаскалой (еврейским Просвещением), в то время как тексты рабби Нахмана принадлежат к совсем иному культурному миру. Но отсутствие упоминаний о нем в предваряющей статье — это прямое следствие решительного изъятия новой ивритской литературы из общего еврейского литературного круга и хирургического разделения литератур на иврите и идише.

Между тем тексты рабби Нахмана бросают прямой вызов этой концепции. Его «истории» — это художественная литература очень высокого качества. Рабби Нах-

ман рассказывал свои «истории» на идише, но они фиксировались сразу же на двух языках и, начиная с самого первого издания (1815), именно так (на двух языках) и публиковались. Таким образом, как бы эмблематически задавалось единство двуязычной литературы и предвосхищалось бытование литературных произведений в двух средах как специфическое культурное явление: одни и те же авторы работали на двух языках, а некоторые тексты переписывались ими, причем в разных направлениях.

Игнорирование Хамуталь Бар-Йосеф общего еврейского литературного контекста новой ивритской литературы можно продемонстрировать на нескольких впечатляющих примерах.

Вот знаменитый роман «Путешествие Биньямина Третьего» Менделе Мойхер-Сфорима (1877). О нем сказано, что «он написан в духе романов-путешествий, таких, например, как „Дон Кихот“ и „Мертвые души“». И только. Отслеживание межлитературных связей безусловно необходимо и интересно, однако возникает все-таки недоуменный вопрос: почему автор начисто игнорирует гораздо более важные в данном случае связи — внутри еврейской литературы?

Роман Мойхер-Сфорима предполагает известным определенным контекст, определенный ключ к его пониманию. И этот контекст был прекрасно известен, и ключ имелся в руках читателя, к которому писатель адресовался. Не только содержание, но и название романа — прямая аллюзия на «Книгу путешествий» Биньямина из испанского города Туделы и «Пятилетнее путешествие по Востоку» Израэля Йосефа Биньямина, или, как его называли, Биньямина Второго, повторившего и расширившего маршрут своего предшественника, — произведения великих еврейских путешественников, объехавших «полмира». Обе книги написаны на иврите. Биньямин из Туделы путешествовал в XII веке, его последователь и тезка — в середине прошлого века; книга Биньямина Второго вышла лет за двадцать до романа Мойхер-Сфорима.

Эти знаменитые путешествия, незримо присутствующие в романе Мойхер-Сфорима, задают убийственный масштаб блужданиям незадачливых героев между трех местечек, убийственный масштаб всей местечковой еврейской жизни (после Второй мировой войны, когда местечко как цивилизационный феномен — исторический, культурный, бытовой — перестало существовать, писатель был обвинен в «самоненависти»). Вот от чего явным и непосредственным образом отталкивался автор — «Дон Кихот» и «Мертвые души» были здесь явно не на первом месте.

Другой пример.

О рассказе Мордехая Зеева Фейерберга «Теленок» (1897) сказано, что он «изображает тяжелое душевное напряжение чувствительного мальчика». В рассказе речь идет о теленке, которого должны зарезать, и душа мальчика не может это принять, не может принять мир, где прекрасное и доверчивое существо обречено на нож. Сама по себе ситуация универсальна и, разумеется, описана не только Фейербергом и не только в еврейской литературе. Однако с точки зрения понимания ее своеобразия важна не столько сама ситуация, сколько коннотации, невозможные ни в каком ином культурном контексте, кроме еврейского.

Теленка должны зарезать к субботе, ради праздника. В тексте появляется целый набор аллюзий: на Акедат Ицхак (библейское повествование о несостоявшемся жертвоприношении Исаака), где роль Исаака парадоксальным образом играет теленок; на пасхальную песенку Хад Гадья (в которой помимо несчастного козленка есть еще один общий персонаж — резник); на рассказ из Талмуда о теленке, которого вели на бойню и он искал защиты у мудреца, но не обрел ее. Для читателей Фейерберга все эти необходимые компоненты образного строя рассказа были абсолютно прозрачны, все эти образы стреляли и точно попадали в цель.

Мальчик в другом рассказе Фейерберга, «Тени» (1898), восклицает: «Блажен ты, Израиль!», «Блажен тот, кто возьмет и ударит этими листами о камень, чтобы сбросить с них левую пыль!..». Это что, речь ребенка? Да, это речь ребенка, причем вовсе не специально натасканного вундеркинда, а нормального еврейского мальчика, учившегося в хедере, знающего наизусть множество текстов, свободно владеющего и достаточно искусно манипулирующего набором библейских клише. Кстати, второе восклицание — перифраз знаменитых «Рек вавилонских».

В рассказе Ицхока Лейбуша Переца «Три дара» речь идет о духовных дарах праведности. Рассказ завершается словами: «Автор „Урим ве-тумим” сказал: „Дары замечательные, красивые, но бесполезные”». Смысл этой фразы, придающей повествованию завершающую отделку, остается внятн только тому, кому известен и неназванный автор, и книга, причем не понаслышке.

Каким образом может это понять неспециализированный русский читатель? Никаким. Между тем в концептуальной статье этот контекст на чисто отсутствует.

Хамуталь Бар-Йосеф информирует читателя о том, что «Отцы и дети» — «известный роман Тургенева». Она также сообщает, что кардинальный вопрос русской культуры последнего десятилетия прошлого века: «Что принесет избавление русскому народу — социалистическая революция или духовно-мистическое обновление?» Сей пассаж следовало бы оставить для внутриизраильского употребления и не переводить с иврита — уж во всяком случае, не переводить на русский. Лучше бы Хамуталь Бар-Йосеф рассказывала о других материях.

По всей видимости, для антологии, которая обладает таким потенциалом новизны, была бы желательна несколько иная структура. Каждого автора следовало бы предварить отдельной краткой биографической и литературоведческой статьей и сопроводить кратким же комментарием культурных реалий, важных для понимания текста и заведомо недоступных читателю без объяснения (примечания и глоссарий Зои Копельман имеют минималистский характер и решают эти задачи только отчасти). Все это позволило бы разгрузить вступительную статью от тем, которые все равно проговариваются в ней мимоходом и по касательной.

Герои романа «Любовь в Сионе» (1853) Авраама Мапу — первого из авторов антологии — живут, любят, сражаются в Стране Израиля в библейские времена. Мапу создает романтический идеал еврейской жизни на своей земле. Мальчик — герой Мордехая Зеева Фейерберга — знает, что у него есть великое наследие отцов — Тора.

Герою израильского драматурга Хануха Левина («Торговцы резиной», 1988), родившемуся и живущему на земле, воспетой Авраамом Мапу, покойный отец («человек богобоязненный») тоже оставил наследие — «десять тысяч презервативов высшего австралийского качества», которыми покойный, несмотря на таланты, помноженные на усердие, так и не успел воспользоваться: смерть остановила неутомимого и самоотверженного труженика.

Было бы не только слишком прямолинейно, но и просто неверно утверждать, что эта впечатляющая метаморфоза земли, героя и наследства представляет собой путь ивритской литературы, — очевидно, однако, что это одна из важнейших ее траекторий.

Завершает книгу рассказ молодого израильского писателя Этгара Керета (род. в 1967) «Разбей поросенка» (1997), где в неожиданном ракурсе возникает тема «Теленка» Фейерберга. Маленькому мальчику жаль глиняного поросенка — копилку, до отказа набитую шекелями и вполне готовую к сокрушению. Материальное поощрение — награда не за успехи в изучении Торы (как это было бы сто лет назад), а за внушающее отвращение какао с пенками на завтрак. Поросенок обречен на заклятие. В отличие от героя Фейерберга, понапрасну задающего взрослым неудобные вопросы, мальчик Керета прекрасно понимает, что обсуждать с ними важные вещи совершенно бессмысленно. Он спасает поросенка, спрятав его на пустыре среди чертополоха и таким образом навсегда потеряв его для себя. Не говоря уже о том, что он лишился, благодаря своему безумному поступку, возможности купить себе интернациональную куклу — Берта Симпсона на американских роликах, о которой столько мечтал и из-за которой весь сыр-бор с накоплением капитала и был затеян.

В отличие от рассказа Фейерберга история Керета как будто лишена каких-либо еврейских коннотаций. И все же они существуют. Мальчик зовет своего поросенка Песахзоном, что в переводе означает «Сын Песаха» (Песах — еврейская Пасха). В этом имени нет никакого умысла — случайно запомнившаяся наклейка на почтовом ящике, и только. И все же: мир рассказа — это мир, где единственный, оксюморонный, блик еврейской традиции — глиняный поросенок с идишским именем!



«МЫ НЕ ЖАЛЕЛИ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ...»

Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни. [2-е издание]. М., «Русский путь», 1999, 287 стр. (Всероссийская мемуарная библиотека, серия «Наше недавнее», вып. 6).

«В течение многих лет я видела один и тот же сон: вот Кирочная, вот наш дом, все отлично, все на месте». Так и хочется продолжить здесь за мемуаристку, через запятую: «не было никакой революции, с Россией все в полном порядке».

Нина Алексеевна Кривошеина, урожденная Мещерская (1895 — 1981), покинула дом на Кирочной, Петроград и Россию не ребенком и не подростком, а замужней женщиной. Ей минуло двадцать четыре, когда незадолго до нового, 1920 года она с группой других отчаявшихся людей ушла по льду Маркизовой Лужи в Финляндию. Целую геологическую эпоху спустя, оказавшись вновь на родине, она за все свои советские годы (1948 — 1974) так ни разу и не уступила уговорам мужа и сына посетить «Петербург». Воспоминания о сказочном городе своей юности были ей слишком дороги, чтобы дать их бесповоротно перечеркнуть какому-нибудь жуткому, полуразрушенному ленинградскому подъезду, пропахшему мочой и кошками, — таких, свидетельствую, было полно на улице Салтыкова-Щедрина (новое имя Кирочной).

Воспоминания Н. А. Кривошеиной остались недописанными. Из обещанных заголовком четырех третей она донесла до бумаги первые две и начало третьей. Первая треть — это жизнь в России до отъезда из России в 1919 году. Вторая — 28 эмигрантских лет в Париже (а во время войны — во французском городке Шабри). Из четверти века в СССР, образующей третью треть, автор успела рассказать про отрезок с 1 мая 1948 года по 20 января 1954-го.

Редкие мемуары так захватывают, как книга Н. А. Кривошеиной. Мемуаристка не вспоминает свою жизнь — она проживает ее на каждой странице заново, и внимательный читатель проживает ее вместе с автором. И не просто проживает — он томится неизвестностью даже в тех случаях, когда все, увы, заранее известно; он по-детски надеется — а вдруг на этот раз на этих страницах все повернется иначе? Только замечательные мемуаристы добиваются подобного эффекта.

Вечером 25 октября 1917 года Н. А. слушала оперу «Дон Карлос» с Шаляпиным в главной роли в переполненном театре Народного дома на Кронверкском (при большевиках — кинотеатр «Великан»), после чего поехала к себе на Кирочную трамваем. «В окно трамвая я увидела Зимний дворец: много людей, рядами и кучками стояли юнкера, горели костры, несколько костров, и все было удивительно четко на фоне Дворцовой стены. Мне казалось, что я даже разглядела некоторые лица юнкеров; я ясно видела, что это не просто военные, а именно юнкера... как-то особенно четко и близко появились молодые лица у яркого ближнего костра; один юнкер чисто по-русски хлопывал себя руками, однако вся их группа была неподвижна, будто волшебный фонарь...» Это описание внушило мне сумасшедшую надежду: а вдруг сейчас произойдет что-то непредвиденное, дьяволов замысел поскользнется на какой-нибудь банановой корке, что-то предпримут — наконец! — подполковник Полковников, генерал Алексеев, генерал Черемисов... Или поезд со 106-м Финляндским полком изменника Свечникова сойдет к чертовой матери с рельс где-нибудь у Белоострова... Но нет, продолжение безжалостно. И из этой книги, всего страницу спустя, читатель в стотысячный раз узнает, что костры юнкеров горели недолго: в эту ночь произошел большевистский переворот...

Воспоминания Н. А. Кривошеиной сильны в первую очередь неожиданными подробностями. Это относится к любой их части. Чего стоит одно сообщение о вишистских полицейских («в малиновых беретях») в лагере Люстдорф под Одессой в 1948 году! Как могли они оказаться в советском плену?! И почему продолжали пребывать в нем через три года после окончания войны? Мемуарист не обязан знать ответ. Но, может быть, кто-нибудь его знает?

Впрочем, это уже из второй половины книги, а она изобилует замечательными деталями с самых первых своих страниц. Вот Н. А. воспроизводит рассказ своего отца, Алексея Павловича Мещерского, про то, как он хаживал «совсем еще мальчиком» из имения Долгушки Смоленской губернии в гости к настоятелю монастыря, стоявшего за огромным лесом. «Он брал с собой немного еды и летом, один, уходил по дремучему лесу, по тропинкам в этот монастырь, а ходу туда было верст сорок. Шел он почти сутки, и говорил мне, что страха у него никакого никогда не было и он иногда даже спал в лесу. Придя в монастырь, шел к настоятелю, который его очень любил... Пожив так недельку, мирно и без какого-либо сомнения шел домой... Злого хулиганья тогда еще в деревне почти не было, жизнь шла по давно заведенному православному календарю, все знали неписаный устав жизни; никому и в голову не пришло бы обидеть или просто напугать мальчика, шедшего одиноко по лесу в далекий монастырь».

Любопытны подробности участия царских дочерей в добровольном труде для армии на складе, оборудованном (в 1916 году, как вспоминает Н. А. Кривошеина) в Екатерининском дворце Царского Села. Здесь готовили пакеты и подарки для «серых героев» примерно пятьдесят барышень из знатных семейств, четыре великие княжны в их числе. Рассаживались вполне демократично: «Ольга... села во главе второго стола, а Татьяна села против меня, Мария с левой руки, а Анастасия с правой». Все бы ничего, да вот беда: в их отсутствие «девицы громко переговаривались, смеялись, все они были в хорошеньких белых халатиках; в общем, было не скучно», зато с момента появления августейших сестер (они приходили чуть позже всех и уходили чуть раньше) воцарялась противоестественная тишина. «Заговорить в присутствии Великих Княжон было, конечно, невозможно, обращаться к ним самим — запрещено старинным придворным этикетом». «За два месяца... молчаливый ритуал... всего один раз был нарушен»: сын попечительницы склада «вкатил большое инвалидное кресло — в нем сидела фрейлина Орбелиани¹. Все четыре Великие Княжны вскочили со своих стульев... подошли к фрейлине Орбелиани, одна за другой сделали ей глубокий придворный реверанс и поцеловали ей руку». Немного удивительно, что царские дочери целовали руку фрейлине, но такого ведь не придумаете. Возможно, подобные детали драгоценны для историка.

Исследователям жизни и творчества Сергея Прокофьева будет важна глава, рассказывающая о романе девятнадцатилетней Нины Кривошеиной с двадцатитрехлетним композитором — несмотря на расхождение отдельных фактов с общепринятыми жизнеописаниями гения отечественной музыки. Впрочем, одна ошибка мемуаристки несомненна. Н. А. настаивает, что Прокофьев никак не мог в феврале 1915 года отправиться в Италию, поскольку путь туда в то время лежал — шла мировая война — только через Румынию, которая именно тогда «объявила войну России». На самом же деле в описываемое время Румыния не участвовала в конфликте, а позже, в августе 1916-го, вступила в войну против Центральных держав как раз на стороне России. Правда, еще до этого, осенью 1915 года, путь из России в Италию — через Румынию, Сербию, Черногорию и Адриатику — и впрямь стал недоступен, поскольку австро-венгры и болгары оккупировали Сербию. Однако первые четырнадцать месяцев войны он был возможен, чем и воспользовался Прокофьев. Эта характерная маленькая абберация памяти рассказчицы лишь укрепляет мое доверие к правдивости ее рассказа. Только в придуманных воспоминаниях все выверено по справочникам.

Безусловно веришь и удивительному рассказу Н. А. о том, как она в 1918 году проходила в охраняемый красноармейцами из крестьян Кремль. Как не верить, я ведь тоже отлично знаю: русский простолюдин изначально добродушен и жалост-

¹ Речь идет, без сомнения, о княжне Софье Ивановне Орбелиани, любимой фрейлине императрицы. «Прикованная к креслу, она всюду сопровождала государыню... Царица каждый день навещала княжну и рассказывала ей о всех новостях» (Мосолов А. А. При дворе последнего императора. Записки начальника канцелярии министра двора. СПб., 1992, стр. 103). Фрейлина умерла в декабре 1915 года, так что, видимо, память Н. А. Кривошеиной смещает события на год — вещь извинительная для воспоминаний, писавшихся шестьдесят с лишним лет спустя.

лив. Даже сегодня, после трех подсоветских поколений. Пропуска у барышни нет, но она приехала из Питера хлопотать за родного отца — как можно ее не пропустить?! «Ну иди, чего там, уж раз отец, понятно».

На другой день: «Еду на свидание в Бутырскую тюрьму... в трамвай влезть невозможно... толпа втискивается молча, жестоко... Рядом со мной два солдата, оба бородатые, но не старые — они тоже пока еще не влезли. Прошу их: „Товарищи, помогите влезть, а то я очень спешу“. Они смеются: „Все спешат, не ты одна!“ — „Да мне на свидание, в тюрьму, там отец, а у меня пропуск пропадет“. — «Вот ты бы так и сказала, это дело другое». Подходит опять трамвай, один из них подхватывает меня за талию, другой работает кулаками, и мы трое вносимся, будто по воздуху, в трамвай. Дальше я опять прошу их помочь мне выйти, они охотно всех расталкивают, спускают меня на тротуар и навеки исчезают из моей жизни в дребезжащем вагоне».

Как много информации может заключать в себе одна мимолетная фраза! «Отношение к русскому правосудию как к самому справедливому и честному в мире еще твердо держалось; не сразу можно было осознать, что все коренным образом изменилось [в 1918 году], и такое замечательное учреждение, как русский суд, — тоже». Это драгоценное напоминание о ясной и непоколебимой уверенности людей ушедшей России в своем суде — уверенности, которая не свалилась с неба, а покоилась на всем их жизненном опыте. Увы, еще 15 декабря 1917 года главный из красных бесов одним росчерком пера отменил весь Свод законов Российской империи. Сегодня мало кто осознает, что этот акт — один из самых разрушительных и страшных даже на фоне остальных преступлений коммунизма. Последствия этого акта будут сказываться, вероятно, и весь следующий век. Нынешняя Дума бьется в конвульсиях, заново (и неудачно) изобретая земельное, лесное, водное залоговое, вексельное, наследственное, переселенческое, национально-административное и десятки других видов законодательств, тогда как другие страны пользуются сводами своих законов двух- и трехвековой давности, понемногу их обновляя.

Возможно, в Нине Алексеевне Кривошеиной погиб незаурядный писатель. Тут необходимо пояснение. Так называемый «хороший слог», который у людей ее поколения и социальной принадлежности был обусловлен (не у всех, конечно, но у многих) хорошим образованием — это, в конце концов, довольно банальный слог экзаменационного гимназического сочинения, не более того. Именно так, прилично и правильно, написано множество мемуаров. Писательские задатки Н. А. Кривошеиной кроются в достаточно редком у пишущих людей свойстве, которое можно назвать безоглядностью чувств. Художник сказал бы: пишет открытыми красками. То есть смелым, нечопорным пером именно и только то, что подсказывает ее удивительно точная память. Только очень искренний человек напишет про себя: «я тупо молчала» или «я ей злобно отвечаю». Так и хочется цитировать дальше: «Приезжает на февральские каникулы Никита: веселый, с отекившим лицом»; «В этом глухом городе, который одной ногой стоит в Азии [речь об Ульяновске], всем про все известно; устная газета работает бойко; здесь дружат через дом — с ближайшими соседями своими обычно никто не разговаривает, а то и просто не кланяются (впрочем, во французской провинции так же)»; «Наша теплушка в каком-то приступе подвижности начинает снова стучать по рельсам, катит одна под горку, чтобы с размаху стукнуться о другой состав; но и этого мало, неведомый и невидимый нам паровоз — другой, с обратной стороны — двигает нас теперь назад и с истинным садизмом припаивает к каким-то невидимым нам бесконечным составам товарных вагонов и цистерн».

В Гражданскую войну погибли миллионы светлых и достойных людей, и на этом фоне, казалось бы, кошунственно горевать о четвероногих. Но вот поди ж ты, у хорошего автора трогает и воспоминание (конца 1919 года) о несчастной собаке Моте, полуторагодовалом маленьком тигровом французском бульдоге «с белым жилетом и глазами доброго негра». Мотя «буквально понимала все без слов (хотя их много знала)». Но время было тяжкое, и собачка стала хиреть от плохой пищи, голода и холода. «За три дня до нашего ухода [по льду в Финляндию] я с утра попросила Сусанну отнести собаку ветеринару для усыпления. Мотя сидела на ледя-

ной кухне перед пустой „буржуйкой” и дрожала мелкой дрожью. Сусанна надела платок, взяла на руку корзину; я подошла к Моте и сказала ей: „Что ж, Мотя, прощай!” Она посмотрела на меня, медленно повернула ко мне голову, даже хвостом не мотнула в ответ на голос... и у нее из глаз полились слезы». Эта собачья история имеет десятки аналогов в мировой литературе, но задевает как в первый раз, ибо случилась в действительности, в Петрограде, на Кировной улице, в декабре девятнадцатого.

При чтении этих мемуаров часто ловишь себя на мысли, что мало есть нового под луной. Вот картинка, случайно увиденная автором более полувека назад в палестинской Хайфе, куда теплоход «Россия», доставлявший репатриантов на родину, зачем-то заглянул по пути из Марселя в Одессу. «Прелестный город как на ладони, за ним невысокие холмы, и там, за холмами, идет сильная перестрелка, ухают пушки, всюду стрекочет пулемет. А по набережной четко видно, как бегут целые семьи, несут детей, старухи воют, да и молодые тоже, рвут на себе волосы. Мужчины погоняют ослика или мула, но больше так, пешком, груженные кулями, таганями, матрацами. Другие прыгают с пристани в лодки и гребут вдоль берега с напряженными, перекошенными лицами, мужчины потрясают кулаками, кричат проклятия израильтянам и плачут. Их становится все больше — этих арабских беглецов, покидающих родной город. А мы стоим неподвижно, оцепенев — случайные зрители...»

Из «советской» трети, как уже упоминалось выше, мемуаристка успела рассказать лишь про первые шесть (неполных) лет. Этим годам, проведенным в Ульяновске, посвящено ровно сто страниц, и я читал их как самые важные в книге. Глухая советская провинциальная жизнь, нормальная для меня, погруженного в нее при рождении, — какой ее воспринял зоркий взрослый взгляд? Взгляд почти иностранный — и при этом фундаментально свой, неподготовленный — и готовый ко всему.

Впечатления о жителях Ульяновска оказались предсказуемыми лишь отчасти. О да, эти люди в достаточной мере запуганы коммунистической властью. Но при этом: арестовывают начальника вневедомственной охраны города, и — «все угрюмые, прокуренные служаки окружили своего шефа... умоляли его не забирать». То есть, на языке протокола, оказывали сопротивление власти. Или, уж не знаю, «препятствовали выполнению санкции прокурора»? В любом случае это была, как тогда говорили, нормальная «статья». Что особенно удивительно, начальник был реэмигрант и к тому же из балтийских немцев.

Перевернем еще несколько страниц. Н. А. вспоминает о своем знакомстве (зимой 1949/50 года) с Иваном Федоровичем Сарычевым — охотником, собачником, изобретателем, но главное — человеком, одержимым «всепоглощающей ненавистью к Сталину», которую он ничуть не прятал от своей новой знакомой, непонятной женщины, зачем-то приехавшей в сталинский СССР из Парижа. Вспоминает она и рассказы Сарычева, например, «про процесс обкомовцев в Ульяновске, когда любимого в городе инженера Народный суд оправдал (! — А. Г.), и рабочие на руках его вынесли из зала суда». А вот «приятный, суховатый полковник Федоров», говорящий мемуаристке: «Хотите, я вам покажу все доносы, которые он (речь о „коммунальном” соседе Нины Алексеевны. — А. Г.) на вас написал за это время? Вот они здесь, у меня в ящике, — пятнадцать, двадцать! Хотите прочесть?»

Все дело в подробностях, друзья, — ведь общую канву мы знаем достаточно хорошо. «Страшный город был Ульяновск в те годы — дома не ремонтировались больше 30 лет...» (понятная цифра: процитированное наблюдение относится к 1948 году), «во многих домах обрушились балконы; некоторые висели на металлической подпорке вдоль дома и покачивались на ветру. Все хозяйство города было в полном расстройстве; по 2 — 3 недели целые кварталы оставались без воды». Но люди, полурасплющенные чудовищной глыбой советского монолита, все равно не становились теми работами, теми бодрыми строителями утопии, какими их мечтали сделать товарищи из Политбюро.

А тут еще реэмигранты вроде Н. А. Кривошеиной. Как к ним тянулись! В 50-е еще с большой опаской, но тянулись. Ведь они являли собой живое доказательство того, что существует другой мир, не просто чужая и чуждая заграница, а некая па-

раллельная Россия, населенная русскими — но при этом, как ни удивительно, свободными людьми.

Это вообще любопытная тема: наглухо закупоренный СССР — и образы извне, достигающие зрения и слуха молодых людей советского разлива, комсомольцев и значающих ГТО. Эти образы обнадеживали: «Не робейте, ребята, есть другой мир — открытый и вольный, без соцсоревнований, пленумов Политбюро, кумачовых лозунгов и очередей за колбасой и кофточками». И что мог весь соцреализм вкупе с Союзом советских писателей противопоставить — если речь о 50-х — какой-нибудь строчке, всего лишь даже из Вергинского? Что уж говорить о живых свидетелях? Однако был и непрменный вопрос: а зачем вернулись? Забавно, но для советского сознания такой естественный резон, как тоска по родине, был полной ерундой — его с насмешкой отвергали все без исключения. Многослойное это было существо, советский человек...

В заключение — о дальнейшей судьбе автора мемуаров. После шести лет в Ульяновске семья мемуаристки сумела переселиться в Москву, а еще двадцать лет спустя, в 1974-м, Н. А. Кривошеина с мужем вновь вернулись в Париж, где началась и закончилась (ее — в 1981 году, его — пятью годами позже) «четвертая треть» их жизни. Овдовев, И. А. Кривошеин подготовил книгу жены к печати и увидел ее изданной (Париж, «УМСА-press», 1984). В написанном им послесловии мне очень дорога такая краткая фраза: «Мы не жалели о пройденном нами пути». Думаю, Игорь Александрович имел право сказать эти слова за свою покойную жену.

Я спрашиваю себя: в чем бы я увидел главное, не прочитываемое сразу послание книги «Четыре трети нашей жизни», прочти я ее тогда же, когда она была написана, почти двадцать лет назад, когда вечная мерзлота еще звенела как металл и рассвет, казалось, не наступит никогда? Думаю, в том же, в чем и сегодня. Да, историческую Россию, видимо, не вернуть, да, ее невосстановимые ценности, видимо, стали достоянием истории — но надо жить и действовать так, как если бы надежда оставалась.

Александр ГОРЯНИН.

ЗА ЧТО? Проза. Поэзия. Документы.
Составители В. Шенталинский, В. Леонвич. М., «Новый ключ», 1999, 559 стр.

...«Олимпийским» летом 1980 года я прятался от КГБ по провинциальным углам и на одной из кухонь услышал магнитофонную запись — «подпольный» бард пел:

Решетка ржавая, — спасибо,
Спасибо, старая тюрьма!
Такую волю дать могли бы
Мне только посох да сума.
.....
Не напрягая больше слуха,
Чтоб уцелеть в тревоге дня,
Я слышу все томленья духа
С Екклесиаста до меня.

Задетый за живое замечательными словами, простой, но проникновенной мелодией, я поспешил спросить, кто поет и кто автор. На музыку слова положил Петр Старчик, а вот чьи они? «Какого-то старого зека». И только теперь, открывая новый сборник стихов,

прозы и документов узников коммунистических концлагерей, вижу там и эти стихи и узнаю наконец подробности об их авторе А. А. Солодовникове (1893 — 1974), в Гражданскую войну — деникинце, позже — многолетнем сидельце.

Запоры крепкие, — спасибо!
Спасибо, лезвие штыка!
Такую мудрость дать могли бы
Мне только долгие века.

Стихи и проза данной книги сильны и умны именно этой особой зековской мудростью; у «лагерной» литературы особый «состав», особая примагничивающая сила. ГУЛАГ породил «дантовские» шедевры Александра Солженицына и Варлама Шаламова, но и многие значительно менее талантливые авторы мудры той же мудростью. Их слово не высосано из пальца, как это нередко бывает с прозой «вольняшек», а прорастает из опыта, преодолевая при этом литературное дилетантство. Г. Демидов, Я. Браун, Г. Воронская — эти, да и

большинство других имен сборника ничего не говорят читателю до того, как прочитаешь их вещи, и — становятся близкими *после* чтения и ознакомления с канвою их судеб. Судеб, заставляющих сжиматься сердце каждого, кто не потерял его в наши последние слишком пестрые годы.

Не все в составе и композиции сборника безупречно: так, два письма Солженицына А. Жигулину почему-то вынесены из раздела «Воспоминания, письма, документы» в раздел «Поэзия»; некоторые аннотации — подписные, некоторые — анонимные. Можно оспорить и включение именно в данную антологию поэмы Николая Клюева «Песнь о Великой Матери» — это вещь совершенно иного размаха и своим чрезмерным в таком контексте удельным весом давит на остальной материал.

...С огромным, никак не меньшим интересом, чем стихи и проза, читается здесь документалистика: ведь беллетризация — не всегда оптимальная форма для зекковского опыта, где жизненный факт сильнее художественной фантазии.

Уж все, казалось бы, знаешь, но каждый раз, читая что-то новое про быт советских застенков, чувствуешь и ужас и ярость к тоталитарной машине. Вот Челябинский централ образца тридцать седьмого года (М. Шангин, «Тюрьмы»): «Круглые сутки шевелится голая масса, копошатся люди, как черви в банке... Некоторые стоя дремлют. Ноги у них синие, опухшие, зато они первыми выходят на прогулки и возвращаются последними. Им достается лишний глоток воздуха. Под койками тоже жильё: там лежат валетом по восемь человек... Подкожные чаще умирали. Живые день-два спали рядом с мертвецами, чтобы получить за них пайку хлеба да разделить на несколько человек. Трупы в конце концов вытаскивали волоком. Делали эту работу уголовники... Пытали не всех и взрослых (Шангину было всего семнадцать. — Ю. К.), но КРЕСТ я видел. Крест — это холл при пересечении коридоров. То ли здесь стены скреплены растяжкой — железным прутом в руку толщиной, то ли прут был прилажен специально для пыток. На нем подвешивали узников — кого за руки, кого за ноги, кого за руку и за ногу. Тут же на полу валялись заделанные в смиренные рубахи. Рубаха эта

наподобие комбинезона, только широкая. В нее заделывают „клиента“, воду туда заливают, кладут на живот и стягивают ноги к голове. В тюрьме около пятнадцати тысяч заключенных. Не успевают всех вывести на прогулку. Стали водить и ночью. Тогда-то я и увидел его, крест... В ужасе проходим мимо. Висят люди, еще живые, глаза выкачены, пена с кровью изо рта. Жертвы „свежие“ орут на весь этаж, остальные, уже доходящие „до кондиции“, просто мычат. ...Сидим, 286 узников вместо тридцати, на которых была рассчитана камера».

...Грешный человек, мстительно мысленно заталкиваю я в такую вот камеру кого-нибудь из нынешних трескучих поклонников «Великого Евразийского Проекта Красной Империи» (А. Проханов). Пусть посидит там у параша несколько суток, а потом — выпустить и на грудь — новый «орден Генералиссимуса Иосифа Сталина» (конкурс на который проводила недавно газета «Завтра») — пусть щеголяет. «Того, что пережили мы, — говорила Анна Ахматова Лидии Чуковской 4 марта 1956 года, — да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! — не запечатлела ни одна литература. ...О том, что пережили казенные или лагерники, я говорить не смею. Это неназывается словом. ...Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили».

Чуть не полвека прошло с тех пор, много воды утекло, сменилась эпоха, а «две России» по-прежнему глядят «друг другу в глаза».

И «та, которую посадили», — со страниц вот этого сборника: благородная, скромная, несгибаемая. Ее мудрость расставляет все по своим местам.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ. Сдвиг. СПб., Издательство «Абель», 1999, 116 стр.

Сборники стихов «Пунктирная линия» Льва Дановского, «Сдвиг» Валерия Черешни, «Эдип» Владимира Гандельсмана издательство «Абель» выпустило отдельной серией, в привлекательных обложках цвета серебристого парашют-

ного шелка. Из трех поэтов хорошо известен заинтересованному читателю лишь Гандельсман. Не исключено, что будущие литературоведы дадут имя этой эстетически цельной троице, сформировавшейся в дружеском общении и в стороне от неофициальных (тем более официальных) ленинградских литературных групп времен застоя. Лица вышеназванных поэтов отмечены «необщим выраженьем» и в сравнении с другими, и в сравнении друг с другом, но и *общее выраженье*, выраженье того, что связало троих, тоже наличествует. Родство их заметно — иногда в пластике языка, еще больше — в верности его тому, ради чего все это стихослагательство и затевается. Ради принятия реальности: для них «поэзия — форма принятия реальности» (В. Гандельсман). Для них реальность реальна, сколько бы вокруг ни страшили виртуальностью. В этом смысле они традиционалисты, в и т а л ь н ы е т р а д и ц и о н а л и с т ы, как мне хочется их именовать: есть такая традиция — жизнь, где каждый живущий — новатор от рождения. Новаторство единожды живущего человека они всегда стремились передать своему языку и тогда, когда вокруг многие заходились от новейших языковых проектов. А тут и время вернулось личного языка, вернулось по спирали, закрученной концептуалистами. Точнее, закрученной диалектическим спором новаторов литературы и новаторов жизни — витальных традиционалистов. О стихах одного из них, чье существование в поэзии пока еще критики не тревожили, — этот отклик.

Новая книга Валерия Черешни «Сдвиг», в отличие от двух предыдущих¹, содержит не только стихи, но и прозу в жанре «мысли». Одна из них выполняет почти всю работу критика в его попытке описать язык поэта:

«Что такое поэтический язык? Инструмент для достижения чуда, того, что не должно происходить в нормальном языке: совпадения смысла, ритма и звучания слов. К искусству вполне приложимо высказывание Николая Кузанского: „Недостижимое достигается посред-

ством его недостижения”. Недостижимое, то есть полное совпадение смысла и звучания слова, достигается его недостижением, то есть особенностью и даже слабостью поэтического языка, в котором должна быть только искренняя, своя попытка достигнуть этого совпадения, обреченная на неудачу. Но чуткий читатель в самой мере недостижения узнает образ недостижимого, а большего от искусства и не требуется...»

В. Черешня пускается торными и неторными подходами к своей недостижимой вершине. Чаще всего он полагается на испытанную технику речи. Новизна здесь не в форме, а в безошибочном ее выборе для поэтического поступка. Где еще мы слышали, например, такое:

Сам скажи о Себе, а я — устраниюсь.
Ну, какой Ты? Стоишь, наклоняясь,
Обернувшись к Себе, словно смотришься
в воду.
Ну, какой Ты без лирики? Кроме погоды?

Зачеркнем лепет слов, означающих чувство,
Это здесь не подходит; оставим искусство
В точном смысле — уменья любого рода,
Взглянем прямо в Твои бесконечные своды.

Анфилада пустот. Пролетая раскрытые
двери,
Расстояние жизни рассудочным взглядом
измерив,
Я смирюсь, Тебе предоставив слово.
Ты молчишь — это более чем сурово.

Это более чем сурово, но это — прекрасно:
Если жизнь и ее проявления столь же
напрасны,
Сколь напрасны цветы в индевующем
здании морга,
Значит, мы так свободны, что хоть подыхай
от восторга.

Ты молчишь, Ты молчишь и даешь этим
право
На молчание мне и моей безразмерной
державе:
Где-то там, вдалеке, в леденеющей вспышке
зарницы,
Мы с тобой погружаемся в смежные наши
границы.

Осязая бесстрастье Твое, высоту,
равнодушие,
Я уже никогда не умру от удушья,
Задыхаясь вопросом, ответов не узнавая...
Ты свободен совсем, я Тебя отпускаю.

Бесконечна здесь «мера недостижения» Недостижимого. Смирение и смелость человека в некой немислимой гармонии даруют ему последнюю свободу...

¹ Черешня В. Свое время. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1996; Черешня В. Пустырь. СПб., «Феникс», 1998.

Прозаические интерлюдии В. Черешни примечательны все той же выношенной глубиной, что и воспроизведенные только что «Вариации на вечную тему». «Несчастье — освобождение для тех, кто дорос до этого». Вчитываясь в стихи В. Черешни, родившиеся на границе страдания и свободы, веришь, что «дорости» можно. Переход из одного состояния в другое иногда гарантирован верой в неокончателность приговора «Снег — это снег. Смерть — это смерть», догадкой об ином бытии, а иногда, напротив, силы для земной жизни поэт находит только в ней самой, в самой ее тяжести. И когда в нем одновременно и то и другое, звук его стиха особенно гулок («На тему Гамлета»).

Принятие мира как есть мало сказать доминирующий — исступленный мотив поэзии В. Черешни, тихо исступленный. Мира и с такими чертами, что предстанет, например, в стихах о приюте престарелых, «где смерть, как малолетний хулиган, / скорее ищет повод, чем причину, / чтоб посетить кого-нибудь из них / (а остальные робко затихают)»...

Не во всех стихах В. Черешни так задевает каждая строчка. На совести автора или читателя неприметность некоторых из них. Заглянем в его прозу: «Бог не знает эпитетов. Вещь существует — и все. Эпитеты — это наша неспособность принять вещи в полноте их существования». Не потому ли принимающий мир «в полноте» В. Черешня иногда подбирает эпитеты спустя рукава: мол, невелика важность?! А серьезно говоря, его поэтика не работает на прилагательном, тем более — изысканном, того более — на оксюморонном, невротическом, самоотрицающем сочетании эпитета с существительным — сочетании, столь характерном для современного стиха. В. Черешня не боится быть «нормальным», неярким. Он боится только одного: быть ярким за чужой счет, то есть за счет средств, неорганичных для него. Он не форсирует стихию, все выбросы и заострения слова явно проходят контроль совести его ремесла.

Философ, то есть любящий мудрость, — в стихах он поэт, то есть конкретен. Стихотворение «Южанин» красноречиво представляет обе стороны монеты. «Расставив ноги, распустив

мотно, / Он мочится привольно, орошая / Притихшую от ужаса траву / Под каменными стенами сарая. ...Он плоть от плоти этих грозных гор / И с ними бессловесно совпадает, / Покуда Замысла горячечный задор / В природу эту пышную играет». Обратите внимание на зависть поэта к бессловесному совпадению в его поисках словесного совпадения, оно тут ему удастся — и не потому ли становится формой принятия реальности? Реальность принимается точностью речи о ней.

Книгу «Сдвиг» с эпиграфом-автоцитатой «...сдвиг — мертвого в живое» можно прочесть и как описание пути от состояния, когда «ты не готов еще принять / такую бездну безразличья», — к жесткой правде: «Твой мир — всего один из многих, / И вовсе он не в центре мира». Через попытку невозможного — видеть мир без себя, как в пейзаже с «золотистой молю» («Без меня»).

Такое гибкое «я», личное и безличное одновременно, — вещь сравнительно редкая в лирической поэзии, поэзии эгоцентрической по определению. Лиризм неуничтожим, и поэзия Валерия Черешни — еще одно живое тому свидетельство. Но она свидетельствует и о силе лирического слова преодолевать притяжение ко все тому же центру — эго:

Я сумел отстраниться от боли отдельной
судьбы
(Запах летнего вечера хочет занять эту
строчку)
И смотрел на себя просто так, ни с какой
стороны,
Как на небо без облака, где не задумаеть
точку.

Лилия ПАНН.

Нью-Йорк.

*

ЕЛЕНА ЕЛАГИНА. Нарушение симметрии. СПб., АО «Журнал „Звезда“», 1999, 112 стр. («Urbi». Литературный альманах. Вып. 21).

Всякая книга начинается с названия, которое в процессе чтения как-то интерпретируешь, разгадываешь. Какую же «симметрию» нарушает сборник стихов Елены Елагиной?

Сразу и не понять, пробегая глазами строки, повествующие все о том же, о

том же, о том же: о неутешительности жизни, одиночестве, о надеждах, прорастающих как упрямый пырей из-под напластований тоски и разочарования, о Музе, которая, впрочем, оказывается у Елагиной не чудной гостьей, а «девкой с дудкой, треснувшей в руке». И тут уже неожиданность, уже некоторое нарушение равновесия, симметрии.

«Асимметричны» и любовные тяготения. Нет, никаких модных нынче перверзий в стихах Елагиной не отыщется (о чем она впрямую заявляет все в том же стихотворении «Незванная гостья»). Есть другое, весьма плодотворное для поэзии и вообще для искусства обстоятельство. Наше чувство становится не просто эмоцией, а эстетическим фактором, экзистенциальной проблемой, когда обнаруживает внутри себя некую необъяснимую невозможность реализации, загадочное несоответствие себе самому. Именно в этом смысл захлестнувших литературу XX века маргинальных страстей по Томасу Манну, Прусту, Кузмину или Набокову.

Тайна «имения, но не обладания» раскрывается Елагиной по-своему. Ее герой — «Фарфоровый ангел», примагнивающий именно что своей амбивалентной природой: с одной стороны, небесной, даже не красотой, а отстраненностью, не-от-мира-ее (героини) сущностью, а с другой стороны — фарфоровостью, то есть хрупкой искусственностью, негибкостью, холодностью, опасной склонностью падать и разбиваться при любом неосторожном прикосновении.

Конечно, это давняя тема, это еще еврипидовско-трагедийная тема. И не случайно в златовласом герое стихов Елагиной угадывается современный Ипполит, дважды отделенный от мира героини: своим возрастом и занятостью собой (вплоть до нарциссизма):

Ангел ты мой, фарфоровый ангел,
Ничего-то обо мне ты не знаешь,
Хоть так часто сидишь напротив
И в глаза мне смотришь подолгу
Пристальным взором вундеркинда
В новомодной тонкой оправе.

(Другой вариант любовной коллизии, разыгрывающейся в стихах Елагиной, выявляет все ту же невозможность реализации чувства — страсть, так сказать, к «голубому ангелу» — например — в

стихотворении «Ну, попробуй, попробуй влюбиться еще и в миллионера...».)

Этот цикл Елагиной совершенно не случайно стилистически клонится то к разговорно-простодушным признаниям Кузмина (достаточно сопоставить «Утешение» из «Сетей»: «Я жалкой радостью себя утешу, / Купив такую шапку, как у Вас...») — и: «То подсвечник тебе подарю, а другой себе оставлю, то кружку. / Все придумываю какие-то несуществующие связующие узы...»), то к шекспировским торжественно-экзальтированным монологам:

Им не под силу наших чувств напор,
И страсти им неведомы, и гнет,
И сладость выбора. Но облик, облик!
Но красота небесная! Но то,
Что слову не дается, только кисти!

Через частное переживание, через личную неудачу, через трагичность беспомощного ощущения себя Федрой, любующейся красавчиком из «поколения X», проглядывает общечеловеческая проблема «заброшенности» в мир, чуждый, трансцендентный, соблазняющий меня, манящий, но не дающий осуществиться. Вот где нарушение симметрии.

В этой экзистенциальной обоснованности главное достоинство книги Елены Елагиной. Ее стихи — не эстетические опыты, не скольжение по накатанной всеми — от Архилоха до Бродского — поэтической лыжне, не женское рукоделие, состоящее из признаний в трогательной любви к себе самой и из обиженных инвектив в адрес бросивших и не оценивших. Почти каждое стихотворение — попытка разобраться. Разобраться в реально складывающейся ситуации, перевести ее из бытового в бытийный план и тем самым — через придание смысловой структуры — пережить, «остановить мгновенье».

Как всегда, оборотной стороной силы выступает слабость. Цепкое внимание к жизненной обусловленности стихов грешит повествовательностью, желание обдумать и разъяснить себе скрытые пружины претерпеваемых страстей — дидактичностью. Поэтическое плавание осуществляется между Сциллой детализации впечатлений и Харибдой прямого рассуждения с привлечением всего личного арсенала художественных и философско-литературных ассоциаций.

Последовательное развертывание текста захватывает у Елагиной в свою орбиту все новые и новые ряды образов. Так в стихотворении «Вторая столица», естественно, посвященном Петербургу, мы встречаемся с Бореєм, «зовом крысолова», Гулливером, «долга рабом», «посейдоновой бородой», наконец, петухом, не клюющим «даже в пятно родимое».

Меж тем хитроумному Одиссею, чтобы спасти корабль, пришлось пожертвовать шестью спутниками. Так и в стихах эстетическое воздействие строится на целой системе подспудных жертв, умолчаний, предпочтений. Мысль, выговаривающая себя до конца, как бы уравновешивается, становится нейтральной, следовательно, уже художественно неупотребимой. Здесь тоже необходимо «нарушение симметрии», которое достигается Елагиной в лучших ее стихах. В завершение перечислю некоторые из них. Это: «Выжимая жизнь, как штангист выжимает свои блины...», «Радио для глухонемых», «Смерти боялась. К плечу прижималась щекою...», «На поводке любви, безжалостном, саднящем...», «Насмешница-судьба опять на совпадениях...», «Не любовь и не дружба, а что-то другое, третье...», «Эй, признайся-ка, скромник, безупречный отец семейства...», «Бог — мужчина и любит поэтому шлюх и пьяниц...», «Что бы ты ни загадывал наперед...». И еще многие другие.

Алексей МАШЕВСКИЙ.

С.-Петербург.

*

НИЧЕГО СМЕШНОГО. Юмор, сатира, пародия, афоризм. Перевод с английского. Составление, перевод и справки об авторах А. Ливерганта. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 448 стр.

Стоящая книга пишется как минимум двадцать лет. То есть необязательно этот срок полностью посвятить одной работе, но хорошо, когда между рождением замысла и его завершением пролегалта такая стайерская дистанция, придающая литературному труду философический масштаб, отличающая его от скороспелых поделок неофитов и конъюнктурщиков. Литературовед и переводчик Александр Ливергант еще в семидесятые годы начал знакомить чи-

тателей журнала «Вопросы литературы» с лучшими образцами англоязычной пародии и смежных с нею жанров. Выбор произведений для перевода был достаточно системным, и книга постепенно сложилась сама собою.

Получился своеобразный атлас англоязычного литературного остроумия трех веков. Здесь развернут весь спектр смехового начала — от самодостаточных чеканных афоризмов Сэмюэля Джонсона (вспомним, кстати, что А. Ливергант выпустил три года назад антологию «Суета сует. Пятьсот лет английского афоризма») до пародийных фрагментов, вычленившихся из «Улисса», от вошедших в историю литературы пародий Брет Гарта на Фенимора Купера и Фрэнка Норриса на Брет Гарта — до совсем свежих острот нашего современника Вуди Аллена. Смех не ведает ограничений, не признает никаких табу и священных коров, ему подвластны любые жизненные и литературные явления, а порой остроумие шутит и над самим собой, над своими привычными приемами и штампами. Этот всепроникающий характер литературного смеха антология демонстрирует весьма наглядно.

При всем пестром разнообразии сатирических тем и жанров (поневоле вспоминается, что изначально-этимологически *satira-satura* — это не пресловутое «обличение», а «смесь, всякая всячина») в выстроенной А. Ливергантом композиции читается определенная иерархия. Смысловая сердцевина книги — это литературная пародия в строгом смысле слова. Перевод пародии — дело сверхтонкое, но, в принципе, возможное — непереводаемо лишь то, что не имеет смысла. Вокруг этой доминанты группируются жанры, несущие в себе определенный заряд пародийной двусмысленности и всегда чреватые вторичностью: анекдоты, басни и сказки, мемуары, письма; кстати, и афоризм после XVIII века сделался по преимуществу пародийным жанром, комически переосмысливающим общие места. А такие разделы книги, как «Интервью», «В мире науки», «Спорт», «Театр», включают сатиру, пародирующую не столько стилистические штампы, сколько стереотипы мышления. Филологам весьма небезынтересны будут пародии на литературоведение: так, «Комментарий к Шекспиру» Роберта Бенчли вполне «долетает»

до нашего времени и попадает даже в некоторые монографии издательства «НЛО», избыливающие необязательными параллелями и перегруженные неистовой демонстрацией авторской эрудиции.

Девяностые годы для нашей литературы оказались невеселой эпохой. Тотально однообразная ирония, монотонное интертекстуальное пересмешничество, назойливое журналистское балагурство, именуемое стебом, — все эти вредные выбросы настолько отравили культурную атмосферу, что экологически чистый юмор многими теперь просто не воспринимается. Симптоматично, что книга «Ничего смешного» сразу по выходе нарвалась на высокомерно-менторский отзыв в газете «Ex libris НГ», где почему-то предсказывалось, что массовый читатель, «простой смертный», этой книги не поймет, поскольку «юмор как таковой играет здесь второстепенную роль, уступив первый план высокой литературе». За этим наукооб-

разным канцеляритом мне видится позиция, весьма напоминающая мышление одного советского киноначальника, который, от души отсмеявшись на просмотре комедии, тут же сумрачно заявлял: «Людям это будет непонятно». Вот уже четверть века занимаясь проблемами литературной пародии, я (как, полагаю, и А. Ливергант) постоянно ощущаю контакт с далеким от околотературной тусовки, но отнюдь не малочисленным читателем-собеседником, видящим в юморе неотъемлемое свойство высокой литературы, равнодушным к сиюминутным островам типа «упал — отжался» и умеющим получать удовольствие от самого понимания подспудной серьезности пародийного остроумия. Именно таким читателям я — и устно, и письменно — уверенно рекомендую книгу, составленную и переведенную Александром Ливергантом.

Вл. НОВИКОВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция!

Признаюсь, я никогда не полемизировала с моими критиками, даже если я была категорически не согласна с их интерпретациями моего творчества. Но это случай специфический. Весьма сожалею, что мне приходится протестовать против политических инсинуаций, направленных в мой адрес священником Русской Православной Церкви («Опыт богословской культурологии» — «Новый мир», 1999, № 11).

Ключ к пониманию духа рецензий священника Алексея Гостева на мою книгу «Современная культура и Православие» заключен в абзаце, где он выдвигает мне политические обвинения. По его мнению, я написала эту книгу по «соцзаказу» неких («нет сомненья», — утверждает он) «сил воинствующего „интегризма“, то есть твердолобого реакционного консерватизма», которые «со свойственной им гносеомахией и обскурантизмом не стесняются сегодня фигурировать на экранах телевизоров вместе с Д. Васильевым, Г. Зюгановым и им подобными. Они заявляют, что происходящее сегодня в России является большим злом, чем красный террор и уничтожение Церкви большевиками... Очевидно, под их влиянием О. Николаева... испытывает странную симпатию к „не лишенному простого человеческого обаяния“ герою соцреализма».

Эти обвинения абсолютно противоречат действительности. Я никогда не зналась, не водилась, не являлась ни с какими «твердолобыми силами» зюгановско-васильевского толка или еще с кем-то, кто мечтает о том, чтобы вновь потопить в крови Русскую Церковь, которую я люблю больше собственной жизни. Мало того, я никогда ни единым словом, строкой или деянием не подавала ни малейшего повода для подобных утверждений. Напротив, дважды в экстремальных ситуациях я бралась за перо, чтобы сделать политические заявления. Первое имело антибаркашовское и антимакашовское звучание и было опубликовано в «Московских новостях» («Парижские посиделки») в октябре 1994 года. Второе было направлено против Г. Зюганова, заявившего о том, что коммунистические ценности и ценности христианские суть одно. Эта филиппика была опубликована в «Независимой газете» («Волки в овечьих шкурах») накануне второго тура президентских выборов 1996 года. Только взгляд, ослепленный собственной тенденциозностью, может не заметить тот пафос антибольшевизма, которым проникнута и моя новая книга (см. стр. 6 — 12, 33, 183, 191, 222 — 223).

Что же, однако, я совершила? Вот то рассуждение, которое выдается за свидетельство моей «странной симпатии» к герою соцреализма. Речь у меня идет о лобовых методах советской пропаганды, которые велись силами искусства: «Враги советской власти всегда представляли в виде негодяев, воров, распутников. Лица их были явно антипатичны, если не откровенно уродливы. И хотя с образами положительных героев было труднее — в единообразных „ленинцах“ всегда был какой-то неэстетический фанатичный элемент („зло — всегда плохой стилист“, как сказал Бродский), — все же их пытались облагородить простым человеческим обаянием».

Разве это рассуждение служит выражением моей симпатии к «ленинцам» и разве советские режиссеры время от времени не приглашали на роль чекистов или коммунистов обаятельных актеров — красавца Мих. Козакова, который играл Дзержинского, Евг. Урбанского, который играл сгорающего от любви коммуниста, Конкина, изображавшего Павку Корчагина, да, наконец, В. Высоцкого и Ин. Смоктуновского (первый — завоевывал зрительские сердца Жегловым, второй — таинственно прищуривался самим Владимиром Ильичем)?

На подобного рода подтасовках построена вся рецензия: во многих случаях мне присваивается здесь то, чего я не совершала, не говорила, не писала. То рецензент припишет мне такую диковинную идею, что Соловьев и Бердяев были «отцами постмодернизма», и тут же сам пустится в обличение этой экстравагантности. То выдумает за меня, что Ахматова становится у меня «чуть ли не Симеоном Новым Богословом», и тут же сам меня за это и прищучит. То присочинит мне мысль о том, что поэты XX века должны были бы создавать стихиры и акафисты. А то — вменит мне в вину рассуждения о том, что «земля и все дела на ней сгорят», и посоветует «не навязывать Богу своего видения», словно забывая, что слова эти принадлежат вовсе не мне и даже не «твердолобым» зюгановцам или васьильевцам, а апостолу Петру в его Первом Послании.

По всей видимости, причина такой недоброкачественной позиции лежит вне пределов моей книги, в сфере иных — внелитературных, внехудожественных — интересов. Весь пафос этой рецензии продиктован желанием использовать печатное пространство «Нового мира» для сведения со мною личных узкопартийных счетов. Все в этом опусе поставлено на службу задаче меня оболванить, скомпрометировать, уничтожить. Сделать меня «притчей во языцех, покиванием главы в людях». Чувство партийности, независимое от того, какую идеологию исповедует «партиец», всегда опознается по его практике навешивания политических ярлыков и общественного шельмования своего оппонента, даже если речь идет о богословских или культурологических аспектах.

Однако здесь не только предается на поругание мое имя, иметь попечение о котором заповедал еще Сирах, не только попирается мое достоинство и моя свобода, не только наносится ущерб моей репутации — здесь бесчестятся и мои официальные рецензенты, обозначенные на титуле: доктор искусствоведения Н. М. Зоркая и поэт, критик, доцент Литературного института Т. А. Бек, и автор предисловия — известный богослов о. Валентин Асмус, и церковное издательство Подворья Троице-Сергиевой Лавры, которое выпустило мою книгу, и, наконец, Святейший Патриарх, чье благословение стоит на ее обложке. Все они, получается, тоже участвовали в выполнении рокового «соцзаказа». Так некогда, после выхода сборника «Вежи», ультралиберальная пресса (более двухсот отрицательных отзывов), не имея существенных аргументов против позиции Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка, П. Струве и других, критиковавших обезбоженное сознание русской интеллигенции и предостерегавших общество от демонов надвигавшейся русской революции, навесила на своих оппонентов политические ярлыки консерваторов, обскурантов, реакционеров и черносотенцев.

В сходную ситуацию ставит меня и эта рецензия. Ход рассуждений здесь таков: коль скоро основы православной метафизики и церковности оказываются противоречащими постмодернистскому цивилизационному коду, они тут же объявляются родственными коммунистической и национал-большевистской идеологии лишь на том основании, что и коммунисты, и национал-фашисты находят ся в оппозиции к некоторым принципам глобальной цивилизации. Еще С. Франк напоминал, что в элементарной логике подобная ошибка называется «смещением контрадикторной противоположности, не допускающей ничего третьего».

Но ведь этот дух партийности, делящий людей исключительно по бинарному принципу «свой — чужие», и есть дух большевизма, какой бы идеологией он ни прикрывался. Это и есть дух ненависти к независимости свободного человека, выбирающего «нечто третье». Это и есть ненависть к духу творчества, преодолевающего партийные перегородки. Не удивлюсь, если кто-то станет утверждать, что именно этот партийный дух, терзаемый нетерпимостью к инакомыслию, побудил моего рецензента так безбоязненно, грубо, принародно нарушить заповедь Божью: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего».

Ибо — как писал пророк Давид: «Избави мя от клеветы человеческия и сохрани заповеди Твоя».

Олеся НИКОЛАЕВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО МИРА»**ОПРОВЕРЖЕНИЕ**

В отделе библиографии 11 номера Вашего журнала на стр. 252 помещено краткое известие о публикации беседы Ирины Врубель-Голубкиной, редактора журнала «Зеркало» (выходящего на русском языке в Тель-Авиве), со мною, Эммой Герштейн, под многозначительным заголовком «На фоне всех ревизий века».

Претенциозному названию этой беседы соответствует и ее на редкость путаное содержание. Спешу сообщить, что я не могу нести ответственность за эту публикацию, представляющую собой мешанину из некоторых моих подлинных высказываний, выдернутых из магнитофонной записи, и совершенно произвольных вставок, домысленных редактором упомянутого «Зеркала». Я познакомилась с текстом публикации уже тогда, когда она была напечатана и передана в Интернет.

К счастью, опытный составитель библиографии сумел найти важное зерно этой беседы: «Много интересного о Н. И. Харджиеве». Вот это и была цель моего участия в беседе. Я считала своим долгом оставить сведения о рождении и развитии ссоры первого редактора посмертного издания стихотворений Осипа Манделштама с его вдовой, Надеждой Манделштам, — ссоры, разросшейся с годами в кровавую распрю.

Достаточно посмотреть на яростные записи Надежды Манделштам, опубликованные в журнале «Philologica», 1997, № 8 — 10. Беспардонные ругательные отзывы о ею же выбранном поначалу редакторе сочинений погибшего мужа венчают и без того резкие выпады против Харджиева в известных книгах вдовы поэта.

Что касается злополучной пятнадцатилетней истории подготовки первого советского издания Осипа Манделштама, то я считаю необходимым представить на суд читателя известные мне факты, поместив их в каком-нибудь другом печатном органе.

Эмма ГЕРШТЕЙН.



ЖНИЖНЯЯ ПОЛКА

ПОЛКА СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

+7

Владимир Салимон. Бегущие от грозы. М., «Золотой век», 1999, 255 стр.

Самая толстая книга Салимона. И не избранное за годы, а три новых книги под одной обложкой, написанные с марта 1998-го по август 1999 года («Веселые плясуны», «Предместья рая», «Грозовая туча»). Стихи про природу, про погоду, про Россию, луну, чеченцев и албанцев, парикмахерш, про свечу и керосин, яблоки, войну 1812 года — попробуй сказать, про что пишут стихи, стихи — это просто такая (самая прекрасная, на мой взгляд) форма проживания человеком своей жизни.

...Сюжет, связанный с почти ритуальными уже для нашего (начинавшего в конце 70-х) поколения стенаниями: «Нам легкости недостает, / умения бить птицу влет. / Желания играть в слова — / мальчишества и озорства». Окружающий пейзаж — соответствует. «Ненастье. Морок. Сырость. Грязь», «По склонам кое-где / деревни, села, / а то — пустынно, голо / повсюду и везде» — пейзаж как будто смакует свою недопроявленность, а когда появляется в нем открытый цвет, то он странен уже этим: «Цвет нарочит. / Аляповаты очертанья. / Такой закат весьма хорош / на Черноморском побережье, / не по нему — углы медвежьи, / где валяют лес и сеют рожь». Но удивительно: в этой перекошенной жизни и судьбе обнаруживается — страшно вымолвить — внутренняя гармония, и не вопреки, а благодаря. Поверх стихотворных стенаний, точнее, в интонациях их, выхлестывает, и весьма ощутимо (и выстраивает в книге свой сюжет), избыток радости и силы от самого процесса проживания этой «несуразной» жизни: «Просторы наши / обыкновенно просят каши. / Канючат по обыкновению. / Когда же нашему терпению / конец придет? / Но хлещет дождь с утра до ночи напролет. / Он понемногу / размыл дорогу. / С тех пор единственная связь / с большой землей оборвалась». Оно, конечно, плохо, что «канючат» и связь с «большой землей оборвалась». Но почему-то возникает подозрение, что и для автора, и для нас жизнь, явленная в размытой дороге, в дожде, который «с утра до ночи напролет», сокровенней, радостней, нужней, чем связь с «большой землей».

Лариса Кобринская. Риска. Стихотворения. Хьюстон, «Ноев ковчег», 1999, 129 стр.

Редкая и радостная ситуация — открыть в своем поколении незнакомого тебе Поэта; не так их много. Вышла первая книга поэта, хронологические пометки под стихами которого начинаются 1965 годом. Книга избранного. Вначале разбег: стихи 60-х, где сквозь «общепозитический» язык тех лет только прорезается звучание будущего голоса. Там много неплохих стихов, им не особенно даже мешает поэтическое заговаривание автором судьбы, своеобразная психотерапия. А с чего, собственно, еще и начинается поэзия? Но — только начинается. Разбег, к счастью, недолог — Кобринская освобождается «от себя», сначала де-факто — в стихах 70-х годов, а потом и вполне отрефлектированно (стихи 1981 года «Хотите плакать?»). И еще: «Не плачь, дитя, любимый — лишь соблазн, / иллюзия. Любовь твоя бессмертна. / И ты на этом поприще бессменна», — это стихи не только о любви. Названное здесь надо принять как благо, как дар и больше на него не оглядываться, есть более насыщенные собеседники...

Саша Соколов. Палисандрия. Эссе. Выступления. Послесловие Бориса Гройса. Романы. СПб., «Симпозиум», 1999, 432 стр.

Весь известный читателю Саша Соколов в двух томах; для данного издания тексты отредактированы автором заново — самое репрезентативное на сегодня издание писателя.

Вряд ли купивший двухтомник кинется перечитывать все: поздняя правка не так уж кардинально изменила знакомые тексты, решит он скорее всего, и потому будет перечитывать под настроение. Но что он обязательно прочтет не откладывая — так это выступления и эссе писателя, впервые собранные вместе. И по причинам плотности и талантливости текстов, и для того, чтобы «сверить часы». Замечательное переживание — еще раз прочувствовать пафос Соколова, воспевającego свободу писателя-эмигранта, — но уже из другого социопсихологического пространства. Сегодня свободный выбор художником своего пути, «уход в молчание, в изгнание, в мастерство», уже не означает автоматически эмиграцию. И с не меньшей личной вовлеченностью прочитываются в этом эссе («Портрет художника в Америке в ожидании Нобеля») наблюдения Соколова за диктатором другого, не советского варианта «культурной революции» соцреализма, а американского, существующего под лозунгом *business as usual*, — сегодня эта реальность уже моей страны. Тяжкая реальность, но она все же легче, чем предыдущий вариант, — теперь за свободу можно рассчитывать только материальной, но не духовной стесненностью.

Еврейские народные сказки, предания, былички, рассказы, анекдоты, собранные Е. С. Райзе. СПб., «Симпозиум», 1999, 496 стр.

409 сказок: волшебные, бытовые, легенды об Илье-пророке, о тайных праведниках, рассказы о синагогах, о нечистой силе, о кладах, рассказы о хитрых ворах, о разбойниках, нравоучительные сказки и т. д., и т. д. Среди зачинов: «Жили-были старик со старухой» или «Жил-был когда-то король, и было у него три сына. Двое умных и один глупый». Удивляться не надо: жанр сказки не считается с «чаяниями и нуждами» идеологов национализма, ее жанр предполагает органичное сочетание интернационального с национальным. К тому ж основу собрания Ефима Самойловича Райзе (1904 — 1970) составили сказки евреев Восточной Европы, собранные им под Винницей, в Киеве, Ленинграде и в лагерях — составитель имел три срока: начал в Соловках в 1929 году и последний срок заканчивал в лагерях Коми в 1955 году, сидел за то, что еврей, то есть и за эти сказочки тоже. Естественно, что в этих сказках сильны и славянские мотивы (Достоевский и тот был вынужден назвать русских евреев «детьми России»). Это первое, далеко не полное издание собранного Райзе, его сборник «Еврейский фольклор» при советской власти выпустить так и не удалось. Нынешнее издание — с составлением и литературной обработкой текстов, с предисловием, комментарием и емким глоссарием — осуществлено Валерием Дымщицем.

Клод Мориак. Пруст. Вступительная статья А. Д. Михайлова. Перевод с французского Н. Бунтман, А. Райской. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 288 стр.

Наличие уже значительного объема написанного о Прусте позволило автору этой книги сосредоточиться только на нескольких, но центральных темах, связанных с Прустом, — написать психологический и искусствоведческий портрет писателя, так сказать, снаружи, используя накопленный прустоведением материал, и — изнутри, воспроизводя из текстов самого Пруста нечто вроде его автопортрета. Без особой полемики, как бы между делом это исследование, по справедливому замечанию А. Д. Михайлова, разрушает закрепившиеся в массовом сознании легенды о Прусте — завсегдаге модных салонов и снобе и о Прусте — отшельнике, закрывшемся от мира в пробковых стенах своего кабинета.

Образ Пруста, восстанавливаемый автором, органично соединяет Пруста-человека и Пруста-художника. Исследователю удастся здесь самое трудное: удержать равновесие, обычно дающееся с трудом, одна из издержек профессии литературоведа-биографа — постепенно вырабатывающееся отношение к текстам как материалу, приближающему к биографии писателя, а не наоборот (перекося, лишающий ремесло литературоведа изначального смысла). Перед нами работа не биографа, а скорее тонкого литературного критика, восстанавливающего из текстов писателя и из его реальной жизни художественное содержание «образа автора» «Утраченного времени».

М. Р. Зезина. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е — 1960 годы. М., «Диалог-МГУ», 1999, 398 стр., 300 экз.

Монография историка и искусствоведа, насыщенная статистикой, фактами, документами, содержащая множество сюжетов, связанных со взаимоотношением власти и художника (кампания против «безродных космополитов», появление новых и возрождение старых журналов, выход культуры из летаргического сна и разгром альманаха «Литературная Москва», дискуссии об искренности в литературе и борьба вокруг «Нового мира», скандал на выставке «30-летие МОСХа» и т. д., и т. д.) — Хрущев, Суслев, Поликарпов, Твардовский, Копелев, Симонов, Эренбург, Кочетов, Шостакович, Паустовский, Неизвестный, Солженицын и многие, многие другие. Автор не стремится заворочить новизной концепции, он вообще избегает категоричных и размашистых суждений — только то, что следует из фактов. И в итоге оказывается прав. Книга помогает осознать масштабы и значимость для нашей истории происходивших в те годы процессов. Ставшее сегодня общим местом снисходительное отношение к серьезности и значительности культурной жизни 50 — 60-х годов можно объяснить только элементами неизжитого инфантилизма новой художественной элиты. Боюсь, проблемы «руководства литературой» сверху не скоро потеряют свою актуальность, достаточно приглядеться к азарту, с которым идеологи всех мастей пытаются приватизировать пусть не всю, но хотя бы часть литературы, и, кстати, не без успеха. В любом случае активная память о вчерашнем дне не теряет своей ценности. Книга Зезиной лечит от избыточной эйфории.

Андрей Ананов. Два туза в прикупе. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999, 190 стр., 3000 экз.

Записки знаменитого ныне ювелира, начавшего еще при советской власти. Казалось бы, специфика его ремесла предполагает «уютные» заметки художника. Но только не в нашей русско-советской жизни — кроме таланта ювелира (редкого трудолюбия, изощренности ремесленника и высокой культуры художника) автор, занятый «индивидуальной трудовой деятельностью», обязан был еще обладать азартом и мужеством человека, играющего с судьбой ва-банк, крепостью нервов и ума, да и просто — кулаками. Записки Ананова — о том, как он выжил, когда его убивали, о том, как он смог переиграть гэбэшников, имевших все возможности посадить его на годы, как он смог уйти от грабителей уже в безвыходной почти ситуации и т. д. Это книга о противостоянии свободного делателя государственному устройству, в советские времена всеми своими установлениями отрицавшему любое проявление свободы, а в наши — о противостоянии ситуации, когда знаменитый ювелир является прежде всего потенциальной добычей «братвы». Книга о цене свободы, написанная человеком, который имеет право снисходительно наблюдать за джеймсбондами на экране: мне бы ваши заботы.

-3

Александр Кацуро. Поединок чести. Дуэль в истории России. М., «Радуга», 1999, 344 стр.

Автор поскромничал, обозначив темой книги дуэль. Это книга обо всем — о разных дуэльных историях и о правлении царевны Софьи, об обстоятельствах восшествия на престол Петра I, о стрелецком бунте, о Петре II и опале Меншикова, о царствовании Елизаветы Петровны и Екатерины II, о верноподданнических мотивах в поэзии Ломоносова, об убийстве Павла, о семейной жизни Пушкина (перепечатана чуть ли не половина его писем жене — перечитал, спасибо автору, с интересом), об истории литературных взаимоотношений Толстого и Тургенева (обильное цитирование литературной переписки того времени) и еще много, много о чем. Чтение, ничем особенно умственным или неизвестным не напрягающее, лестное — приятно обнаружить себя образованным человеком. Для тех же, кто надеялся узнать что-то новое, в «Приложении» предлагается факсимильное воспро-

изведение «Сообщения в офицерском кругу» М. Э. «Дуэль и честь в истинном освещении» (СПб., 1902). Ну а самых настырных мы, в свою очередь, отсылаем к работам специалистов, вышедшим в последнее время, в частности, к книге Я. Гордина «Дуэли и дуэлянты», упоминания о которой я почему-то не встретил в работе Кацуру.

В. Н. Раневская со-товарищи. Обрывки бульварной прессы. СПб., «Самтрахпресс», 1999, 241 стр.

За книгой этой рука потянулась из-за ее обложки, повторившей оформление знакового для истории новейшей литературы альманаха «Личное дело» (1991: Кибилов, Пригов, Рубинштейн, Гандлевский и другие), в надежде на продолжение. Оказалось, нет. Если автор и претендует на продвинутость, то, так сказать, не «по эстетике», а «по жизни». Героиня Раневской (Варвара Раневская) рассказывает о рождении сына, о своих родных, мужьях и любовниках, романах, истериках, запоях и других «бедствиях». Изюминка в том, что героиня — философ. Ей положено постигать жизнь, не теряя с ней контакта. Она и не теряет — бесчисленные романы с «нестандартными» личностями, эпатаж, культивирование в себе умения любую ситуацию превратить в экстремальную... Понять, литература это или нет, трудно. Одно из двух: или хитроумный автор намеренно создает иллюзию отсутствия грани между «сором» и «стихами», ориентируясь на изощренного читателя; или грани этой никогда не существовало. Вероятнее второе: процесс создания текста неотделим для «героини» от любования собой в роли писателя. Удивительно, но факт — герои книги, которым Раневская показывала фрагменты своего сочинения, настойчиво советовали: поработай еще, и будет литература, — а она им в ответ: не хочу, не буду, а то совсем охота писать пропадет. Рецензент присоединяется к мнению этих героев Раневской.

Наталья Медведева. А у них была страсть... М., «Вагриус», 1999, 398 стр.

Новая книга прозы бывшей подруги Эдуарда Лимонова, героини его надрывного «Эдички», в беллетризованной форме (повесть «А у них была страсть») дает свою версию взаимоотношений со знаменитым Писателем, а также повествует (в рассказах) о становлении излюбленного автором типа женщины-современницы, избавляющейся от совковости на фоне СССР, США, Франции. В читательском сознании функция текстов Медведевой — в обслуживании ее и Лимонова литературно-биографической легенды (собственно, и «Эдичка» «забирал» читателя больше как человеческий документ). Кстати, Медведева пишет не намного хуже, чем Лимонов. И если бы оба их текста состоялись как полноценная литература, наша пара могла бы претендовать на повторение литературно-биографической ситуации Макса Фриша с его «Гантенбайном» и Ингеборг Бахман с ее «Малиной». Увы. В зацикленности Медведевой на описаниях сексуальных отправлениях героев, на воспроизведении мата и прочих, как кажется автору, эпатирующих советскую ментальность атрибутах прозы, в постоянном оглядывании на себя-продвинутую, себя-заграничную в суперпрестижной среде, одежде, интерьерах — весь набор комплексов зашибленного советской эпохой человека. Главное же, что отделяет эти тексты от литературы, — авторское неведение смысла употребляемых понятий (любовь, жизнь, смерть, творчество и т. д.).

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ



Петр Алешковский. Седьмой чемоданчик. Повести и рассказы. М., «Вагриус», 1999, 302 стр., 5000 экз.

Александр Балгин. Рисунки углем и мелом. М., РИФ «РОЙ», 1999, 54 стр.

Вторая книга стихов молодого московского поэта — первая: «Керосиновая лампа. Стихи» (М., РИФ «РОЙ», 1998, 64 стр.).

Библиотека литературы Древней Руси. Том 7. Вторая половина XV века. Под редакцией Д. С. Лихачева и др. СПб., «Наука», 1999, 581 стр., 2000 экз.

А. Бретон. Антология черного юмора. Перевод, комментарии. Вступительная статья С. Дубина. М., «Carte Blanche», 1999, 543 стр., 2500 экз.

Уильям Голдинг. Собрание сочинений. Том 3. Шпиль. Пирамида. Романы. Клонк-Клонк. Повесть. На родине Шекспира. Когда Билли был маленьким. Толстой-гора. Эссе. Составление М. Шерешевской. СПб., «Симпозиум», 1999, 464 стр., 6500 экз.

Григорий Горин. Сценарии. Киноповести. Пьесы. Рассказы. Екатеринбург, «У-Фактория», 1999, 717 стр., 15 000 экз.

Б. Заходер. Заходерзости. М., «Век 2», 1999, 263 стр., 6000 экз.

В. Каверин. Очерк работы. Открытая книга. Литературные заметки. Избранные письма. М., «Гудьял-Пресс», 1999, 639 стр., 5000 экз.

Тимур Кибиров. Нотации. Книга новых стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 72 стр., 1000 экз.

Илья Крупник. Избранное в 2-х томах. М., Издательство «КРУК», 1999, 500 экз.

Том 1. Романы. Повести. Эссе. Жизнь Губана. Легенда о художниках. Угар. Хромой Бес в Обыденских переулках. Начало хороших времен. Цвет песка. «Отойди от зла...» — 352 стр.

Том 2. Рассказы. Повести. Из книг «Снежный заряд», «На этой земле». Из циклов «Карусель», «Жить долго» — 352 стр.

Двухтомник прозаика, начинавшего в «оттепельные» времена публикациями в «Юности», двумя книгами в СССР и одной в Польше; с конца 60-х до конца 80-х годов — автор текстов, с точки зрения тогдашней цензуры непроходимых по идеологическим и эстетическим причинам; ныне — широко печатающийся автор, лауреат литературной премии журнала «Дружба народов» за 1998 год.

А. Лазарчук, М. Успенский. Гиперборейская чума. Роман. СПб., «Азбука», 1999, 414 стр., 20 000 экз.

Людмила Петрушевская. Настоящие сказки. М., «Вагриус», 446 стр., 7000 экз.

Козьма Прутков. Сочинения. СПб., «Азбука», 1999, 294 стр., 10 000 экз.

Александр Солженицын. Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Составление Л. Быкова. Екатеринбург, «У-Фактория», 1999, 752 стр., 30 000 экз.

Три красных квадрата на черном фоне. Антология современной французской литературы. Составитель И. Зуб. Минск, ООО «Magic Book», 1999, 286 стр., 3000 экз.

Сборник современной французской прозы составили романы Тонино Банакиста «Три красных квадрата на черном фоне» (перевод И. Зуб), Франсуазы Жиру «Женщина с „мерседесом“»; подборки рассказов Дидье Деникса и Ксавье Патье (в переводах Т. Примак); стихотворения Ги Гоффет и Алена Боске (в переводах А. Ходановича, К. Михеева); пьеса Шарля-Луи Тилли «Мясные деликатесы» (перевод Д. Коласа).

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. По эту сторону рая. Великий Гэтсби. Последний магнат. СПб., «Кристалл», 1999, 960 стр., 9000 экз.

О. Хаксли. Двери восприятия. Роман, повесть, трактаты. Перевод с английского В. Бабкова, И. Русецкого, С. Хренова. СПб., «Амфора», 1999, 409 стр., 10 000 экз.

Г. Чулков. Годы странствий. Вступительная статья, составление, подготовка текста, комментарии М. В. Михайловой. М., «Эллис Лак», 1999, 861 стр., 10 000 экз.

Николай Шмелев. Ночные голоса. Повести, рассказы. М., «Воскресенье», 1999, 544 стр., 5000 экз.

Т.-С. Элиот. Убийство в соборе. Пьесы. Перевод с английского В. Топорова. СПб., «Азбука», 1999, 248 стр., 10 000 экз.



В. С. Баевский. История русской литературы XX века. Компендиум. М., «Языки русской культуры», 1999, 406 стр., 1500 экз.

В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., «Наука», 1999, 704 стр., 1200 экз.

Георгий Гачев. Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, земледельца и горца. М., Институт ДИ-ДИК, 1999, 368 стр., 1500 экз.

«Вещи в этой книге прочитываются как идеи, а любые детали обиходов трактуются философски. ...это, по сути, „национальный” детектив, расследование наших обычаев и основ», — из развернутой аннотации Б. Евсеева в «Книжном обозрении».

М. Геллер. Андрей Платонов в поисках счастья. М., МИК, 1999, 432 стр. 1000 экз.

Евгений Голлербах. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910 — 1919) в поисках новой русской идентичности. Под общей редакцией М. А. Колерова. СПб., «Алетейя», 2000, 560 стр., 1300 экз.

Первое в России монографическое исследование истории одного из ведущих в начале века религиозно-философских течений. Журнал предполагает отрецензировать эту работу.

Э. Гуссерль. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том 1. Общее введение в чистую феноменологию. М., «Дом интеллектуальной книги», 1999, 334 стр., 2000 экз.

Б. Ф. Егоров. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 383 стр.

Читайте рецензию на эту книгу в следующем номере «Нового мира».

О. Ермакова, Е. Земская, Р. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., «Азбуковник», 1999, 320 стр., 1000 экз.

Около 450 словарных единиц из современного жаргона, ставших «общеупотребительными», то есть вошедших в словарный запас современной прессы.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. М. Языков... Составление, подготовка текста, вступительная статья Б. Лебедевой, А. С. Янушевича. М., «Наука», Школа «Языки русской культуры», 1999, 726 стр.

Г. С. Кнабе. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., РГГУ, 1999, 240 стр., 1000 экз.

Издание подготовлено на основе курса лекций ученого, охватывающего историю взаимоотношений античной и русской культуры с XIV до начала XX века.

Кронштадтская трагедия 1921 года. Документы. В 2-х книгах. Составители М. А. Антифеева и другие. М., «РОССПЭН», 1999, 1000 экз. Книга 1 — 688 стр. Книга 2 — 672 стр.

А. П. Лебедев. История разделения церквей в IX, X и XI веках. Под научной редакцией М. А. Морозова. СПб., «Алетейя», 1999, 308 стр., 1400 экз.

М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символической и языке. Под общей редакцией С. П. Соколова. М., Школа «Языки русской культуры», 1999, 216 стр.

Э. Мунье. Манифест персонализма. Вступительная статья И. С. Вдовиной. М., «Республика», 1999, 559 стр., 4000 экз.

А. Парин. Хождение в невидимый град. Парадигмы русской классической оперы. М., «Аграф», 1999, 464 стр., 2000 экз.

Альфред Перле. Мой друг Генри Миллер. СПб., «Лимбус-Пресс», 1999, 352 стр., 5000 экз.

Биография писателя, написанная его австрийским коллегой и другом.

А. Песков. Павел I. М., «Молодая гвардия», 1999, 421 стр., 5000 экз.

Основа книги уже знакома читателю по публикации изысканий А. Пескова в журнале «Дружба народов» («7 ноября» — 1993, № 8).

Борис Покровский. Моя жизнь — опера. М., «Аграф», 1999, 272 стр., 2000 экз.

Н. Синдаловский. Петербург в фольклоре. СПб., Журнал «Нева», «Летний сад», 1999, 384 стр., 7000 экз.

Ирина Сурат. Пушкин: биография и лирика. Проблемы. Разборы. Заметки. Отклики. М., «Наследие», 1999, 240 стр., 1000 экз.

Значительная часть статей, составивших книгу одного из ведущих пушкиноведов нового поколения, впервые была опубликована в нашем журнале. «Так вышло, что почти все наши разборы направлены на поздние стихи Пушкина, в основном — на стихи переломного 1835 года. С этого года набирают силу предсмертные темы в лирике, с этого года сюжет пушкинской жизни начинает неумолимо стремиться к развязке. Последний поворот этого сюжета рассмотрен в нашей книге, а его финалу посвящена отдельная статья — о гибели Пушкина» (из авторского предисловия).

Андрей Трофимов (Александр Трубников). От императорского музея к Блошному рынку. М., Издательство журнала «Наше наследие», 1999, 192 стр., 3000 экз.

Мемуары бывшего сотрудника Императорского Эрмитажа и журналиста, эмигрировавшего после революции во Францию.

Жан Фавье. Франсуа Вийон. Перевод с французского В. А. Никитина. М., «Молодая гвардия», 1999, 414 стр., 5000 экз.

Ю. Щербатых. Психология страха. Популярная энциклопедия. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 416 стр., 8000 экз.

М. Юдина. Лучи Божественной Любви. Литературное наследие. Составление, подготовка текста, примечания А. М. Кузнецова. М., СПб., «Университетская книга», 1999, 815 стр., 5000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Евгений Голлербах. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910 — 1919) в поисках новой русской идентичности.

Ирина Сурат. Пушкин: биография и лирика.

ПЕРИОДИКА



«Волга», «Вопросы литературы», «Время и мы», «Дружба народов»,
 «Ex libris НГ», «Застра», «Звезда», «Знамя», «Известия»,
 «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение»,
 «Коммерсантъ», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная Россия», «Москва»,
 «Московские новости», «Московский вестник», «Московский журнал»,
 «Наши современники», «НГ-Религии», «Независимая газета»,
 «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», «Огонек»,
 «Око (Хроника)», «Октябрь», «Русская мысль», «Экспресс-хроника»

Сергей Аверинцев. Опыт борьбы с внушениями времени. — «НГ-Религии», 1999, № 19 (42), 13 октября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

О христианских настроениях в кругах московской и питерской интеллигенции 60 — 70-х годов. «...А попрекнуть кого бы то ни было из неофитов тем, что он в коммунистическую пору вел себя иначе, чем теперь, способен лишь тот, кто слеп к своей собственной доле исторической вины; такого слепца не только не назовешь христианином, но его нельзя назвать и человеком *интеллигентным* в этимологическом смысле слова, восходящем к латинскому глаголу *intelligo*».

См. также статью С. Аверинцева «Георг Тракл: „poète maudit“ на австрийский манер» («Вопросы литературы», 1999, № 5).

Алесь Адамович. «...Делать, делать дело — всю жизнь и постоянно». Из записных книжек разных лет. Публикация В. С. Адамович и Н. А. Шувагиной-Адамович. — «Вопросы литературы», 1999, № 5, 6. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

«В чуму намрутся, а в войну наврутся».

Василий Аксенов. На острове со «Свободой». — «Московские новости», 1999, № 42, 2 — 8 ноября. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

Об информационной политике радио «Свобода»: «Иной раз казалось, что она проходит напрямую по ведомству Мовлады Удугова».

Андрей Ананов. Два туза в прикупе. Главы из книги. — «Дружба народов», 1999, № 10. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>

Автор — подпольный советский ювелир, десять лет назад основал первую в новой России частную ювелирную фирму. Полностью его остросюжетные воспоминания вышли в питерском издательстве «БЛИЦ» в 1999 году (см. аннотацию в «Книжной полке» Сергея Костырко).

Николай Балашов. Образ филолога. — «Кулиса НГ», 1999, № 16 (38), 16 октября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«После кончины Дмитрия Сергеевича <Лихачева> я остался старейшим филологом, литературоведом в Академии наук, и моя обязанность как человека, полстолетия находившегося близко в пределах ауры Дмитрия Сергеевича, напоминать не только о его трудах, но о его нравственном, если так можно выразиться, даже „обществообразующем“ излучении».

Николай Богомолов. «Москва — Петушки»: историко-литературный и актуальный контекст. — «Новое литературное обозрение», № 38 (1999). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

«Замысел этой статьи был спровоцирован появлением ряда аналитических статей и даже отдельно изданных комментариев к поэме „Москва — Петушки“, что переводит ее окончательно в ряд произведений классических, о чем уже довольно давно догадывались читатели, но неоспоримым фактом это явление стало только сейчас». Тут же напечатаны статьи Марио Карамитти «Образ Запада в произведениях Венедикта Ерофеева» и Гарио Дзаппи «Апокрифическое Евангелие от Венички Ерофеева».

Непопулярную ныне критику литературного «классика» см. в статье Вл. Новикова «Выдуманный писатель» (Новиков в Вл. Заскок. М., «Книжный сад», 1997, стр. 103 — 112). На страничке Вл. Новикова в Сети (<http://www.infoart.ru/magazine/arss/novikov.htm>) этой статьи нет, ищите книгу.

Владимир Бондаренко. Плач проходящего мимо родины. Из цикла «Дети 1937 года». — «Завтра», 1999, № 42, 19 октября. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

О поэзии Олега Чухонцева.

Леонид Бородин. Повесть о любви, подвигах и преступлениях старшины Нефедова. — «Москва», 1999, № 10. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

«Итак, место действия моей истории. Прекрасное! Ущелье на берегу Байкала. Время действия. Замечательное! После войны. От сорок седьмого и далее. Почему замечательное? Я даже и оправдываться не буду. Замечательное, и все тут. Главный герой. Александр Нефедов. Настоящий советский человек. Все люди были советские. Но некоторые так себе, а он был настоящим... Сам я в этой истории присутствую лишь условно, потому что хотя и был свидетелем всего происходившего, но свидетелем безмозглым — какие мозги в девять — одиннадцать лет. Но свойственно человекам в лучшую сторону переосмысливать события прошлого, что благодатно и чревато одновременно...»

Борхес, или История бесконечности. — «Иностранная литература», 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Выпуск «Литературного гида» содержит следующие материалы: Борис Дубин, «Борхес в свои сто: знакомый и неизвестный»; Виктория Окампо, «Беседа с Борхесом»; Эмир Родригес Монегаль, «Соавторы и помощники»; Орасио Бустос Домек (Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бийо Касарес), «Из книги „Шесть задач для дона Исидро Пароди“»; Хорхе Луис Борхес, «Память Шекспира»; Рикардо Пилья, «Чужая память»; Хорхе Луис Борхес, «Из книг „Расследования“, „Земля моей надежды“, „Атлас“, „Личная библиотека“»; современники о Борхесе (Эрнесто Сабадо, Беатрис Сарло, Джулиан Барнс, Харольд Блум, Хосе Анхель Валенте, Сьюзен Сонтаг); Людмила Бурмистрова, Борис Дубин, «Неистощимые строки»; краткая летопись жизни и творчества Хорхе Луиса Борхеса.

Михаил Брашинский. Роман с застоем. 70-е. — «Искусство кино», 1999, № 8. Электронная версия: <http://www.kinoart.ru>

Советские и американские семидесятые: стиль, атмосфера, кино.

Александр Генис. Без языка. — «Иностранная литература», 1999, № 9. Эзра Паунд, Китай.

Эмма Герштейн. Поэт поэту — брат. — «Знамя», 1999, № 10. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

Ахматова, Мандельштам. «Она (Надежда Мандельштам. — А. В.), все время склонявшая Мандельштама к совместному самоубийству, оправдывала свою долгую жизнь без него своим особым назначением хранить его рукописи». Полемика с Михаилом Мейлахом.

См. также мемуарный очерк Эммы Герштейн «Надежда Яковлевна» («Знамя», 1998, № 2), вошедший в отдельное издание ее «Воспоминаний» (СПб., «ИНАПРЕСС», 1998).

«Голубое сало»: гурманство или каннибализм? — «Дружба народов», 1999, № 10.

Александр Шаталов («Владимир Сорокин в поисках утраченного времени») и Людмила Лаврова («Апофигей Кота Мурра») обсуждают модную новинку: Шаталов — *уважительно-положительно*, Лаврова — *снижительно-пренебрежительно*.

Александр Гольдштейн. Лучшее лучших. — «Ex libris НГ», 1999, № 40, 14 октября — № 41, 21 октября.

Лауреат Малой Буковской и Антибукеровской премий, живущий в Израиле, эссеист А. Гольдштейн представляет свою *аннотированную двадцатку* лучших русских книг XX века. В алфавитном порядке: Даниил Андреев, «Роза Мира»; Исаак Бабель, «Конармия»; Андрей Белый, «Петербург»; Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»; Максим Горький, «Жизнь Клыма Самгина»; Илья Зданевич (Ильязд), «Восхищение»; все, написанное Михаилом Зощенко; Всеволод Иванов, «У»; Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»; Эдуард Лимонов, «Это я — Эдичка»; Юрий Мамлеев, «Шатунь»; Юрий Олеша, «Зависть»; Николай Островский, «Как закалялась сталь»; Борис Пастернак, «Доктор Живаго»; Андрей Платонов, «Котлован»; Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»; Федор Сологуб, «Мелкий бес»; Юрий Тынянов, «Смерть Вазир-Мухтара»; Варлам Шаламов, «Колымские рассказы»; Виктор Шкловский, «Сентиментальное путешествие».

Нил Гэблер. Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд. Перевод с английского М. Теракопан. — «Искусство кино», 1999, № 8, 9, 10, продолжение следует.

«Рассказ о том, как и почему вчерашние восточноевропейские изгои стали хозяевами самого американского из американских институтов — кино, чего они добились на своем пути, что приобрели на нем и что потеряли, и составляет содержание моей книги» (*Neal Gebler*).

«Даже вечные муки не повод для пессимизма». Вопросы анкеты «МН» в размышлениях Папы Римского Иоанна Павла II. — «Московские новости», 1999, № 42, 2 — 8 ноября.

«Доказывать на деле неопределимое значение нерасторжимости брака и супружеской верности составляет одну из самых важных и актуальных обязанностей христианских супружеских пар нашего времени».

Сергей Дедюлин. Измена своим читателям. Письмо в редакцию. — «Око (Хроника)». Спецвыпуск № 7 (1999) «Косово и Россия. Вольные голоса». Составитель Сергей Дедюлин (Париж).

Сборник с антисолженицынской статьей Дедюлина прислан составителю «Периодики» из Парижа. Автор упрекает... нет, обвиняет писателя в том, что тот в своих заявлениях 1999 года резко осудил, а не поддержал натовские бомбардировки Югославии. Текст статьи был предложен для публикации парижским газетам «Русская мысль» и «Либерасьон», но отклонен их редакциями.

Александр Дугин. О русских и русском патриотизме. — «Завтра», 1999, № 40, 5 октября. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Русские — единственный народ, в который можно войти (но из которого нельзя выйти без глубинных и необратимых травм). Каждый порядочный человек на земле — русский. К русским принадлежат не только люди, но и особые избранные стихии, некоторые звери, духи, растения, камни, воды. Русские не подчиняются законам физики, биологии и психологии... Немцы — единственный народ, в котором иногда проглядывает понимание русских, но когда они что-то начинают понимать, тут же сходят с ума. Все хорошее у немцев — от русских. Все остальное — от немцев... На месте России всегда жили необычные популяции (см. Гесиода). Они никуда не делись».

Игорь Ефимов. Новый Заратустра. Высоковольтные всех стран, образумьтесь! — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

«Почему мы нужны Творцу от рождения неравными — великая и непостижимая тайна. Но именно так Он нас создал — свободными и неравными». Статья в авторской рубрике «История неравенства», в основе которой лежит книга Игоря Ефимова, вышедшая в издательстве «Эрмитаж» (США) в 1999 году.

Михаил Золотоносов. Формула великой тайны. — «Московские новости», 1999, № 42, 2 — 8 ноября.

О дневниках Якова Друскина (1902 — 1980), выпущенных петербургским издательством «Академический проект», и о новейшем американском блокбастере «Матрица» — современном варианте *любомыслия* Друскина, выраженном языком кино-кибер-буддизма и смешанном с христианской символикой. Словами критика, *депрессивное любомыслие* Друскина — это «Матрица» для элиты.

Андрей Зорин. День рождения Александра Сергеевича. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5 (7). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

«Из тех Пушкиных, которых видела Россия, этот далеко не худший».

Юрий Каграманов. У нас это возможно. — «Дружба народов», 1999, № 11.

О Дугине, «Элементах», национал-большевиках, о всей сложившейся в 90-е годы *субкультуре фашизма*. Заслуживает внимания парадоксальное наблюдение Каграманова, что нацболы в интеллектуальном отношении представляют собой одно из самых *западнических* движений, какие у нас до сих пор были, только это — другой Запад, «не тот, на который направлены сегодня огни рампы, а тот, что остается в тени на заднем плане».

Сергей Кара-Мурза. Плодотворные ошибки Ленина. — «Наш современник», 1999, № 10.

К 100-летию «ошибочной» книги «Развитие капитализма в России»: «Капитализм не смог укорениться в России даже в начале XX века, даже на фоне больших производственных и экономических успехов» (С. Кара-Мурза).

Тимур Кибиров. «Взял барашек карандашик...». Беседу вела Елена Сеславина. — «Известия», 1999, № 193, 14 октября. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

О Пелевине: «Не исключено, что это будущее литературы. Мне такое будущее не нравится, и я сделаю все, что в моих скромных силах, чтобы оно наступило как можно позже». О себе: «Должен же быть хоть один моралист!.. Это прозвучит нескромно, но в современную русскую литературу только я мораль и протаскиваю». О свободе: «Единственное наше достижение за последние годы — свобода. Чудовищную цену за нее платит Россия. Но если мы все-таки согласимся с тем, что свобода — ценность... Она ничего не испугает, она просто есть».

Анатолий Ким. Собачонка Оори. Корейские байки. — «Дружба народов», 1999, № 11.
Эммар — старинные корейские байки, записанные некогда под Ташкентом, где жили корейцы.

Книга и/или компьютер. — «Иностранная литература», 1999, № 10.

В этот выпуск «Литературного гида» вошли следующие материалы: Милорад Павич, «Дамаскин», «Стеклопанельная улитка»; Александр Генис, «Книга книг. Комментарий к одному изобретению»; Михаил Визель, «Гипертексты по ту и эту сторону экрана»; Сергей Кузнецов, «Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное письмо»; Дмитрий Кузьмин, «Краткий катехизис русского литературного Интернета».

См. также в новомирской рубрике «Библиография» новую постоянную подрубрику «Сетевая литература» (составитель С. Костырко).

Вадим Кожинов. Несколько слов о Михаиле Бахтине и одно слово об апостоле Павле. — «Московский вестник». Журнал московских писателей и Литературного института, 1999, № 3.

О христианстве/нехристианстве Бахтина. Полемика с резкой статьей Н. К. Бонечкой («Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1998, № 1), которая — критика знаменитую книгу о Рабле — принципиально связала Бахтина с *иудаизмом*. Нет, разъясняет Кожинов, дело обстоит прямо противоположным образом.

Юрий Колкер. Ходасевич, или Трехединый завет Вольтера. — «Русская мысль», Париж, 1999, № 4289, 21 — 27 октября. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

«Ходасевич был антимодернистом в эпоху модернизма — вообще одним из первых антимодернистов в России». К 60-летию со дня смерти поэта (1886 — 1939).

Илья Кукулин. Развитие беспощадного показа. — «Независимая газета», 1999, № 193, 15 октября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Одно из последних интервью Генриха Сапгира: незадолго до смерти поэт рассказывает о своем умершем друге — поэте Игоре Холине.

Слава Лён. Зураб Церетели как творец национального мифа. — «Кулиса НГ», 1999, № 16 (38), 16 октября.

Церетели истинно велик. Как его Петр. См. о скульпторе статью того же автора «Постмодернист номер один» («Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете», 1998, № 13, июль).

Владимир Личутин. Лесной архимандрит. — «Наш современник», 1999, № 10.

Медведь — таежный хозяин. Из книги «Душа неизъяснимая: размышления о русском народе».

Алла Марченко. Разуваев и К^о — выход в свет. Заметки о современной прозе. — «Вопросы литературы», 1999, № 5, сентябрь — октябрь.

Умение — или несчастная привычка — *жить бедно*. Новые русские. Антон Уткин. Юлия Латынина. Деньги и литература. Чехов и Суворин. Аналогия с пореформенными десятилетиями прошлого века: «Именно крестьянская реформа — точнее, великое неустройство, на которое она обрекла все до единого слои российского общества (*одним концом по барину, другим — по мужику*), — и дала первоначок великой русской прозе, начиная с „Казаков“ (1863), „Записок из Мертвого дома“ (1862 — 1863) и „Помпадуров и помпадурш“ (1863 — 1864)...»

См. также «круглый стол» — «О прозе реальной и виртуальной» («Дружба народов», 1999, № 11) с участием Николая Александрова, Александра Архангельского, Владимира Березина, Михаила Бугова, Александра Гаврилова, Анастасии Гостевой, Андрея Дмитриева, Андрея Немзера и Алексея Слаповского. Итог дискуссии: *реальная проза — в толстых журналах*.

Жорес Медведев, Рой Медведев. Бумаги Сталина: жизнь после смерти? — «Книжное обозрение», 1999, № 44, 1 ноября.

Фрагмент книги «Неизвестный Сталин»: большая часть личного архива вождя была уничтожена его соратниками в ночь с 5 на 6 марта 1953 года — *без прочтения и сортировки*.

Александр Мелихов. «Со страшной жадой песнопенья...». К 185-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. — «Октябрь», 1999, № 10. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

«Не заключает ли в себе пессимизм и жизненно необходимых начал?» — спрашивает автор. Энергичные оптимисты-преобразователи из века в век ввергают человечество во все более чудовищные бедствия, а пессимисты, твердящие о *неустранимой* трагичности бытия, не вызвали и миллионной доли этих несчастий.

Андрей Немзер. «Евгений Онегин» и творческая эволюция Пушкина. — «Волга», Саратов, 1999, № 6. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>
Пушкинский номер «Волги».

Вл. Новиков. Двадцать два мифа о Пушкине. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. Издатель и главный редактор журнала Виктор Перельман. Редактор московского издания Лев Аннинский. 1999, № 143.

«Абсолютное большинство людей равнодушно и к Пушкину и к литературе в целом — такова реальность, которую мы почему-то маскируем и лакируем». И тем не менее... Пушкин — «наше все». Пушкин — «ничто». Пушкин — «умнейший человек России». Пушкин — «дурак». Пушкин — донжуан, сексуальный гигант. Пушкин — однолюб. Пушкин — оптимист. Пушкин — пессимист. Пушкин — атеист. Пушкин — религиозный поэт. Пушкин — пророк, учитель. Пушкин — поэт *par excellence*, эстет. Пушкин — постмодернист. Пушкин — новатор, авангардист. Пушкин — традиционалист. Пушкин — декабрист, революционер (вариант: демократ). Пушкин — монархист, консерватор (вариант: аристократ). Пушкин — космополит, западник. Пушкин — патриот, выразитель «русской идеи». Пушкин — жертва обстоятельств, рока. Пушкин прожил свою жизнь именно так, как следовало ее прожить.

Юрий Норштейн. Снег на траве. — «Искусство кино», 1999, № 9, 10.

Фрагменты книги, составленной из лекций, прочитанных во время учебных занятий в Токио осенью 1994 года, и лекций, прочитанных в разное время в Москве на Высших режиссерских курсах. О чем? О «Шинели».

Ноу-хау российского творца. Беседа Вероники Бодэ с аналитическим психологом Каринэ Гюльазизовой. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5 (7).

Против суицидального мифа о том, что творческий человек, чтобы создать нечто достойное, должен невероятно страдать.

Один на льдине, или Смеющийся лев. Беседу вел Аршак Тер-Маркарян. — «Литературная Россия», 1999, № 42, 29 октября.

Беседа с прозаиком Вячеславом Дёгтевым, который делает в Интернете журнал «Мир по-русски»: <http://www.comch.ru/~viart/mir>

Владимир Осипов. Из истории «русских мальчиков». — «Москва», 1999, № 10. «9 февраля 1959 года» и «Вече» — автобиографические очерки известного диссидента.

Олег Павлов. Школьники. Повесть. — «Октябрь», 1999, № 10.

Автобиографические записки Олега Павлова о советской школе 80-х. См. рецензию Елены Озобкиной в следующем номере «Нового мира». Многие новые произведения этого прозаика можно найти в Сети по адресу: <http://www.pereplet.ru> (литературный сайт «Русский переплет»).

Вера Павлова. Танцую одна. Беседу вел Михаил Поздняев. — «Огонек», 1999, № 30, 18 октября. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«Моя жизнь стоит, как ты знаешь (интервьюером в данном случае выступает муж поэтессы, сотрудник „Огонька“. — *А. В.*), на трех китах: дневник, блокнот и письмо. Блокнот, в котором стихи — посередине, а по бокам — дневник и письмо. И они оттягивают из стихов лишнюю доверительность — и лишнюю документальность. Если нет дневника и некому писать письма, в стихах возникает много лишнего...» И далее: «А знаешь, это раньше я боялась пафоса, как щекотки: как его почувствую, сразу хихикаю истерически. А теперь я пафоса бояться перестала — боюсь иронии. Что такое ирония? Попытка посмеяться над собой раньше, чем над тобой успеют посмеяться другие. Мне

не нравится иронический человек. Не нравится его раздвоенность. И я, в стельку серьезная, говорю ему: „Разрежьте между вами пройти”. И прохожу».

См. также стихи Веры Павловой «Из книги „Площадь соловецких юнг”» («Волга», Саратов, 1999, № 8; электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>).

Евгений Пономарев. Толчите — и отверзется... Оправдание Владимира Максимова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 9.

«Максимов не вписался в современное культурное поле, ибо он серьезен».

Павел Проценко. Советские перевертыши. От автора Политиздата к «христианскому писателю» и обратно. — «Экспресс-хроника». Правозащитный еженедельник. 1999, № 33, 13 сентября.

Персонажи: Леонид Кравчук (да, тот самый), профессор-«религиовед» Н. С. Гордиенко, публицист Александр Нежный.

Станислав Рассадин. Операция «Дружба народов». — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1999, № 39 (318), октябрь. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Вспоминая *многонациональную советскую* литературу: сценки и размышления. Уважительно — о Кайсыне Кулиеве, нелюбезно — о Расуле Гамзатове и Чингизе Айтматове.

Мария Ремизова. Уроки восстания. — «Независимая газета», 1999, № 191, 13 сентября.

«По существу, это партийная литература, для партийных же целей предназначенная и к партийному читателю обращенная», — пишет Мария Ремизова о романе Александра Проханова «Красно-коричневый» («Наш современник», 1999, с № 1 по № 8). Пишет резко, убедительно, *подробно*. Последнее — важно. Критик роман действительно прочел, что в наши дни не само собой разумеется.

От себя добавлю: аляповатое прохановское сочинение обладает какой-то дурной, но очень сильной *энергетикой*, что на фоне общей расслабленности заслуживает некоторого размышления.

Олег Рогов. Юрий Кублановский: поэтика путешествия. Очерки русской неподцензурной поэзии второй половины XX века. — «Волга», Саратов, 1999, № 7.

«Главный миф (или генеративная модель) у Кублановского — *путешествие*. Перемещения *по времени* (историческая тематика) и *пространству* (географическая тематика) и составляют сюжет подавляющего большинства стихотворений. Путешествия также могут осуществляться *в памяти* и *во сне*, могут быть проецированы на «агентов» — *птиц* или *рыб*... Туризм либо пилигримаж предполагают «новое зрение», *визуальный аспект* предельно акцентирован в стихах Кублановского, его стихи либо свидетельствуют об увиденном, либо населены свидетелями, которые видят персонажей. Значимой поправкой к визуальному ряду служит несколько неожиданный коррелят — *слезы*».

В отсутствие обобщающей работы по «бронзовому веку» отечественной словесности автор «Очерков русской неподцензурной поэзии второй половины XX века» видит свою задачу в «наведении мостов» между поэзией 50 — 80-х и поэзией 90-х.

Вадим Россман. После философии: Кожев, «конец истории» и русская мысль. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5 (7).

Русский философ Александр Владимирович Кожевников (1902 — 1968) вошел в интеллектуальную историю Франции под именем Александр Кожев: «Если моя интерпретация верна, то Кожев открыл Европу и Америку для русского влияния, так же как Петр открыл Россию для влияния европейского».

Павел Руднев. Хлебниковы живут здесь. — «Независимая газета», 1999, № 197, 21 октября.

В Астрахани шестой год существует единственный в мире Музей Велимира Хлебникова — *Большая Демидовская (теперь улица Свердлова), 53*. В 1994 году племянник поэта, художник Май Митурич-Хлебников, безвозмездно передал в Астрахань экземпляры произведений Велимира, полотна своей матери, художницы Веры Хлебниковой, личные вещи семьи, фамильную библиотеку, посуду, мебель. Беседа с главным хранителем Дома-музея Александром Мамаевым. (А музей *расстрельщика* Кирова, дважды делавшего в Астрахани страшные *кровопускания*, в городе закрылся...)

В. Сердюченко. Новейший проект российской словесности. Литература в Интернете. — «Вопросы литературы», 1999, № 5, сентябрь — октябрь. Простодушный в Сети.

Алексей Славовский. Российские оригиналы. Краткая энциклопедия уходящих типов уходящей эпохи. — «Волга», 1999, № 7, 8. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

См. также эссе Алексея Колобродова «Славовский сам» в рубрике «Nomenclatura» журнала «Знамя», 1999, № 10).

Александр Тарасов. Skinheads au naturel. Интервью с комментариями. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5 (7).

«Либералы породили в России скинхедов».

Герберт Уэллс. Фрагменты автобиографии. Главы из книги «Герберт Уэллс в любви». Предисловие Дж.-П. Уэллса. Перевод с английского Р. Облонской. — «Иностранная литература», 1999, № 10.

Уэллс и Мура Будберг.

Анна Фенько. 100 лет главной книге Фрейда. — «Коммерсантъ», 1999, № 203, 4 ноября.

4 ноября 1899 года вышла в свет книга «Толкование сновидений» (на обложке — 1900). «Она содержит в себе самое ценное из всех открытий, которые мне довелось совершить», — считал основатель психоанализа. Оказывается, он ошибался: последние нейрофизиологические исследования показывают, что сны не нуждаются в *толкованиях*, их нужно воспринимать не аллегорически/метафорически, а буквально, то есть просто смотреть сны, как кино.

Борис Хазанов. Понедельник роз. — «Октябрь», 1999, № 10.

Автобиографические заметки писателя, живущего ныне в Германии. «В 16 — 17 лет огромное значение приобрел (для автора. — А. В.) германский мир. Все это странным образом сделало меня абсолютно нечувствительным ко всеобщей ненависти к Германии (во время войны. — А. В.) и даже к смутным известиям, что немцы уничтожают евреев. Кроме того, я пришел к выводу, что мы сами живем в фашистском государстве».

Ирина Хакамада. Всё о коррупции. — «Известия», 1999, № 207, 3 ноября.

«Полицейский аппарат бывает эффективен, когда он ополчается против исключения из правил, а справиться с тем, что стало нормой жизни, ему не по силам».

Христианство и культура. — «Знамя», 1999, № 10.

Рубрика «Конференц-зал». О христианстве и культуре размышляют Андрей Zubov, игумен Иоанн (Экономцев), Борис Любимов, Олеся Николаева, Ирина Роднянская, Ольга Седакова, Михаил Синельников, Никита Струве, архимандрит Тихон, Сергей Хоружий.

См. также в ноябрьском номере «Нового мира» за 1999 год полемическую рецензию священника Алексея Гостева на книгу О. Николаевой «Современная культура и Православие» (М., 1999) и ее ответ в настоящем номере «Нового мира».

Лиллиан Хэллман. Сырой материал. Мемуары. Перевод с английского М. Кан. — «Иностранная литература», 1999, № 9.

Россия, 1944, 1966. «Русские озадачивают нас, мы озадачиваем их». Главы из книги «An Unfinished Women» (New York, 1969).

Светлана Чекалова. Кое-что о J. J. — «Знамя», 1999, № 10.

Джойс.

Татьяна Чередниченко. Брэнд-эстетика. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5 (7).

Торговые технологии в современной художественной практике.

Лидия Чуковская. В поисках мировоззрения. Публикация, вступительная заметка и примечания Ж. О. Хавкиной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 9.

Арест в 1926 году. Отрывок из незавершенной автобиографической книги «Про черк».

И. Р. Шафаревич. Загадки февральской революции. — «Московский журнал», 1999, № 10.

Масоны, масоны. См. также большую работу Игоря Шафаревича «Русские в эпоху коммунизма» («Москва», 1999, № 10, 11).

Виктория Шохина. Об одном скандале. — «Кулиса НГ», 1999, № 16 (38), 16 октября.

О том, что Василевский не такой злодей, как о нем говорят

Максим Д. Шраер. «Игрушка»: записки об Игоре Чиннове. — «Дружба народов», 1999, № 11.

М. Ш.: А Есенина вы не любите?

И. Ч.: Какой интеллигентный человек может любить Есенина.

М. Ш.: Но Адамович очень любил, и Иванов Георгий тоже любил.

И. Ч.: Во-первых, притворялись... А во-вторых, Есенин был очень хорошенький мальчик, и это существенно...» (из интервью с поэтом Игорем Владимировичем Чинновым, 15 марта 1994 года, Дайтон-Бич, Флорида).

М. В. Юдина. Письма к В. С. Люблинскому. 1956 — 1961. Публикация, вступительная заметка и примечания А. М. Кузнецова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 9.

11 писем 1956 — 1961 годов. С инкунабуловедом Владимиром Сергеевичем Люблинским (1903 — 1968) Юдина познакомилась в 1943 году в Ленинграде. «По международной анкете самая читаемая книга позапрошлого года была эта самая „Lolita“ Набокова, *дрянь ужасная*, сколь известно, — а на втором месте — „Живаго“...» (из письма от 24 — 25 ноября 1960 года).

ХРОНИКА: пьеса «Эдуард III», написанная в 1592 году, признана несомненным творением Шекспира («Кулиса НГ», 1999, № 16, 16 октября); в резиденции президента Белоруссии состоялась встреча Александра Лукашенко с философом Александром Зиновьевым, белорусский президент считает, что они оба проповедуют одинаковые ценности («Кулиса НГ», 1999, № 20, 11 декабря). *Составитель «Периодики» не мог не обратить внимание на то, что незадолго до этой встречи Александр Зиновьев опубликовал в газете «Книжное обозрение» (1999, № 47, 22 ноября) восторженную рецензию на книгу известного академика А. Фоменко о так называемой Новой Хронологии. О Зиновьеве см. полемическую статью Дмитрия Юрьева «Сияющая бездна» («Новый мир», 1999, № 11), о Новой Хронологии — полемическую статью Дмитрия Харитоновича «Феномен Фоменко» («Новый мир», 1998, № 3).*

ПРЕМИИ: объявлены лауреаты премии Андрея Белого за 1999 год: Елена Фанайлова (Воронеж / Москва) — за стихотворения 1997 — 1998 годов, опубликованные в журналах «Знамя» (1998, № 3) и «Новая Юность» (1998, № 6), — бесстрашную инъекцию радикального проживания в область классической поэтики; Михаил Гаспаров (Москва) — за книгу «Записи и выписки», публикуемую в журнале «Новое литературное обозрение», — изысканный жанровый опыт, претворяющий филологические маргиналии и технику фрагментарного письма в уникальный экзистенциальный текст; Лев Рубинштейн (Москва) — за сборник эссе «Случаи из языка» (СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998) — впечатляющий пример виртуозной аналитической работы с материалом повседневной речевой практики; Дмитрий Волчек (Прага) — основатель, редактор и издатель «Митинового журнала» (№ 1 — 58, 1985 — 1999; ответственный секретарь Ольга Абрамович) и серии книжных приложений к журналу — за руководство изданием, объединившим несколько поколений российских литераторов, чьи поиски в сфере художественного языка обозначили наиболее продуктивные и актуальные тенденции современного письма. *Все формулировки — на совести организаторов премии.*

АДРЕСА: сайт Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»: <http://www.memo.ru>; сайт «Права человека в России»: <http://www.hro.org>; ежедневная интернет-газета «VESTI.RU»: <http://www.vesti.ru>; интернет-газета «Газета.Ru»: <http://www.gazeta.ru>

ПОПРАВКА: в № 7 «Нового мира» за 1999 год на стр. 248 вместо «Андрей Платонов. „Жить здесь невозможно...” — „Октябрь”, 1999, № 2» следует читать — «Андрей Платонов. „Жить ласково здесь невозможно...” — „Октябрь”, 1999, № 2».

ДАТЫ: 19 февраля (2 марта) исполняется 200 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (1800 — 1844); 2 (14) февраля исполняется 130 лет со дня рождения писателя и общественного деятеля Федора Дмитриевича Крюкова (1870 — 1920); 29 февраля исполняется 80 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920 — 1983).

Составитель Андрей Василевский.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

«Искусство кино». Ежемесячный журнал. Электронная версия:
<http://www.kinoart.ru>

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА

*Некоторые необходимые сведения о специфике Литературного Интернета.
Литературный конкурс интернетовской литературы «Генёта».
Новая проза Александра Иванченко*

1

Вначале немного скучные, но необходимые для новичков, каким и я был пару лет назад, сведения о структуре русского Литературного Интернета.

Достоинства Литературного Интернета, несомненное его преимущество перед всеми существовавшими до него «информационными технологиями» — практическая безграничность его пространства и демократизм. И они же — самая сложная его проблема. Это означает, что каждый желающий может выставить любые тексты и в любом количестве. Это замечательно. Но как этим пользоваться? Представьте фантастическую картину — библиотеку с сотнями тысяч книг, в которой все книги перемешаны и в абсолютно хаотичном порядке выставлены на полки. Как пользоваться этой библиотекой, способна ли она вообще выполнять свои функции? Чтобы представить себе эту ситуацию, достаточно войти в Интернет.

Соответственно, одна из главных проблем Литературного Интернета — проблема структурирования его пространства. Проблема ориентации в нем. Для этого есть системы поиска, но штука эта достаточно громоздкая, попросив найти текст, скажем, Аксенова, вы получите от Рамблера 2573 сноски (адреса). Попробуйте-ка прогуляться по всем этим адресам (сведения за 14 ноября 1999 года; к моменту, когда выйдет этот номер журнала, количество их увеличится)!

Можно также воспользоваться каталогами выставленной в Интернете литературы. Их несколько; я, например, пользуюсь каталогом на «Лист ру» (<http://www.list.ru/catalog/10074.html>), а также сносками со страниц Славы Курицына (<http://www.guelman.ru/slava>) и Макса Фрая (<http://www.guelman.ru/frei/index.html>); ну и,

разумеется, собственными накоплениями. Но все эти каталоги дают лишь фрагменты литературного пространства. Полного каталога литературных сайтов и страниц в русском Литературном Интернете не существует, да и технически это невозможно.

Вторая, уже сугубо литературная, проблема в том, что, попав на нормальный культурно сделанный сайт, вы растеряетесь, увидев перед собой десятки незнакомых вам имен.

Когда говорят об интернетовской специфике литературы, то, на мой взгляд, имеют в виду еще и ситуацию поколенческую. Времена, когда новые поколения молодых писателей годами вытампливались у дверей редакций, кончились отчасти и благодаря Интернету. Если тебя не печатают в журналах и не берут в издательствах, выставляя тексты в Интернете. Там уже все есть — и читатель, и литературная среда, и своя литературная жизнь, да и доступнее ты оказываешься для молодого читателя, чем опубликовавшись даже в самом известном толстом журнале. И при этом никакой цензуры, никаких редакторов. Естественно, что нынешнее поколение литературной молодежи ориентируется во многом на Интернет. А соотношение между искусством и графоманией в общем потоке написанного хорошо если 1 : 30 (это не снобизм во мне говорит, а более чем двадцатилетний опыт работы с редакционной почтой). Вот вам примерный, на глазок, расклад оригинальных текстов в Интернете.

(Кстати, расклад естественный. Странно слушать стенания людей, впервые вошедших в это пространство и утратившихся количеству графомании, претенциозности, дурновкусия и т. д. Стенающие, видимо, исходят из представления, что Интернет — это что-то вроде нового литературного издания со своей редакцией, редколлекцией, кругом автора и т. д. Но нет такой редакции и быть не может по определению.)

Ну и как все-таки справляться с трудностями ориентации в Интернете?

Во-первых, ориентироваться на культурно и профессионально обустроенные литературные сайты. Часть из них была названа в прошлом обзоре. На подобных сайтах осуществляется первичный отбор интернетовских текстов, имеющих отношение к литературе.

А дальнейшую работу выполняют конкурсные сайты. Об одном из них, сегодня наиболее авторитетном в русском Литературном Интернете, и пойдет речь. Это сайт «Тенёта» (<http://www.teneta.ru/>), идея и первоначальное воплощение которого принадлежит Леониду Делицыну. (Последние два года работу на этом сервере курировал Дмитрий Кузьмин, недавно на свое прежнее место вновь заступил Делицын.) Полное название сайта: «Тенёта. Конкурс русской сетевой литературы». Предназначен — цитирую декларацию «Тенёт» — для отбора «самых лучших литературных произведений на русском языке, впервые опубликованных в Сети, ускоренное включение сетевой литературы в общее русло русского литературного процесса, поиск в Интернете новых талантливых авторов и ярких произведений, содействие интенсивному развитию литературной жизни в русском Интернете, повышение представительства в Сети литераторов-профессионалов и облегчение авторам, представленным преимущественно в Сети, доступа в „бумажные” издания, писательские клубы и литературные объединения».

«Тенёта» проводят конкурс по 15 номинациям, среди них есть и традиционные: «Рассказы», «Повести и романы», «Стихотворения», «Пьесы, сценарии», «Литературно-критические статьи», «Очерки», есть и специфически интернетовские формы творчества: «Гипертекстовая литература», «Мультимедийная литература», «Динамическая литература (интерактивные литературные игры, проекты с использованием автоматической обработки текста и др.)» и т. д.

Литературный конкурс в Интернете не повторяет механически структуру и содержание литературных конкурсов (премий) в пространстве «бумажной литературы». В Интернете это означает создание и *постоянное* функционирование отдельного литературного сайта, на котором представлено лучшее, по мнению приглашенных держателями сайта экспертов, из того, что появилось на литературных сайтах за последние месяцы. Такой сайт можно сравнить с изданием ежемесячного журнала, публикующего лучшее, что появляется во всех остальных журналах. Но

сравнение это очень приблизительное — конкурсные сайты предлагают читателю гораздо больше возможностей, чем любое бумажное издание, и для знакомства с текстами, и для участия в работе конкурса. Конкурсные сайты могут стать местом первой публикации произведения; они же предоставляют мгновенный доступ к любому тексту, появившемуся на сайте за все время его существования, наконец, одновременно сайты эти являются постоянно работающим клубом читателей, обсуждающих представленное на страницах этого сайта. Такой сайт обычно собирает вокруг себя ведущих интернетовских литераторов и обозревателей, а также писателей из традиционной «бумажной литературы» (в работе последнего — рассматривавшего произведения 1998 года — жюри «Тенёт», например, приняли участие Алексей Алехин, Василий Аксенов, Александр Генис, Григорий Кружков, Владимир Маканин, Алексей Пурин и другие). Разумеется, знакомство с интернетовской литературой лучше начинать с текстов, представленных именно на таких сайтах.

(Я прошу прощения у читателей, знакомых с Интернетом, за ликбез, но мое занудство — вынужденное: в последнее время в ведущих газетах появились публикации, свидетельствующие о том, как плохо представляет себе общественность, что такое Литературный Интернет. Скажем, опубликованная «Литературной газетой» статья «Интернет насилует сознание», автор которой с апокалиптическим ужасом сообщает читателю, что Интернет грозит существованию наших традиционных культурных и национальных ценностей.)

2

В сентябре этого года жюри литературного конкурса «Тенёт» обнародовало свое решение о работах 1998 года. Лучшими рассказами были признаны: «Трубач» Эдуарда Шульмана, «Искушение поэта в снежной пустыне» Николая Байтова и «Народное телевидение» Станислава Львовского. По номинации «Повести и романы» победителем стал Андрей Бычков с повестью «Пхо Ва». Лучшим стихотворением было признано стихотворение «Памяти Бродского» Полины Барсковой, а автором лучшего сборника стихов «Чапаев и другие» — Владимир Строчков. Пьесы, сценарии: Дмитрий Гайдук, «Сцены из Ветхого Завета». Литературно-критические статьи: Алексей Андреев, «Русские хайку». Очерки, эссе: Виктория Фомина, «Путешествие до-мажор» и т. д.

Я не могу сказать, что все перечисленное здесь равноценно в художественном отношении. Ценность списка — в определенной репрезентативности его для нашего сегодняшнего Литературного Интернета. Остановлюсь чуть подробнее на упомянутых текстах.

Признанная лучшей повесть Андрея Бычкова «Пхо Ва» (<http://www.rema.ru:8101/komment/vadvad/lit/bychkov/pho-va.htm>)¹ представляет собой вариации на вечную тему «С любимыми не расставайтесь»; написана в виде монолога молодого человека, обращенного к отчасти брошенной им самим, отчасти судьбой с ним разлученной женщине. Два обстоятельства спровоцировали этот монолог: известие о рождении ребенка (возможно, дочери героя) и сделанное героем открытие, что любовь не прошла. Однако что же такое любовь: жениться на тебе — это смерть, не жениться — тоже смерть, а родившаяся девочка — это уж смерть наверняка. Вот такое «уютненькое» литературное употребление понятия «смерть». В повести присутствует немалая доля манерности; скажем, в бессознательно подчеркиваемой «престижности» ситуаций и интерьеров (вот герой, вернувшись из Парижа, разумеется, с Монмартра, видит подругу в доме знакомых: одета она в полупрозрачное, курит тонкую сигаретку «Мерд», имя у нее, кстати, Астэ, при всей своей безумной утонченности она вынуждена петь в ночных барах и т. д.). В другом эпизоде друг героя, у которого герой увел Астэ, стреляется «где-то в Голландии»: сна-

¹ Я даю здесь адреса первой и основной публикации в Интернете, но просматривать эти тексты удобнее со страницы «Тенёт»: http://www.teneta.ru/1998/prof_jury/index.html

чала играл в холле отеля в покер, «нервно смеялся», «пил джин», потом вышел вон и сунул дуло пистолета в рот. Ну а сам герой время от времени, «кусая губы, выходит в ночь». Думаю, что выбор жюри определило проламывающееся сквозь эту парфюмерию искреннее чувство плюс вяжущий, немного однообразный, но точно соответствующий интонации повествования синтаксис. Ну и, возможно, многозначительные дзенские заморочки, приправляющие повествование виньеточками из восточной мистики («буддийский маг», «отверстие Брахмы») — в финале описывается коллективное буддийское камлание.

Рассказ Эдуарда Шульмана, писателя старшего поколения, уже достаточно известного в «бумажной литературе», «Трубач» (<http://www.friends-partners.org/~alexey/shulman.htm>), напротив — хорош безоговорочно. Вещь почти классическая, о первом движении чувства в подростковом возрасте — мальчик в летнем лагере получает письмо от мало-знакомой девочки. Неожиданное для него волнение и необходимость ответить срывает его с места — на письме нет обратного адреса, — и герой, не дающий себе даже отчета, зачем он это делает, без денег, в одиночку умудряется добраться до дальнего курортного городка, где девочка отдыхает с родителями. Мастерство Шульмана здесь еще и в том, что он смог полностью погасить внешний мелодраматизм сюжета, выведя его почти в «платоновскую» плотность чувствования. Ассоциации с «Фро» насколько не мешают при чтении.

Рассказ Николая Байтова «Искушение поэта в снежной пустыне» (<http://levin.rinet.ru/FRIENDS/BYTOV/osvoboditeli/iskushenie.html>) — это фантастика с претензиями (и не скажу, что совершенно необоснованными) на создание некоей философской метафоры времени и судьбы. Парадоксальность сюжета, эффективность ситуации, к сожалению, забывают эмоциональное наполнение текста.

Рассказ Станислава Львовского «Народное телевидение» (<http://www.vavilon.ru/texts/lvovsky3.html>), прошу прощения за однообразие терминов, тоже можно назвать метафорой, попытка дать сгущенное ощущение, как бы нервный код проживаемой нами повседневности, оформленный видеорядом: девушка, ночь, дорога непонятно к кому — к любимому или клиенту, — и озвученный телефразами, казалось бы сидящими в подсознании и всплывающими изнутри, как расправляется на экране положенный на нижнюю панель файл. Рассказу мешает излишняя многозначительность, как бы пытающаяся компенсировать внятность смысла рассказанного.

«Победительное» стихотворение «Памяти Бродского» Полины Барсковой (<http://www.friends-partners.org/newfriends/culture/literature/alexey/brodski.htm>) несколько огорчает элементарностью задачи и средств исполнения: стихотворение памяти поэта написано с демонстративным использованием интонационных жестов, лексики, образного ряда и даже с имитацией некоторой «брутальности» самого Бродского: «Погиб поэт. Точнее — он подох. / Каким на вкус его последний вдох / Был, мы не знаем. И гадать постыдно. / Возможно — как брусничное повидло. / Возможно — как распаренный горох. / Он так хотел — ни жизни, ни конца... / В свое молчанье погружен до срока. / И что ему какие-то слова, / И что ему прелестная вдова, / И что ему бессмертие пророка?» Ну а в целом написано истоиво, с попыткой насытить смыслом или хотя бы дать почувствовать его, поэта, «молчание до срска».

Среди выставленного на сайте упомяну только еще несколько текстов в номинации «Рассказы», которые, на мой взгляд, заслуживают внимания: «Калитка», автор выступает под псевдонимом «Тихая сапа»; «Выйти замуж за гинеколога» Евгения Медникова, «Путешествие» Кузьмы Вострикова, «Мандаринчики» Сергея Мелентьева. Я не даю на каждый из них отдельной ссылки, все это легко найти на сервере «Тенёт» (см. первую сноску).

3

Из нового, что появилось на уже упоминавшихся в прошлом обозрении сайтах, следует остановиться на выставленной и проанонсированной Вячеславом Курицыным как событие новой повести Александра Иванченко «Купание красного коня» (впрочем, в названии не уверен — текст выставлен таким образом, что за название можно принять и еще одно словосочетание: «Поверх цензуры» и «Beyond censorship») — <http://www.guelman.ru/slava/writers/ivanchenko/title.html>

Разумеется, это событие. Иванченко — писатель талантливый, всегда ставивший перед собой в литературе задачи серьезные (автор одной из самых лучших, на мой взгляд, повестей предыдущего десятилетия «Автопортрет с догом»), ушедший потом в тяжелейшую — и физически и нравственно, — но необходимую организационную работу в Союзе писателей, что тоже вызвало уважение. И вот после длительного молчания он появляется с новой вещью. Повестью-памфлетом, которую остереглось напечатать уже не одно издание, и именно поэтому Курицын, закрывший на время свой сайт «на ремонт», прервал «ремонт» и выставил повесть.

Поначалу чтение увлекает литературной игрой с уже окаменевшими штампами осмеивающей шестидесятников литературы: знаменитый поэт Магнус Магнус, автор нашумевших поэм «Ку-ку» и «Братская АЭС», в свете прожекторов сходит с трапа самолета — высокий, загорелый, только что с пляжей Калифорнии, широко вдыхая «тревожный воздух родины». Затем — ироническим анализом этих штампов и многообещающими подступами к главной теме повести. Риторичность авторских деклараций снимается удачно выбранным приемом: повесть написана в виде некой развернутой статьи о некоем романе, в которой автор волен и цитировать, и кратко пересказывать несуществующий роман, и бегло комментировать, и свободно над ним размышлять. То есть перед нами игровой «жанр», предполагающий наличие как бы повествователей трех уровней — автора романа, автора статьи о романе и собственно автора, который тоже не прячется, помогает время от времени менять первых двух местами, художественно обосновывает переходы от иронии к предельной серьезности. Это прием, позволяющий автору, не впадая в дидактику, формулировать свою тему и идею «в лоб». Я приведу три обширные цитаты из первой половины повести.

Вот обозначение основной темы повествования: «Определяющим качеством нового времени, а может, и истории вообще, является, увы, пошлость. Она проникает в каждую клеточку исторического организма, спасая его... от губельного пафоса... Пошлость — не просто специя, приправа в острых яствах истории, она — условие выживания эпохи, понижающее опасное для жизни напряжение времени до его практического применения — кипятильника или утюга. Оpoznательные знаки пошлости... — искажения, профанации, эпигонства».

А вот материал, на котором тема эта разрабатывается: «Художник, интеллектуал, мыслитель, этот посланник тонких миров, призван лишь свидетельствовать о существовании „того“ мира, но никогда — пытаться осуществить его здесь, на земле». «На наших глазах совершается величайший подлог, предательство интеллигенции — нисхождение художника в низшие миры, во власть, в царство кесаря; или же, что вернее, происходит последнее саморазоблачение имитаторов, никогда и не ступавших за границы этого мира и обрадованных самой возможностью подлога».

Не могу сказать, чтобы мысли эти были так новы, но написано со страстью, с болью, написано, если так можно сказать, «персонифицированно» — здесь голос Иванченко. И потом, читая эти декларации, помнишь, что имеешь дело с художником, не раз подтверждавшим свой уровень. Немного, правда, смущает затянутость эссеистско-философских подступов и некоторая уплощенность в изображении знаменитых поэтов и литераторов — персонажи здесь даются пока в виде условных эмблемок. Затянутость вступления по контрасту заставляет вспомнить цикл статей Галковского в «Независимой газете», где памфлетная «разогретость» пишущего на эти темы восьмидесятника, его резкость были не в пример убедительнее и талантливее.

И вот наконец автор приступает к художественному воплощению заявленного — последняя глава, занимающая по объему чуть ли не половину повести, изображает торжество продавшей «придворной интеллигенции»: на празднование юбилея знаменитой поэтессы А. сходится нынешняя артистическая, литературная и политическая элита, от Жиринского до Солженицына. Чтение этой главы, я бы сказал, ошеломляет. И уж точно не тем, на что рассчитывал автор, а своей литературной беспомощностью. Перед нами разворачивается бесконечный свиток характеристик-карикатур с прозрачными фамилиями и «обыгрыванием» знаковых примет каждого персонажа. Плоскость и какая-то, я бы сказал, бессильная гру-

бость напоминают правдинских Кукрыниксов: Черниченко в деревенских лаптях, Солженицын катит перед собой красное колесо, Попов несет макет «Метрополя», Илья Дадашидзе пристаёт ко всем с микрофоном, Лукьянов с макетом парламента читает свои стихи и тому подобное. А уж в финале — произвольная пародия на пародийную «литературную кадрили» из «Бесов»: присутствовавшие на шабаше «Пушкин с Лермонтовым... уже целились в самозванцев из дуэльных пистолетов; Толстой, очнувшись, гвоздил пришельцев дубиной народной войны, со свистом рассекая ею воздух; Лесков настраивал вконец испорченный язык, перебирая струны арфы; Достоевский бился в падучей; Чехов ставил всему диагноз; Гоголь, задыхаясь от гнева, жег третий том „Мертвых душ”». Всё — приехали! Тут уже не творческий провал — тут оглушительный конфуз. Стоило ли для этой кучи беспомощных, злых шаржей, с использованием всех обывательских мифов и литературных сплетен, огород городить — о Христе размышлять, об исторической памяти, о высокой миссии художника... И уж точно — не следовало с таким напором обличать пошлость в современной литературной жизни — уровень мысли и «эстетики» второй половины повести, никуда от этого не денешься, переадресовывает эти укоры уже непосредственно автору. Горькое чтение.

Р. С. Оглушительная новость: «Купанию красного коня» Иванченко присуждена премия Антибукер. Парадоксальная ситуация: даже если у Иванченко хватит мужества на продолжение в жизни гражданской позиции, продекларированной им в тексте, даже если он откажется принять премию из рук ошельмованной им «продажной интеллигенции», тень такого признания на тексте останется.

Составитель Сергей Костырко.



Составители «Книжной полки» и «Периодики» будут благодарны провинциальным/зарубежным издательствам и редакциям провинциальных/зарубежных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России и Русского Зарубежья на страницах «Нового мира».



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

15 лет назад — в № 2 за 1985 год напечатана повесть С. Есина «Имитатор. Записки честолюбивого человека».

20 лет назад — в № 2, 3, 4 за 1980 год напечатан роман Владимира Орлова «Альтист Данилов».

30 лет назад — в № 2 за 1970 год напечатан рассказ Федора Абрамова «Деревянные кони. Из рассказов Олены Даниловны».

40 лет назад — в № 2, 3 за 1960 год напечатана повесть Александра Бека «Несколько дней».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

Благотворительный фонд Георгия Свиридова был учрежден вдовой композитора Эльзой Густавовной Свиридовой, доктором искусствоведения Татьяной Чередниченко, предпринимателями Александром Лебедевым и Эдуардом Грязновым в марте 1998 года, а в апреле зарегистрирован органами юстиции. В Попечительский совет Фонда вошли видные музыканты, деятели культуры и представители бизнеса.

На собрании участников президентом Фонда была избрана Эльза Густавовна Свиридова. После ее кончины в мае 1998 года участники Фонда решили оставить место президента Фонда Свиридова незанятым. Президиумом руководит вице-президент Александр Лебедев. Исполнительный аппарат Фонда работает на общественных началах.

В уставные задачи Фонда входит популяризация наследия Георгия Васильевича Свиридова, а также помощь некоммерческим концертным и фонографическим проектам, связанным с русской музыкальной культурой.

Деятельность Фонда началась благотворительным концертом Дмитрия Хворостовского, исполнившего 20 апреля 1998 года в Большом зале консерватории вокальную поэму «Петербург» на слова Блока. Финансовое обеспечение этого концерта взяли на себя Александр Лебедев и Анатолий Данилицкий. Дмитрий Хворостовский передал свой гонорар Фонду Свиридова.

Из полученных сумм Фонд выплатил гранты на некоммерческую концертную деятельность, связанную с популяризацией наследия Г. В. Свиридова, «Московской Новому хору» под руководством Елены Растворовой, БСО имени Чайковского, оказал помощь в проведении нескольких концертов общедоступного «свиридовского» абонемента Московской филармонии сезона 1998/99 года.

Обесценившиеся после августовского 1998 года кризиса средства пополнили личные взносы участников Фонда, благодаря чему смог состояться масштабный концерт 16 декабря 1998 года — в первый день рождения Георгия Свиридова после его кончины, проведенный оркестром «Русская филармония» под руководством Александра Ведерникова и «Московским Новым хором».

Бережному сохранению памяти Свиридова бескорыстно служили попечители Фонда. Владимир Федосеев на свои средства помог установлению бюста Георгия Васильевича работы скульптора Аникушина в Большом зале консерватории, воплотив тем самым мечту Эльзы Густавовны (а также и соответствующую строку из Указа Президента, посвященного увековечению памяти великого композитора).

В 1999 году Фонд обеспечивает издание CD, содержащих записи посмертных премьер Свиридова. Издаваемые на личные средства члена президиума Свиридовского Фонда Эдуарда Грязнова записи представляют бесценный вклад в наше музыкальное наследие.

Фонд намеревается также издать уникальный фотоальбом, собравший снимки, которые на протяжении своей долгой дружбы с Г. В. Свиридовым делал первый исполнитель многих свиридовских сочинений, знаменитый бас Александр Ведерников. Ждут издания бесценные записи устных воспоминаний Эльзы Густавовны Свиридовой. И, конечно, нуждаются в поддержке новые концерты.

Контактные телефоны Фонда: (095) 229-54-79; (095) 234-48-50, доб. 194.

*Директор Фонда
доктор искусствоведения,
профессор*
Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

SUMMARY



This issue presents a new part of short stories «Zatesi» (Notches) by Viktor Astafyev, the end of the novel by Valery Zalotukha «The Last Communist», the novel «Podiachy Vasily Kurbatov» (Podiachy is assistant to official in old Russia) by Sergey Tsvetkov and the continuation of the novel «The Long Distance or The Slavic Accent» by Marina Paley, which is identified by the author as «screen script imitations». Poetry is represented by the new verses of Aleksey Alekhin and Larisa Miller.

Under the heading «Nowadays' Essays» there is an essay «Do you remember at Abramov's» by Oleg Larin.

An article «Family Horizon. On Some Constants of Traditional Russian Mentality» by Sergey Averintsev is published in the section «Philosophy. History. Politics».

Aleksander Kushner's essay «Anna Andreyevna and Anna Arkadyevna» dedicated to Anna Akhmatova is published in the section «The Writer's Diary»

In the critical article «Alienated by Fame» Mikhail Butov is pondering on Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Milorad Pavich and John Barth.



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередвиченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.10.99 г. Подписано к печати 29.12.99 г. Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 600 экз. Зак. 5794. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ГЕОРГИЯ
СВИРИДОВА**

**Для тех, кто готов
способствовать работе фонда
по популяризации наследия
великого русского композитора,
сообщаем номер счета
для перечисления пожертвований.**

**Счет Благотворительного фонда
Георгия Свиридова:**

**№ 40703810000000000332
в АКБ «Национальный Резервный Банк»;
ИНН 7703191269,
к/с 30101810200000000933
в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ,
БИК 044525933, ОКПО 29296062,
ОКОНХ 96120, ИНН 7703005090.**

Контактные телефоны:

**(095)229-54-79;
(095)234-48-50, доб. 194.**